

К.М. СТАНЮКОВИЧ

5

К. Станюковичу

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

К.М. СТАНЮКОВИЧ

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ДЕСЯТИ
ТОМАХ

ТОМ

5

БИБЛИОТЕКА
«ОГОНЕК»



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА», МОСКВА, 1977

Составление
и общая редакция
М. П. Е р е м и н а.

Иллюстрации художника
П. П и н к и с е в и ч а.

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ

1894—1895

КУЦЫЙ

I

В роскошное раннее тропическое утро на сингапурском рейде, где собралась русская эскадра Тихого океана, плававшая в шестидесятых годах, новый старший офицер, барон фон дер Беринг, худощавый, долговязый и необыкновенно серьезный блондин лет тридцати пяти, в первый раз обходил, в сопровождении старшего боцмана Гордеева корвет «Могучий», заглядывая во все самые сокровенные его закоулки. Барон только вчера вечером перебрался на «Могучий», переведенный с клипера «Голубь» по распоряжению адмирала, и теперь знакомился с судном.

Несмотря на желание педантичного барона, в качестве «новой метлы», к чему-нибудь да придраться, это оказалось решительно невозможным. «Могучий», находившийся в кругосветном плавании уже два года, содержался в образцовом порядке и сиял сверху донизу умопомрачающей чистотой. Недаром же прежний старший офицер, милейший Степан Степанович, назначенный командиром одного из клиперов,— любимый и офицерами и матросами,— клал всю свою добрую, бесхитростную душу на то, чтобы «Могучий» был, как выражался Степан Степанович, «игрушкой», которой мог бы любоваться всякий понимающий дело моряк.

И действительно, «Могучим» любовались во всех портах, которые он посещал.

Обходя медлительной, несколько развалистой походкой нижнюю жилую палубу, барон Беринг вдруг

остановился на кубрике и вытянул свой длинный белый указательный палец, на котором блестел перстень с фамильным гербом старинного рода курляндских баронов Беринг. Палец этот указывал на лохматого крупного рыжего пса, сладко дремавшего, вытянув свою неказистую, далеко не породистую морду, в укромном и прохладном уголке матросского помещения.

— Это что такое? — внушительно и строго спросил барон после секунды-другой торжественного молчания.

— Собака, ваше благородие! — поспешил ответить боцман, подумавший, что старший офицер не разглядел в полутемноте кубрика собаки и принял ее за что-нибудь другое.

— Ду-рак! — спокойно, не повышая голоса, отчеканил барон. — Я сам вижу, что это собака, а не швабра. Я спрашиваю: почему собака здесь? Разве можно на военном судне держать собак! Чья это собака?

— Конвертская, ваше благородие!

— Боцман... Как твоя фамилия?

— Гордеев, ваше благородие!

— Боцман Гордеев! Выражайся яснее: я тебя не понимаю. Что значит корветская собака? — продолжал барон все тем же медленным, тихим и нудящим голосом, произнося слова с тою отчетливостью, с какою говорят русские немцы, и останавливая на лице боцмана свои большие, светлые и холодные, голубые глаза.

Пожилой боцман, которого до сих пор все, кажется, отлично понимали, за исключением разве тех случаев, когда он, случалось, возвращался с берега пьяный вдрызг, недоумевая смотрел в бесстрастное, белое, отливавшее румянцем, безусое продолговатое лицо, опущенное рыжеватыми бакенбардами в виде котлет, и, видимо, удрученный этим назойливым допросом, вместо ответа ожесточенно заморгал своими маленькими серыми глазами.

— Так какая же это корветская собака?

— Матросская, значит, обчая, ваше благородие! — объяснил с угрюмым видом боцман и в то же время сердито подумал: «Не понимаешь, что ли, долговязый!»

Но «долговязый», казалось, не понимал и сказал:

— Что ты мне вздор рассказываешь!.. У каждой собаки должен быть хозяин.

— То-то у ей нет, ваше благородие. Она приبلудная.

— Какая? — переспросил барон, видимо не зная значения этого слова.

— Приблудная, ваше благородие. В Кронштадте увязалась за одним нашим матросиком и явилась на конверт, когда он вооружался в гавани. С той поры Куцый и ходит с нами. Так его называли по причине хвоста, ваше благородие! — прибавил в виде пояснения боцман.

— Собаки на военном судне — беспорядок. Они только гадят палубу.

— Осмелюсь доложить, ваше благородие, что Куцый собака понятливая и ведет себя как следует. За ей насчет этого ничего дурного не замечено! — вступился боцман за Куцего. — Прежний старший офицер Степан Степаныч позволяли ее держать, потому как Куцый, можно сказать, исправная собака, и команда ее любит.

— Слишком много вам позволяли прежде, как посмотрю, и распустили. Я вас всех подтяну, слышишь? — строго заметил барон, которому объяснения боцмана показались несколько фамильярными, и сам он, казалось, не особенно трепетал перед старшим офицером.

— Слушаю, ваше благородие.

Барон на секунду задумался и наморщил лоб, решая в своем уме участь Куцего. И боцман, весьма благоволивший к Куцему, со страхом ждал этого решения.

Наконец старший офицер проговорил:

— Если я когда-нибудь замечу, что эта собака изгадит мне палубу, я прикажу ее выкинуть за борт. Понял?

— Понял, ваше благородие!

— И помни, что я два раза не повторяю своих приказаний, — внушительно прибавил барон, по-прежнему не возвышая своего скрипучего, однотонного голоса.

Боцман Гордеев, старый служака, выдавший на своем веку немало разного начальства и умевший понимать людей, и без этого предупреждения уже сообразил, что этот долговязый даром что говорит тихо, без пыла, а такая «чума», с которой всем служить будет очень «нудно», не то что со Степаном Степанычем.

Услыхав несколько раз свою кличку, Куцый потянулся, открывая глаза, лениво поднялся, сделал не-

сколько шагов, выходя из темного угла поближе к свету, и, как смысленный, понимающий дисциплину пес, при виде незнакомого человека в офицерской форме почтительно вильнул несколько раз своим обрубок.

— Фуй, какая отвратительная собака! — брезгливо процедил барон, кидая взгляд, полный презрения, на невзрачную и неуклюжую большую дворнягу с жесткой всклокоченной рыжей шерстью, обгрызанными, стоящими торчком ушами и широкой мордой, местами покрытой плешинами, словно изъеденной молью.

Только необыкновенно умные и добрые глаза Куцего, пристально оглядывавшие барона, несколько скрашивали его уродливую наружность. Но этих глаз барон, верно, не заметил.

— Чтоб я не встречал никогда этой мерзкой собаки! — проговорил барон.

И с этими словами он повернулся и поднялся наверх, сопровождаемый удрученным и нахмурившимся боцманом.

Поджав свой обрубок — следы злой шутки одного кронштадтского повара — Куцый побрел, прихрамывая на одну, давно сломанную переднюю лапу, в свой темный уголок, чуя, надо думать, что не имел счастья понравиться этому долговязому человеку с рыжими баками и с злым взглядом, который не предвещал ничего хорошего.

Один матрос, слышавший слова старшего офицера, ласково потрепал общего корветского любимца, который в ответ благодарно вылизывал шершавую матросскую руку.

II

Испытывая чувство тоскливого угнетения, обычное в простом русском человеке, которого донимают нотациями и «жалкими» словами, боцман еще целую четверть часа, если не более, выслушивал, стоя на вытяжке в каюте барона и теребя в нетерпении фуражку, его длинные, обстоятельные и монотонные наставления о том, какие отныне будут порядки на корвете, чего он будет требовать от боцманов и унтер-офицеров, как должны вести себя матросы, что такое, по понятиям барона, настоящая дисциплина и как он будет беспощадно взыскивать за пьянство на берегу.

Отпущенный, наконец, из каюты с напутствием «хорошо запомнить все, что сказано, и передать кому следует», боцман радостно вздохнул и, весь красный, словно после бани, выскочил наверх и пошел на бак выкурить поскорей трубочку махорки.

Там его тотчас же обступили почти все представители баковой аристократии: фельдшер, баталер, подшкипер, машинист, два писаря и несколько унтер-офицеров.

— Ну что, Аким Захарыч, каков старший офицер? Как он вам показался? — спрашивали боцмана со всех сторон.

Боцман в ответ только безнадежно махнул своей волосатой красной и жилистой рукой и сердито плюнул в кадку.

И этот жест, и энергичный плевок, и раздраженное выражение загорелого, красно-бурого лица боцмана, опущенного черными, с проседью, бакенбардами, с красным, похожим на картофелину, носом и с нахмуренными бровями — словом, все, казалось, говорило: «Дескать, лучше и не спрашивайте!»

— Сердитый? — спросил кто-то.

Но боцман не тотчас ответил. Он сделал сперва две-три отчаянные затяжки, сплюнул опять и, значительно оглядев всех слушателей, жаждавших услышать оценку такого умного и авторитетного человека, наконец выпалил, несколько понижая, однако, свой зычный голос, стяжавший горлу боцмана репутацию «медной глотки»:

— Прямо сказать: чума турецкая!

Столь убежденная и решительная оценка произвела на присутствующих весьма сильное впечатление. Еще бы! После двухлетнего плавания с старшим офицером, который, по выражению матросов, был «добер» и «жалел» людей, не обременяя их непосильными работами и учениями, дрался редко — и то с пыла, а не от жестокости — и снисходительно относился к матросской слабости — «нахлестаться» на берегу, иметь дело с «чумой» показалось очень непривлекательным. Немудрено, что все лица внезапно сделались серьезными и задумчивыми.

С минуту длилось сосредоточенное и напряженное молчание.

— В каких, однако, смыслах он чума, Аким Захарыч? — заговорил молодой курчавый фельдшер, которому, по его должности, предстояло менее других опасности иметь столкновения с старшим офицером. Знай себе доктора да лазарет, и шабаш!

— Во всяких смыслах, братец ты мой, чума! То есть вовсе нудный человек. Зудит, как пила, и никакой не дает тебе передышки, немчура долговязая! Сейчас вот в каюте донимал. Глядит это на меня рыбьим глазом, а сам: зу-зу-зу, зу-зу-зу,—передразнил барона боцман.—Я, говорит, вас всех подтяну. У меня, говорит, новые порядки станут. Я, говорит, за береговое пьянство буду взыскивать во всей строгости... одно слово — зудил без конца... Совсем в тоску привел.

— Унтерцер, что вчера на катере с «Голубя» привез нового старшего офицера, тоже его не хвалил. Сказывал, что карактерный и упрямый и всех на клипере разговором нудил,—вставил один из унтер-офицеров...—На «Голубе» все рады, что он ушел, потому приставал, ровно смола... А драться, сказывали, не дерется и не порет, но только наказывает по-своему: на ванты босыми ногами ставит, на ноки на высидку посылает. Сказывал — очень придирчив и много о себе полагает этот самый... как его по фамилии?..

— Берников, что ли,—ответил боцман, переделывая немецкую фамилию на русский лад.—Из немецких баронов. А о себе он напрасно полагает, потому полагать-то ему нечего! — авторитетно прибавил боцман.

— А что?

— А то, что в ем большого рассудка незаметно. Это по всем его словам оказывает. И на понятие туг. Давече, я вам скажу, не мог взять вдомек, что Куцый конвертская собака... Какая, говорит, конвертская? Непременно ему хозяина подавай...

— Из-за чего у вас о собаке-то разговор вышел? — спросил кто-то.

— А вот поди ж ты! Не понравился ему наш Куцый, и шабаш! Нельзя, говорит, на судне держать собаку. И грозился, что прикажет выкинуть Куцего за борт, если он нагадит на палубе... И чтобы я, говорит, его не встречал!

— И что ему Куцый? Мешает, что ли?

— То-то все ему мешает, анафеме. И животную бессловесную и тую притеснил... Да, братцы, послал нам господь цацу, нечего сказать. Другое житье пойдет. Не раз вспомним Степан Степаныча, дай бог ему, голубчику, здоровья! — промолвил боцман и, выбив трубочку, опустил ее в карман своих штанов.

— Капитан-то наш ему большого хода не даст, я так полагаю, — заметил молодой фельдшер. — Не допустит очень-то безобразничать. Шалишь, брат! Не те нонче права... Вот теперь мужикам волю дают, и всем права будут, чтобы по закону...

— Не досмотреть-то всего капитану. Главная причина, что старший офицер ближе всего до нас касается! — возразил боцман.

— Можно и до капитана дойти в случае чего. Так, мол, и так! — хорохорился фельдшер.

— Прыток больно! А ты рассуди, что и капитану, стало быть, быдто зазорно против своего же брата идти и срамить его, скажем, из-за какого-нибудь унтерцера. В этом самая загвоздка и есть! Нет, братец ты мой, поодиночке жаловаться не порядок, только здря начальство расстроишь, а толку не будет — тебе же попадет! В старину бывала другая правила! — прибавил боцман, строго охранявший прежние традиции, так сказать, обычного матросского права.

— Какая, Аким Захарыч?

— А такая, что ежели, примерно, безо всякого, можно сказать, рассудка изматывали нашего брата, матроса, и вовсе уже не ставало терпения, значит, от тиранства, тогда команда шла на отчаянность: выстроится, как следует, во фронт и через боцманов объявит командиру претензию.

— И что ж, выходил толк?

— Глядя по человеку. Иной вместо разборки велит перепороть половину команды, ну а другой выслушает и рассудит по совести. Помню, раз на смотрю — я еще тогда первый год служил — объявили мы адмиралу Чаплыгину претензию на командира Занозова — форменный зверь был! — так вместо разборки дела у нас на корабле, братец ты мой, целый день порка была... Так стон и стоял, и мне сто линьков всыпали — вот тебе и вся претензия! Опять же в другой раз тоже объявили мы претензию капитану Чулкову — теперь

он в адмиралы вышел — на старшего офицера. Так совсем другой оборот. Выслушал это Чулков, насупившись, грозный такой, однако обещал по форме рассудить...

— Ну, и что же? Рассудил?

— Рассудил. Через неделю старший офицер списался с фрегата, будто по болезни, и мы вздохнули... И ничего нам не было... Вот, братец ты мой, какие дела бывали... Известно, шли на фарт...

— Ну, наш командир, небось, не даст команды в обиду!

— На капитана одна и надежда, а все-таки недоглядеть ему за всем. Зазудит нас долговязая немца!

Еще несколько времени продолжались толки о новом старшем офицере. Все решили пока что ждать поступков. Может, он и испугается капитана и не станет менять порядков, заведенных Степан Степанычем. Эти соображения несколько успокоили собравшихся. И тогда молодой писарек из кантонистов, отчаянный франт с аметистовым перстеньком на мизинце, спросил:

— А как же теперь насчет берега будет, Аким Захарыч? Отпустит он нас на Сингапур посмотреть?

— Об этом разговору не было.

— Так вы доложили бы старшему офицеру, Аким Захарыч.

— Ужо доложу.

— Всякому лестно, я думаю, погулять на берегу. Здесь, говорят, в Сингапуре, очень даже любопытно... И насчет красы природы, и насчет ресторантов... И лавки, говорят, хорошие... Уж вы доложите, Аким Захарыч, а то неизвестно еще, сколько простоем, того и гляди без удовольствия останемся.

В эту минуту на бак со всех ног прибежал молодой вестовой Ошурков и сказал боцману:

— Аким Захарыч! Вас старший офицер требует.

— Что ему еще?

— Не могу знать. У себя в каюте сидит и какие-то бумаги перебирает...

— Опять зудить начнет! Эка...

И, выпустив звучную ругань, боцман побежал к старшему офицеру.

— А ты у нового старшего офицера остаешься, Вань, вестовым? — спрашивали на баке у Ошуркова.

— То-то остаюсь. Ничего не поделаешь... Придется с им терпеть... По всему видно, что занозу мне бог послал вместо Степан Степаныча. Уж он мне зудил насчет евойных, значит, порядков... Чтобы, говорит, как машина, все сполнял!

III

Ненависть нового старшего офицера к Куцему и его угроза выбросить матросскую собаку за борт были встречены общим глухим ропотом команды. Все, казалось, удивлялись этой бессмысленной жестокости — лишить матросов их любимца, который в течение двух лет плавания доставлял им столько развлечений среди однообразия и скуки судовой жизни и был таким добрым, ласковым и благодарным псом, платившим искренней привязанностью за доброе к нему отношение людей, которое он, наконец, нашел после нескольких лет бродяжнической и полной невзгод жизни на улицах Кронштадта.

Смышленный и переимчивый, быстро усвоивавший разные предметы матросского преподавания, каких только штук не проделывал этот смешной и некрасивый Куцый, вызывая общий смех матросов и удивляя их своею действительно необыкновенной понятливостью! И сколько удовольствия и утех доставлял он нетребовательным морякам, заставляя их хоть на время забывать и тяжелую морскую жизнь на длинных океанских переходах, и долгую разлуку с родиной! Он ходил на задних лапах с самым серьезным выражением на своей умной морде, носил поноску, лазил на ванты и стоял там, пока ему не кричали: «С марсов долой!», сердито скалил зубы и ворчал, если его спрашивали: «Куцый, хочешь, брат, линьков?» — и, напротив, строил радостную гримасу, виляя весело своим обрубком, когда ему говорили: «Хочешь на берег?». Когда раздавался свисток и вслед за тем окрик боцмана: «Пошел все наверх!» — Куцый вместе с подвахтенными летел стремглав наверх, какая бы ни была погода, и дожидался на баке, пока не свистали: «Подвахтенных вниз!» А во время шторма он почти всегда бывал наверху и развлекал вахтенных во время их тяжелых вахт. Когда свистали к водке, Куцый вместе с матросами присутствовал

при раздаче и затем во время обеда обходил на задних лапах сидящих по артелям матросов, отовсюду получая щедрые подачки, и весело брехал в знак благодарности.

После обеда, когда подвахтенные отдыхали, Куцый неизменно ложился у ног Кочнева, пожилого и угрюмого бакового матроса, горького пьяницы, к которому питал необыкновенно нежные чувства и выказывал трогательную преданность. Он глядел матросу что называется в глаза и всегда почти вертелся около него, видимо несказанно довольный, когда Кочнев погладит его. Во время ночных вахт Куцый обязательно бывал при Кочневе, и когда тот сидел на носу, на часах, обязанный «смотреть вперед», Куцый нередко исполнял вместо своего приятеля обязанности часового. Он добросовестно мок под дождем, продуваемый насквозь свежим ветром, и, насторожив изгрызанные уши, зорко всматривался вперед, в темноту ночи, предоставляя матросу, закутанному в дождевик и согретому шерстью собаки, слегка вздремнуть, поклевывая носом. Завидев огонь встречного судна или внезапно выросший силуэт «купца», не носящего по беспечности огней, Куцый громко лаял и будил задремавшего часового. На берег Куцый всегда съезжал с Кочневым, шел с ним до ближайшего кабака и, отлучившись на часок, чтоб взглянуть на береговых собак, возвращался, иногда изгрызанный, к своему другу и уже не выпускал его из глаз. Он внимательно и с видимым сочувствием слушал пьяные монологи матроса, подавал реплики виляньем обрубка или ласковым визгом, если пьяный Кочнев вел с ним беседу на какие-нибудь, должно быть невеселые, темы, и сторожил матроса, когда тот валялся на улице в бесчувственном состоянии, пока не подходили товарищи и не подбирали его. Одним словом, Куцый выказывал истинно собачью привязанность к тому человеку, который доставил ему, гонимому бродяге, каждое утро рисковавшему попасть на аркан фурманщика, спокойный приют на корвете и сытую, приятную жизнь среди добрых людей, выразивших бродяге с первого же его появления на корвете самое милое и любезное внимание, которого он уж давно не видал.

В свою очередь, и угрюмый, малообщительный матрос был сильно привязан к своему найденышу,

оказавшему такие блистательные способности, не говоря уже о прекрасных нравственных качествах, и, кажется, только с ним одним и вел под пьяную руку длинные интимные беседы. Он рассказывал Куцему о том, как он неправильно, из-за одного «подлого человека» был сдан в матросы, и о своей жене, которая живет вроде бы «форменной барыни», и о дочери, которая знать его не хочет... И Куцый, казалось, понимал, что этот угрюмый матрос, пивший джин стаканчик за стаканчиком в каком-нибудь иностранном кабаке, рассказывает невеселые вещи.

Знакомство с Куцым произошло совершенно случайно. Это было в Кронштадте в один ненастный и холодный воскресный день, после обеда, дня за три до отхода «Могучего» в кругосветное плавание. Порядочно «треснувши» и выписывая ногами самые затейливые вензеля, Кочнев возвращался из кабака на корвет, стоявший в военной гавани, как где-то в переулке заметил собаку, угрюмо прижавшуюся к водосточной трубе и вздрагивающую от холода. Жалкий вид этой намокшей, с выдающимися ребрами, видимо бесприютной собаки, и притом самой неказистой наружности, обличавшей бродягу, тронул пьяненького матроса.

— Ты, брат, чей будешь?.. Видно, бездомный пес, а? — проговорил он заплетающимся языком, останавливаясь около собаки.

Собака подозрительно взглянула своими умными глазами на матроса, точно соображая: дать ли ей немедленно тягу, или выждать, не уйдет ли этот человек. Но несколько дальнейших слов, произнесенных ласковым тоном, видимо успокоили ее насчет его недобрых намерений, и она жалобно завывала. Матрос подошел еще ближе и погладил ее; она лизнула ему руку, видимо тронутая лаской, и завывала еще сильнее.

Тогда Кочнев стал шарить у себя в карманах. Этот жест возбудил в собаке жадное внимание.

— Голоден, небось, бедный! — говорил матрос. — А ты потерпи... Вот и нашел на твое счастье! — прибавил он, вынимая, наконец, из штанов медную монетку.

Он зашел в мелочную лавочку и через минуту бросил собаке куски черного хлеба и отрезки рубцов, купленных им на свои не пропитые еще две копейки.

Собака с алчностью бросилась на пищу и в несколько секунд сожрала все и снова вопросительно смотрела на матроса.

— Ну, валим на конверт... Там тебя накормят до отвала, коли ты такой голодный... Матросы — хорошие ребята... Не бойся! И переночуешь на конверте, а то что за радость мокнуть на дожде... Идем, собака!

Он ласково свистнул. Собака двинулась за ним и не без некоторого смущения вошла по сходням на корвет и вслед за матросом очутилась на баке среди толпы людей, испуганная и будто сконфуженная своим непривлекательным видом.

— Бродягу, братцы, нашел! — проговорил Кочнев, указывая на собаку.

Несчастный ее вид возбудил жалость в матросах. Ее стали гладить и повели вниз кормить. Скоро она, наевшись досыта, заснула недалеко от камбуза (кухни) и, не веря своему счастью, часто тревожно просыпалась во сне.

Наутро, разбуженная чисткой верхней палубы, собака испуганно озиралась, но Кочнев значительно успокоил ее, поставив перед ней чашку с жидкой кашей, которой завтракали матросы.

Спустя несколько времени, когда палуба была вымыта, Кочнев вывел ее наверх, на бак, и предложил матросам оставить ее на корвете.

— Пушай плавает с нами.

Предложение было принято с полным сочувствием. Обратились к боцману с просьбой испросить разрешение старшего офицера, и когда разрешение было получено, на баке поднялся вопрос, какую дать этому псу кличку.

Все посматривали на весьма неказистую собаку, которая в ответ на ласковые взгляды повиликала обрубок хвоста и благодарно лизала руки матросов, которые гладили ее.

— Окромя как «Куцым», никак его не назвать! — предложил кто-то.

Кличка понравилась. И с той же минуты Куцый был принят в число экипажа «Могучего».

Первоначальным воспитанием его занялся Кочнев и выказал блестящие педагогические способности. Через неделю уже Куцый понял неприкосновенность

сверкавшей белизной палубы и строгость моряков относительно чистоты и сделался исправной собакой. В первую же трепку в Балтийском море он обнаружил и свои морские качества. Его нисколько не укачивало, он ел с таким же аппетитом, как и в тихую погоду, и не выказывал ни малейшего малодушия при виде громадных волн, разбивающихся о бок корвета. Вскоре смывленный и ласковый Куцый сделался общим любимцем и забавлял матросов своими штуками.

И такого-то славного пса грозили выкинуть за борт!

Весть об этом взволновала едва ли не более всех Кочнева, и он решил принять все меры, чтобы этот «долговязый дьявол» не встречал Куцего. И в тот же день, когда Куцый с веселым, беззаботным видом выскочил наверх, как только что просвистали к водке, Кочнев отвел его вниз и, указав место в самом темном уголке кубрика, проговорил:

— Сиди, Куцый, здесь смирно, а то беда! Ужо я принесу тебе пообедать!

IV

Прошел месяц.

За это время матросы достаточно присмотрелись к новому старшему офицеру и невзлюбили его. Он, правда, до сих пор никого не наказал линьками, никого не ударил и вообще не обнаруживал жестокости, и тем не менее барона ненавидели за его придирчивость, мелочность, за то, что он приставал «как смола», «зудил» провинившегося в чем-нибудь матроса без конца и затем наказывал самым чувствительным образом: оставлял виновного без берега, лишая таким образом матроса единственного удовольствия дальних плаваний. А то ставил на ванты или посылал на «высидку» на нок и — что казалось матросам еще обиднее — оставлял без чарки водки, столь любимой моряками.

Барона ненавидели и боялись и за эти наказания, и за его бессердечный педантизм, не оставлявший без внимания ни малейшего отступления от расписания судовой жизни. Все чувствовали над собой гнет какой-то бездушной, упрямой машины и, главное, понимали, что в душе барон презирает матроса и смотрит на него исключительно как на рабочую силу. Никогда ни доброго слова,

ни шутки! Всегда один и тот же ровный и спокойный скрипучий голос, в котором чуткое ухо слышало высокомерно-презрительную нотку. Всегда этот жесткий взгляд голубых бесстрастных глаз!

Не пользовался он и уважением как моряк. На баке, этом матросском клубе, где даются меткие оценки офицерам, находили, что он далеко не «орел», каким был Степан Степаныч, а мокрая курица, выказавшая трусость во время шторма, прихватившего корвет по выходе из Сингапура. И дело он, по мнению старых матросов, понимал не до тонкости, хотя и всюду совал свой нос. И «башковатости» в нем было немного, а только одно упрямство. Одним словом, барона терпеть не могли и иначе не звали, как «Чертовой Зудой». Всякий опасался его наставлений, словно чумы.

Вначале барон вздумал было изменить порядки на корвете и вместо прежних недолгих ежедневных учений стал «закатывать» учения часа по три подряд, утомляя матросов, и без того утомленных шестичасовыми вахтами на ходу. Но, спасибо капитану, он скоро умерил усердие старшего офицера.

И об этом юркий капитанский вестовой Егорка рассказывал на баке так:

— Призвал он это, братцы, Чертову Зуду к себе и говорит: «Вы, говорит, Карла Фернандыч, напрасно новые порядки заводите и людей зря мучаете учениями. Пусть, говорит, по-старому остается».

— Что ж на это Зуда?

— Покраснел весь, ровно рак вареный, Зуда проклятая, и в ответ: «Слушаю-с, говорит, но только я полагал, что как для пользы службы...» — «Извините, господин барон,— это ему капитан вперебой: — я, говорит, и без вас понимаю, какая, говорит, польза службы есть... И польза, говорит, службы требует, чтобы матросов зря не нудили. Ему, говорит, матросу, и без ученьев есть дела много, вахту справлять, и у нас, говорит, матросы лихо работают и молодцы, говорит... Так уж вы о пользе службы не извольте очинно беспокоиться... а затем, говорит, я больше ничего не желаю вам сказать...» Так черт долговязый и ушел ошпаренный! — заключил Егорка, к общему удовольствию собравшихся матросов.

Вообще барон фон дер Беринг пришелся как-то «не ко двору» со своими новыми порядками и взглядами на дисциплину. В кают-компании нового старшего офицера тоже невзлюбили, особенно молодежь, вся пропитанная новыми веяниями шестидесятых годов и жаждавшая приложить их к делу гуманным обращением с матросами. Чем-то старым, архаическим веяло от взглядов барона, завязного крепостника и консерватора. Безусловно честный и убежденный, не скрывавший своих, как он говорил, «священных принципов», всегда несколько напыщенный и самолюбивый, прилизанный и до тошноты аккуратный, барон возбуждал неприязнь в веселых молодых офицерах, которые считали его ограниченным, тупым педантом и сухим человеком, мнившим себя непогрешимым и глядевшим на всех с высоты своего курляндского баронства. Не нравился он и «париям» флотской службы: штурману, артиллеристу и механику. И без того обидчивые и мнительные, они отлично чувствовали в его изысканно-вежливом обращении снисходительное презрение завязного барона, сознающего свое превосходство.

Не пришелся по вкусу новый старший офицер и капитану. Он не очень-то был благодарен адмиралу, наградившему его такой «немецкой колбасой», и не догадывался, конечно, что хитрый адмирал нарочно назначил барона старшим офицером именно к нему на «Могучий», уверенный, что командир «Могучего» скоро «сплавит» барона, и адмирал, таким образом, «умоет руки» и отошлет его с эскадры в Россию.

В кают-компании почти никто не разговаривал с бароном, исключая служебных дел, и он был каким-то чужим в дружной семье офицеров «Могучего». Только мичмана подчас не отказывали себе в удовольствии поддразнить барона, громя крепостников и консерваторов, не понимающих значения великих реформ, и расхваливая в присутствии барона Степана Степановича. «Вот-то приятно было с ним служить! Вот-то был знающий и дельный старший офицер и добрый товарищ! И как его любили матросы, и как он сам понимал матроса и любил его! И как они для него старались!»

— Его даже и Куцый любил! — восклицал курчавый белокурый мичман Кошутич, особенно любивший «травить» эту «немецкую аристократическую дубину». —

А Куцего что-то не видать нынче наверху, господа... Прячется, бедная собака. Что бы это значило, а? — прибавлял нарочно мичман, знавший об угрозе старшего офицера.

Барон только надувался, словно индюк, не обращая, по-видимому, никакого внимания на все эти шпильки, и с тупым упрямством ограниченного человека не изменял своего поведения и как будто игнорировал общую к себе нелюбовь.

В течение этого месяца Куцый действительно не показывался на глаза старшего офицера, хоть сам и увидел его еще раз издали, причем Кочнев, указавший на барона, проговорил: «Берегись его, Куцый!» — и проговорил таким страшным голосом, что Куцый присел на задние лапы. Прежняя привольная жизнь Куцего изменилась. По утрам, во время обычных обходов старшего офицера, Куцый скрывался где-нибудь в уголке трюма или кочегарной, указанном ему Кочневым, который немало употребил усилий, чтоб приучить собаку сидеть, не шелохнувшись, в темном уголке. И во время авралов уж Куцый не выбегал наверх. Благодаря урокам своего наставника довольно было проговорить: «Зуда идет», чтобы Куцый, поджав свой обрубок, стремительно улепетывал вниз и забивался куда-нибудь в самое сокровенное местечко, откуда выходил только тогда, когда раздавался в люк успокоительный свист какого-нибудь матроса. На верхнюю палубу Куцего выводили матросы в то время, когда барон обедал или спал, и в эти часы забавлялись по-прежнему забавными штуками умной собаки. «Не бойся, Куцый, — успокаивали его матросы, — Зуды нет». И матросы, оберегая своего любимца, ставили часовых, когда Куцый, бывало, давал свои представления на баке. Только по ночам, особенно по темным безлунным тропическим ночам, выспавшийся за день Куцый свободно разгуливал по баку и дружелюбно вертелся около матросов, но уже не дежурил с Кочневым на часах, не смотрел вперед и не лаял, как прежде, при виде огонька. Кочнев его не брал с собою, оберегая своего фаворита от гнева Чертовой Зуды, которого угрюмый матрос ненавидел, казалось, больше, чем другие.

Но, несмотря на все эти предосторожности, над бедным Куцыным в скором времени разразилась гроза.

Был знойный, палящий день в Китайском море. На голубом небе — ни облачка, и на море стоял мертвый штиль. Еще с рассвета наступило безветрие, паруса лениво повисли, и капитан приказал развести пары. Скоро загудели пары, и «Могучий», убрав паруса, пошел полным ходом, взяв курс на Нагасаки.

Старший офицер, особенно заботившийся о том, чтобы «Могучий» пришел в Нагасаки, где адмирал назначил «рандеву», в щегольском виде, уже в третий раз обходил сегодня корвет, придираясь ко всем и донимая всех своими нотациями. Он, видимо, был не в духе, хотя все было в идеальном порядке, все наверху горело и сияло под блестящими лучами ослепительного, жгучего солнца, повисшего, словно раскаленный шар, над заштилевшим морем. Барон только что имел снова не особенно приятное объяснение с капитаном и считал себя несколько обиженным. В самом деле, все его предположения, направленные, как он был уверен, к пользе службы, систематически отвергались этим «бесхарактерным человеком», как презрительно называл барон капитана, и отношения их с каждым днем все делались суше и суше. Вдобавок и эти мичмана то и дело подпускали ему всякие шпильки, но так, что не было никакой возможности сделать им замечания. И барон, озлобленный и надутый, высокомерно думал о том, как трудно служить порядочному человеку с этими глупыми русскими «демократами», не понимающими настоящей дисциплины и готовыми подрывать престиж власти.

Спустившись в жилую палубу и занятый своими размышлениями, он без обычного внимания заглядывал во все уголки, приближаясь к кубрику, как вдруг мимо его ног стремглав пронесся Куцый и выбежал наверх.

— Мерзкая собака! — проговорил барон, несколько испуганный неожиданным появлением Куцего, и, остановившись, невольно взглянул на место, по которому тот пробежал.

И в то же мгновение взгляд барона впился в одну точку палубы, как раз под люком трапа, ведущего на бак, и на лице его появилась брезгливая гримаса.

— Боцмана послать! — крикнул барон.

Через несколько секунд явился боцман Гордеев.

— Это что такое? — медленно процедил барон, указывая пальцем на палубу.

Боцман взглянул по направлению длинного белого пальца с перстнем и смутился.

— Что это такое, спрашиваю я тебя, Гордеев?

— Сами изволите видеть, ваше благородие...

И боцман угрюмо назвал, что это такое.

Барон выдержал паузу и сказал:

— Ты помнишь, что я тебе говорил?

— Помню, ваше благородие! — еще угрюмей отвечал боцман.

— Так чтобы через пять минут эта паршивая собака была за бортом!

— Осмелюсь доложить, ваше благородие,— заговорил боцман самым почтительным тоном, полным мольбы,— что собака нездорова... И фершал ее осматривал, говорит: брюхом больна, но только скоро на поправку пойдет... В здоровом, значит, виде Куцый никогда бы не осмелился, ваше благородие!.. Простите, ваше благородие, Куцего! — промолвил боцман дрогнувшим голосом.

— Гордеев! Я не имею привычки повторять приказаний... Мало ли какого вы мне наврете вздора... Через пять минут явись ко мне и доложи, что приказание мое исполнено... Да выскоблить здесь палубу! — прибавил барон.

С этими словами он повернулся и ушел.

— У, идол! — злобно прошептал вслед барону боцман.

Он поднялся наверх и взволнованно проговорил, подходя к Кочневу, который поджидал Куцего, чтоб увести его вниз.

— Ну, брат, беда... Сейчас Чертова Зуда увидал внизу, что Куцый нагадил, и...

Боцман не окончил и только угрюмо качнул головой.

Кочнев понял, в чем дело, и внезапно изменился в лице. Мускулы на нем дрогнули. Несколько секунд он стоял в каком-то суровом, безмолвном отчаянии.

— Ничего не поделаешь с эстим подлецом! А уж как жалко собаки! — прибавил боцман.

— Захарыч!.. Захарыч!.. — заговорил, наконец, матрос умоляющим, прерывающимся голосом. — Да ведь Куцый больной... Рази можно с больной собаки требо-

вать? Уж, значит, вовсе брюхо прихватило, ежели он решился на это... Он умный... Понимает... Никогда с им этого не было... И то сколько раз выбегал сегодня наверх... Захарыч, будь отец родной!.. Доложи ты этому дьяволу!

— Нешто я ему не докладывал? Уж как просил за Куцего. Никакого внимания. Чтобы, говорит, через пять минут Куцый был за бортом!

— Захарыч!.. Сходи еще... попроси... Собака, мол, больна...

— Что ж, я пойду... Только вряд ли... Зверь!..— промолвил боцман и пошел к старшему офицеру.

В это время Куцый, невеселый по случаю болезни, осунувшийся, с мутными глазами, с сконфуженным видом, словно чувствуя свою виновность, подошел к Кочневу и лизнул ему руку. Тот с какою-то порывистою ласковостью гладил собаку, и угрюмое его лицо светилось необыкновенною нежностью.

Через минуту боцман вернулся. Мрачный его вид ясно говорил, что попытка его не увенчалась успехом.

— Разжаловать грозил!..— промолвил сердито боцман.

— Братцы!..— воскликнул тогда Кочнев, обращаясь к собравшимся на баке матросам.— Слышали, что злодей выдумал? Какие его такие права, чтобы топить конвертскую собаку? Где такое положение?

Лицо угрюмого матроса было возбуждено. Глаза его сверкали.

Среди матросов поднялся ропот. Послышались голоса:

— Это он над нами куражится, Зуда проклятая!

— Не смеет, чума турецкая!

— За что топить животную!

— Так вызволим, братцы, Куцего! Дойдем до капитана! Он добер, он рассудит! Он не дозволит! — взволнованно и страстно говорил угрюмый матрос, не отпуская от себя Куцего, словно бы боясь с ним разлучиться.

— Дойдем! — раздались одобрительные голоса.

— Аким Захарыч! Станови нас во фронт всю команду.

Дело начинало принимать серьезный оборот. Аким Захарыч озабоченно почесал затылок.

В эту минуту на баке показался молодой мичман Кошутич, любимец матросов. При появлении офицера матросы затихли. Боцман обрадовался.

— Вот, ваше благородие,— обратился он к мичману,— старший офицер приказал кинуть Куцего за борт, и команда этим очень обижается. За что безвинно губить собаку? Пес он, как вам известно, справный, два года ходил с нами... И вся его вина, ваше благородие, что он брюхом заболел...

Боцман объяснил, из-за чего вышла вся эта «дрязга», и прибавил:

— Уж вы не откажите, ваше благородие, заступитесь за Куцего... Попросите, чтоб нам его оставили...

И Куцый, точно понимая, что речь о нем, ласково смотрел на мичмана и тихо помахивал своим обрубком.

— Вон, ваше благородие, и Куцый вас просит.

Возмущенный до глубины души, мичман обещал заступиться за Куцего. На баке волнение улеглось. В лице Кочнева светилась надежда.

VI

— Барон,— взволнованно проговорил мичман, влетая в кают-компанию,— вся команда просит вас отменить приказание насчет Куцего и позволить ему жить на свете... За что же, барон, лишать матросов собаки!.. Да и какое она совершила преступление, барон?..

— Это не ваше дело, мичман Кошутич,— ответил барон.— И я прошу вас не забываться и мнений своих мне не выражать. Собака будет за бортом!

— Вы думаете?

— Прошу вас замолчать! — проговорил барон и побледнел.

— Так вы хотите взбунтовать команду, что ли, своей жестокостью?! — воскликнул мичман, полный негодования.— Ну, это вам не удастся. Я иду сейчас к капитану.

И Кошутич бросился в капитанскую каюту.

Все, бывшие в кают-компании, взглянули на старшего офицера с видимой неприязненностью. Барон, бледный, с презрительной улыбкой на губах, нервно теребил одну бакенбарду.

Минуты через две капитанский вестовой доложил барону, что его просит к себе капитан.

— Что там за история с собакой, барон? — спросил капитан и как-то кисло поморщился.

— Никакой истории нет. Я приказал ее выкинуть за борт, — холодно отвечал барон.

— За что же?

— Я предупреждал, что если увижу, что она гадит, я прикажу ее выкинуть за борт. Я увидел, что она нагадила, и приказал ее выкинуть за борт. Смею полагать, что приказание старшего офицера должно быть исполнено, если только дисциплина во флоте действительно существует!

«О немецкая дубина!» — подумал капитан, и лицо его еще более сморщилось.

— А я попрошу вас, барон, немедленно отменить ваше распоряжение и впредь оставить собаку в покое. Она на корвете с моего разрешения! Мне жаль, что приходится вам отменять свое же приказание, но нельзя же отдавать подобные приказания и без всякого повода раздражать людей...

— В таком случае, господин капитан, я имею честь просить вас отменить самому мое приказание, а я считаю это для себя невозможным. И кроме того...

— Что еще? — сухо спросил капитан.

— Я болен и исполнять обязанностей старшего офицера не могу.

— Так подайте рапорт... И, быть может, вам береговой климат будет полезнее.

Барон поклонился и вышел.

На другой же день после прихода в Нагасаки барон фон дер Беринг, к общему удовольствию, списался с корвета, и на «Могучий» был назначен другой старший офицер. Матросы вздохнули.

С отъездом барона Куцый снова зажил свободной жизнью и стал пользоваться еще большим расположением матросов, так как благодаря ему корвет избавился от Чертовой Зуды.

По-прежнему Куцый съезжал на берег вместе со своим другом Кочневым и сторожил его; по-прежнему смотрел вперед и забавлял матросов разными штуками, причем при окрике «Зуда идет!» стремительно улепетывал вниз, но тотчас же возвращался, хорошо понимая, что врага его уже нет на корвете.

ИСАЙКА

I

Не только господа офицеры и баковая аристократия, но и все матросы звали этого тщедушного на вид, маленького, бледнолицего человека с типичным еврейским крючковатым носом, тонкими губами и серьезным и в то же время несколько пугливым взглядом больших, необыкновенно кротких черных глаз — не по фамилии, как обыкновенно водится, а уменьшительным именем Исайки. Другой клички ему не было, хотя Исайке уже минуло сорок и он был старым матросом, отслужившим шестнадцать лет, из обязательных в прежние времена двадцати пяти лет, в звании корабельного парусника, то есть мастерового, шившего и чинившего паруса.

Исайка давно привык к этой кличке. Он получил ее вслед за тем, как, бледный как смерть, тонкий, как спичка, в засаленном, рваном лапсердаке и в пейсах, явился, в числе других, в рекрутское присутствие, заседавшее в одном из городов Северо-Западного края, и, несмотря на свою узкую грудь и малый рост, на которые он так надеялся, услышал роковое: «Лоб». Как ни рыдала мать и как ни кланялся в ноги военному доктору отец, Исайку «забрили». Забрили и почему-то назначили во флот (вероятно, вследствие малого роста) и вскоре отправили с партией в Кронштадт. Во флотском экипаже, куда попал Исайка, его с первого же дня стали называть не по фамилии, а Исайкой.

Так с тех пор он и остался на всю жизнь Исайкой. «Не в кличке дело, а в том, чтобы на службе не били и не наказывали линьками и розгами!» — рассуждал

про себя Исайка и нисколько не обижался, что его зовут не так, как русских, тем более что отношение к нему матросов было превосходное и не лишенное даже некоторой почтительности. Решительно все, не исключая боцманов и унтер-офицеров, уважали Исайку, как вполне «правильного» человека, честного, тихого и усердного работягу в своем деле и притом «башковатого» и с «большим понятием», умевшего, при случае, объяснить то, чего никто другой на корабле не мог. А Исайка, по словам матросов, «все мог». И говорил он так убедительно и красноречиво, что его с удовольствием слушали, несмотря на еврейский акцент. Исайка, поступив на службу, сам выучился грамоте и читал не одни еврейские книги, а и русские. Он любил «заняться книжкой», что в те времена было редкостью среди матросов, в огромном большинстве безграмотных, и охотно беседовал о прочитанном.

Это-то и давало ему авторитет «ученого» человека, которым он умело пользовался.

Репутация Исайки давно установилась в экипаже, в котором он служил со дня поступления в матросы, и ни одно пятно не омрачило этой заслуженной репутации.

Правда, некоторые из матросов находили, что хотя Исайка и хороший человек, но все-таки «жид» и как-никак, а до известной степени виноват в том, что Иуда предал спасителя за тридцать серебреников и что предки Исайки, хотя и отдаленные, распяли Христа. Однако личные качества Исайки, не способного обидеть даже мухи, а не то что предать или распять кого-нибудь, в значительной мере смягчали виновность его за распятие Христа даже в глазах нескольких отчаянных юдофобов, среди которых особенно отличался категоричностью мнений рыжий и толстый писарь из кантонистов, Авдеев, рассказывавший про евреев самые невозможные вещи. Но и он в конце концов принужден был согласиться, что Исайка совсем не похож на «поганого жида» и не решится на «ихние подлые проделки». Убедило его главным образом то, что Исайка не жаден к деньгам. Последнее обстоятельство было хорошо известно Авдееву, который года три не отдавал занятых им у Исайки трех рублей, пользуясь его деликатностью.

И писарь высказывал иногда сожаление, что Исайка не выкрестится.

— Тогда вполне был бы форменным человеком! — прибавлял он.

Говорили об этом Исайке раньше и другие лица.

Отец Спиридоний, басистый иеромонах с Валаамского монастыря¹, бывший на корабле несколько кампаний священником, которому Исайка не раз вычищал и совсем заново вычинивал ряску, после того как отец Спиридоний бывал на берегу, — завел однажды речь об этом щекотливом предмете.

— Очень уж ты, Исайка, добросердый и некорыстный человек, — говорил своим густым, несколько осипшим после «берега» басом отец Спиридоний, принимая от Исайки рясу... — Вот, например, чинишь ты служителя божию и совсем чужой тебе веры и никакой мзды за сие не требуешь... Разве это не показывает в тебе, Исайка, истинно христианской добродетели?.. Другой вот и православный, а возьмет с попа гривенник, а ты жид, лишен благодати божией, а не берешь, — продолжал иеромонах, весьма довольный, что Исайка никогда не заикался о каком-нибудь вознаграждении за работу. — И знаю, что и впредь, ежели придется прибегнуть к твоей услуге, не откажешь. Не так ли, Исайка?

Исайка отвечал, что он всегда с удовольствием, если что починить.

— То-то и есть... Я и говорю, что в тебе душа христианская, даром что вера твоя, прямо ежели сказать, поганая. Уж ты не сердись за правду, Исайка, а все полагают, что поганая! — настаивал отец Спиридоний, и при этом его полное, слегка опухшее лицо добродушно и весело улыбалось.

Исайка не возражал. Но, видимо, не желая продолжать разговора в этом щекотливом направлении, осторожно и почтительно спросил:

— Так вам ничего больше не потребуется, батюшка?

— Нет, ты, Исайка, постой. Я имею тебе сказать нечто.

— Извольте сказывать, а я буду слушать, — деликатно отвечал Исайка, склонив чуть-чуть набок свою курчавившуюся голову.

¹ В те отдаленные времена, в начале тридцатых годов, на суда флота назначались малообразованные, нигде не окончившие курса, монахи для исполнения треб. Впоследствии выбор делался более тщательно. (Прим. автора.)

— Знаешь что, Исайка? Брось ты свою жидовскую веру... ну ее. Восприими-ка, братец, благодать божью и приобщись к лону чад православных. Главное — жалко мне тебя, Исайка... очень уж ты добронравный человек, а между тем душа твоя пропадает. Верь слову: пропадет! Жидам на том свете ты думаешь где место? В геенне огненной, в печи, значит. А что им предназначено? Как ты полагаешь?

— Вам лучше знать,— дипломатически молвил Исайка.

— Уголья глотать! — категорически объяснил отец Спиридоний и прибавил: — Перекрестись лучше...

— Что делать! Если уж милосердный бог такой на жида сердитый, как вы говорите, что велит горячий уголь глотать, я буду и уголь глотать, коли его на всех жидов хватит, а веры не переменю. В своей вере родился, в ней и помру, батюшка,— отвечал Исайка.

И, повертев в руках шапку, снова спросил:

— Так я, с вашего позволения, уйду, ежели вам больше ничего не требуется?

— Глупый ты человек, Исайка, ежели не хочешь души спасти.

— Видно, и есть глупый,— согласился Исайка, и по его лицу скользнула тонкая, едва заметная улыбка.— А может, еще что починить требуется?

— Спасибо, Исайка. Пока все в аккурате... Вижу: глух ты к истине. А ты о моих словах подумай.

— Зачем не подумать? О всяком слове надо подумать — на то всякому человеку бог рассудок дал. И жида не обидел! — прибавил с едва слышной иронической ноткой Исайка и шмыгнул из каюты.

«Не внемлет!» — подумал, вздохнув, отец Спиридоний.

И, полюбовавшись отлично починенной люстриновой ряской, пожалел, что такому доброму жиду, как Исайка, во всяком случае придется плохо на том свете.

II

Была и другая, более серьезная, попытка на Исайкину душу со стороны одной пожилой адмиральши в Кронштадте, которая на склоне лет, после веселой жиз-

ни, имевшей мало общего с ее позднейшими взглядами на женскую добродетель и супружеский долг, расточала еще обильный запас чувства уж не на земные, а на духовные победы.

Исайка шил адмиральше ботинки (он был искусный башмачник и шил с «фасоном»), получая за работу «что пожалуют». Пользуясь тем, что Исайка казенный человек и прислан был к ней подначальным мужу экипажным командиром, адмиральша «жаловала» бессовестно мало, но зато не прочь была спасти душу Исайки, обратив его на путь истины.

И вот однажды, вручив Исайке двугривенный за работу изящнейших ботинок с французскими каблуками и милостиво кивнув головой в ответ на: «Много благодарен, ваше превосходительство!»,— адмиральша сделала несколько шагов, чтобы попробовать, ловко ли сидят ботинки, и, удовлетворенная, присела затем на кресло и сказала:

— Ведь ты жид, Исайка?

— Точно так, ваше превосходительство! — отвечал Исайка, отступая к дверям.

Адмиральша вздохнула и повела речь о заблудших душах. Говорила она не без одушевления об истине и духовном возрождении, о тьме и свете, видимо наслаждаясь собственным своим красноречием, и окончила речь советом креститься, обещая Исайке, кроме спасения духовного, еще некоторые материальные блага. Она знает, что Исайка хороший и честный человек, и попросит мужа, чтобы Исайку произвели в унтер-офицеры и оставили при берегу.

Предложение было заманчивое, особенно перспектива быть постоянно на твердой земле, которую Исайка всегда считал несравненно приятнее и удобнее морской стихии.

Он так внимательно и, казалось, проникновенно, не моргнувши глазом, слушал адмиральшу, стоя на вытяжке, с руками по швам, у дверей столовой, в которой происходило это духовное назидание, что адмиральша почти не сомневалась в спасении Исайки и, благосклонно устремив на него когда-то красивые глаза и встряхнув легким движением головы пару седых буклей, украшавших поблекшие щеки, не без некоторой торжественности произнесла:

— Ты, конечно, хочешь быть христианином, Исайка? А я буду твоей крестной матерью! — прибавила она и милостиво улыбнулась.

Понимавший сам и умевший ценить тонкое обращение и вообще по натуре очень мягкий человек, Исайка призвал на помощь все свое дипломатическое искусство и всю силу своей изворотливости, чтобы не оскорбить адмиральшу и не возбудить ее неудовольствия сколько-нибудь непочтительным отказом от ее столь любезного предложения. Да, признаться, вдобавок и трусил, как бы не вышло для него какой-нибудь серьезной неприятности. Мало ли что вздумает начальство? При одной этой мысли у Исайки упало сердце.

И он начал с того, что несколько раз низко и усердно кланялся и благодарил, что такая превосходительная барыня удостоила обратить на недостойного Исайку свое милостивое внимание. Смел ли он ожидать такой чести?

И Исайка продолжал кланяться и благодарить в самых изысканных выражениях, какие только мог придумать, однако на вопрос адмиральши не отвечал и даже рискнул от благодарностей довольно ловко перейти к предложению сделать ее превосходительству летние башмачки самого последнего заграничного фасона, какие привезла из Парижа адмиральша Гвоздева.

— Я у их видел эти башмачки... Ай, какой красивый фасон, ваше превосходительство, ай, как аккуратно сработаны! — восхищался Исайка. — И обойдутся всего два рубля с моим товаром! — прибавил Исайка, решившись приплатить свои полтора рубля, чтобы только задобрить скупую адмиральшу и отклонить ее внимание от спасения его грешной души.

Адмиральша благосклонно приняла предложение и расспросила Исайку в подробностях о заграничных башмаках адмиральши Гвоздевой, и Исайка думал было окончательно откланяться, пообещав постараться над башмаками и доставить их через пять дней, как адмиральша спросила:

— Что ж ты, Исайка, на мой вопрос не ответил? Хочешь ты креститься?

Исайка принял вдруг серьезный и таинственный вид и, понижая голос, проговорил несколько конфиденциальным тоном:

— Никак не смею, ваше превосходительство.

— Отчего не смеешь?

— Из-за папеньки и маменьки, ваше превосходительство. Их жалко.

— Почему же жалко? — удивилась адмиральша.

— Они, ваше превосходительство, старые, глупые люди, живут в глуши и по необразованию своему скажут: «Разве можно свою веру менять, как, с позволения сказать, ночной «кустум», ваше превосходительство, и подумают, что ихний сынок Исайка продал свою совесть и поступил, осмелюсь доложить, как самый последний человек. Мои папенька и маменька люди без больших понятий, ваше превосходительство, не знают, какая вера самая правильная, и спросят: «По какой такой причине, Исайка, русские не меняют своей веры и живут, в какой родятся, а ты, Исайка, переменял, а?» И скажут: «Будь ты за это проклят, Исайка!» И будут всё плакать и плакать, что у их такой сын, и с горя помрут, ваше превосходительство! И мне будет очень стыдно и обидно, если из-за меня папенька и маменька помрут. Ай, как стыдно! А за ваше милостивое внимание к моей грешной душе дай бог вашему превосходительству счастья и здоровья... И господину супругу вашему и деткам... Не прикажете ли и им сапожки сделать? — неожиданно прибавил Исайка и снова закланялся.

Не лишенная находчивости ссылка Исайки на папеньку и на маменьку, которые давно уж мирно почивали в могилах, доводы, вложенные Исайкой в уста этих «глупых» людей, и, наконец, действительно баснословная дешевизна башмаков, обещанных Исайкой, — все это вместе произвело на адмиральшу благоприятное впечатление, и она ввиду затруднительности положения Исайки не настаивала более на спасении его души и даже похвалила Исайку за его любовь и почтение к родителям.

— Мальчикам пока не надо сапог, Исайка. У них еще хорошие.

Значительно успокоенный и даже повеселевший Исайка сентенциозно заметил, что «всякий человек должен почитать родителей», и прибавил:

— Так на башмачки пряжки прикажете поставить, ваше превосходительство?

— Не лучше ли банты, Исайка?

— Как прикажете, ваше превосходительство, но только, осмелюсь доложить, пряжки будут прочнее

бантиков... Конечно, можно и бантики, но последний фасон — пряжки, и у адмиральши Гвоздевой на башмачках пряжки.

— Так поставь и мне пряжки.

— Слушаю, ваше превосходительство.

Исайка теперь не спешил уходить, уверенный, что щекотливого разговора больше не будет. Заметив хорошее расположение адмиральши, он возымел смелую мысль — в свою очередь воспользоваться адмиральшей, чтоб избавиться, при ее посредстве, от плаваний и устроиться при берегу, не рискуя собственной душой.

И, осторожно переступив с ноги на ногу, он сказал:

— А уж я, ваше превосходительство, постараюсь, чтобы башмачки вышли не хуже заграничных. И всегда, что изволите приказать, сработаю на первый сорт и вам и молодым барчукам. Вот только летом никак не могу, потому в море посылают... Летом самый износ сапожкам у молодых барчуков,— подчеркнул Исайка,— а Исайки нет... Будь я при берегу, ваше превосходительство, тогда и ежели на счет починки, и новые сапожки... Только извольте потребовать.

— Что ж, я скажу мужу,— промолвила адмиральша.

— Премного буду благодарен, ваше превосходительство! Счастливо оставаться, ваше превосходительство! — ответил обрадованный Исайка и, повернувшись, как следовало по форме, налево кругом, вышел.

Однако Исайка при берегу не остался и в то же лето был отправлен в плавание. Адмиральша забыла про свое обещание и вскоре после разговора с Исайкой переехала с мужем в Петербург, и Исайке просить было некого. Да вдобавок им и дорожили на корабле как отличным парусником.

Но зато с отъездом адмиральши уже не было больше ни с какой стороны попыток спасти Исайкину душу, и он, твердый в своей вере, свято исполнял предписанные его религией обычаи по мере возможности. Необыкновенно религиозный, Исайка каждую пятницу по вечерам, на берегу ли, в плавании ли, забирался куда-нибудь в укромный уголок и, накинув на себя молитвенный плащ, долго и горячо молился, распевая тихим и гнусавым голосом свои однообразные и монотонные канты. Бледное, худое лицо Исайки, с большими черными глазами, в такие минуты светилось восторженным умиле-

нием и какой-то тихой скорбью, и голос его дрожал от наплыва религиозного чувства.

О чем он молился? Чего просил?

И никогда никто из матросов не позволил себе ни насмешки, ни какого-нибудь оскорбительного замечания. Напротив! Все с осторожной почтительностью обходили стоявшего на молитве еврея, и многие, дивясь его восторженной молитве, тихо, в каком-то удивленном раздумье говорили:

— Жид, а какой старательный к своему богу Исайка!

III

Не ставилось в осуждение Исайке и его боязни моря, особенно когда оно начинало волноваться, и какого-то непреодолимого, чисто физического страха к риску и опасностям, сопряженными с настоящим матросским делом.

Действительно, Исайка не мог побороть в себе этого чувства, и из него, конечно, не вышло моряка. Все шестнадцать лет своей службы он пробыл «нестроевым», занимаясь мастерством парусника. Ни разу не мог он подняться до марса — трусил и, переступив несколько вантин, спускался, чувствуя себя на палубе бесконечно счастливее, и не решался более повторять этих добровольных попыток в начале службы, так как звание нестроевого избавляло его от специально матросского дела. И только во время авралов, когда вызывали всех наверх, Исайка должен был исполнять обязанности простой рабочей силы: вместе с другими тянуть вниз, на палубе, какую-нибудь снасть, стоять у вымбовок на шпиге, при подъеме якоря и т. п., что он и исполнял всегда с замечательным усердием. Он добросовестно «трекал» снасть или наваливался грудью на вымбовку, напрягая все свои слабые силы и полный самолюбивого задора показать, что и он может работать не хуже других.

Но всего, что было на корабле выше палубы, он боялся и с боязливым почтением взглядывал на верхушки высоких мачт. При одной мысли о том, что его вдруг могли бы послать в свежую погоду крепить марсель, стоя на веревочном перте стремительно качающейся реи,

или на зарывающийся в воду бугшприт — убирать кливера, Исайка весь холодел, жмурил глаза и как-то беспомощно отмахивался, словно от страшного призрака, своими маленькими и худыми, совсем нематросскими руками, с тонкими костлявыми пальцами, мастерски владевшими громадной парусной иглой.

— Таким уж, значит, пужливым Исайку господь создал, а он не виноват. И рад был бы, а не может. Нутро не принимает. Пошли Исайку, примерно, на брам-рею — со страху помрет!

— И не доползет, а свалится в море.

— Совсем нематросского звания человек Исайка.

— И силенки в ем никакой нету.

Так о нем рассуждали матросы и, готовые осудить и поскалить зубы над всяким проявлением трусости в товарищах, в суждениях об Исайке, с чуткостью понимания, прикладывали к нему особую мерку, и если некоторые старые матросы, случалось, и подсмеивались по этому поводу над Исайкой, то самым добродушным образом и без всякого намерения унижить или оскорбить его, тем более что и сам Исайка не скрывал своей слабости.

— Всего мне дал бог,— говорил Исайка,— и рассудка, и старания, и терпения, а вот матросской храбрости не дал, братцы... Видно, всякому человеку своя доля, и бог не желает, чтоб еврей был матросом... «Будь ты мастеровой и живи на сухом пути!» — вот что повелел господь еврею,— прибавлял Исайка, приписывая господу богу свои собственные заветные желания.

— А что, Исайка, ежели вдруг да старший офицер пошлет тебя на выsidку на нок! — шутил кто-нибудь из унтер-офицеров или старых матросов.

— Не пошлет! Зачем меня посылать?

— А за наказание.

— Пхе! За что меня наказывать? Я чиню себе паруса в подшкиперской, и никто меня не видит... И справляю свое дело аккуратно... Старший офицер умный человек...

— Умный-то умный, а ежели взъерепенится, так и ум потеряет... Мало ли за что можно придраться зря... Точно не знаешь. Увидит тебя на палубе и крикнет: «Послать Исайку на нок. Пусть Исайка проветрится!»

В необыкновенно живом воображении Исайки, хоро-

шо знавшем, какие бывают случайности на военном корабле, уже мелькало представление о возможности чего-либо подобного и мгновенно складывалось в яркую картину. И он испуганно восклицал:

— Ууу!.. Не может этого быть!

И вслед за тем так же быстро соображал, что это вздор и что с ним шутят, и сам улыбался и добродушно-спокойно говорил:

— А ты, Матвейч, не пужай. Я и без того пужаюсь.

В свежую погоду Исайка обыкновенно чувствовал себя нехорошо и тревожно, хотя его и не укачивало, и когда, случалось, большой деревянный корабль, выдерживая трепку, стонал и скрипел всеми своими членами, Исайка, притихший, с широко раскрытыми глазами, шептал побледневшими устами молитвы, забившись в уголок подшкиперской каюты и прислушиваясь к бульканию воды, ударявшейся о борт. Наверх он не выходил в такую погоду, не желая глядеть на эти свинцовые расхोdivшиеся волны, подбрасывавшие трехдечный старинный корабль, как щепку, и вселявшие в сердце Исайки панический страх. И он предпочитал пережить бурю в одиночестве, в полутемной каюте, заваленной парусами и кругами веревок и тросов, не показываясь на глаза людям и не стыдясь вздрагивать и охать при каждом стремительном подергивании судна.

Но если свистали: «Всех наверх четвертый риф брать!» — Исайка с тоской на сердце, проклиная несчастную свою судьбу, стремительно, однако, выбегал вместе с другими на верхнюю палубу и старательно тянул снасти, лётом перебегая с места на место, и избегал поднимать глаза на беснующееся море. Зачем на него, постылое, смотреть!

И в такие минуты, как нарочно, задорно пробежали мысли о маленьком спокойном угле где-нибудь на твердой земле, в котором он сидит в тепле, на маленькой табуретке, и тачает себе сапоги или башмаки самого последнего фасона, в то время как в голове толпятся разнообразные мысли насчет разных дел человеческих и божьих, которые занимают его пытливый и деятельный ум.

«Уж лучше бы забрили в солдаты!»

Трусливый сам, Исайка зато с каким-то особенным почтением и в то же время с замиранием сердца порой

смотрел на марсовых, которые в такую бурю лихо взбегали по вантам, затем, словно гигантские муравьи, расползались по реям и, припадая к белому парусу, захватывали надувшуюся мякоть его какою-то невидимой силой.

— Уфф! — вырывалось из Исайкиной груди восклицание, выражавшее и одобрение и ужас, что вот кто-нибудь да сорвется и упадет в море или с шумом шлепнется на палубу, разможенный и окровавленный.

Такие случаи бывали почти в каждое плавание и всегда потрясали Исайку.

И он поспешно опускал свои глаза и снова смотрел себе под нос, невольно проговорив соседу, словно бы желая излить свое восторженное изумление:

— Ай, какие же храбрые! И как они ничего не боятся!

— Кто это, Исайка?

— Да они, наши матросики! — шептал Исайка без горделивого чувства за тех, которые были так непохожи на него.

IV

Но несравненно более качающихся рей и бурь боялся Исайка линьков, розог и кулачной расправы. Телесные наказания вселяли в него не один только панический страх физического страдания, но инстинктивный ужас позора поруганного человеческого достоинства. А оно было сильно развито у Исайки, как и у многих евреев, в нравах которых нет привычки к унижительным наказаниям, с детства знакомым русскому крепостному народу того времени.

Этот страх, доходивший у Исайки до какой-то болезненности и постоянно державший его в нервном напряженном состоянии боязни не вызвать чем-нибудь гнева в ком-либо из начальствующих лиц, обратился в привычку. И несмотря на шестнадцать лет благополучно проведенной службы, Исайка всегда был настороже, словно заяц, чуявший близость собак. Ведь в те отдаленные времена, когда матросов дрессировали жестокими порками за малейшую оплошность и когда самая жестокость была в моде среди моряков, так легко и воз-

можно было нарваться даже и при чуткой осторожности Исайки!

Исайка был необыкновенно чувствителен для того «жестокоего» времени. Вид обнаженной матросской спины, на которую с тихим шлепаньем падали удары линьков, наносимые сердитыми, подчас озверевшими унтер-офицерами или боцманами, под зорким наблюдением привыкшего к таким зрелищам офицера, это покрывающееся синими полосами с багровыми подтеками тело, эти покорные вначале стоны человека, переходящие потом в какой-то дикий вопль беззащитного животного и затем иногда совсем затихавшие от потери чувств,—наполняли душу Исайки невыразимым ужасом и состраданием. И когда ему случалось быть свидетелем таких наказаний, производившихся в некоторых случаях в присутствии всей команды корабля, Исайка, бледный как смерть, вздрагивая всем своим тщедушным телом, едва стоял на ногах и украдкой вытирал невольные слезы, страшась, чтоб их не заметили.

Само собою разумеется, Исайка добровольно никогда не решился бы присутствовать на таких экзекуциях. Когда, после учений и авралов, раздавалось, бывало, приказание наказать кого-нибудь и побледневший матрос шел на бак, покорный или с напускным видом бесшабашного удалства, Исайка улепетывал вниз, в подшкиперскую каюту, забивался в угол и, затыкая уши, потрясенный, взволнованно шептал молитвы, и его большие кроткие и испуганные глаза светились невыразимою скорбью.

— Жалостливый Исайка! — говорили про него.

А Исайка не только страдал, но и невольно изумлялся выносливости и мужеству, с какими многие матросы выдерживали наказания, наводившие на Исайку такой трепет.

Особенно поражал его один из близких его друзей, каким, по странному контрасту, был Иван Рябой, коренастый, широкоплечий, сильный и приземистый матрос лет сорока, лихой и бесстрашный марсовой, ходивший на штык-болт, то есть исполнявший самое трудное и опасное дело на ноке (оконечности реи), и при этом отчаянный забулдыга и пьяница, не особенно строгих правил человек, во хмелю буйный и невоздержанный на язык. Рябего пороли довольно часто и допороли до то-

го, что он, бывало, бился об заклад на чарку водки, что не пикнет до пятидесяти ударов. И действительно не ронял звука и только, бледный, с злобно-искаженным лицом, на котором блестели крупные капли пота, стискивал зубы. После выигрыша чарки Рябой начинал слегка вскрикивать. От крика, по его словам, «не так дух спирало». Получив иногда сто линьков, Рябой надевал спущенную с плеч рубаху и уходил, как встрепанный, выкурить трубку махорки. Затем обыкновенно спускался вниз к Исайке, который в подшкиперской чинил паруса, и говорил:

— Сотню, подлецы, всыпали, Исайка.

— Сотню? Ай, ай, ай!! — испуганно вскрикивал Исайка, не совсем, впрочем, доверяя счету приятеля, так как и бодрый вид его и тон голоса далеко не соответствовали получению такого количества ударов.

— И лупцовали ж я тебе скажу, Исайка. Особенно этот дьявол Чекушкин наваливался... Из-за вчерашнего пьянства. Сказывали: сгрубил вахтенному начальнику... А я, хоть убей, не помню... Ты, брат, мази своей приготовь. Ужо попрошу товарища спину вымазать.

Исайка умел готовить какую-то мазь, облегчавшую, по словам матросов, боль в спине после наказания, и многие пользовались Исайкиной мазью.

— Как просвищат «отдыхать!» — готовлю. Фершал припасу даст, — отвечал Исайка и как-то боязливо спросил: — А очень больно?

Лицо Исайки имело такой страдальческий вид, что со стороны можно было подумать, будто наказанный был Исайка, а не Рябой, загорелое, грубое и смелое лицо которого, полное выражения какой-то бесшабашной удали, с бойкими, добродушно-плутоватыми серыми маленькими глазами, не имело в себе ничего страдальческого.

— Затем, братец ты мой, и порют, чтоб было больно! А ты думал так, здря? — отвечал, усмехнувшись, Рябой... — А уж я подлецу Чекушкину на берегу морду искровяню, будь спокоен, даром что унтерцер. Тесто из его хайла сделаю! — неожиданно прибавил матрос.

И обыкновенно добродушный взгляд загорелся злым огоньком.

— Ай, ай, Иваныч! За что?

— А за то, чтобы он, живодер, не старался! Ты бей, коли твоя должность такая собачья, по форме, а не зверствуй над своим же братом!

— Хуже будет, Иваныч. Он тебе после припомнит, если опять...

Исайка деликатно не доканчивал и, вздыхая, прибавлял:

— Все из-за вина.

— То-то из-за вина, Исайка. Ты вот башковатый человек, а не поймешь, что матросу надо погулять... Без вина, братец ты мой, совсем бы служба опаскудила... Ты это возьми в толк, Исайка.

— Отчаянный ты, Иваныч... Ничего не боишься... Сто линьков?.. Ай, ай! И как ты только выдержишь?

— Шкура-то пообилась. И не такую плепорцию, слава богу, выдерживал! — не без хвастливости говорил Рябой. — Небось унижаться перед ими, подлецами, не стану, коли они за беспамятство с тебя шкуру сдирают. Сгуби, значит, я тверезый — запори насмерть, это правильно, а с пьяного разве можно взыскивать?.. Разве это по совести?..

— Совесть-то люди давно забыли, Иваныч, — раздумчиво говорил Исайка.

— То-то и есть. Люди забыли, и я, значит, пьянствую... Пори, сделай милость... Пори только с рассудком, не наваливайся!.. Я и три сотни приму и в лазарет лягу!

— Ишь ты! — шептал Исайка и с каким-то почти-тельным изумлением взглядывал на Рябого...

— А ты небось, Исайка, и пятидесяти линьков не примешь? И от такой малости из тебя дух вон. Уж во все ты щуплый, Исайка! — смеялся Рябой, поглядывая на тщедушную фигуру Исайки с снисходительным сожалением здорового крепкого человека.

Исайка жмурился от страха при этих словах и взволнованно, с какою-то необыкновенной серьезностью в голосе произносил:

— А срам? От одного срама помереть можно... И-и-и!

И Исайка даже взвизгивал.

— Какой срам? — недоумевал Рябой. — Это ты, Исайка, со страха мелешь!.. Ежели кому срам — так тому, кто человека не жалеет и за всякую малость велит

тебя полосовать... Тому так срам... А матросу никакого срама нет... Бог-то ему за то на том свете все грехи простит... Потому — матросик все стерпел.

На этом пункте Исайка никогда не сходилась с Рябым, и тут они друг друга совсем не понимали.

Сблизились они лет семь тому назад совсем неожиданно и по особенному случаю.

Оба они были в одной роте на берегу и оба в летние морские кампании плавали вместе на восьмидесяти-четырехпушечном корабле «Поспешном», но отношения их друг к другу были холодные и даже не особенно дружжелюбные. Тихий и мирный Исайка хоть и преисполнен был почтительного уважения к бесшабашной удали лихого матроса, считавшегося первым марсовым на корабле, но его грубый разгул на берегу, его не особенно щекотливые понятия насчет способов добывания денег на выпивку, слухи о том, что Рябой будто бы в темные осенние ночи уходит из казармы и не прочь в глухом переулке ограбить запоздавшего офицера, — все это далеко не располагало Исайку к забулдыге Рябому. И тот, в свою очередь, смотрел на Исайку с некоторым презрением как на «поганого жида» и вдобавок отчаянного труса. Однако никогда не задирал его, считая это ниже своего достоинства... Стоит ли Исайка того?

Однажды, отпущенный в воскресенье со двора, Рябой поздно ночью был приведен в казармы в бесчувственном состоянии и почти голым. Сапоги и казенная шинель были пропиты Рябым. Даже и он оробел, когда, проснувшись на следующее утро, узнал, что случилось. В роте тотчас же стало известно, что Рябой пропил казенные вещи, и все говорили, что за это его отдерут «форменно», как сидорову козу, меньше как пятьсот розог за такое дело не дадут — шинель новая.

Фельдфебель несколько раз съездил Рябого по уху больше для соблюдения своего престижа, чем для вразумления такого отпетого человека, — что ему, мол, от боя! — и обещал скрыть от ротного командира до вечера, если Рябой добудет шинель.

А он даже не помнит, за сколько она была оставлена в знакомом кабаке, где Рябой постоянно пьянствовал. И как добыть шинель? Где достать такие деньги?

— Придется, видно, шкурой заплатить за шинель, Авдей Трифоныч! — объявил он развязным тоном, ста-

раясь скрыть перед фельдфебелем свою душевную тревогу.

— В этом не сумлевайся, блудящий кобель, пьяная твоя рожа! Отполируют тебя, подлеца, начисто, во всем аккурате... Проймут и твою барабанную шкуру, не бойся. А то пожалуй, еще и под суд отдадут, попадешь в арестантские роты... Как ротный на это дело взглянет... Не в первый это раз ты казну объегориваешь...

Старик фельдфебель (он же боцман первой вахты на «Поспешном») говорил, по-видимому, суровым, бесстрастным тоном, прибавляя ругательства без всякого увлечения. Однако в его глазах светилось участие. Уж очень удалый и бесстрашный был марсовый, этот забулдыга и пьяница!

— Уж ты попытай, извернись как-нибудь, беспардонный дьявол, а я до вечера докладывать не буду! А дальше не могу. Сам службу понимаешь! — прибавил не без теплой нотки в голосе старик и словно бы оправдываясь.

— Спасибо и на том, Авдей Трифоныч, но только уж все равно с утренним лепортом доложите ротному... Чего еще ждать?

— А ты форцу на себя не напускай, не куражься... Небось всыпка будет отчаянная... Да и вовсе пропасть можешь... Попытай, говорю... Или еще не проспался, суций ты сын? Слышь: до вечера ротному не доложу.

Исайка, уже давно сидевший в своем уголке за работой, прослышал про то, какая грозила беда Рябому, и лицо его отразило жалость и в то же время какую-то внутреннюю борьбу. Так просидел он, ожесточенно двигая шилом, минут пять и, наконец, полный решимости, встал и пошел на другой конец казармы, где угрюмо сидел Рябой.

— А что я тебе скажу, братец, — проговорил своим тоненьким голоском, слегка нараспев и несколько таинственно Исайка, подходя к Рябому.

Рябой вопросительно поднял на Исайку злые глаза и равнодушно опустил их.

— Знаешь, что я тебе скажу?..

— Ну что пристал: «скажу да скажу»? Сказывай.

— За сколько ты пропил шинель?

— А тебе что?.. Чего лезешь?

— Ты только скажи, а мне есть дело! — продолжал Исайка и одобрительно и ласково подмигнул глазом.

— А черт его знает за сколько?

— Гмм... Денег не брал?.. Пил только. А много ты примерно выпил?.. Штофа два?

— И полведра вали. Я ведь не жид, а хрещеный.

— Ай, ай, полведра! — ахнул Исайка.

— Да ты к чему это гнешь?.. — уже мягче спросил Рябой, взглядывая на Исайку и пораженный необыкновенно участливым выражением его лица.

— Хочу шинель твою достать! — кротко промолвил Исайка. — Объясни, в каком кабаке ты ее оставил. А уж я шинель принесу.

— Ты? — выговорил только Рябой.

И больше не мог в первое мгновение ни слова прибавить, тронутый до глубины души этим великодушным предложением.

— Век не забуду, Исайка! Вызволил! — наконец дрогнувшим голосом проговорил Рябой и, вероятно желая выразить свои чувства во всей полноте, прибавил: — Жид, а какой добрый!

Исайка чуть-чуть усмехнулся от этого комплимента и стал расспрашивать, где кабак, в котором Рябой вчера пьянствовал.

Рябой подробно объяснил и смущенно прибавил:

— Только целовальник сдерет... Пожалуй, рублей пять заломит!

На физиономии Исайки появилось деловое выражение кровного еврея, собирающегося сделать коммерческое дело, и он снова подмигнул глазом, на этот раз не без некоторого лукавства, и сказал:

— Небось Исайка будет торговаться, Исайка лишней копейки не даст.

Он тотчас же отпросился у фельдфебеля со двора и отправился в указанный Рябым кабак.

Прожженный молодой ярославец-кабатчик, увидев Исайку, вопросительно повел на него глазами. Исайка деликатно объяснил, что пришел за шинелью Ивана Рябого.

— А деньги принес?

— Вам сколько денег?

— Семь рублей, — не мигнув глазом, отвечал кабатчик.

— Не много ли будет? — прищутив глаза, протянул Исайка.

— А много, так уходи.

— Я бы и ушел, да товарища жалко... Вы сами знаете, казенная вещь... Ему достанется... Казенная вещь — царская... Как ротный узнает, что вы у матроса взяли царскую вещь, большие неприятности выйдут... Ай, ай, ай! какие неприятности!.. Полиция и все такое. Царская вещь не может пропасть. — И Исайка с серьезным видом покачал головой. — Рябой приказал отдать полтора рубля и просить шинель и сапоги... А уж затем, как вам будет угодно! — прибавил Исайка равнодушным, казалось, тоном и сделал вид, будто собирается уходить.

— Да ты постой...

— Извините!.. Мне некогда... Я казенный человек. Меня сам господин фельдфебель послал, Авдей Трифонович — извольте знать? Он тоже у вас вино берет. «Ходи, говорит, Исайка, за шинелью, чтоб не было, говорит, неприятностей».

Начали торговаться. Исайка несколько раз выходил из кабака и возвращался, желая сберечь свои кровные деньги, которые он хранил как зеницу ока. И было-то у него прикоплено всего-навсего рублей двадцать от двугривенных, которые ему давали — и то не всегда — за его работу.

Наконец шинель и сапоги были выкуплены за два рубля двадцать копеек, и Исайка, завернув вещи в узел, ушел, веселый и торжествующий, из кабака, не обращая никакого внимания на то, что обозленный сиделец выругал его вслед подлой жидовской харей.

С этого дня Иван Рябой и Исайка сделались большими приятелями, хотя и не совсем понимали друг друга.

V

Много ума, осторожности, изворотливости и такта нужно было Исайке, чтобы за шестнадцать лет своей службы в те старые жестокие времена уберечься от наказаний. Но Исайка с первых же дней службы был так усерден, так безукоризненно вел себя, так старался, что решительно не было возможности к нему и придраться. Да и невольно жаль было как-то этого безответного, боязливого, смиренного и совсем тщедушного человека с

большими кроткими глазами. Когда в первый год службы какой-то унтер-офицер избил Исайку, Исайка так горько плакал целую ночь, что даже унтер-офицер, избивший его, почувствовал нечто похожее на угрызения совести.

Вдобавок Исайка, по неспособности к строевой службе, состоя в мастеровых, находился и вдали от глаз начальства на корабле. Ближайших начальников у него было только двое: шкипер-офицер из бывших боцманов да подшкипер, с которыми Исайка умел отлично ладить и задабривать их при случае. А прочее начальство, особенно строгое с матросами, до него и не касалось. Сиди себе в подшкиперской и чини паруса да выходи наверх лишь во время авралов.

Помимо того что Исайка что называется из кожи лез, отличаясь безустанной работой и безукоризненным поведением, он, как человек умный и наблюдательный, знал, чем взять, кроме усердия. На берегу он постоянно шил и ротным своим командирам и фельдфебелям сапоги, обшивал их жен и детей, а летом то же самое делал для шкипера и его помощника — разумеется, даром. И все обходились с Исайкой ласково, считая его золотым человеком. На всякое ремесло он был мастер. Раз даже игрушку хорошую сделал и поднес сынишке экипажного командира, супруге которого, конечно, шил башмаки.

Исайка каждый день благодарил бога, что служба, которой он так боялся вначале, оказалась для него не особенно страшной, — море только его пугало! Но уж служить оставалось немного. Года через четыре его, наверное, уволят в бессрочный отпуск, и тогда конец этим вечным страхам! Вольный человек!

И он иногда мечтал, как будет жить постоянно на твердой земле, займется мастерством в Кронштадте, где его все знают, и заживет себе спокойно и тихо, как следует честному еврею.

Одно обстоятельство только смущало Исайку в последнее время. Он был неравнодушен к одной матросской вдове, известной на Кронштадтском рынке, где летом она торговала зеленью, а по зимам имела ларь с разным мелочным товаром, под именем «рыжей Анки». Эта рыжая Анка, здоровая и толстая баба, лет тридцати пяти, с широкими бедрами и рыхлым лицом, покры-

тым веснушками, тоже посматривала на Исайку своими голубыми лукавыми глазами не без вызывающего кокетства. Ее любовник матрос ушел на три года в «дальнюю», и она была свободна. А Исайка был обстоятельный человек и умел давать ей отличные советы по части торговли. Без него у нее едва хватало на хлеб да на квас, а как он с ней познакомился — совсем другой оборот вышел. Умен Исайка на торговлю — откуда только выдумка шла. И башмаки ей великолепные сделал, и в долг на покупку товара десять рублей дал!

И Анка не прочь была бы связаться с «жидом» — пусть на рынке смеются, наплевать. И то уже смеются!

Но Исайка не делал решительных авансов, не имея смелости признаться Анке в своей склонности. Да и согласится ли она жить с жидом? О браке Исайка, разумеется, и не думал.

По всей вероятности, робкий Исайка так бы и остался тайным вздыхателем, если б в начале лета, когда уже «Поспешный» вытянулся на рейд, Исайка однажды утром в воскресенье не зашел купить у Анки на копейку луку.

Выбрав пучок и порасспросив Анку о делах, Исайка хотел было уходить, как Анка, заглянув в глаза Исайки, лукаво спросила:

— Только луку тебе от меня и надо, Исайка?

— Чего ж я смею кроме луку, Анна Спиридоновна? — значительно протянул Исайка...

— Чего?.. Ах ты лукавый Исайка! — рассмеялась Анка и нежно прибавила: — Нечего на корабль идтить; ужо приходи ко мне пить чай!

С того дня Исайка стал чаще съезжать на берег, и когда «Поспешный» ушел в море, Исайка принялся шить Анке самые фасонистые башмаки и написал ей два письма, в которых с трогательным красноречием изливал перед ней душу, закончив деловыми советами насчет зимней торговли, которую уж они вели теперь сообща после памятной покупки пучка луку.

VI

Ах, как не хотелось Исайке идти на следующее лето в море!

Ему не хотелось расставаться с рыжей Анкой, к которой он серьезно привязался, но главное — его трево-

жило назначение нового командира экипажа и корабля «Поспешного». Про него ходили неутешительные слухи — как об отчаянном «мордобое», который, командуя фрегатом, порол без всякой пощады и, когда пылил, то был ровно бешеный. Об этом только и было толков среди матросов, и даже Иван Рябой как-то сказал Исайке, что бросит пить...

— Зверь, рассказывают!

И действительно, это лето Исайке приходилось чуть ли не ежедневно улепетывать вниз и забиваться в угол, вздрагивая от ужаса. Почти ни одного ученья не проходило без того, чтобы не было экзекуций. Наказывали по несколько человек. Капитан требовал, чтобы матросы работали «как черти», и если, например, паруса крепили не в три, а в три с половиной минуты, то всех опоздавших марсовых и с их унтер-офицерами пороли линьками. В те времена было щегольство на быстроту работ, и каждый капитан хотел отличиться. Это был особенный морской шик.

Все это плаванье Исайка постоянно находился в каком-то напряженном состоянии страха и особенно боялся авралов, когда и ему приходилось выбегать наверх и видеть этого высокого широкоплечего человека с суровым красным лицом, стоявшего на юте, расставив ноги, и грозно посматривавшего на работы. Мертвое молчание царило в такие минуты на палубе. Матросы старались изо всех сил, взлетали как бешеные по вантам, разбегались, точно по гладкому полу, по реям и крепили паруса с лихорадочной поспешностью страха. Какой-то трепет чувствовался всеми, не исключая и боцманов. И офицеры с испуганной озабоченностью стояли у своих мачт, поднявши кверху головы, и лишь изредка тихо ругались, заметив, что где-нибудь работают не так скоро или какая-нибудь снасть «заела», то есть не идет.

И этот один человек, заставлявший всех трепетать, радовался, что в два месяца так «подтянул» всех. Лицо его светилось довольной улыбкой, когда паруса «сгорали» или когда на артиллерийском ученье большие орудия откатывались, как легкие игрушки, в руках надрывавшихся матросов...

Но случалось — и нередко — лицо капитана вдруг багровело, глаза наливались кровью, и он, с поднятыми кулаками, точно исступленный кидался вниз, несся на

бак и бил боцманов, бил попавшихся под руку матросов, оглашая воздух ругательствами.

— Запорю! — кричал он, не помня себя от ярости.

Оказывалось, что на баке громко разговаривали или не скоро убрали кливеров...

В такие минуты Исайка замирал от страха.

Плавание уже кончалось, к общей радости матросов и офицеров. «Поспешный» возвращался под всеми парусами в Кронштадт с попутным брамсельным ветром из Балтийского моря.

У Гогланда налетел шквал, и по оплошности вахтенного офицера, не убравшего вовремя парусов, разорвало фор-марсель в клочки.

Капитан рассвирепел и напустился на офицера, грозя его отдать под суд. Засвистали менять фор-марсель. Подшкипер бросился в подшкиперскую и второпях указал прибежавшим матросам не на тот марсель, какой надо было взять, а на другой, еще требовавший починки. Никто этого не заметил. Не заметил и Исайка.

Минут через восемь разорванный марсель был отвязан и принесенный — в виде огромного длинного свернутого узкого мешка — привязан. Его распустили, и — о ужас! — несколько дыр зияло на парусе.

Исайка увидал и стал белей рубашки.

Капитан уже был на баке.

— Подшкипера сюда... Парусника!..

Подшкипер и Исайка стояли перед капитаном.

— Ты парусник? — спросил капитан, вперяя налитые кровью глаза на дрожавшего как лист Исайку и окидывая его уничтожающим взглядом.

— Я, ваше высокоблагородие! — едва пролепетал Исайка.

— Ты, подлец? Боцмана! В линьки его! Сию минуту.

Исайка затрясся, точно в лихорадке. Зрачки глаз расширились. Судороги пробежали по его лицу...

— Ваше высокоблагородие... Я не... не виноват.

— Не виноват?!.. Эй!.. Спустить ему шкуру!.. Он не виноват!.. — бессмысленно повторял капитан.

Уже два унтер-офицера подбежали к Исайке, чтобы взять его, как вдруг Исайка бросился в ноги капитану и, конвульсивно рыдая, говорил:

— Я не могу... ваше высокоблагородие... помилуйте...
ваше...

Было что-то раздирающее в этом отчаянном вопле. Стоявший тут же старший офицер отвернулся. Матросы потупили глаза. Мертвая тишина царила на палубе.

Эта мольба, казалось, привела капитана в большую ярость. Он брезгливо пнул распростертого Исайку ногой и крикнул:

— Взять его... Показать, как он не может!

Но в эту минуту Исайка уже вскочил на ноги, и это был уже совсем не прежний кроткий Исайка.

В его мертвенно-бледном лице со сверкающими глазами было что-то такое страшно-спокойное и решительное, что капитан невольно отступил назад...

.

— Так будь ты проклят, злодей!

И с этими словами вспрыгнул на сетки и с жалобным криком отчаяния бросился в море.

Матросы оцепенели в безмолвном ужасе. Капитан, видимо, опешил.

Иван Рябой, отличный пловец, в одно мгновение был за бортом. Но Исайки уже не было на поверхности! Он как ключ пошел ко дну.

— Эка жидюга проклятая! — наконец проговорил капитан и велел лечь в дрейф и спустить катер, чтобы спасти Рябого.

Матросы крестились.

В ТРОПИКАХ

І. НОЧЬ

І

Среди шепота тропической ночи, полного какой-то таинственной прелести, почти бесшумно плывет, словно птица с гигантскими крыльями, трехмачтовый паровой военный корвет «Сокол» под всеми парусами, имея бомбрамсели на верхушках своих, немного подавшихся назад, мачт.

Небольшой, изящных линий, красавец-корвет, на котором находится сто семьдесят матросов, четырнадцать офицеров, доктор и иеромонах с Коневского монастыря, идет с благодатным, вековечным пассатом, направляясь на юг, узлов по семи-восьми в час, легко и свободно, с тихим гулом, рассекая воду, рассыпающуюся у носа алмазной пылью, и равномерно слегка покачиваясь на исполинской груди старика-океана. Необыкновенно спокойный и ласковый океан лениво, с нежным рокотом, катит свои бездонные, могучие волны, но не бьет ими сердито бока чуть-чуть накренившегося «Сокола», а, напротив, кротко облизывает их и словно шепчет морякам, что в этих широтах он не коварен, и его нечего бояться. Широкая серебристая лента, сверкая фосфорическим блеском, стелется за кормой, выделяясь среди чернеющего океана, и исчезает вдали потеряннным следом.

А что за дивная тропическая ночь на этом океанском просторе, с мириадами звезд и звездочек, то ярко и ве-

село, то задумчиво и томно мигающих с высоты темного, словно бархатного, купола!

После дневного зноя, мало умеряемого пассатным ветром, с ослепительно жгучим солнцем, висящим в безоблачной бирюзовой выси раскаленно золотистым ядром, необыкновенно легко и привольно дышится в эти ласковые, волшебные тропические ночи, быстро, почти без сумерек, наступающие вслед за закатом солнца и веющие нежной прохладой. Полной грудью жадно глотаешь освежающий, насыщенный озоном, морской воздух и всем существом ощущаешь прелесть этой ночи, испытывая какую-то приподнятость настроения и безотчетный восторг.

Глядя на этот таинственно дремлющий океан, на это, сверкающее брильянтами, небо, прислушиваясь к тихому рокоту волн, точно освобождаешься от обыденной пошлости. Думы становятся возвышенной и смелей, и грезы, неопределенные и беспредельные, как океанская даль, уносят куда-то далеко-далеко...

До полуночи оставалась склянка (полчаса).

В этот час почти все спят на нашем плавучем островке, оторванном от родины, далеко от близких, от милых, и спят наверху, на палубе, так как внизу душно и жарко.

Не спит только вахтенный офицер, молодой мичман Луцицкий, шагающий, весь в белом, взад и вперед по мостику и отрывающийся от мечтательных дум и воспоминаний, чтоб зорко оглядеть горизонт и время от времени крикнуть вполголоса часовым на баке: «Вперед смотреть!»

Не спит, конечно, и вахтенное отделение матросов.

Примостившись поудобнее небольшими кучками у мачт или у пушек, они тихо, словно бы боясь нарушить тишину волшебной ночи, «лясничают» между собой про «свои места», которые так далеко отсюда, про Кронштадт, про прежние плаванья, про добрых и злых командиров и про корветского боцмана, которого надо бы проучить на берегу, так как он «дерется без всякого рассудка». Некоторые, охваченные теплым дыханием ночи, полудреmlют сторожкой, матросской дремой, готовые очнуться при звуке командного голоса... А то кто-нибудь из мастеров-сказочников рассказывает тихим и певучим ритмом сказочной речи сказку про Ивана-царевича или

Бову-королевича, и несколько человек внимательно слушают.

Так коротается ночная вахта.

В тропиках не грех и «полясничать» и вздремнуть матросу. Ни боцман, ни вахтенный унтер-офицер за это не разразятся потоком той артистической ругани, к которой моряки вообще чувствуют слабость и без которой не могут обойтись. Вахты, слава богу, спокойные, и следовательно можно и вздохнуть после трудного плавания в Немецком море и штормовых дней в Атлантическом океане, на параллели Бискайского залива, где бедный «Сокол» выдержал-таки изрядную трепку под штормовыми парусами и должен был после нее зайти в Лиссабон, чтоб исправить кое-какие повреждения.

Здесь, в тропиках, матросам легко и привольно. Им не приходится, стоя на вахте, кутаться в свои просмоленные, парусинные дождевые пальтишки, стараясь закрыться от брызг расвиристевших седых волн, с бешеным нападающих через палубу у бака,—не приходится быть постоянно «начеку» у своих снастей, в напряженном ожидании то поворота, то брасопки рей, вследствие зашедшего или отошедшего ветра, то отдачи марса-фалов.

Их, этих тружеников моря, часто попавших прямо от сохи на океан, не посылают здесь крепить брамсели или брать рифы у марселей, работая на стремительно качающихся реях над океанской бездной, под рев засвежавшего ветра и при громадном волнении, бросающем корвет, словно щепку, с бока на бок и вверх и вниз. Не приходится, купаясь ногами в воде, крепить кливера на бугшприте, зарывающемся в воду.

Подвахтенные, спящие рядами на палубе, могут здесь спать спокойно, под открытым небом. Их не разбудит грозный окрик боцмана: «Пошел все наверх!» Нет. Все это осталось позади, и всего этого еще будет довольно впереди, а пока этот легкий и нежный, вечно дующий в одном и том же направлении, пассат, этот ласковый океан, голубое небо с постоянным солнцем и чудные тропические ночи делают плавание в тропиках восхитительным.

— Эка благодать господня! — шепчет кто-то в одной кучке, приютившейся на шканцах.

— В таких-то местах и плыть, братцы, не страшно,— замечает первогодок, молодой низенький матросик из Вятской губернии.

— А только таких-то местов мало на божьем свете...

— Мало? — спрашивает первогодок.

— И вовсе мало... Вот спустимся книзу, тогда другое дело пойдет...

— Гляди, ребята: звездочка упала. Вон опять падает...

Матросы подняли головы. Кто-то спросил:

— И куда они тепериче упали?

— В окиян, надо быть.

— Никуда не упали. Рассыплются по пути, сгорят и шабаш! Вроде быдто ракеты! — авторитетно пояснил марсовой Прохоров.

— Ишь ты... Еще падают...

Матросы задумчиво примолкли и глядели на падающие звезды.

II

За эти три с половиной часа ночной вахты мичман Лучицкий успел вволю намечтаться и надуматься. Дела ему было немного. Только внимательно наблюдай: не нависло ли в далеком сумраке горизонта зловещее черное облако, грозящее приближением бурного, быстро проносящегося, шквала с проливным тропическим дождем,— чтоб вовремя встретить шквал, убравши минут на пять паруса,— да поглядывая в бинокль: не блеснет ли поблизости зеленый или красный огонек судна?

Но ни он, ни сигнальщик, стоящий на мостике с подзорной трубой, не видят ни зловещих туч, ни судовых огней. Смотрящие вперед с бака двое часовых тоже не видят ничего, что заставило бы их крикнуть.

И вахтенный мичман, вдоволь уже насладившийся красотой ночи, шагает по мостику или, уставший от ходьбы, прислонится к поручням и думает и мечтает, как только может мечтать здоровый, жизнерадостный, полный добрых намерений, молодой человек двадцати двух лет, для которого жизнь — еще книга с белыми страницами, несомненно прелестными. О чем только ни передумал он в эту вахту от восьми часов! Он думал о том, как хорошо и весело на свете, как обаятельна эта ночь, и как жаль, что красавица Леночка в Петербурге и не может

любоваться такою прелестною ночью вместе с ним... Что-то она теперь делает, милая? Думал он, что как ни хорошо теперь, а впереди станет еще лучше, светлее и радостнее, когда он как-нибудь отличится и, молодым капитан-лейтенантом, будет командовать таким же щегольским корветом, как «Сокол», и будет таким же добрым и гуманным, как и капитан «Сокола», этот благородный человек, никогда не ударивший матроса и запретивший у себя на корвете телесные наказания, несмотря на то, что они не отменены... Превосходный этот Василий Федорович... С таким капитаном отлично плавать...

«Отлично... Превосходный человек... Отлично!» — мысленно повторял мичман, готовый сейчас же чем-нибудь доказать свою преданность капитану, которого действительно любили матросы и молодые офицеры, сочувствовавшие его гуманным идеям.

«Может ли он однако быть таким чудесным, как Василий Федорович?»

И мичман анализировал себя: свой характер, свои недостатки и слабости. Ах, как много в нем дурного, мелкого, эгоистичного! Он непременно должен переработать себя, читать больше, сделаться добрее, умнее и снисходительнее в своих суждениях о других людях. С завтрашнего же дня он будет вести дневник и добросовестно записывать в нем все свои помыслы и дела... Это приучит к самовоспитанию.

Но все эти думы и мечты внезапно исчезают, и мысли молодого человека на некоторое время останавливаются исключительно на смуглом молодом женском личике с парой карих глаз, на которых еще блестят слезы, — с нежными щечками и кругленьким подбородком с ямочкой. «Ах, эта славная Леночка!» И образ ее, под обаянием нежной ночи и звездного неба, кажется ему еще милей и привлекательней здесь, на океане, вдали от Петербурга.

Он вспоминает, и с большой экспансивностью, свое последнее свидание перед разлукой, восемь месяцев тому назад, с этой хорошенькой Леночкой, его троюродной сестрой, с которой они что-то около года вели горячие и необыкновенно отвлеченные споры, читали умные книжки и прикидывались «добрыми друзьями», хотя втайне были влюблены друг в друга, стыдясь однако в этом признаться. До самого дня разлуки оба они храбри-

лись, но когда, накануне ухода корвета в море, Вася Лу-
чицкий пришел проститься и застал Леночку в гости-
ной одну (отец, адмирал, после обеда почивал, а адми-
ральша куда-то ушла),— оба молодые люди вдруг при-
мирели и затихли, словно обиженные дети...

Он припомнил,— и не первый это раз,— как Леноч-
ка была грустна, как начала было рассказывать о про-
читанном томе Шлоссера, но внезапно смолкла, губы
сложились в гримаску, и слезы потекли из ее глаз. А
дальше?.. Дальше этот первый поцелуй, долгий и неж-
ный, которым они обменялись, поглядывая однако на
двери, после неожиданно слетевших с губ взаимных при-
знаний, эти слезы счастья на просветлевшем, зардевшем-
ся лице девушки, обоюдные клятвы не разлюбить друг
друга, эту маленькую, тоненькую ручку, с бирюзой на
мизинце, которую он осыпал поцелуями и орошал сле-
зами...

«И зачем пришла тогда эта женщина!» — досадуя
даже задним числом, припомнил молодой человек, имев-
ший дерзость так называть адмиральшу, мать Леночки
и свою двоюродную тетку; вероятно, потому, что после
появления «этой женщины» в гостиной вспомнить что-
либо особенно приятное было трудно. Напротив, скорее
осталось одно неприятное воспоминание, ввиду того, что
адмиральша, видимо недовольная, что застала молодых
людей одних и несколько смущенных, не оставляла Ле-
ночки в течение целого вечера, далеко не по-родствен-
ному была суха с племянником и, в самый трогательный
момент прощания, довольно ядовито попросила его при-
везти портреты красавиц во всех портах, где Васенька
влюбится, причем выразила, не без презрительной
улыбки, надежду, что коллекция будет обширная.

Вспоминая о Леночке, молодой мичман довольно са-
монадеянно решил в эту минуту, что его любовь к Ле-
ночке, несмотря на карканья адмиральши, выдержит
всякие испытания и что, возвратившись через три года
из плавания, и, конечно, лейтенантом, он тотчас же по-
летит к ней в Моховую, 15, и непременно женится на Ле-
ночке, хотя бы «эта женщина» была и против. Адми-
рал?.. Но кто же не знал в доме, не исключая даже ве-
стового Егорки, что адмирал был эхом адмиральши...
Что ж! Они повенчаются и без согласия родителей. Бог
с ним, приданым. Он и сам прикопит в плавании тысяч-

ку, что ли, на первое обзаведение. Леночка ведь не горится за обстановкой,— недаром они вместе читали хорошие книжки...

Так мечтал Лучицкий, не предвидя, разумеется, что скоро, очень даже скоро он забудет эти «вешние грезы» любви, прелестный образ Леночки затмится не менее, если не более прелестными образами других избранниц и затем останется одним лишь благодарным воспоминанием — и то под старость — о первой чистой и непорочной любви. Не подозревал он, что и Леночкины клятвы окажутся такими же легкомысленными, как и его, и что после двух ее посланий, смоченных слезами и нефранкированных, он месяца через четыре получит в Сан-Франциско заказное, вполне оплаченное письмо от самой адмиральши, в котором «эта женщина» сообщит, что Леночка вышла замуж за капитана 1-го ранга Кобылкина и очень счастлива, чего от души вместе с теткой и дядей желает и Васе.

Да и вообще, мечтая в эту восхитительную тропическую ночь в ноябре 1865 года, под 10° северной широты и под 20° западной долготы, мог ли молодой мичман хоть на минуту усомниться, что не сбудутся его мечты, и смел ли он предполагать, что жизнь жестоко впоследствии обманет его даже самые скромные надежды!

Устроив свою личную жизнь счастливым браком с Леночкой, мичман вспомнил, что пора отдаться действительности, и потому добросовестно оглядел в бинокль горизонт справа и слева, и впереди и сзади, посмотрел на компас: на румбе ли правят рулевые, и, больше для очистки совести, чем по необходимости, крикнул негромко своим красивым баритоном, который не одна Леночка называла «бархатным», когда Лучицкий пел романсы:

— На баке! Вперед смотреть!

— Есть! Смотрим! — тотчас же отвечали два голоса с бака.

Лучицкий устал и от ходьбы и от мечтаний — нельзя же, в самом деле, мечтать без конца, хотя бы и об избраннице сердца, и в чудную тропическую ночь, и даже мичману. К концу вахты мечтательное настроение прошло, сменившись сильным влечением к койке. Растянуться бы да и заснуть! А эта последняя склянка перед сме-

ной, казалось, тянется дьявольски долго (всем стоящим на ночных вахтах обязательно так кажется).

Молодой мичман потянулся, сладко зевнул, вспомнил, что на вахте офицеру заснуть — преступление, и, чтобы прогнать сон, стал снова думать о Леночке: старался представить себе ее грациозную, стройную фигуру, ее обыкновенно привлекательную улыбку, открывающую ряд маленьких, ровных, жемчужных зубов, старался вспомнить ее голос, ее речи, но странное дело — все эти мысли как-то путались в его голове, обрывались, мешались с другими, и образ прелестной Леночки совершенно неожиданно явился с рыжими усами и рыжими бакенбардами в виде котлет, поразительно напоминавший далеко не прелестное лицо начальника первой вахты, лейтенанта Максима Петровича Невзорова, который должен был вступить на вахту с полуночи до четырех часов утра, сменив Лучицкого. Паруса вдруг куда-то исчезли из глаз, и вместо океана он увидел какую-то освещенную залу, где пол не качается под ногами, и все ходят, не расставляя ног колесом... И тут же Максим Петрович, и с ним какая-то дама, и... Мичман очнулся, задремавши стоя минуту-другую... Фу, черт возьми! Хорошо, что никто не видал, что он, считавшийся исправным офицером, вдруг задремал на вахте.

А эта тихая, нежная ночь так и веет сном, и не хочется расстаться с поручнями, на которые так приятно облокотиться и, надвинув на глаза фуражку, подремать еще минуточку, одну минуточку. Ах как хочется спать в эти последние четверть часа перед сменой. Чего бы только ни отдал мичман за возможность немедленно раздеться и юркнуть в койку!.. Покопайся он в своей совести, то, пожалуй, готов был бы в эту критическую минуту отказаться и от Леночки, представь ему на выбор: бодрствовать или спать.

Признаться, только самолюбивая жилка моряка заставила Лучицкого отойти от этих соблазнительных поручней, грозивших быть для мичмана тем же, чем была Капуя для Аннибала, и решительно зашагать по мостику, чтобы побороть неодолимое желание.

И на ходу веки так и слипаются.

— Сигнальщик!

— А... о... Есть! — порывисто откликнулся тоже вздремнувший сигнальщик.

— Поди, брат, узнай, разбудили ли лейтенанта Невзорова?

Через минуту сигнальщик вернулся и сказал:

— Никак нет, ваше благородие, еще не побудили.

— Почему?

— Вестовой ихний Антошка сказывал, что лейтенант Невзоров приказали будить за пять минут. Ни на секунд раньше!

Луцицкий уже заранее сердится, почему-то предполагая, что Невзоров, всегда аккуратный, не успеет одеться в пять минут и опоздает сменить его вовремя. Опоздание смены с вахты, хотя бы на минуту-другую, считается у моряков почти что преступлением, и боже сохрани совершить его. В крайнем случае надо предупредить, если кто-нибудь рассчитывает опоздать на вахту, особенно на ночную.

«Это ведь свинство со стороны Невзорова! Воображает, что старый лейтенант, так я стерплю. Черта с два! Опоздай он хоть на минуту — я ему пропою!»

Так думает молодой мичман и, забывши свое торжественное обещание быть снисходительным в суждении о людях, чувствует внезапный прилив злости к Невзорову и за то, что он «дантист» — бьет матросов, не обращая внимания на просьбы капитана не драться, и ругается, «как боцман», и за то, что Невзоров исповедует самые ретроградные взгляды, и за то, что он циник, но главным образом за то, что он может опоздать.

Луцицкий подходит к освещенному внутри компасу и взглядывает на свои часы. Серебряная его луковица показывает, что до полуночи остается еще целых десять минут. Ужасно много!

И, не доверяя показанию своих часов, вчера только проверенных по хронометру, он посылает сигнальщика справиться: как время на часах в кают-компании?

— Без восьми, ваше благородие! — докладывает, вернувшись, сигнальщик.

— Так скажи вестовому, чтобы он разбудил лейтенанта Невзорова! — после некоторого колебания приказывает мичман, для которого теперь каждая минута казалась вечностью.

Сигнальщик, привыкший к этим гонкам господ офицеров перед концом вахт, спустился вниз и в кают-компанию, слабо освещенной чуть-чуть покачивающейся над

большим столом висячей лампой, увидел вестового Антошку, сторожившего минуты на больших столовых часах, прибитых над привинченным к полу пианино.

— Антошка! — окликнул шепотом сигнальщик. — Вахтенный приказал тебе побудить барина.

Заспанный белобрысый молодой вестовой с большими, добрыми, навывате, глазами, обернулся и так же тихо проговорил:

— Буди, братец, сам, коли хочешь, чтоб он запустил тебе в рожу щиблеткой, а я не согласен. Нешто не знаешь, какой он со сна сердитый... Чуть ежели раньше как за пять минут, беспременно отчешет... А мичману, что ли, не терпится? — прибавил, усмехнувшись, Антошка.

— То-то не терпится... Гоняет... Даве уже заклевал носом... Ночь-то сонная.

И, выдержав паузу, сигнальщик промолвил, еще понижая голос:

— А что, Антошка, не одолжишь ли окурка?

Антошка достал из кармана штанов два маленькие окурка папирос и подал сигнальщику.

— Вот спасибо, брат. Ужо покурю, а то совсем махорки мало осталось... Раскурил...

Часовая стрелка передвинулась, показывая без пяти двенадцать, и Антошка, торопливо ступая своими босыми ногами по клеенке, вошел в открытую настежь каюту Невзорова, откуда раздавался громкий храп, и принялся будить лейтенанта, а сигнальщик вернулся наверх и доложил:

— Побудили, ваше благородие.

— Встает?

— Должно, встают.

Наконец с бака, среди тишины, раздается восемь мерных ударов колокола, радостно отзывающихся в ушах молодого мичмана, и с последним ударом на мостик поднимается плотная и приземистая фигура лейтенанта Невзорова в белом расстегнутом кителе, надетом поверх ночной рубашки с раскрытым воротом, в башмаках на босых ногах, в широких штанах и фуражке совсем почти на затылке.

В то же время боцман Артюхин, ставши у грот-мачты, протяжно свистнул в дудку и вслед за тем зычным голосом крикнул на всю палубу:

— Второе отделение на вахту! Вставай... Живо!

— Эка ревет, дьявол! — сердито прошептал какой-то матрос, проснувшийся от боцманского окрика, и повернулся на другой бок.

Среди лежащих вповалку на палубе матросов началось движение. Те, кому приходилось вступать на вахту, потягивались, зевая и крестясь, поднимались со своих тощих тюфячков и, торопливо натянув штаны, выходили на шканцы, на проверку. Разбуженные боцманом другие матросы, оглядевшись вокруг, снова засыпали.

— Ну, что, Василий Васильич, очень спать хочется? — добродушно говорил своим низким баском Невзоров, поднявшись на мостик и сладко позевывая...

И у Лучицкого тотчас же исчезла злоба против Невзорова, который, несмотря на свое «ретроградство» и скверную привычку драться, был все-таки добрым, хорошим товарищем и лихим, знающим свое дело моряком.

— Отчаянно, Максим Петрович, — отвечал молодой мичман. — В начале вахты еще ничего...

— Мечтали, видно, о какой-нибудь дамочке в Кронштадте? — перебил, засмеявшись скверным, циничным смехом, Невзоров и прибавил: — Вот в Рио-Жанейро придем... Там, я вам скажу, вы скоро влюбитесь в какую-нибудь бразильскую дамочку и забудете свою зазнобу, коли есть... Ведь, наверно, есть, а?.. Ну и жарко ж спать в каюте... С завтрашнего дня буду спать наверху... Прохладнее...

— И ночи какие очаровательные... Поглядите-ка, Максим Петрович, небо-то какое!

— А ну его к черту, небо!.. Это вы только о небесах думаете и небесами восхищаетесь... Однако сдавайте-ка вахту да ступайте спать...

Мичман сказал, какой курс, сколько ходу, какие стоят паруса и, пожав руку Невзорова, пошел на ют и, раздевшись, вспрыгнул в подвешенную койку и скоро заснул.

А Невзоров спустился на палубу, обошел корвет, проверил вахтенных, часовых на баке и, поднявшись на мостик, зашагал медленными шагами и вполне мечтал о Рио-Жанейро, о бразилианках и о вкусных обедах и ужинах на берегу и, разумеется, с хорошими винами. Но вдруг вспомнил и об одной молодой вдове в Петербурге, которой он два раза делал предложение и два раза получал отказ. Вспомнил — и задумался. Вероятно, и на

Максима Петровича действовала прелесть тропической ночи и навевала на него, помимо его воли, задумчивое настроение, не имеющее ничего общего ни с бразилианками, ни с обедами и ужинами, ни со службой. Он, разумеется, никому бы не сознался, что в эту ночь и он поглядывал на звезды, сердито кричал, испытывая какое-то странное чувство томления и грусти, и думал более, чем следовало бы такому цинику, каким он представлялся всем на корвете, говоря, что не понимает любви, длящейся более недели,— об этой высокой и полной, цветущей блондинке, лет тридцати, с холодными серыми глазами, румяными щеками и роскошным бюстом, которую он и после двух отказов не может забыть и которой он, по секрету от всех, написал уже два любовные письма, оставшиеся без ответа. А если бы она ответила? Подала бы хоть тень надежды? Он готов был бы ждать год, два, три до той счастливой минуты, когда она согласится быть его другом и женой...

Увы! Он не догадывался, что эта полная, цветущая вдова — одна из тех женских бесстрастных натур, которые заботятся лишь о себе, о своем здоровье, о своем спокойствии... За что она продаст свою свободу обеспеченной вдовы на полубедное существование вдвоем!? Какая он партия! Да и к чему ей замуж?

Но Максим Петрович, проводивший большую часть своей жизни в плаваниях и знавший женщин лишь по мимолетным знакомствам, разумеется, не понимал своего идола и, влюбленный, как мальчишка, наделял его всеми совершенствами и приписывал отказы вдовушки исключительно тому, что он ей не нравится.

— Эка что за чепуха сегодня лезет в голову! — досадливо проговорил вслух Максим Петрович и решил про себя, что давно пора бросить всю эту «канитель» и навсегда забыть эту женщину.

Казалось, он уж забывал ее, предаваясь, при съездах на берег, широкому разгулу, а вот теперь, как нарочно, снова вспомнил и расчувствовался, как какой-нибудь мичманенок. «Срам, Максим Петрович! Ну ее к черту, эту «каменную вдову»! Пусть себе маринуется впрок!»

— Сигнальщик! Дай-ка трубу! — сердито закончил вслух лейтенант.

А ночь уже начинала бледнеть, и тускнеющие звезды мигали все слабее и слабее. Океан засерел, перели-

ваясь с тихим гулом своими волнами. Горизонт раздвинулся, и на самом краю его виднелось белеющее пятно парусов какого-то судна. Наступал предрассветный сумрак, повеяло острой прохладой, и чудная тропическая ночь, после недолгой борьбы, медленно угасала, словно пугаясь загорающегося на востоке багрянца, предвещающего восход солнца.

II. УТРО

I

Горизонт на востоке разгорался все ярче и ярче в лучезарном блеске громадного зарева, сверкая золотом и багрянцем. Небо там горело в переливах и сочетаниях самых волшебных ярких цветов, подернутое выше, над горизонтом, нежной золотисто-розовой дымкой. А на противоположной его стороне еще трепетал в агонии предрассветный сумрак, и еле мигали едва заметные редкие звезды.

Наконец солнце обнажилось от своих пурпурных одежд и медленно, будто нехотя, выплыло из-под горизонта, жгучее и ослепительное. И мгновенно все вокруг осветилось, ожило, точно пробудившись от сна, и сбросило с себя таинственность ночи, приняв прозрачную ясность и определенность.

На далекое, видимое глазом, пространство синел океан, окаймленный со всех сторон голубыми рамками высокого бирюзового купола, по которому кое-где носились маленькие белоснежные перистые облачка прихотливых узоров. Они нагоняли друг друга, соединялись, вновь расходились и исчезали, словно тая в воздушном эфире. По-прежнему веселый и ласковый, океан почти бесшумно, с тихим однообразным рокотом катил свои могучие волны с серебристыми верхушками, слегка и бережно покачивая маленький корвет. Океан почти пуст, куда ни взгляни. Только справа белеют, резко выделяясь в прозрачном воздухе, паруса трехмачтового судна, судя по рангоуту — «купца», идущего одним курсом с «Соколом», который заметно нагоняет своего попутчика и, вероятно, скоро, по выражению моряков, «покажет ему

свои пятки». Высоко рея в воздухе, быстро пронесится «фрегат», направляясь наперерез к далекому берегу Америки; неожиданно спустится на волны стайка белоснежных альбатросов, покачается на воде, схватит добычу и, расправив свои громадные крылья, взвьется наверх и исчезнет из глаз; где-нибудь вблизи шумно пустит фонтан разыгравшийся кит, и снова безмолвно и пустынно на безбрежной дали океана.

Это чудное, радостное утро, дышащее бодрящей свежестью, весело заглянуло и на корвет и залило его блеском света. И все — людские фигуры, мачты, паруса, снасти, — что в таинственном мраке казалось чем-то смутным, неопределенно-фантастическим и большим, приняло теперь резкую отчетливость форм и очертаний, словно избавившись от волшебных чар дивной тропической ночи. И смолкли сказки, и отлетели грезы у людей, которых утро застало бодрствующими.

Надувшиеся паруса сразу побелели, приняв свои настоящие размеры, и паутина снастей, отделявшихся одна от другой, резко вырисовывалась по бокам мачт с их марсами и салингами. Закрепленные по-походному по обоим бортам орудия, черные и внушительные на своих станках, выделялись на общем фоне палубы, почти сплошь покрытой спящими людьми. На юте, в подвешенных койках, спали офицеры, а от шканцев и до бака, занимая середину судна, лежали на разостланных тюфяках, в самых разнообразных позах, спящие подвахтенные матросы, обвеваемые нежным дыханием пассата. Храп раздается по всему корвету. Поклевывавшие носами вахтенные матросы подбодрились, стоя у своих снастей или дежуря на марсах, и многие приветствовали восход солнца крестным знамением. Не без зависти поглядывая на спящих товарищей, они осторожно, чтобы не наступить на кого-нибудь, по очереди пробирались на бак — выкурить трубочку махорки у кадки с водой и перекинуться словом-другим о своих матросских делишках. Заложив назад свои жилистые, здоровенные, просмоленные руки, вид которых внушает почтительное уважение матросам-«первогодкам», боцман Андреев, Артемий Кузьмич, как зовут его матросы, низенький, крепкий, скуластый человек лет под пятьдесят с черными, засевшими баками и красным обветрившимся лицом, ходит взад и вперед по баку с обычным своим суровым

начальственным видом, твердо и цепко ступая по палубе своими мускулистыми босыми ногами, и словно уже предвкушает близость утренней чистки и «убирки» судна, во время которой — благо капитан спит — он даст полную волю своей ругательной импровизации, а подчас и рукам, если подвернется какой-нибудь из молодых матросов, который, по мнению боцмана, еще требует «выучки»; превозмогая невольно охватывающую дремоту, только что вступивший на вахту с 4 часов утра, второй лейтенант жмурит сонные глаза, равнодушный к чудному утру и окружающей прелести. Ну ее к богу! Он бы с восторгом поспал еще часок-другой. И лейтенант, заспанный, еще не совсем, казалось, очнувшийся, тоже завистливо поглядывает на ют, где счастливицы-товарищи безмятежно спят и будут еще спать до подъема флага.

Проходит склянка, и сонное состояние исчезает. Лейтенант всем существом наслаждается прелестью раннего утра и полной грудью вдыхает насыщенный озоном воздух. Вместе с тем он проникается и важностью лежащих на нем обязанностей вахтенного начальника и, подняв голову, зорко и внимательно оглядывает паруса. Грот-марсель не дотянут до места, и лиселя с правой чуть-чуть «полощат». Срам! Что подумали бы о нем капитан и старший офицер, если б увидали такое безобразие? «И хорош Невзоров, нечего сказать, а еще считается настоящим «морским волком»! Сдал вахту и не заметил, что у него неисправности!» — не без злорадства подумал второй лейтенант, тоже имевший претензию (и небезосновательную) на звание лихого морского офицера. Спустившись с мостика, он прошел на бак, чтоб осмотреть, хорошо ли стоят паруса на фок-мачте и кливера на носу.

На баке его встретил вахтенный юный гардемарин, сонный и румяный, а боцман, уже заметивший, что брам-рея плохо обрасоплена, и потому угол брамселя «играет», и что фор-стенъга-стаксель «мотается зря», сконфуженно нахмурился, когда вахтенный начальник, остановившись и расставив фертом ноги, задрал назад голову.

— Господин Наумов, полюбуйте: фор-брам-рея не по ветру... Фор-стенъга-стаксель не вытянут... А ты чего смотришь, Андреев? А еще боцман! — меняя тон, проговорил вахтенный офицер, строго обращаясь к боцману.

— В темноте не видать было, ваше благородие.

— В темноте не видать! Уж давно светло,— ворчливо проговорил лейтенант, сознавая в душе, что и он целую склянку «проморгал» эти неисправности, и, уходя, приказал гардемарину обрасопить, как следует, брамрею и натянуть стаксель.

И, поднявшись на мостик, лейтенант вполголоса, чтобы своим звучным, крикливым тенорком не разбудить людей, скомандовал выправить лиселя с правой и вытянуть до места грот-марса-шкот. И когда все было исправлено и дотянуто до места, он с чувством удовлетворения взглянул на паруса, выслушал доклад сигнальщика, что лаг показал семь с половиной узлов хода, и, оживившийся, не чувствуя более желания соснуть, бодро заходил по мостику, посматривая по временам в бинокль на «купца», короткий и пузатый корпус которого заставлял предполагать в нем голландца. И действительно, когда корвет почти нагнал его, на «купце» взвился голландский флаг и тотчас же был опущен. То же самое сделали и на «Соколе», ответив на обычную вежливость при встречах судов.

Солнце быстро поднималось кверху. На баке пробили две склянки— пять часов, когда обыкновенно встает команда. И с последним ударом колокола боцман уже был у мостика и, прикладывая растопыренную свою руку к околышу надетой на затылок фуражки, спрашивал:

— Прикажете будить команду, ваше благородие?

— Буди.

Получив разрешение, Андреев вышел на середину корвета и, просвистав в дудку долгим, протяжным свистом, гаркнул во всю силу своего зычного голоса:

— Вставать! Койки убирать! Живо!

— Эка, подлец, как орет! — проворчал во сне кто-то из офицеров, спящих на юте, и, позвав сигнальщика, велел кликнуть своего вестового, чтобы перебраться в каюту и там досыпать. Примеру этому последовали и остальные офицеры, расположившиеся на юте, зная очень хорошо, что во время утренней уборки «медная глотка» боцмана в состоянии разбудить мертвого.

Между тем разбуженные боцманским окриком матросы просыпались, будили соседей и, протирая глаза, зевая и крестясь, быстро вставали и, складывая подушку, простыни и одеяло в парусинные койки, сворачивали их

аккуратными кульками, перевязывая крест-накрест черными веревочными лентами. Прошло не более пяти минут, и вся палуба была свободна. Раздалась команда класть койки, и матросы, рассыпавшись, словно белые муравьи, по бортам, укладывали свои красиво свернутые кульки в бортовые гнезда, в то время как несколько человек выравнивали их; скоро они красовались по обоим бортам, белые как снег и выровненные на удивление, лаская самый требовательный «морской глаз».

После десятка минут скорого матросского умывания и прически, вся команда, в своих рабочих, не особенно чистых рубашках, становится во фронт и, обнажив головы, подхватывает слова утренней молитвы, начатой матросом-запевалой, обладавшим превосходным баритоном. И это молитвенное пение ста семидесяти человек звучит как-то торжественно среди океана, при блеске этого чудного тропического утра, далеко-далеко от родины, на палубе корвета, который кажется совсем крошечной скорлупкой на этой беспредельной водяной пустыне, спокойной и ласковой здесь, но грозной и подчас бешеной в других местах, где с ее яростью уже познакомился корвет и снова не раз испытает ее, миновав благодатные тропики. И, словно чувствуя это, матросы, особенно старые, побывавшие в морских переделках, с особенным чувством поют молитву, серьезные и сосредоточенные, осеняя свои загорелые лица истовыми и широкими крестными знаменами, как будто оправдывая поговорку: «кто в море не бывал, тот богу не маливался».

Звуки молитвы замерли, и матросы разошлись, чтобы позавтракать размазней с сухарями и напиться чаю, после чего на корвете началась та ежедневная педантическая уборка и тщательная чистка, которая является на военных судах предметом особой заботливости и каким-то священным культом. Под аккомпанемент поощрительных словечек боцманов и унтер-офицеров, матросы, вооруженные камнями, скребками, голиками и песком, с засученными рукавами и поднятыми до колен штанами, рассеялись по палубе и начали ее тереть песком и скоблить камнем, мести швабрами и голиками, окачивая затем водой из брандспойтов и из парусинных ведер, которые то и дело опускали за борт. Другие в то же время мыли борты, предварительно их намылив, и затем вытирали щетками. Везде, и наверху, и в жилой палубе, и

еще ниже: в машинном отделении и трюмах, мыли, чистили, скребли и скоблили. Всюду обильно лилась вода и гуляли швабры. Когда наконец корвет был вымыт как следует, во всех своих закоулках, приступили к так называемой на матросском жаргоне «убирке» и, надо признаться, убирали корвет едва ли не старательнее и усерднее, чем убирают какую-нибудь молодую красавицу-даму, отправляющуюся на бал и мечтающую затмить всех своих соперниц. Прибирали и подвешивали бухты снастей, наводили глянец на орудия и на медь на поручнях, люках, компасе, кнехтах, словом, не оставляя в покое ни одного предмета, который только было можно вычистить. Повсюду в ловких матросских руках, желтых от толченого кирпича, мелькали суконки, тряпки, пемза, и повсюду раздавался осипший от брани, но все еще привычный густой бас боцмана Андреева. Впрочем, справедливость требует заметить, что боцман Андреев, вообще человек очень добрый и больше напускавший на себя строгость, ругался главным образом для соблюдения своего достоинства. Нельзя же — боцман! И какой же был бы он боцман в старые времена, если б не ругался так, как только могут ругаться боцмана, щеголявшие перед матросами неистощимостью фантазии и неожиданностью эпитетов!

Старший офицер, высокий, длинный и худощавый человек, лет около сорока, с серьезным и флегматическим на вид лицом, поднялся одновременно с командой и давно уже бродит по корвету, не спеша ступая своими длинными ногами, и появляется то тут, то там, зорко и молчаливо наблюдая за чисткой и уборкой судна, отдавая приказания боцману о дневных работах или подшкиперу насчет починки старых парусов и старого такелажа.

По званию своему старшего офицера, помощник и правая рука капитана, он несет свою трудную, полную постоянных забот, службу с каким-то суровым спокойствием рыцаря долга, никогда не жалуясь, не кипятясь без толку, всегда молчаливый и лаконический. Педант, как почти все старшие офицеры, самолюбивый и до крайности щепетильный во всем, что касалось корвета, он заботился о нем, о его чистоте, порядке и великолепии, словно мать о ребенке. Он серьезно сокрушался, если на «Соколе» ставили или крепили паруса секундами двумя-

тремя позже, чем на другом военном судне, словом — ему хотелось, чтобы «Сокол» во всем был первым. Он был требователен по службе и настойчив, но не «скрипел», как говорят матросы про начальников, любящих донимать простого человека «жалкими» словами, и матросы, звавшие старшего офицера между собой «журавлем», находили, что он, хоть и любит строгость, но ничего себе, «справедливый журавль» и зря человека не обидит. Однако побаивались его — такой уж серьезный и внушительный вид был у Степана Степановича, несмотря на то, что он никогда не прибегал к телесным наказаниям и редко, очень редко дрался.

Уже восьмой час. Корвет совсем прибран. Старший офицер обошел его, заглянув во все закоулки, и все нашел в полном порядке. Все сияло блеском и чистотой. Даже бык, последний из четырех быков, взятых в Порто-Гранде, стоял в своем стойле вычищенный, с лоснящейся шерстью, и спокойно жевал сено, не ожидая, конечно, что на днях его убьют. Клетки с курами и утками и самодельный хлев, в котором хрюкали две свиньи, — все это будущие жертвы для капитанского и кают-компанейского стола, — были заботливо убраны, и живущие в них даже обкачаны, по матросскому усердию, водой. Не мешает, мол, и им помыться! Только на юте Степан Степанович слегка нахмурился, заметив на безукоризненно белой палубе маленькое, едва заметное пятнышко, и, подозревав ютового унтер-офицера, проговорил, указывая на пятно своим длинным и костлявым пальцем:

— Это что?

— Пятно, ваше благородие, — отвечал сксифуженно унтер-офицер, — не отходит.

— Выскоблить. Должно отойти! — заметил старший офицер и поднялся на мостик.

Матросы, уже переодетые в чистые рубахи, толпятся на баке у кадки с водой — этом главном центре матросского клуба — и, в ожидании подъема флага и начала разных дневных работ и учений, следующих по расписанию, оживленно беседуют между собой. Нередко слышится смех. Лица у всех довольные и веселые. Видно, что люди не забыты и не загнаны.

— И долго нам так плыть, братцы, по-хорошему, как у Христа за пазухой? — спрашивал низенький белокурый молодой матросик, с большими серыми глазами на

необыкновенно добродушном и симпатичном лице, свежем и румяном, усеянном веснушками,— в первый раз, прямо от сохи, попавший в «дальнюю», как называют матросы кругосветные плавания.

— А ты как об этом полагаешь? Небось, хорошо так-то плавать? Да только шалишь, брат. Таких благодатных мест у господ немного! — заметил кто-то в ответ.

— Ден двадцать! — авторитетно заговорил «Егорыч», плотный и приземистый пожилой баковой, лихой матрос с медной серьгой в ухе, пользовавшийся общим уважением команды, обращаясь к «первогодку» и своему земляку, которому покровительствовал.

И, сделав несколько затяжек из своей маленькой трубочки, продолжал:

— А там, братец ты мой, спустимся совсем книзу, а отсюда, значит, повернем в Индейский окян. Ну, там... известно, другое дело. Там настояще узнаешь, каково матросское звание и каков есть окян. Не приведи бог какие там «штурмы» бывают! — прибавил Егорыч, ходивший уже во второй раз в дальнее плавание.

— Страшно? — с наивным простодушием спросил молодой матросик.

— Всего увидишь. А что страшно, так не надо бояться, и не будет страшно. Бойся не бойся, а все равно никуда не уйдешь с «конверта». Кругом вода! — промолвил Егорыч с улыбкой, указывая своей шершавой, просмоленной жилистой рукой на океан.

— Дда, отсюда не убежишь, брат! — рассмеялся один из присутствующих.

— К акулам разве... Живо сожрет, подлая... Даве ут-ром шнырила, шельма, около борта... Страсть какая большая.

— А ходили мы тогда, братцы, — продолжал Егорыч, обращаясь ко всем, — на клипере «Голубчике», слышали про «Голубчика»? Так как зашли мы в Индейский окян, этак ден через пять, нас прихватила штурма, а опосля ураган, и думали: всем нам шабаш, придется гос-поду богу отдавать душу... Уж чистые рубахи собирались одевать, чтобы на тот свет, значит, как следовало явиться. Однако господь вызволил... Один только марсовой утонул — царство ему небесное! Ну, да и капитан был у нас отчаянный — может, слышали Алексея Алексеевича Ящурова, в адмиралы теперь вышел? Форменный, пря-

мо сказать, был капитан. И дело свое знал и с матросом был добер на редкость, вроде нашего командира. Одно слово — душевный человек... Видно, господь нас тогда пожалел за евойную доброту к матросам... А то совсем собрались было тонуть, братцы... Даже и капитан наш, уж на что бесстрашный, и тот призадумался...

Егорыч замолчал и, выбив золу из трубки, сунул ее в карман штанов и хотел уходить, как несколько голосов остановили его:

— Да ты куда, Егорыч?.. Ты рассказывай, как, мол, вы штурмовали...

— Объясни толком, как это вас бог спас, а то раззадорил только.

Но особенно, по-видимому, был заинтересован молодой матросик. Взволнованным голосом, в котором слышались молящие нотки, он проговорил:

— Нет уж, уважь, Егорыч... Расскажи...

— Да что рассказывать-то? Известно, всего в море бывает... На то и матросы,— промолвил, как бы не желая рассказывать, Егорыч.

Однако остался и, откашлявшись, начал рассказ.

Все притихли.

II

— Шли этто мы в те поры на «Голубчике» с мыса Надежного¹ на Яву остров, там город такой есть, Батавия, и с первых же ден, как вышли мы с мыса, стало, братцы мои, свежеть, и что дальше, то больше... Ну, мы, как следовает, марсели в четыре рифа, дуем себе с попутным ветром... «Голубчик» был крепкий... Поскрипывает только, бежит себе с горы на гору да раскачивается... Люки, известно дело, задраены наглухо... Ничего себе, улепетываем от волны... А волна, прямо сказать, была здоровая. Как взглянешь назад, так и кажется, что вот и захлестнет совсем сзади эта самая водяная гора. Спервоначала было страшно, однако вскорости привыкли, потому как эта гора стеной за кормой станет, в тот же секунд уж «Голубчик» по другой волне ровно летит в пропасть, и корма, значит, опять на горе, а нос взроет воду, так что бушприт весь уйдет, и снова— ай-да! — так и взлетит на горку... Ловок он был, клиперок-то наш,

¹ Мыс Доброй Надежды.

так и прыгал... Ну, известно, на баке не стой, того и гляди смоеет... Стоим на вахте и все к середке жмемся...

— Ишь ты... Совсем беда! — вырвалось невольное восклицание у взволнованного молодого матросика, слушавшего рассказ с напряженным вниманием.

— Глупый! — добродушно усмехаясь, продолжал Егорыч, — самая-то беда была впереди, а тогда еще никакой большой беды не было. Судно крепкое, доброе, только рулевые не плошай и держи в разрез волны, чтобы она боком не захлестнула... И у нас, значит, никакой опасности. Рассчитываем: стихнет, мол, погода, не век же ей быть, и опять камбуз разведут, варка будет, а то солонинка да сухари; ну и этой подлой мокроты не станет — обсушимся... Простоишь вахту, так весь мокрый, ровно утка, спустишься вниз да так мокрый и в койку — где уж тут переодеваться, того и гляди лбом стукнешься, качка — страсть! Ну, и опять же, видим, и начальство не робеет — так нам чего робеть. Стоит это наш командир Алексей Алексеич на мостике в кожане своем да в зюйд-вестке, спокойный такой, бесстрашный, да только рулевым командует, как править; а у штурвала стояли двое коренных рулевых да четверо подручных... Ловко правили... В те дни командир бессменно почти наверху находился, никому, значит, в такую погоду не доверял... Днем только на часок-другой спустится вниз, к себе в каюту, а за себя оставит старшего офицера, подремлет одним глазом, выпьет рюмочку марсалы или какого там вина, закусит галеткой и снова выскочит на мостик. «Идите, мол, Иван Иванович, — это старшего офицера так звали, — а я, говорит, побуду наверху»... И опять, как следует по присяге и совести, смотрит за «Голубчиком», ровно добрая мать за больным детей. Сам из лица бледный такой, глаза красные от недосыпки, однако виду бодрого... Нет-нет да и пошутит с вахтенным офицером... тоже, братцы, и командирская должность, прямо сказать, вроде быдто анафемской, а главное дело — отвечать за всех приходится. И за матросские души богу-то ответишь на том свете, ежели сплеховал и погубил их. В ком совесть есть, тот это и понимает, а в котором ежели нет и который матроса теснит, у того господь и разум отнимает во время штурмы... Оробеет вовсе, ровно не командир, а баба глупая... Ну, а в таком разе и все оро-

беют... А море, братцы, робких не почитает... Коли ты перед им струсил — тут тебе и покрышка!

Егорыч, вообще любивший пофилософствовать, на минуту замолчал и стал набивать свою трубочку. Закурив ее, он сделал две затяжки, не поморщившись от крепчайшей махорки, и, благосклонно протянув трубку молодому матросику, продолжал:

— Хорошо. Жарили мы, братцы, таким манером, с попутной штурмой, дня два и валяли узлов по одиннадцати, как на третий день, так утром, штурма сразу полегчала, и к полудню ветер вдруг стих, словно пропал, только волна все еще ходила, не улеглась... И стало, братцы, как-то душно на море, ровно дышать тягостно, повисли тучи совсем черные, закрыли солнышко, и среди белого дня темно стало... И наступила тишь кругом... А вдали, по краям, везде мгла... Мы, глупые молодые матросы, обрадовались было — не понимали, к чему дело-то клонит, думали — стихло, так и слава тебе господи, сейчас, мол, камбуз разведут, и мы похлебаем горячих щей; но только старики-матросы, видим, промеж себя толкуют что-то, а боцман наш смотрит кругом и только головой покачивает. «Не к добру, говорит, все это. Дело всерьез будет. Ураган, говорит, индийский идет... Подкрадывается, шельма, тишком, людей обманывает!» И тут же позвали его к старшему офицеру. Вестовой прибежал: «тую ж минуту иди, говорит». А капитан со старым штурманом, вместо того, чтобы отдохнуть в каюте, не сходят с мостика: все кругом в «бинки» (бинокли) смотрят, а то на компас да на вымпел на грот-мачте: есть ли, значит, ветер и откуда он... А ветру — ни-ни. Качает с боку на бок на зыби «Голубчик», и зарифленные марселя шлепают. Дышать еще труднее стало, словно давит сверху. Той минуткой прибежал на бак один мичман и говорит товарищу мичману, что подручным на вахте стоял: «Барометр, говорит, шибко падает, кажись, ураган будет. Только бы в центре урагана не попасть!» Приказали разводить пары. И все офицеры высыпали наверх — на мглу на эту самую, что кругом, все так и смотрят. А вахтенный вскричал: «свистать всех наверх, стеньги спущать и паруса крепить!» Заорал и боцман, а все и без того наверху. Скомандовал старший офицер, и полезли мы, братцы, по вантам, только держимся, потому — кач-

ка. Спустили стеньги, остались с одними кургузыми мачтами, закрепили марсели и поставили штормовые триселя и штормовую бизань — вот и всего. Тут и все поняли, что шей не будет, а готовимся мы к такой буре, какой не видывали. Приказано было осмотреть, хорошо ли закреплены орудия. Сам капитан осмотрел, спустился вниз, там все высмотрел и вернулся на мостик... Ничего, такой же бесстрашный. Совесть, значит, спокойная. «Приготовился, мол, а там, что бог даст!»

— Не приготовься вы вовремя — шабаш! — заметил подошедший боцман Андреев. — Один российский клипер так и пропал со всеми людьми в урагане... А купцов много пропадает в Индейском... Занозистый океан! — прибавил боцман и выругал его.

— То-то и есть, пропали бы и мы... Не дай бог попасть в ураган, — подтвердил Егорыч, — да сплеховать... Он тебя живо слопают...

— Что ж дальше-то? Рассказывай, Егорыч, — нетерпеливо проговорило сразу несколько слушателей.

— Прошло так минут, примерно, с десять... Стоим это мы все на баке и ни гу-гу, молчим, потому всем жутко, — как вдруг мгла на нас все ближе и ближе, обхватила со всех сторон, и закрутил, братцы, такой страшный вихорь, что клипер наш ровно задрожал весь, закрипел, и повалило его на бок и стало трепать, ровно щепу. А кругом — господи боже ты мой! — словно в котле вода кипит, только пена белая... Волны так и вздымаются и бьют друг о дружку. У меня, признаться, от страха мураши по спине забегали. Держусь это я за леер на наветренной стороне, у шкафута, гляжу, как волны по баку перекатываются, и думаю: «сейчас сгинем», и шепчу молитву. Однако вижу: «Голубчик» приподнялся, держится, только двух шлюпок нет, сорвало... А у штурвала, около рулевых, капитан в рупор кричит: «Держись крепче, ребята. Не робей, молодцы!» И от евойного голоса быдто страх немного отошел. А тут еще слышу: боцман наш ругается; ну, думаю, живы еще, значит... Мотало нас, трепало во все стороны — держится «Голубчик», только жалостно так скрипит, быдто ему больно... И как же не больно, когда его волны изничтожить хотят?... Капитан только рулевых подбодряет да нет-нет и на мачты взглянет... Гнутся, бедные, однако стоят... Так, братцы вы мои, крутило нас примерно с час времени... Ад кро-

мешный да и только... Ветер так и воет, и вода вокруг шумит... Крестимся только... Как вдруг что-то треснуло быдто... Гляжу, а фок-мачта закачалась и с треском упала... Пошли мы ее освобождать, чтобы скорей за борт... ползем с опаской, чтобы не смыло волной, ноги в воде... Тут и старший офицер: «Живо, ребята, поторапливайся!» Ну, мачту спихнули, а марсовой Маркутин зазевался, и смыло его,—только и видели беднягу. Перекрестились и еще крепче держимся, кто за что попало... А вихорь сильнее закрутил, и стало, братцы вы мои, кидать клипер во все стороны, руля не стал слушать, а волны так и перекатываются по палубе; баркас, как перышко, унесло, рубка, что наверху, в щепки... Посмотрел я на нашего Алексея Алексеевича... Вижу,— как смерть бледный, только глаза огнем горят... И все офицеры бледные, и все смотрят на капитана... У всех, видно, на уме одна дума: «смерть, мол, надо принять в окияне!» И у меня та же дума. И так, братцы, жутко и тошно на душе, что и не сказать! Вспомнилась, этто, своя деревня, батюшка с матушкой, а господь умирать велит... А смерти не хочется! «Господи, говорю, помоги! Не дай нам погибнуть!» А около меня шканечный унтерцер Иванов, степенный и благочестивый такой старик,— он и вина не пил никогда,— перекрестился и говорит: «Надо вниз спуститься, чистые рубахи одеть, исполнить, говорит, христианскую матросскую правилу, чтобы на тот свет в чистом виде. А ты, говорит, матросик,— это он мне,— не плачь. Бог зовет, надо покориться». И так это он спокойно говорит, что пуше сердце мое надрывается.

— Господи, страсти какие! — вырвалось восклицание из груди молодого матросика, который — весь напряженное внимание — слушал Егорыча и, казалось, сам переживал перипетии морской драмы.

— Тут, братцы, налетела волна и подхватила меня. Господь помиловал — откинула меня на другую сторону и у пушки, на шканцах, задержала, и ребята помогли. «Молодцом, Егоров, держись!» — крикнул капитан. Держусь, мокрый весь, без шапки. А «Голубчика» опять валит на бок, больше да больше... Не встает... Подветренный бок совсем в воде... Вот-вот опрокинемся... Волос дыбом встал. «Право на борт!» не своим голосом крикнул капитан. «Руби грот-мачту!» Но тую ж минуту застукала машина... Клипер поднялся, и мачту не трону-

ли... «Голубчик» послушливый стал. Привели в бейдевинд. Таким манером трепало нас до вечера, и томились мы, каждый секунд ждавши гибели. К вечеру вихорь этот анафемский стих, ураган самый понесся далее... Все вздохнули и благодарили господу... После офицеры сказывали, что ураган краешком захватил клипер— это, мол, так рассчитал командир, а попади мы, мол, к нему в середку, быть бы всем на дне. Наутро истрепанный, искалеченный «Голубчик», без фок-мачты,— заместо ее фальшивую поставили,— без шлюпок, без рубки, без бортов, шел под парами и парусами на ближний от нас Маврикий остров... По бедняге Маркутину отслужили честь-честью панихиду,—капитан и все до единого офицеры были, а после панихиды капитан велел собрать наверху всю команду и благодарил нас, матросов, и приказал выдать по лишней чарке. Всякому доброе слово сказал, похвалил, а спасибо-то надо было бы сказать ему, голубчику-то нашему... Он-то не оробел и управился...

— И долго вы чинились на этом самом Маврике? — спросил кто-то.

— Недели две стояли — поправлялись. Фок-мачту новую справили, шлюпки купили, такелаж вытянули, одно слово, все как следует, а затем айда на Яву-остров... Ну, погода свежая была, почитай всю дорогу зарифившись шли, но от урагана бог помиловал! — закончил Егорыч при общем молчании.

— Однако сейчас флагу подъем! — проговорил он и вышел из круга.

III

Минут за пять до восьми часов из своей каюты вышел командир корвета «Сокол», невысокого роста, плотный брюнет лет сорока, с мужественным и добрым лицом, весь в белом, с безукоризненно свежими отложными воротничками, открывавшими слегка загоревшую шею. С обычной приветливостью пожимая руки офицерам, собравшимся на шканцах к подъему флага, он поднялся на мостик, поздоровался с старшим офицером и вахтенным начальником, оглянул паруса, бросил взгляд на сиявшую во всем блеске палубу и, видимо довольный образцовым порядком своего корвета, осмотрел в бинокль горизонт и проговорил, обращаясь к старшему офицеру:

— Экая прелесть какая в тропиках, Степан Степаныч...

— Жарко только, Василий Федорович...

— Под тентом еще ничего... Кстати, какое сегодня у нас учение по расписанию?

— Артиллерийское, а после обеда стрельба из ружей в цель...

— Артиллерийское сделайте покороче... Так, четверть часа или двадцать минут — не более, чтоб не утомлялись люди... А когда последнего быка думаете бить?

— Завтра, Василий Федорович. Уж пять дней команда на консервах да на солонине, а завтра воскресенье.

— Как съедят быка, придется матросам на одних консервах сидеть, да и нам тоже, этак недельки две... Живность-то скоро съедем... А в Рио я, кажется, не зайду. Команда, слава богу, здорова — ни одного больного. Чего нам заходить, не правда ли?

Старший офицер, вообще редко съезжавший на берег, согласился, что не стоит заходить.

— Не беда и на консервах посидеть. В старину по долгу и на одной солонине сидели. Помню, я молодым офицером был, когда эскадра крейсировала в Балтийском море, так целый месяц кроме солонины — ничего... И сам адмирал нарочно ничего другого не ел... А придем на Мыс, опять возьмем быков и оттуда в Зондский пролив.

— На флаг! — скомандовал вахтенный офицер.

Разговоры смолкли. На корвете воцарилась тишина.

Сигнальщик держал в руках минутную склянку. И лишь только песок пересыпался из одной половины в другую, как раздалась команда вахтенного начальника:

— Флаг поднять!

Все обнажили головы. На военном судне начинался день. Пробило восемь ударов, и новый вахтенный офицер взбежал на смену стоявшего с четырех часов утра. В то же время начальники отдельных частей: старший офицер, старший штурман, старший артиллерист, старший механик и доктор по очереди подходили к капитану рапортовать о состоянии своих частей. Разумеется, все было благополучно. Отрапортовав, все уходили вниз, в кают-компанию, где на столе шумел большой самовар и аппетитно глядели свежие булки, и масло, и лимон,

и консервированные сливки. Рассевшись за столом, пили чай, шутили, смеялись, рассказывали о проведенных ночных вахтах. Кают-компания на «Соколе» подобралась дружная, и сразу чувствовалось, что между всеми царит согласие, несмотря на то, что «Сокол» находился в переходе уже две недели, и отсутствие впечатлений извне могло невольно, при однообразии судовой жизни, сделать отношения неприятными, как часто бывает, когда люди, скученные вместе, надоедают друг другу. Но это еще было впереди. Пока еще каждый не был вполне изучен другим, рассказы и анекдоты еще не повторялись в нескольких изданиях, и скука плавания не заставляла отыскивать друг в друге несимпатичные черты, раздувать их и коситься друг на друга до первого порта, где новые впечатления снова вносили в кают-компанию оживление и шумные разговоры, и люди, на длинном переходе откапывающие в ближнем дурные стороны, снова делались добрыми, терпимыми товарищами. К тому же и библиотека еще не вся была прочитана, и — главное — не было в кают-компании интриганов, да и старший офицер, молчаливый Степан Степанович, как-то ловко и вовремя умел прекращать споры, принимавшие слишком страстный характер, особенно у молодых мичманов.

Все спрашивают, например, у старшего штурмана, каково суточное плавание. Довольно суровый на вид, но добряк в душе, штурман, низенький и маленький человек, совсем седой, несмотря на свои сорок пять лет, вначале отвечает терпеливо и благодушно, что «отмахали» сто сорок миль, но когда, после многократных ответов, только что вошедший в кают-компанию мичман Лучицкий опять спрашивает, штурман несколько сердится и отвечает с раздражением.

— Да вы не сердитесь, Иван Федорыч! — говорит мичман, и так добродушно говорит, и такая на лице его милая улыбка, что старший штурман тотчас же и сам улыбается.

Иван Федорович безукоризненный служака, один из тех штурманов старого времени, с которым, как в старину говорили, командиру можно «спокойно спать»; он много плавал на своем веку и поседел уже давно, поседел в одну ужасную ночь, когда шкуна, на которой он служил, разбилась в бурунах в Охотском море, у Гижи-

ги. Изю всей команды спаслось только двое матросов да он, и целые три дня они находились на голом острове, без пищи, пока их не нашли рыбаки. Об этом крушении Иван Федорович неохотно вспоминает, особенно когда корвет на ходу, так как почтенный старший штурман несколько суеверен, как многие старые штурмана, и до сих пор никто из кают-компаний не слышал еще от него подробностей об этой ужасной ночи и о трехдневном голодании.

По обыкновению, Иван Федорович торопливо допивает свой третий стакан, с папироской, и, окончив его, бежит с секстаном в руке брать высоты солнца и потом делать вычисления.

Чай отпит. Вестовые убрали со стола. Старший офицер снова наверху, где матросы разведены по работам. Старший штурман сидит и вычисляет. Многие взялись за книги. Один из мичманов сел за пианино и играет вальс Шопена. Доктор и артиллерист, оба глубокомысленные, погружены в шахматную игру...

А наверху большая часть подвахтенных матросов занята: кто плетет мат, кто чинит парус, кто учится бросать лот, кто скоблит шлюпку, забравшись в нее, кто что-нибудь стругает, помогая плотникам, словом, каждый занят какой-нибудь легкой работой и каждый непременно, сидя в белой рубашке с расстегнутым воротом, напевает про себя какую-нибудь песенку, напоминающую далекую родину. Общая любимица мартышка Дунька носится, как угорелая, по вантам, а Лайка, пес неизвестной породы, прибежавший еще в Кронштадте на корвет и оставленный матросами, давшими ему имя Лайки, безмятежно дремлет в тени, под пушкой.

Вахтенный офицер ходит взад и вперед по мостику, и нечего ему делать... И посматривает он на блестящую полосу океана, где, перелетая с места на место, сверкает на солнышке летучая рыбка. За кормой носятся альбатросы...

А солнце, палящее, ослепительное, поднимается все выше и выше, заливая светом маленький корвет, и мягкий пассат, раздувая его паруса, уносит моряков все дальше и дальше от родного Севера.

БЕСПОКОЙНЫЙ АДМИРАЛ

I

В это прелестное, дышавшее свежестью раннее утро в Тихом океане на вахте флагманского корвета «Резвый» стоял первый лейтенант Владимир Андреевич Снежков, прозванный в шутку матросами «теткой Авдотьей».

Прозвище это не лишено было меткости.

Действительно, и в полноватой фигуре лейтенанта, и в его круглом и рыхлом, покрытом веснушками лице, и в его служебной суетливости, и в тоненьком, визгливом тенорке было что-то бабье.

Собой Владимир Андреевич был далеко неказист. Благодаря своим выкатившимся рачьим глазам он всегда имел несколько ошалелый вид. У него были рыжие жидкие баки и усы, очень толстые губы и большой неуклюжий мясистый нос, украшенный крупной бородавкой. Эту бородавку, смущавшую лейтенанта особенно перед приходами в порты, корветский доктор хвастливо обещал свести, но до сих пор не свел, к большому огорчению Владимира Андреевича.

Обыкновенно бывавший на вахтах в удрученном томлении трусливого человека, ожидавшего «разносá», Снежков сегодня находился в хорошем расположении духа. Он с беззаботным видом шагал себе по мостику, поглядывая то на океан, кативший с тихим гулом свои могучие волны, сверкавшие под ослепительными лучами солнца, то на надувшиеся белые паруса, мчавшие «Резвый» благодаря ровному попутному ветру до десяти узлов в час, то на только что вымытую палубу, на которой происходила теперь ожесточенная обычная утренняя чистка, то на клипер «Голубчик», который, слегка

накренившись, похожий на белоснежную чайку, неся чуть-чуть впереди, убравши брамсели, чтоб уменьшить свой бег и не «показать пяток», как говорят моряки, корвету, с которым, по приказанию адмирала, шел соединенно от Сан-Франциско до Нагасаки.

По временам Владимир Андреевич, несмотря на свой солидный вид человека, отзвонившего в лейтенантском чине двенадцать лет и недавно отпраздновавшего тридцатипятилетнюю годовщину, даже тихонько подсвистывал игривый вальсик, слышанный им в сан-францисском кафешантане и живо напоминавший ему о знакомстве с очаровательной певичкой-американкой.

Воспоминания об этих недавних днях были приятные, черт возьми! Нужды нет, что в две недели стоянки певичка заставила своего влюбленного поклонника спустить не только жалованье за два месяца, но и все его небольшие сбережения за два года плавания. Он об этом не жалеет, до того неотразима была эта мисс Клэр, пухленькая блондинка с золотистыми волосами и карими глазками, сразу овладевшая мягким сердцем Владимира Андреевича, как только он съехал на берег после месячного перехода, увидел эту мисс и, познакомившись, пригласил ее любезной пантомимой вместе поужинать.

Небось он отлично объяснялся с ней, и чем дальше, тем лучше, несмотря на то, что знал по-английски не более десятка-другого слов. Но зато каких слов! Все самых существенных и нежных, которые он добросовестно вы зубрил по лексикону и повторял в различных комбинациях, подкрепляя их мимикой, особенно выразительной после двух-трех бутылок шампанского.

Слава богу, ему не нужно было прибегать к помощи кого-нибудь из товарищей, знающих английский язык, как он имел глупость делать прежде. Теперь он и сам храбро выпаливал английские слова, не заботясь ни о малочисленности, ни об их логической связи. Придет он к мисс Клэр в гостиницу, поклонится, поцелует ручку, сядет около и, воззрившись на нее, словно кот на сало, начнет, как он выражался, «отжаривать»:

— Добрый день... милая... очень рад... который час... отлично... как ваше здоровье... очаровательная... выпить... ехать... ножки... ручки... очень хорошо... восторг...

«Отжарив» эти слова, он начинал снова, но уже в обратном порядке, начиная с «восторга» и кончая «доб-

рым днем», и разговор выходил хоть куда! Мисс Клэр хохотала как сумасшедшая, трепала лейтенанта по рыхлой щеке и отвечала милыми речами. Что она ему говорила, Снежков, разумеется, и до сих пор не знает, но тогда он делал вид, что все понимает, убеждая ее в этом весьма простым способом: он вынимал из кармана несколько золотых монет, больших, средних и малых, клал их на свою широкую пухлую ладонь и предлагал знаками выбрать одну из них на память.

Но американка с такой ловкостью стягивала своей маленькой ручкой сразу все монеты с ладони лейтенанта, что он приходил в восхищение и после такого фокуса в восторге лепетал свои заученные слова.

Никогда впредь не обратится он в таких делах к чужому посредничеству. Знает он этих переводчиков! Влюбчивый и ревнивый, Владимир Андреевич не забыл и теперь, как года полтора тому назад с ним бессовестно поступил мичман Щеглов в Каптауне. Нечего сказать, благородно!

В качестве переводчика мичман обедал на счет Владимира Андреевича в обществе строгой на вид, чинной и красивой англичанки не первой молодости, «благородной вдовы, случайно попавшей в Каптаун после кораблекрушения, лишившего ее всего состояния», которую лейтенант, при любезном посредстве мичмана, не замедлил пригласить обедать в номер гостиницы после первой же встречи на улице и краткого знакомства с ее биографией.

Казалось, Щеглов самым добросовестным образом переводил комплименты и излияния лейтенанта, уплетая при этом вкусный заказной обед с волчьим аппетитом двадцатилетнего мичмана. Казалось, что и англичанка, работавшая своими челюстями с не меньшим усердием, чем мичман, пившая не хуже самого Владимира Андреевича и ставшая к концу обеда менее строгой на вид, довольно милостиво слушала переводчика, бросая по временам благосклонные взгляды на амфитриона, пожиравшего жадными взглядами и белую шею и полные руки этой дамы. Оставалось только разведать о наилучших путях к сердцу «благородной вдовы, потерпевшей кораблекрушение». И эту щекотливую миссию Щеглов исполнил, по-видимому, вполне удовлетворительно, так что Владимир Андреевич на радостях потребовал еще

шампанского. Затем последовали коньяк и кофе, и когда лейтенант вышел на минутку в сад, чтобы несколько освежить голову после капских вин, шампанского и коньяку, и затем вернулся в номер, ни вдовы, ни мичмана не было. Лакей доложил, что они уехали кататься и обещали скоро вернуться, и подал кругленький счетец.

Взбешенный Владимир Андреевич напрасно прождал их до позднего вечера. Они так и не приехали, а мичман, на следующее утро вернувшийся на корвет, с самым серьезным видом утверждал, что «благородная вдова, потерпевшая крушение», внезапно почувствовала себя нездоровой и настойчиво просила ее увезти.

— Что мне было делать?.. Согласитесь, что я не виноват, Владимир Андреевич... И она, знаете ли, не какая-нибудь авантюристка, а настоящая леди!.. — прибавил мичман, подавляя улыбку.

С тех пор Владимир Андреич уж не брал с собой на берег переводчиков, а принялся за лексикон. И опыт в Сан-Франциско доказал, что он отлично может объясняться по-английски.

Лейтенант снова взглянул на паруса — стоят отлично; взглянул на компас — на румбе; озабоченно взглянул на люк адмиральской каюты — слава богу, закрыт.

И он опять зашагал по мостику.

После воспоминаний о прошлом в его голове пронеслись приятные мысли о близком будущем. В самом деле, плавание предстояло заманчивое. И флаг-капитан и флаг-офицер еще вчера положительно утверждали, что «Резвый» из Нагасаки пойдет в Австралию и посетит Сидней и Мельбурн, а «Голубчик» отправится в Гонконг для осмотра своей подводной части в доке, а оттуда в Новую Каледонию, где должен ожидать «Резвого» с адмиралом... Бедный «Голубчик»! — ему не «пофартило». Новая Каледония с дикими черномазыми дамами!

«А Сидней и Мельбурн — отличные порты, не то что эти китайские и японские трущобы с узкоглазыми туземками, достаточно-таки надоевшими», — размышлял Владимир Андреевич и, предвкушая будущие удовольствия, весело улыбнулся и опять стал подсвистывать, вызывая некоторое недоумение в сигнальщике, который привык видеть на вахте Снежкова всегда озабоченным, суетливым и удрученным.

«Что за диковина? Тетка Авдотья веселая!» — подумал сигнальщик.

Подобное необычное настроение Владимира Андреевича с подсвистываньем и приятными воспоминаниями объяснялось исключительно тем счастливым обстоятельством, что «беспокойный адмирал», как звали про себя начальника эскадры солидные капитаны и лейтенанты, или «свирепый Ванька» и «глазастый черт», как более образно втихомолку выражались легкомысленные мичмана и гардемарины, ни разу не выходил наверх во время его вахты и — бог даст! — не выйдет до подъема флага, до восьми часов, когда вахта окончится. Вчера беспокойный адмирал поздно лег спать и, верно, проспал долго!

Все на корвете боялись беспокойного адмирала, но никто так не трусил его, как Владимир Андреевич. Усердный служака, но далеко не моряк по призванию, нерешительный, трусливый и достаточно-таки рохля, он в присутствии адмирала совсем терялся, и робкая его душа замирала от страха, что ему «попадет». Ему действительно довольно-таки часто попадало, и Владимир Андреевич краснел и пыхтел, шептал молитвы и старался не попадаться на глаза адмиралу, когда только это было возможно. Он малодушно прятался за мачту во время авралов, избегал выходить наверх, если наверху был «глазастый дьявол», за обязательными обедами у него не открывал рта, испытывая робость и смущение; во время вспыльчивых его припадков, когда адмирал, случалось, бушевал наверху, топтал ногами фуражку и прыгал на палубе, словно бесноватый, грозя повесить или расстрелять какого-нибудь мичмана или гардемарина, которого через час-другой звал к себе в каюту и дружески угощал, — в такие минуты Владимир Андреевич, совсем не понимавший натуры этого беспокойного адмирала и привыкший бояться всякого начальства, положительно трепетал и, по словам зубоскалов-мичманов, тотчас же заболел *febris gastrica*¹.

— И боится же наша тетка Авдотья адмирала! — смеялись, бывало, матросы на баке, когда речь заходила о лейтенанте.

¹ желудочной лихорадкой (лат.).

— Робок очень, и нет в нем никакой флотской отважности... Совсем береговой человек! — объяснял боцман трусливость Владимира Андреевича.

— От этого самого он и суетится без толку на вахте... Опасается, значит, адмирала! — замечали старые матросы.

Посмеивались над ним и в кают-компании за эту трусость, и мичмана советовали взять да и «развести»¹ с адмиралом, но Владимир Андреевич только отмахивался безнадежно руками и решительно изумлялся, что были такие смельчаки, которые «разводили» с адмиралом, и что это проходило им совершенно безнаказанно. Сам он об этом не решался и подумать и молил только бога, как бы поскорей вернуться в Россию и получить там спокойное береговое местечко, а не то — какой-нибудь маленький пароходик или канонерскую лодку в командование и находиться подальше от всяких адмиралов и вообще от высшего начальства.

К этим, далеко не честолюбивым, мечтаниям присоединялась всегда и мечта о подруге жизни в образе какой-нибудь недурненькой женщины — брюнетки или блондинки, это было для женолюбивого Владимира Андреевича безразлично, — но только обязательно не худощавой. Худощавых дам он не одобрял, не предвидя тогда, что судьба даст ему в жены именно худощавую, да еще какую!

II

На баке только что пробило четыре склянки. Был седьмой час в начале, как из-под юта, где находилось адмиральское помещение, лениво выползла маленькая круглая фигурка курного человека лет тридцати, с краснощеким, заспанным и несколько наглым лицом, опущенным черной кудрявой бородкой, в люстриновом пиджаке поверх розовой ситцевой сорочки, в белых штанах и в стоптанных туфлях, надетых на грязные босые ноги.

Этот единственный на корвете «вольный», как зовут матросы всякого невоенного, был адмиральский лакей Васька, продувная бестия из кронштадтских мещан,

¹ «Развести» на морском жаргоне значит: поговорить крупно с начальством. (Прим. автора.)

ходивший с адмиралом во второе кругосветное плавание, порядочно-таки обкрадывавший своего холостяка барина и пускавшийся на всякие обороты. Он давал гардемаринам под проценты деньги, снабжал их по баснословной цене русскими папиросами и вообще был человек на все руки.

При виде адмиральского камердинера с металлическим кувшинчиком в руке все приятные воспоминания и вообще неслужебные мысли разом выскочили из головы Владимира Андреевича, лицо его тотчас же приняло тревожно-озабоченное выражение и взгляд сделался еще более ошалелым.

— Васька! — тихо окликнул он адмиральского камердинера, когда тот был у мостика.

Васька галантливо приподнял с черноволосой кудластой головы красную шелковую жокейскую фуражку — предмет его особенного щегольства перед баковой аристократией — и приостановился, зевая и щуря на солнце свои бегающие, как у мыши, плутовские карие глаза.

— Встал? — беспокойно спросил Владимир Андреевич, значительно понижая свой визгливый тенорок, и мотнул головой по направлению адмиральского помещения.

— Встает... Только что проснулся. Сегодня бреемся. Вот за горячей водой иду! — развязно отвечал Васька, взглядывая на вахтенного начальника с снисходительной улыбкой, которая, казалось, говорила: «И чего ты так боишься адмирала?»

И, словно желая успокоить Снежкова, прибавил фамильярным тоном, каким позволял себе говорить с некоторыми офицерами:

— Раньше как через полчаса, а то и час, он не выйдет, Владимир Андреевич. При качке-то скоро не выбреешься, какой ни будь нетерпеливый человек. На прошлой неделе щеки-то порезал от своей скорости.

И Васька направился далее, умышленно замедляя шаги.

«Я, дескать, не очень-то спешу для адмирала, которого вы все боитесь!»

Владимир Андреевич немедленно засуетился. Он первым делом озабоченно поднял голову, взглядывая на верхние паруса. Теперь ему казалось, что марсели и

брамсели не вытянуты как следует, и он скомандовал подтянуть шкоты. А затем понесся на бак осмотреть кливера.

— Кливера не до места, не до места... Как же это? — с жалобным упреком и с выражением страдания на лице обратился Владимир Андреевич к вахтенному гардемарину, который с самым беспечным видом коротал вахту, разгуливая по баку.

— Кажется, кливера до места, Владимир Андреич.

— Вам кажется, а мне попадет!.. Не вам, а мне!.. Адмирал увидит и... Скорей вытяните кливер-шкоты...

— Есть! — отвечал гардемарин.

— Да снасти... приберите их... Боцман! ты чего смотришь, а?

Подскочивший с засученными до колен штанами пожилой боцман, который с раннего утра усердствовал, наблюдая за чисткой и надрывая горло от ругани, докладывал успокоительным тоном:

— Уборка еще не окончена, палуба мокрая, ваше благородие! Как, значит, справимся с уборкой, тогда и снасть уберем, ваше благородие!

— А ты поторапливай уборку, поторапливай, братец!

— Есть, ваше благородие!

В официально-почтительном взгляде боцмана скользнула улыбка. И он подумал: «И с чего ты зря суетишься?»

— И вообще...— снова начал было Владимир Андреевич.

Но так как он решительно не знал, что еще «вообще» сказать, то, оборвав фразу, побежал назад, покрикивая занятым чисткой матросам:

— Пошевеливайся, братцы, пошевеливайся!

Матросы усмехались и вслед ему говорили:

— Видно, адмирал скоро выйдет, что тетка Авдотья забегала.

Поднявшись на мостик, Владимир Андреевич зашагал, тревожно осматриваясь вокруг. Он то и дело подходил к компасу, чтобы посмотреть, по румбу ли идет корвет, взглядывал на надувшийся вымпел, чтобы удостовериться, не зашел ли ветер, — словом обнаруживал тревожное усердие. И когда на мостик поднялся старший офицер, который с раннего утра тоже носился по всему корвету как оглашенный, присматривая за общей чист-

кой, Владимир Андреевич поторопился ему сообщить, что адмирал встает.

— Бриться только будет! — прибавил он.

— Ну и пусть себе встает! — равнодушным, по-видимому, тоном проговорил длинный, высокий и худой старший офицер, с очками на близоруких глазах. — Придаться ему, кажется, не за что... У нас все, слава богу, в порядке... А впрочем, кто его знает?.. С ним ни за что нельзя ручаться!.. И не ждешь, за что он вдруг разнесет! — с внезапным раздражением прибавил старший офицер.

— То-то и есть! — как-то уныло подтвердил Владимир Андреевич.

Расставив свои длинные ноги, старший офицер поднял голову и стал оглядывать паруса и такелаж.

— Что, кажется стоят хорошо, Михаил Петрович? Все до места? Реи правильно обрасоплены? — спрашивал Снежков с тревогой в голосе, ища одобрения такого хорошего моряка, как старший офицер.

— Все отлично, Владимир Андреич... Не волнуйтесь напрасно, — успокоил его старший офицер после быстрого осмотра своим зорким морским взглядом парусов... — А ветерок-то славный... Ровный и свеженький... Как у нас ход?

— Десять узлов.

— С таким ветерком мы скоро и в Нагасаки прибежим... А «Голубчик» лучше нашего ходит... Ишь, брам-сели убрал, а все впереди идет! — не без досады проговорил старший офицер, ревнивый к достоинствам других судов и точно оскорбленный за отставание «Резвого».

Он взял бинокль и жадным взглядом впился в «Голубчика», надеясь увидеть какую-нибудь неисправность в постановке парусов. Но напрасно! На «Голубчике», стройном, изящном и красивом, все было безукоризненно, и самый требовательный глаз не мог бы ни к чему придаться. Недаром и там старший офицер был такой же дока и такой же ученик беспокойного адмирала, как и Михаил Петрович.

Старший офицер несколько минут еще любовался «Голубчиком» и, отводя бинокль, промолвил:

— Славный клиперок!

Владимир Андреевич совсем чужд был этим мор-

ским ощущениям и, равнодушно взглянув на «Голубчика», спросил:

— А долго мы простоим в Нагасаки, Михаил Петрович?

— Возьмем уголь и уйдем.

— В Австралию?

— Говорят, что в Австралию.

— Разве это не наверное?

— Да разве с нашим адмиралом знаешь наверное, куда кто пойдет?.. Держи карман! Я вот в первое свое плавание у него в эскадре вполне был уверен, что пойду в Калькутту, а знаете ли, куда пошел?

— Куда?

— В Камчатку!

— Как так?

— Очень просто. Перевел меня с одного клипера на другой — и шабаш! Вы, Владимир Андреевич, его, видно, еще не знаете... Он любит устраивать сюрпризы! — засмеялся старший офицер.

И вдруг вспомнив, что еще не осмотрел машинного отделения, сорвался внезапно с мостика, стремглав сбегал по трапу и, озабоченный, скрылся в палубе.

Неморяк, который увидал бы в этот момент старшего офицера, наверно подумал бы, что он сошел с ума или что на судне несчастье.

III

Тем временем Васька, наполнив кувшинчик кипятком и сказав коку, чтобы готовил кофе и поджаривал сухари, довольно беспечно беседовал у камбуза с молодым писарьком адмиральского штаба Лаврентьевым, который был первым щеголем, понимал деликатное обращение, знал несколько французских и английских фраз, имел носовой платок и носил на мизинце золотое кольцо с бирюзой.

Казалось, Васька мало заботился о том, что адмирал ждет горячей воды, и рассказывал приятелю-писарю о том, что за чудесный этот город Сидней, в котором он был с адмиралом в первое плавание.

— Прежде в нем одни каторжники жили, вроде как у нас в Сибири, а теперь, братец ты мой, как есть столица! Всего, что хочешь, требуй!.. И театры, и магази-

ны, и конки по улицам, и сады, одно слово — видно образованных людей. И умны эти шельмы, англичане. Ах, умны! Особенно насчет торговли... Первый народ в свете!

Адмиральский кок (повар), пожилой матрос, тоже ходивший с адмиралом второй раз в плавание, заметил:

— Смотри, Василий, адмирал тебя ждет... Как бы не осерчал!

— Подождет! — хвастливо кинул Васька и продолжал: — Слышно, что из Нагасак беспрерывно в Сидней пойдем... Так уж я тебе, Лаврентьев, все покажу... Прелюбопытно... А барышни — один, можно сказать, восторг!..

— Ой, Василий... Иди-ка лучше до греха... А то шаркнет он тебя этим самым кувшином! — снова подал совет повар.

— Так я его и испугался!.. Я — вольный человек. Чуть ежели что: пожалуйста расчет, и адью! В первом городе и уйду, если будет мое желание... И то, слава богу, потрафляю ему... Знаю его характер. Другой небось на него не потрафит... И он это должен понимать... Без меня ему не обойтись!

— Положим, ты вольный камардин, а все ж таки побереги свои зубы... Сам, кажется, знаешь, каков он в пылу... Не доведи до пыла... Беги....

— Ступай в самом деле, Василий Лукич! — проговорил и писарь.

Советы эти были своевременны, и Васька отлично это чувствовал. Но желание поломаться и показать, что он несколько не боится, было так сильно, что он продолжал еще болтать и не представлял себе, что адмирал, в ожидании горячей воды, уже бешено и порывисто, словно зверь в клетке, ходит в одном нижнем белье по большой роскошной каюте, бывшей приемной и столовой, и нервно поводит плечами.

Еще одна-другая раздражительная минута напрасного ожидания, как дверь адмиральской каюты приоткрылась, и на палубе раздался резкий, металлический, полный энергии и закипающего гнева голос:

— Ваську послать!

Владимир Андреевич невольно вздрогнул, словно лошадь, получившая шпоры, и торопливо, во всю силу своих легких, крикнул визгливым тенорком:

— Ваську послать!

— Ваську посла-а-ть! — раздался зычный голос боцмана в палубу и долетел до ушей Васьки.

— Дождался! — иронически бросил кок.

— Ишь ведь, не потерпит секунды... Черт! — проговорил Васька и уж далеко не с прежним видом гоголя выскочил наверх и понесся к адмиралу с кувшином в руках, придумывая на бегу отговорку.

Едва только красная жокейская фуражка исчезла под ютом, как через отворенный и прикрытый флагом люк адмиральской каюты слышались раскаты звучного адмиральского голоса, прерываемые тоненькой и довольно нахальной фистулой Васьки.

— Мерзавец! — донесся заключительный аккорд, и все смолкло.

Адмирал начал бриться.

Минут через двадцать адмирал, свежий, с гладко выбритыми мясистыми щеками, в черном люстриновом сюртуке, с белоснежными отложными воротничками сорочки, открывавшими короткую загорелую шею, легкой поступью вошел на мостик и в ответ на поклон смутившегося Владимира Андреевича снял фуражку, с приветливой улыбкой протянул широкую руку и весело проговорил:

— С добрым утром, Владимир Андрейч!

И, бросив довольный взгляд на широкий простор океана, прибавил:

— А ведь мы славно идем, не правда ли?

— Отлично, ваше превосходительство! Десять узлов!

— И погода чудесная... Позвольте-ка бинокль.

Владимир Андреевич передал бинокль, и адмирал, подойдя к краю мостика, стал смотреть на шедший впереди и чуть-чуть на ветре клипер «Голубчик».

«Он в духе сегодня!» — радостно подумал Владимир Андреевич, поглядывая на беспокойного адмирала.

IV

Полюбовавшись клипером, адмирал отвел глаза от бинокля и, передав его вахтенному офицеру, видимо удовлетворенный, стал смотреть в океанскую даль.

Он снял белую с большим козырем фуражку, подставив ветру свою большую черноволосую, заседевшую у висков, коротко остриженную голову, и с наслаждением вдыхал утреннюю прохладу чудного морского воздуха.

Это был плотный и крепкий человек небольшого роста, лет сорока пяти — шести, кряжистый, широкий в костях, с могучей грудью, короткой шеей и цепкими, твердыми, толстыми «морскими» ногами. Его смугловатое, подернутое налетом сильного загара скуластое лицо с резкими и неправильными чертами широковатого носа, мясистых «бульдожьих» щек и крупных губ с щетинкой подстриженных «по-фельдфебельски» усов дышало силой жизни, смелостью, избытком энергии беспокойной и властной натуры и той несколько дерзкой самоуверенностью, которая бывает у решительных, привыкших к опасностям людей. Большие, круглые, как у ястреба, слегка выкаченные черные глаза, умные и пронзительные, блестели, полные жизни и огня, из-под густых, чуть-чуть нависших бровей. Лоб был большой и выпуклый.

И в этом энергичном лице, и во всей этой коренастой, дышавшей здоровьем фигуре чувствовалось что-то стихийное, сильное и необузданное, и в то же время доброе и даже простодушное, особенно во взгляде, мягком и ласковом, каким в настоящую минуту адмирал смотрел на море.

Глядя на этого человека даже и в эти спокойные минуты созерцания, никто не подумал бы усомниться в заслуженности составившейся о нем во флоте репутации лихого и решительного, знающего и беззаветно преданного своему делу моряка и деспотически страстного, подчас бешеного человека, служить с которым не особенно покойно. Недаром же в числе многочисленных кличек, которыми наделяли адмирала в Кронштадте, была и кличка «чертовой перечницы».

Прошрое его было, разумеется, хорошо известно среди моряков.

Все знали, что он был «отчаянный» кадет и вышел из морского корпуса в черноморский флот, куда выходили по преимуществу молодые люди, не боявшиеся строгой службы, где и получил основательное морское воспитание в школе Лазарева, Корнилова и Нахимова. Любимец двух последних адмиралов и восторженный их поклон-

ник, он выдвинулся в Крымскую кампанию, приобретая известность исполнением всяких опасных поручений и особенно своими смелыми выходами на небольших пароходах из блокируемого неприятельским флотом Севастополя и дерзким крейсерством в Черном море, полном неприятельских судов.

Корнев — так звали начальника эскадры — делал блестящую по тем временам карьеру, тем более для человека без всяких связей и протекции. Вскоре после войны он, флигель-адъютант, сорока лет от роду, был произведен в контр-адмиралы и уж второй раз командовал эскадрой Тихого океана.

Когда полгода тому назад, совершенно неожиданно, Корнев приехал на смену своего предместника, умного и образованного адмирала Н., но совсем не моряка в душе, почти чуждого подчиненным, державшего себя от них в отдалении и обращавшегося со всеми с любезной и брезгливой холодностью служебного баловня, богача и аристократа, — все тотчас же почувствовали нового начальника эскадры и его беспокойную натуру.

Эскадра оживилась, как оживляется добрый конь, почувший опытного и смелого всадника. Все старались подтянуться. Между судами появилось соревнование. Офицеры и матросы сразу почувствовали в новом адмирале не только начальника, но страстного моряка и знающего ценителя. Он взбудоражил всех, приподнял самолюбие и как-то осмыслил службу, этот беспокойный адмирал, требуя не одного только исполнения обязанностей, а, так сказать, всей души.

Ураганом пронесся он, явившись на свой флагманский корвет «Резвый», когда, после обычного опроса у команды претензий, узнал, что ревизор плохо кормит людей и не все выдает им по положению. Командир и ревизор были «разнесены вдребезги». Ревизору было приказано немедленно «заболеть» и ехать в Россию. «Жаркую баню» пришлось выдержать и одному юнцу гардемарину, который наказал розгами матроса, не имея на то права. Гардемарин был назван «щенком» и переведен на другое судно. И опять досталось капитану, допустившему такой «разврат».

Не прошло и месяца с приезда адмирала, как на эскадре, собравшейся в Хакодате, начались перетасовки.

Адмирал своей властью сменил двух старых, не особенно бравых и энергичных капитанов, решив, после знакомства с ними в море, что они «бабы». Предложив им ехать в Россию, он, не желая повредить им, дал о них министру лестные аттестации и объяснил, что хотя они и вполне достойные капитаны, но слабое их здоровье делает их не совсем пригодными к беспокойным океанским плаваниям. Вместо них он назначил двух, относительно молодых, старших офицеров, а на их места — совсем молодых лейтенантов, ходивших с ним в первое его плавание.

После этих перемен адмирал несколько успокоился.

Нечего говорить, что в Петербурге, привыкшем к канцелярским перепискам и к боязливой нерешительности начальников эскадр сделать что-нибудь неугодное высшему начальству, были очень недовольны адмиралом, который так круто и самовольно распоряжается.

Управляющим министерством в то время был адмирал Шримс, почти не бывавший в море, всю жизнь прослуживший в штабах, очень умный человек, известный хорошо морякам, особенно молодым, с которыми он обращался с фамильярной простотой, как веселый балагур и циник, любивший крепкие и пряные словечки. Весьма ревнивый к власти и давно привыкший к ней, он приказал написать Корневу строгое внушение, поставив ему на вид самовластие его распоряжений и молодость и неопытность назначенных им капитанов и старших офицеров. Бумага заканчивалась предписанием впредь не сменять капитанов без его, адмирала Шримса, разрешения.

Эта бумага была получена в Сан-Франциско недели три тому назад.

Адмирал прочитал ее, швырнул на стол, зашевелил скулами и гневно воскликнул, вращая белками:

— Ведь эдакий болван, этот Шримс, хоть, кажется, и умный человек!

Бывший зачем-то в эту минуту в адмиральской каюте флаг-капитан адмирала, худощавый, чистенький и прилизанный молодой белобрысый капитан-лейтенант Ратмирцев, щеголявший изысканными, великосветскими манерами и ханжеством, испуганно взглянул на адмирала, которого боялся больше, чем моря, и в душе презирал за грубые манеры.

Казалось несколько странным, как подобный «придворный суслик», как прозвали гардемарины этого франтоватого и светского капитан-лейтенанта, мог быть флаг-капитаном у такого человека, как беспокойный адмирал.

Но дело объяснялось просто.

Совершенно неспособный к морской службе, трусливый и мямля, Ратмирцев, благодаря связям и протекции, командовал клипером в эскадре Тихого океана. Долго Корнев не встречал этого клипера, откомандированного в крейсерство у берегов Приморской области. Но как только адмирал его встретил и проплавал на нем с неделю, он немедленно «убрал» Ратмирцева, предложив ему совершенно неответственное место флаг-капитана¹, вполне уверенный, что Ратмирцев сам будет проситься скорей в Россию, так что его не придется и «сплавлять».

Адмирал снова взял полученную бумагу, снова прочел и снова воскликнул тоном, не допускавшим ни малейшего сомнения, швыряя бумагу:

— Болван...

Ратмирцев хотел было дипломатически исчезнуть из каюты.

Адмирал заметил это намерение и резко сказал:

— Прошу, Аркадий Дмитрич, подождать минутку.

И, не обращая внимания на присутствие флаг-капитана, продолжал:

— Скотина эдакая: сидит там в кабинете и ничего не понимает...

Ратмирцев только ежился, скандализированный этими выражениями.

«Совсем грубое животное!» — подумал Ратмирцев.

Прошла минута-другая молчания.

— Аркадий Дмитрич!

— Что прикажете, ваше превосходительство? — изысканно-вежливым тоном спросил флаг-капитан, почтительно и очень красиво наклоняя туловище.

— Потрудитесь сегодня же, сейчас, немедленно, — нетерпеливо и резко говорил адмирал, слегка заикаясь и словно бы затрудняясь принискивать слова, — написать

¹ Флаг-капитан — должность вроде начальника штаба. (Прим. автора.)

приказ по эскадре, что я изъявляю свою особенную благодарность командующим «Забияки» и «Коршуна» за примерное состояние вверенных им судов.

Командующие этими судами были недавно назначенные адмиралом и не утвержденные в звании командиров в Петербурге, о чем просил адмирал.

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Да напишите приказ, Аркадий Дмитрич, в самых лестных выражениях... И не забудьте-с, Аркадий Дмитрич, копию с приказа вместе с другими бумагами послать в Петербург.

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Пусть там прочтут-с! — сказал, усмехнувшись, адмирал, видимо довольный сделанным им распоряжением и начинавший «отходить».

Он передал флаг-капитану несколько бумаг из Петербурга и приказал приготовить ответы, какие нужно.

— А на эту я сам отвечу! — значительно произнес адмирал, словно бы угрожая кому-то.

И, отложив бумагу в сторону, адмирал уставил свои большие круглые глаза, еще сверкавшие гневным огоньком, в почтительно-равнодушное, бесцветное, белобрывное лицо флаг-капитана.

Судя по этому взгляду, тот ждал: не будет ли еще каких приказаний?

Но вместо этого адмирал после долгой томительной паузы совершенно неожиданно произнес:

— Знаете ли, что я вам скажу, любезнейший Аркадий Дмитрич... Ужасно сильно вы душитесь... Какие у вас это духи? — прибавил, видимо сдерживаясь, адмирал и думая про себя: «И какой же ты вылощенный дурак!»

Вот что хотел он ему сказать этим вопросом о духах.

Ратмирцев, несколько изумленный и сконфуженный, пробормотал:

— Опопонакс, ваше превосходительство!

— Опопонакс?! Отвратительные духи-с! Можете идти, Аркадий Дмитрич, и потрудитесь сию минуту написать приказ! — прибавил адмирал.

Вслед за тем адмирал принялся за письмо к Шримсу. Письмо было довольно убедительное.

Корнев извещал, что за несколько тысяч миль довольно трудно испрашивать разрешений и что, отвечая за вверенную ему эскадру, он должен быть самостоятельным и считает себя вправе сменять офицеров по своему усмотрению, а с завязанными руками командовать эскадрой сколько-нибудь достойно уважающему себя начальнику решительно невозможно, с чем, разумеется, согласится всякий адмирал, бывавший в плаваниях,— подпустил Корнев шпильку своему начальнику, никогда не командовавшему ни одним судном. Что же касается до молодости назначенных им капитанов, то он «позволяет себе думать», что молодые, способные и энергичные капитаны несравненно полезнее старых, бездеятельных или болезненных и что в деле выбора людей на должности, требующие знания и отваги, решительности и находчивости, нельзя сообразоваться с летами. Такие знаменитые учителя, как Лазарев и Корнилов, в назначениях руководились не годами службы, а морскими качествами, и «я сам имел честь командовать в Черном море шкуной в лейтенантском чине». Из посланной при рапорте копии с приказа по эскадре его превосходительство убедится, что назначенные им командиры вполне достойные и лихие моряки, и он считает за честь иметь таких капитанов в эскадре. В заключение адмирал снова просил утвердить их в звании командиров, если только высшему морскому начальству угодно, чтоб он командовал эскадрой, и прибавлял, что он и впредь будет действовать, руководствуясь правами, предоставленными уставом начальнику эскадры в отдельном плавании, и принимая на себя ответственность за сделанные им распоряжения, клонящиеся к поддержанию чести русского флага.

В том же письме адмирал сообщал, что вследствие полной неспособности в морском деле капитан-лейтенанта Ратмирцева, более годного для береговой службы, чем для плаваний, он почел своим долгом отрешить названного офицера от командования клипером и назначить его временно своим флаг-капитаном, хотя до сих пор он и обходился без такового, довольствуясь одним флаг-офицером, а для приведения позорно запущенного клипера в должный порядок и вид, соответствующий военному судну, он назначил командующим лейтенанта Осоргина, вполне достойного офицера, бывшего стар-

шим офицером на лучшем судне эскадры, на клипере «Голубчик».

Нетерпеливый адмирал в тот же день отправил это письмо, после чего значительно повеселел и, съехавши на берег в своем статском, неуклюже сидевшем на нем платье и с цилиндром на голове, похожий скорей на какого-нибудь принарядившегося мелкого лавочника, чем на адмирала, — зазвал двух гардемарин, которые не успели юркнуть от него в другую улицу, в гостиницу, угостил их обедом, хотя они и клялись, что только что пообедали, и за обедом рассказывал им, какие доблестные адмиралы были Лазарев, Нахимов и Корнилов. И, что всего удивительнее, адмирал ни разу не разнес своих гостей — ни за то, что они ели рыбу с ножа, ни за то, что они наливали белое вино в стаканы, а не в рюмки, ни за то, что не знали знаменитого приказа Нельсона пред Трафальгарским сражением, ни за то, что до сих пор не написали заданного им сочинения о том, как взять Сан-Франциско и разгромить тремя клиперами и двумя корветами предполагаемую на рейде неприятельскую эскадру, значительно превосходящую своими силами.

И когда, наконец, адмирал отпустил гардемарин, они радостно выбежали на улицу и оба в один голос сказали, весело смеясь:

— Глазастый черт сегодня штилюет!

Когда в Петербурге было получено письмо Корнева, адмирал Шримс проговорил, обращаясь к своему директору канцелярии:

— Посмотрите, что пишет нам башибузук... Артачит...

И с тонкой улыбкой умного человека заметил:

— И ничего ведь не поделаешь с этим сумасшедшим «брызгасом»! Черт с ним! Пусть себе лучше сатрапствует вдали, а не пристаёт здесь с разными затеями... Ведь у Корнева вечно перец под хвостом! — смеясь, прибавил Шримс, зная благоволение, каким пользуется Корнев у высокопоставленного генерал-адмирала, и ревнуя к нему. — Утвердите всех назначенных им командиров... Пусть они там все беснуются со своим адмиралом!

И адмирал Шримс залился густым веселым хохотом.

Пробило шесть склянок.

Адмирал перестал любоваться морем и, надев фуражку, поднял глаза на рангоут.

Лейтенант Снежков, следивший за каждым шагом адмирала, тоже возвел очи, чувствуя душевное беспокойство.

— А я на вашем месте, Владимир Андреевич, давно бы прибавил парусов, а то срам-с... мешаем «Голубчику» нести брамсели!

— Какие прикажете поставить, ваше превосходительство? — испуганно спросил вахтенный лейтенант.

— Сами разве не знаете-с? — внезапно закипая, воскликнул адмирал. — А еще морской офицер! Ставьте лиселя с правой и топселя!..

Снежков засуетился и закомандовал.

Суетливость его, видимо, раздражала беспокойного адмирала. Уже заходили скулы и стали подергиваться плечи его превосходительства, но быстро исполненный маневр постановки парусов вернул ему прежнее хорошее расположение духа.

Корвет чуть-чуть прибавил ходу, и адмирал с самым приветливым видом сказал, чувствуя потребность ободрить смущенного лейтенанта:

— Вот видите, любезный друг, мы на четверть узла и прибавили ходу...

Этот «любезный друг» не привел, однако, лейтенанта Снежкова в радостное настроение. И он, как и другие, очень хорошо знал, что у беспокойного адмирала вслед за «любезным другом» мог появиться такой нелюбезный окрик, от которого у тетки Авдотьи положительно душа уходила в пятки.

— А что, гардемарины встают?

— Не знаю, ваше превосходительство.

— Да что вы меня титузуете?.. Я сам знаю, что я его превосходительство... Пошлите-ка будить гардемарин... Нечего им валяться... Такое прекрасное утро, а они спят.

V

Гроза офицеров, беспокойный адмирал особенно schoлил юнцов гардемарин, относительно которых был не только требовательным адмиралом, но, так сказать,

и гувернером-педагогом, заботившимся не об одной морской выучке, а также о пополнении общего образования, довольно скудно отпущенного морякам морским корпусом.

Нечего и говорить, что шесть гардемарин и три штурманские кондуктора, бывшие на флагманском корвете, не очень-то были признательны своему надоедливому учителю, и, признаться, надоед он им таки порядочно.

И зато каких только прозвищ они ни придумывали адмиралу и каких только стихов ни сочиняли про него!

Когда адмирал спустился с мостика и заходил по шканцам, в открытый люк гардемаринской каюты до него доносился веселый говор встающих молодых людей. И вдруг чей-то тенорок запел:

Не пора ль рассказать,
Как пришлось нам ждать
Адмирала.

«Про меня!» — подумал, усмехнувшись, адмирал, поворачиваясь от люка.

Приблизившись снова к люку, он услышал уже следующий куплет:

Всюду тыкал свой нос,
Задавая «разнос»,
Черт глазастый!

«Ишь... «черт глазастый»! Эка разбойники, как честят они своего адмирала. Это непременно Ивков сочинил... Дерзкий мальчишка!» — мысленно говорил адмирал, чувствовавший некоторую слабость к этому «дерзкому мальчишке», которого он уж грозил раз повесить и раз расстрелять.

— Пожалуйста кофе кушать! — доложил, приблизившись, Васька недовольным, обиженным тоном, представляя, что дует на барина.

— Хорошо.

В гардемаринской каюте мгновенно наступила тишина. Чья-то голова высунулась в люк и скрылась.

— Пожалуйста, а то кофе остынет. Меня же станете ругать. Опять я останусь виноватым, — говорил Васька.

— Иду, иду... Не ворчи, каналья.

Адмирал отправился в каюту.

В это время на палубе показался гардемарин Ивков.

Адмирал обернулся и, увидав Ивкова, подозвал его.

Тот подошел и приложил руку к козырьку фуражки.

— Доброго утра, Ивков,— проговорил адмирал, подавая гардемарину руку и весело и ласково поглядывая на него...— Вы чай пили?

— Пил, Иван Андреевич.

Адмирал как будто был недоволен, что Ивков пил чай, и сделал гримасу.

— Ну, все равно... Покорнейше прошу ко мне кофе пить... Надеюсь, не откажетесь? — любезно предложил адмирал.

«Черта с два откажешься!» — подумал Ивков, отлично зная, что просьба адмирала была равносильна приказанию.

Бывали примеры! Однажды гардемарин, обиженный на адмирала, который «разнес» его утром, ответил Васке, явившемуся в тот же день передать адмиральское приглашение к обеду, что он не может быть,— так была история!

Немедленно гардемарина потребовали наверх к адмиралу.

— Почему вы не можете быть, любезный друг? — осведомился адмирал.

Гардемарин не мог придумать удовлетворительного объяснения. Сказаться больным было невозможно — у него был предательски здоровый вид. И он угрюмо молчал.

— Быть может, не расположены? — предложил коварный вопрос адмирал, уже начинавший ерзать плечами.

— Не расположен,— отвечал гардемарин.

Адмирал тотчас же вспыхнул:

— Не расположены-с?! Он не расположен! Да как вы смеее быть не расположены идти обедать к адмиралу, а?.. Вы полагаете, что мне очень приятно видеть такого невежу у себя за столом и я поэтому вас пригласил?.. Скажите, пожалуйста!.. Я вас зову обедать по службе, и вы не смеее отказываться! Поняли? К шести часам быть к обеду! — резко оборвал адмирал.

После такого, не особенно любезного, служебного характера приглашения пришлось, разумеется, явиться

к обеду, иначе — того и гляди — беспокойный адмирал приказал бы силою привести смельчака, который вздумал бы упорствовать в отказе.

К тому же адмирал любил за обедом знакомиться, так сказать, более интимно с подчиненными, любил гостей у себя за столом и был гостеприимным и радушным хозяином, пока не становился бешеным адмиралом. Каждый день у него, кроме штабных — флаг-капитана и флаг-офицера, — да командира, обедали вахтенный офицер, вахтенный гардемарин, стоявшие на вахте с четырех до восьми часов утра, и по очереди старший офицер, штурман, механик, артиллерист и доктор.

Недавняя история с Лукьяновым быстро пронеслась в голове Ивкова.

И он, поблагодарив за приглашение и мысленно проклиная его, не особенно веселый, с понуренным видом влопавшегося человека, вошел вслед за адмиралом в его приемную и вместе столовую.

Это была огромная, роскошная, полная света каюта, отделанная щитами из красного дерева, с небольшим балконом за кормой, в раскрытые двери которого, словно в рамке, виднелся океан и голубое высокое небо. Ковер во всю каюту, диван вокруг стен, мягкая мебель, качалки, библиотечный шкаф и большой стол посредине — все это было роскошно и солидно. Двери по бокам вели в кабинет, спальню, уборную и ванную этого комфортабельного адмиральского помещения.

— Эй, Васька! Еще чашку! — крикнул адмирал, подходя к небольшому столу в глубине каюты, у дивана, накрытому белоснежной скатертью. — Садитесь, любезный друг, — обратился он к Ивкову, опускаясь на диван.

На столе аппетитно красовались свежие, только что испеченные вкусные булки и сухари, тарелочки с ломтиками холодной ветчины и языка, сыр, масло и банка с консервованными сливками.

Васька подал две большие чашки горячего кофе; адмирал сам положил в обе чашки сливок, размешал и, подавая одну чашку Ивкову, промолвил:

— Кофе Васька хорошо варит...

Он принялся за кофе, заедая его бутербродами. Вид вкусных яств соблазнил и гардемарина, хотя он и пил только что чай.

— Кушайте, кушайте на здоровье, Ивков... Быть может, вы любите печенье?... Эй, Васька! Поддай нам печенья!..

Несколько минут прошло в молчании. Адмирал кончил свою чашку и приказал Ваське подать Ивкову другую.

— Благодарю, Иван Андреевич, я больше не хочу.

— Выпейте... Ведь вы у себя такого кофе не пьете...

— Мы чай пьем.

— То-то и есть. Васька, налей!

— Я, право, не хочу более, Иван Андреевич. Разрешите не пить! — просил, улыбаясь, Ивков.

— Ну, как хотите. Васька, не наливай и убери со стола!

Адмирал вынул портсигар и протянул его Ивкову.

Гардемарин, давно уже пробавлявшийся манилками и изредка позволявший себе полакомиться папиросками, покупая их за баснословно дорогую цену у Васьки (он запаса табаком и делал хороший гешефт, продавая их офицерам), разумеется, не отказался и закурил отличную душистую адмиральскую папироску, с наслаждением затягиваясь. Закурил и адмирал.

Попыхивая дымком, он уставил на Ивкова свои кроткие, слегка задумчивые теперь глаза и мягко и ласково проговорил:

— Смотрю я на вас, Ивков, и вспоминаю свою молодость, вспоминаю вашего батюшку и вашего покойного брата. Он ведь мой лучший друг был... с корпуса дружили... Прекрасный морской офицер был ваш брат... Его и Владимир Алексеевич Корнилов ценил, а Владимир Алексеевич не ошибался никогда. И батюшка ваш в свое время славился как лихой адмирал. Крутенек только был. Мы, тогда мичмана, боялись его, как огня.

В небольших, бойких и живых карих глазах Ивкова блеснула улыбка.

«И ты тоже бешеный. И тебя, брат, бояться!» — подумал он.

— А вас, Петя, я вот каким маленьким знал! — прибавил нежным тоном беспокойный адмирал, хорошо знавший всю семью Ивкова.

Это фамильное «Петя» и этот ласковый, интимный тон, по-видимому, были не особенно приятны гардемарину, и он не только не был этим тронут, но счел

долгом принять необыкновенно серьезный и строгий вид: «Не размазывай, дескать!»

Совсем еще юный, почитывавший умные книжки и исповедовавший самые крайние мнения, он мечтал по возвращении в Россию «наплевать» на службу и «служить» народу — как, он и сам хорошенько не знал. Нечего и говорить, что он старался держать себя подальше от адмирала и его любезностей и часто в кают-компании и в кругу товарищей гардемаринов зло подсмеивался над адмиралом, отлично подмечая недостатки, слабости и смешные его стороны, и еще более над теми «трусами» и «льстецами», которые выслушивают его дерзости и лебезят пред ним, и изливал немало гражданских чувств и остроумия в своих стихотворениях на адмирала. Пользоваться чьей-нибудь протекцией он, конечно, считал унижительным, злился, когда ему говорили, что Корнев его «выведет», и бывал в восторге, когда выводил адмирала из себя до того, что тот грозился его повесить на нока-рее, во что Ивков ни на секунду не верил. Живой и увлекающийся, задорный, нетерпимый и несколько прямолинейный, он настраивал себя враждебно к адмиралу уже по тому одному, что тот был «начальство», да еще «отчаянный деспот», не понимающий, что все люди равны, и отдавшийся весь исключительно морскому делу, тогда как есть дела поважнее.

И Ивков, признавая в адмирале лихого моряка, все-таки относился к нему неодобрительно, слишком юный, чтобы простить ему его недостатки, оценить его достоинства и вообще понять всю эту сложную и оригинальную натуру.

Только впоследствии, когда он побольше повидал людей и когда жизнь его помяла, он многое простил беспокойному адмиралу и понял его.

Адмирал не замечал этой серьезности Ивкова и продолжал:

— И тогда вы были отчаянный мальчишка. Однажды вы со мной проделали злую-таки шутку... Помните?

— Не помню, ваше превосходительство.

Ивков нарочно протитудовал.

— А я так хорошо помню... Пришел как-то вечером я к вам... Целый день был на вооружении и устал... Сестра ваша, Любовь Алексеевна, пела... Я слушал и задремал... И вдруг вокруг меня смех... Я проснулся

и что же?.. На голове у меня кивер... Это вы тогда надели...

И адмирал рассмеялся.

Помолчав, он неожиданно прибавил:

— А теперь я глазастый черт? А?.. Это ведь вы все стихи пишете про своего адмирала?..

— Я, ваше превосходительство...

— Очень хотел бы прочесть... Давеча я слышал только два куплета... А их, верно, много

— Много...

— Так принесите... Любопытно, как вы меня браните... Очень любопытно...

— Вам мои стихи не понравятся, ваше превосходительство...

— Это уж мое дело.

— Что ж, я принесу! — задорно отвечал Ивков, словно бы говоря: «Я тебя не боюсь!»

— Ну, а теперь я вас попрошу, любезный друг, перевести несколько страниц лоции Кергалета... Книга у меня в кабинете... возьмите, а то вы все будете вздором заниматься... стихи писать... Да скажите гардемаринам, чтобы все пришли ко мне в десять часов... читать будем!.. И знаете ли что, Ивков?.. Ведь я очень люблю вас и хотел бы из вас brave моряка сделать, да и всех ваших товарищей люблю, а вы все ничего не понимаете... Думаете: адмирал сумасшедший школит вас так, чтоб допечь?.. Ну, да после поймете, когда умнее станете! — каким-то пророческим тоном проговорил адмирал.

И с этими словами вышел из каюты.

VI

Тотчас же после подъема флага и обычных утренних рапортов о благополучии корвета во всех отношениях господа офицеры, собравшиеся к подъему флага на шканцах, торопливо спустились в кают-компанию, вполне удовлетворенные сегодня внешним видом адмирала. Казалось, он находился в отличном расположении духа — глаза не метали молний, плечи не ерзали, и руки не сжимались в кулаки, — словом, по всем признакам, ничто не предвещало «шторма» и общих «разносов», начинавшихся обыкновенно кратким, далеко не красноречивым, хотя и энергичным по тону предисловием о том,

как завещали служить такие доблестные моряки, как Лазарев, Корнилов и Нахимов.

— А вы, господа, как служите-с?

Этот вопрос был, так сказать, штормовым предвестником. Затем начинался самый «шторм», доходивший иногда до степени «урагана», если вспыльчивый гнев адмирала поднимался до высшего предела, когда у Снежкова начинало болеть под ложечкой, а у некоторых дрожали поджилки и замирали сердца.

Не лишено было благоприятного значения и то обстоятельство, что сегодня на вахте Владимира Андреевича ему ни разу не попало. Недаром же он был весел после вахты, не имел чересчур ошалелого вида и не без некоторой хвастливости рассказывал в кают-компании о любезности и приветливости адмирала, хотя подлец Васька и раздражил его, долго не подавая горячей воды для бритья.

— А я уж, признаться, было струсил. Думал, выйдет он сердитый и разнесет за что-нибудь вдребезги,— говорил с добродушной откровенностью Снежков, намазывая маслом ломоть белого хлеба.

— Нервы у вас, Владимир Андреич, того... слабы, хоть, кажется, бог вас здоровьем не обидел... Ишь ведь разнесло вас как,— заметил худой и поджарый маленький лейтенант Николаев.— Кажется, пора бы привыкнуть... Шесть месяцев мыкаемся с беспокойным адмиралом.

— То-то нервы, должно быть...

— Я вот привык,— продолжал маленький лейтенант с черными усами и бакенбардами,— и отношусь философски. Пусть себе орет как бешеный. Поорет и перестанет.

— Это вы правильно рассуждаете,— вставил пожилой белобрысый доктор, невозмутимый флегматик, которого, по-видимому, ничто никогда не трогало, не удивляло и не возмущало.— Из-за чего расстраивать себе нервы и лишать себя хорошего расположения духа?.. Из-за того, что у нас адмирал беспокойный сангвиник?.. Не стоит...

— Вам, батенька, хорошо рассуждать... Вы, как доктор, стоите в стороне... Вам что? Вам только завидовать можно! — не без досады промолвил Снежков.— А будь вы в нашей шкуре...

— Остался бы таким же философом, поверьте, господа! — насмешливо бросил с конца стола черноволосый юный мичман Леонтьев, с нервным лицом, бойкими глазами и приподнятой верхней губой, что придавало его лицу саркастическое, слегка надменное выражение.

— Конечно, остался бы! — хладнокровно промолвил доктор.

— И кушали бы адмиральскую ругань? — задорно допрашивал мичман.

— И кушал бы...

— Похвальная философия... очень похвальная... Вообще у нас, господа, слишком много философии терпения и покорности. Вот эта самая философия и плодит таких самодуров, как наш адмирал.

— Ишь какой вы прыткий петушок! Скоро, батенька, упрыгаетесь! — снисходительно заметил доктор.

Но еще не «упрыгавшийся» мичман не обратил на эти слова ни малейшего внимания и, закипая, по обыкновению, необыкновенно быстро, продолжал:

— Я еще удивляюсь нашему башибузуку. Право, удивляюсь. Он еще мало ругается и мало разносит... Он еще церемонится...

— По-вашему, мало? — простодушно удивился Снежков.

— Разумеется, мало. Будь я на месте адмирала да имей дело с такими философами долготерпения...

— Что ж бы с ними сделали? Любопытно узнать, Сергей Александрыч? — иронически спросил маленький лейтенант.

— Я бы еще не так ругал их... Каждый день унижал бы их человеческое достоинство, третировал бы их, как лакеев... одним словом... был бы вроде Ивана Грозного! — решительно объявил мичман.

— Это с вашим-то радикализмом?

— Именно с моим радикализмом...

— Зачем же такая свирепость, неистовый Сереженька? — спросил недоумевающий его товарищ.

— А затем, чтобы дожидаться, когда, наконец, лопнет терпение и пробудится человеческое достоинство у терпеливых философов и мне дадут в морду! — не без пафоса выпалил мичман.

В кают-компании раздался смех. Столь решительный образ действий мифического адмирала ради подъема

дивических чувств у подчиненных казался чересчур самоотверженным... Ведь выпалит всегда что-нибудь невозможное этот Леонтьев!

Старший офицер поторопился выйти из своей каюты. Он увидел по возбужденному лицу юного мичмана, что речи его могут принять еще более острый характер, и поспешил дать им другое направление.

А Владимир Андреевич, взглянув на открытый люк и заметив мелькнувшие ноги адмирала, испуганно шепнул, присаживаясь к Леонтьеву:

— Адмирал наверху, а люк-то открыт... Он, не дай бог, слышал, как вы проповедовали... эх, Сергей Александрыч, не петушитесь вы лучше!

— И пусть слышит! — нарочно громко отвечал Леонтьев... — Он слишком умный человек, чтобы не понимать, что мы сами же создаем из него...

— Не пора ли, господа, прекратить этот разговор. Мы, кажется, на военном судне! — внушительно остановил Леонтьева старший офицер — столько же по чувству соблюдения дисциплины, сколько и из желания оберечь молодого мичмана, к которому он чувствовал некоторую слабость, несмотря на его подчас резкие выходки и горячую пропаганду идей, не совсем согласных с морским уставом и строгой морской дисциплиной.

В нем, в этом горяченьком юнце, вступавшем в жизнь с самыми светлыми надеждами вскормленного шестидесятих годов и полным негодования ко всему, что казалось ему не соответствующим его идеалам, Михаил Петрович словно видел отражение самого себя в пору ранней молодости, когда и он, несмотря на суровое время начала пятидесятых годов, волновался, увлекался, негодовал и интересовался не одною службой, как теперь.

Наступило неловкое молчание. Необыкновенно тактичный и любимый офицерами старший офицер очень редко обрывал так резко, как сегодня.

Леонтьев тотчас же смолк, сохраняя, однако, на лице вызывающий вид, точно он в самом деле был тираном адмиралом...

А Снежков не ошибся.

До ушей адмирала действительно донеслась негодующая тирада мичмана, оракула молодых товарищей и гардемаринов.

Юные гардемарины, считавшие себя обиженными судьбою за то, что плавают на флагманском корвете, всегда на глазах у адмирала, были несколько удручены вследствие переданного им Ивковым приказа адмирала собраться у него в каюте к десяти часам.

Нечего сказать, приятно!

Опять этот «Ванька-антихрист» (и такой кличкой окрестило адмирала гардемаринское остроумие!) станет донимать чтением. Заставит слушать какую-нибудь историческую книгу (чаще всего Шлоссера), или биографию Нельсона и описание его сражений, или журнальную статью «Современника» или «Русского слова», почему-либо ему понравившуюся, и начнет после беседовать о прочитанном и экзаменовать, точно школьников, черт его побери!

А то вдруг примется декламировать Пушкина, Лермонтова или Кольцова. Слушай его и не смей засмеяться, когда он войдет в азарт и гаркнет: «Раззудись плечо, размахнись рука!» — и взмахнет своей широкой мясистой рукой с короткими пальцами.

А главное — нельзя было предвидеть, чем окончатся эти чтения. Случалось, что после самых, по-видимому, мирных занятий литературой адмирал внезапно переходил «на военное положение», разносил и посылал на салинг.

Одна только хорошая сторона была, по мнению господ гардемарин и кондукторов, в этих чтениях и собеседованиях. «Глазастый дьявол», при всех своих допеканиях гардемарин, не был «копчинкой»¹. Если чтения бывали по вечерам, то к чаю подавалось в обильном количестве английское печенье и разные вкусные булочки, поедаемые молодыми людьми с такой стремительностью, что Васька, адмиральский лакей, с неудовольствием исполнял приказание адмирала «подать еще». Но не столь приятны были эти угощения, как большая коробка папирос, которая ставилась на столе и во время вечерних и во время утренних чтений. Кури

¹ «Копчинка» на языке кадетов значит «скупой». (Прим. автора.)

на даровщинку, да еще отличные русские папиросы и сколько хочешь.

Разумеется, гардемарины, давно пробавлявшиеся ма-
нилками, широко пользовались правом насладиться ду-
шистым табачком (у «глазастого» его много!) и курили
не переставая, папироску за папироской, словно намере-
ваясь накуриться на целые сутки по крайней мере. Пос-
ле каждого чтения в большой коробке оставался лишь
десяток-другой папирос, так называемых «стыдливых»,
что приводило Ваську в несравненно большее озлобле-
ние, чем уничтожение печений. Он считал себя, и не без
некоторого основания, положительно ограбленным гар-
демарины, так как они лишали его возможности
красть адмиральский табак в неограниченном количе-
стве и вести торговлю папиросами, продавая их по басно-
словно высокой цене, в более широких размерах. И Вась-
ка не раз докладывал адмиралу, что не хватит запаса та-
баку, ежели адмирал будет угощать ими целую ораву
гардемаринов, но каждый раз адмирал посылал Ваську
к черту и говорил, что запас так велик, что должен
хзатить.

— А ежели не хватит, значит ты крадешь, ка-
налья! — прибавлял адмирал.

— Очень мне нужен ваш табак, — отвечал обыкно-
венно Васька, делая обиженную физиономию... — Я и сам
имею запас, слава богу... Мне вашего не надо.

— То-то, оставь только меня без папирос! — значи-
тельно произносил адмирал.

Пока в гардемаринской небольшой каюте, в которой
помещалось девять человек, шли толки о том, каким чте-
нием дойдет сегодня адмирал и не огорошит ли он при-
казанием перевести какую-нибудь английскую статей-
ку, — гардемарин Ивков перебирал плоды своей музыки,
воспевавшей адмирала, и, выбрав из многочисленных
стихотворений два более или менее цензурных, ре-
шил, согласно обещанию, показать их сегодня адми-
ралу. «Пусть не думает, что я испугался. Пусть про-
чтет».

Адмирал не уходил в каюту, а разгуливал себе по
правой (почетной) стороне шканец, к крайнему неудо-
вольствию рыжего мичмана Щеглова, вступившего на
вахту с восьмью часами, — того самого коварного мичмана,
который до последнего времени был чичероне и пере-

водчиком у Владимира Андреевича Снежкова и поступил так бессовестно после обеда с англичанкой, потерпевшей кораблекрушение.

Тут же на мостике стоял и командир «Резвого», капитан второго ранга Николай Афанасьевич Вершинин, представительный и высокий брюнет лет сорока, с красивым и румяным, добродушным и несколько истасканным лицом, посматривая на адмирала с тою скрытой неприязнью, какую почти всегда питают командиры судов к флагманам, сидящим у них на судах. А этот флагман был еще такой беспокойный!

Выждав несколько минут в ожидании, не будет ли на нынешний день каких-нибудь особенных приказаний, Николай Афанасьевич, наконец, спустился вниз, к себе в каюту, и, приказав своему вестовому подавать чай, опустился на диван с видом человека, не особенно довольного своей судьбой, и разлегся в ленивой позе.

Это был хороший моряк, знающий свое дело, смелый и находчивый в критические минуты, но ленивый, беспечный и «слабый» капитан, не пользовавшийся большим авторитетом у матросов и офицеров и несколько распустивший последних. Он не заботился о корвете, предоставив все бремя работ старшему офицеру, и командовал судном что называется спустя рукава. Наверху он показывался редко и большую часть времени лежал у себя на диване с книгой в руках, и только когда в море свежело и начинался шторм, Вершинин сбрасывал свою лень и по целым часам выстаивал на мостике, спокойный, зоркий и внимательный. Проходила опасность, и он снова скрывался к себе в каюту или заходил в кают-компанию поболтать с офицерами. Большой жуир, он очень любил долгие стоянки в портах, особенно в таких, где можно было найти много развлечений и, — главное — хороших женщин, — и в таких портах все время проводил на берегу, почти не заглядывая на корвет, зная, что там неотлучно находится старший офицер Михаил Петрович. На берегу Вершинин кутил, и об его грандиозных кутежах и похождениях ходили целые легенды, не всегда соответствовавшие достоинству командира русского военного судна. Зато целый цветник хороших женщин разных национальностей оплакивал отъезд такого веселого и щедрого русского капитана и в Шербурге, и в Лисабоне, и в Рио-Жанейро,

и в Каптауне, и в Батавии, и в Сингапуре, и в Гонконге. Довольны были заходами в порты и долгими стоянками, конечно, и офицеры, а высшее морское начальство удовлетворялось рапортами Вершинина, объяснявшего свои заходы и долгие стоянки то безотложностью починок, то необходимостью дать «освежиться», как выражаются моряки, команде после бурного перехода. И потому в рапортах Вершинина переходы всегда сопровождались штормами.

Веселый, мягкий и добродушный сибарит, Вершинин не был особенно разборчив в средствах для удовлетворения потребностей своей широкой барской натуры, и так как жалованья ему не хватало, то он с легкомыслием слабого, неустойчивого человека подписывал сомнительные счета поставщиков и не брезговал разными «экономиями».

Нечего и говорить, что с прибытием адмирала, да еще такого беспокойного, как Корнев, окончились «веселые дни Аранхуэца». Приходилось Николаю Афанасьевичу подтянуться, держать ухо востро и не смотреть на каждый порт, как на Капую. Приходилось более заниматься службой, быть деятельным капитаном и выслушивать адмиральские выговоры.

И адмирал и капитан, как две совершенно разные натуры, далеко не симпатизировали друг другу... Только общая им обоим «морская жилка» несколько примиряла их. Тем не менее адмирал не раз уже подумывал, как бы под благовидным предлогом «сплавить» Вершинина, а Николай Афанасьевич, в свою очередь, нередко мечтал о той счастливой минуте, когда беспокойный адмирал пересядет на одно из других судов эскадры и хоть на некоторое время даст вздохнуть.

VIII

Не прошло и четверти часа, как капитан благодушествовал за чаем, закусывая бутербродами с тонкими ломтиками ветчины, как в капитанскую каюту влетел вахтенный унтер-офицер и доложил:

— Вашекобродие! Адмирал приказали в дрейфу ложиться!

«И чаю не даст напиться как следует! И с чего это ему вздумалось вдруг ложиться в дрейф?» — недоуме-

вал Вершинин и, недовольный, что его оторвали от чая, торопливо вышел наверх, застегивая на ходу нижние пуговицы белоснежного жилета, и поднялся на мостик.

— Зачем это в дрейф? — тихо спросил он мичмана Щеглова.

— Не знаю, Николай Афанасьич.

На крьйс-брам-стенге уже развевались позывные «Голубчика», и вслед за тем взвились свернутые маленькие комочки и, поднятые до верха мачты ловким движением руки сигнальщика, развернулись пестрыми флагами, обозначавшими сигнал: «лечь в дрейф».

В ту же секунду вахтенный мичман крикнул: «Свистать всех наверх!». Через минуту вся команда была наверху, и старший офицер избегал на мостик.

И как только сигнал был спущен, на корвете и на клипере одновременно началось исполнение маневра: убраны лишние паруса, фор-марселя поставлены против ветра, а грот-марселя по ветру, и минут через восемь оба судна остановились, почти неподвижные, покачиваясь на океанской зыби, в недалеком расстоянии друг от друга.

Адмирал стоял на полуюте, посматривая в бинокль на «Голубчик». Невдалеке от адмирала находился флаг-капитан Аркадий Дмитриевич, как всегда — чистенький, прилизанный и прифранченный, в своей адъютантской форме, но душившийся после Сан-Франциско уже не опопонаксом, а пачули, которые пока не вызывали еще неудовольствия адмирала. У мачты, около сигнальных книг, разложенных на люке, и вблизи двух сигнальщиков, бывших у сигнальных флагов, стоял, не спуская быстрых бегающих глаз с адмирала, его флаг-офицер, мичман Вербицкий, шустрый и бойкий молодой человек, отлично приспособившийся к характеру беспокойного адмирала и всегда горевший, казалось, необыкновенным усердием. Его неглупое, озабоченное и серьезное в эту минуту лицо замерло в том служебно-восторженном выражении, которое словно бы говорило, что флаг-офицер готов распластаться ради службы и своего адмирала.

И адмирал благоволил к Вербицкому, — что не мешало, конечно, разносить своего флаг-офицера чаще, чем кого-нибудь другого, благо он был всегда под рукой, —

относился к нему с чисто отеческой нежностью и не предвидел, конечно, какой черной неблагодарностью отплатит ему этот шустрый молодой человек впоследствии.

— Аркадий Дмитрич! Прикажите поднять сигнал, что мичман Петров с «Голубчика» переводится на «Резвый».

— Где, ваше превосходительство, состоится перевод — в Нагасаки?

— Кто вам сказал, что в Нагасаки? — резко крикнул адмирал, раздраженный этим, по его мнению, дурацким вопросом, и уставил на «придворного суслика» свои круглые глаза, выражение которых, казалось, говорило: «И какой же ты, братец, дурак!».

— Я полагал, ваше превосходительство...

— А вы не полагайте-с!.. Перевод состоится здесь же, сейчас... Пусть Петров переберется через полчаса...

— Слушаю, ваше превосходительство, — отвечал флаг-капитан, изумленный этим неслыханным переводом с одного судна на другое среди океана.

«Положительно сумасшедший!» — решил «придворный суслик» и медленно, слегка изгибаясь туловищем, направился к флаг-офицеру передавать адмиральское приказание.

Эта тихая походка, совсем непохожая на ту, быструю и торопливую, почти бегом, какой обыкновенно ходят моряки, исполняя служебные поручения, мгновенно озлила беспокойного адмирала и, так сказать, переполнила чашу его нерасположения к флаг-капитану. Вся его вылощенная, прилизанная худощавая фигура показалась ему донельзя оскорбляющей его морской глаз и понятие о бравом моряке.

— Этакая...

Он, однако, благоразумно воздержался от произнесения весьма неместного эпитета женского рода и крикнул, точно ужаленный:

— Аркадий Дмитрич! На военных судах не ползут, как черепахи-с, а бегают-с!..

Флаг-капитан рванулся, точно лошадь, получившая шенкеля.

Распоряжение адмирала удивило и капитана и всех офицеров, не плававших раньше с ним.

И Николай Афанасьевич, оторванный от чая и бу-

тербродов, сердито недоумевал: к чему это на «Резвый» назначают еще офицера, когда их и так довольно.

Старший офицер скоро разрешил его недоумение.

— От нас кого-нибудь переведут... Он, верно, не решил еще — кого... Смотрите — думает! — проговорил Михаил Петрович, оглядываясь на адмирала.

Действительно, адмирал ходил по юту в каком-то раздумье.

Наконец, видимо решивши вопрос, он подозвал капитана и сказал:

— Лейтенант Николаев переводится на «Голубчик»... Потрудитесь приказать ему через полчаса собрать все свои вещи и быть готовым уехать на баркасе, который придет с «Голубчика».

— Есть! — отвечал капитан.

— Да пока мы лежим в дрейфе, пусть команда купается в океане! — прибавил адмирал. — Вербицкий! Сделайте сигнал: команде «Голубчика» купаться!

Когда маленький лейтенант с черными усами узнал о своем переводе, он, несмотря на всю свою философию и уверения, что привык к адмиральским разносам, был весьма неприятно изумлен и мысленно изругал адмирала, совсем не сообразуясь с правилами морской дисциплины.

Еще бы! Вместо приятной надежды на Сидней и Мельбурн со всеми их удовольствиями — иди в Новую Каледонию... Ах, глазастый черт! А главное, ведь он второй год плавает на «Резвом». Привык и к доброму графу Монте-Кристо, как называли на «Резвом» подчас капитана Николая Афанасьевича, и к славному старшему офицеру, и к сослуживцам, и к каюте, и к Ворсуньке, своему вестовому... И вдруг... Но сердись не сердись, а надо поскорей собираться.

И моряк, которого судьба была так круто изменена беспокойным адмиралом, побежал вниз, в свою каюту, в которой обжился и где все было так удобно прилажено и убрано, и стал с помощью своего вестового Ворсуньки укладываться с тою быстротой и стремительностью, с какими собирают свои пожитки люди, застигнутые пожаром. Сапоги летели к японской вазе, мундир — к сапожным щеткам, и многочисленные фотографии хорошенькой пухлой блондинки (не то невесты, не то кузины — это был секрет лейтенанта) — к грязному

белью... Разбирать было нечего. Поневоле приходилось профанировать святые чувства («прости, Нюточка!»)... Всего полчаса времени («ах, проклятый брызгас!»). Надо еще покончить кое-какие делишки: получить у ревизора жалование за месяц и остаток порционных, отдать старшему артиллеристу сорок долларов долгу и получить — хотя и сомнительно, что сейчас получишь, — десять долларов с одного гардемарина... Надо, наконец, проститься с товарищами.

— Вали, вали, Ворсунька!..

— Боязная штучка, ваше благородие, — говорил вестовой, не зная, куда деть изящный веер из перьев, которым Нюточке предстояло обмахиваться в кронштадтском собрании.

— Заверни в бумагу или... куда, в самом деле, положить?.. Клади в треуголку...

— Как бы не повредить штучку... Штучка нежная, ваше благородие.

— Так заверни, Ворсунька, в одеяло... Жаль мне, брат, что я с тобой расстаюсь...

— И мне жалко, ваше благородие... Славу богу, жили с вами хорошо. Обиды от вас не видал...

— И ты мне служил хорошо... Вот возьми себе этот пиджак... и сапоги старые бери... Ах Ванька-антихрист! Ах чертова перечница!

— Премного благодарны, ваше благородие! — проговорил вестовой и подумал: «Ишь как он отчесывает адмирала!».

— Счастливцев вы, Василий Васильевич, — проговорил Снежков, останавливаясь у порога каюты.

— Покорно благодарю, хорошо счастье! Вы вот все пойдете в Австралию, а я...

— Так зато, подумайте: ведь не будете адмирала видеть... За одно это я охотно пожертвую всякими Австралиями... Ей-богу...

— Вам надо, Владимир Андрейч, от нервов лечиться...

— Вам вот смешно... Уж я бром принимаю, а как он ззззз...

— Febris gastrica?

— То-то и есть... Я бы с восторгом с вами «перепустил»¹.

¹ Переменился. (Прим. автора.)

— Суньтесь-ка к адмиралу... Попросите его...

— Разве это возможно! — вздохнул Снежков.

— То-то невозможно... И кто решится ему об этом сказать... Наш Монте-Кристо у него не в фаворе... Что, Ворсунька, готово?..

— Сию минуту, ваше благородие...

— Ну, простимся, Владимир Андреич... Жаль мне расставаться с нашей кают-компанией.

Оба лейтенанта обнялись и трижды поцеловались.

Переведенный лейтенант побежал проститься с остальными.

Пока шли сборы, команда купалась.

В море был опущен большой парус, укрепленный к борту веревками со всех четырех углов паруса. В этом громадном мешке шумно и весело плескались голые мускулистые тела с побуревшими от загара лицами, шеями и руками. Выплывать из-за этого мешка было строго запрещено, чтоб не попасть в чудовищную глотку акулы.

Матросы были очень довольны этим нечаянным купаньем. Куда оно лучше и приятнее, чем эти ежедневные обливания из брандспойта. И среди скученных тел шли веселые шутки, раздавался смех... Все только находили, что очень тепла вода и нет от нее озноба, как в русских реках и озерах. Кто-то сообщил, что купаться выдумал адмирал, и его за это хвалили. Нечего говорить, заботлив он о матросе. Господ донимает, муштру им задает, а матроса жалеет. И прост,— видно, что не брезгует простым человеком...

— Выходи, ребята! Шабаш купаться! — прокричал боцман, получив приказание с вахты.

И матросы один за другим поднимались по выкинутому трапу и, ступив на палубу, словно утки, отряхивались от воды и бежали на бак одеваться.

Адмирал уж начинал обнаруживать нетерпение: он то и дело посматривал на часы и взглядывал, не спускают ли на клипере баркаса. Ужасно копаются... Долго ли мичману собраться?.. Не для того ли он и сделал это перемещение офицеров, чтобы приучить господ офицеров быть всегда готовыми?.. Мало ли какие случайности бывают в море, особенно в военное время... Пусть приывают... Пусть знают, что и океан не может служить препятствием...

— Михаил Петрович! — обратился он, переходя с полуяота на мостик, к старшему офицеру.

— Что прикажете, Иван Андреич?

— Нынче у мичманов целые сундуки вещей, что ли? Отчего Петров не едет, а... как вы думаете?

— Еще не прошло полчаса, Иван Андреич.

— Когда главнокомандующий приказал мне в Крымскую войну ехать на Дунай, я через двадцать минут уже сидел в телеге, а вы мне: полчаса... Мичману перебраться с судна на судно и... полчаса...

— Да вы сами назначили этот срок, ваше превосходительство!

— Ну, назначил, а он, как brave офицер... Ну если бы во время сражения... понимаете... тоже полчаса...

Адмирал не отличался особенным красноречием, и речи его не всегда бывали связны... Вдобавок, во время возбуждения он слегка заикался...

— Во время сражения не надо брать с собой багажа, Иван Андреич...

— Какой у мичмана багаж... Вы, Михаил Петрович, вздор говорите-с...

И адмирал круто повернулся от старшего офицера, к которому очень благоволил, как к отличному моряку...

Уж он в нетерпении стал хрустеть пальцами, сжимая обе руки, как от борта «Голубчика» отвалил баркас и под парусами, то скрываясь в большой океанской волне, то вскакивая на нее, несясь к корвету.

Лицо адмирала прояснилось. Баркас шел лихо, и паруса стояли отлично.

«И из-за чего это он каждый день кипит? Из-за чего никому не дает покоя? — размышлял Николай Афанасьевич, принужденный оставаться наверху, вместо того чтобы кейфовать внизу. — Кажется, и карьера блестящая — человек на виду, всего достиг, чего только можно в его годы, командуй спокойно эскадрой, а то нет... всюду сует свой нос, неизвестно для чего переводит в океане офицеров, ссорится с высшим начальством, допекает гардемарин... Чего ему неймется!»

Так размышлял сибарит Николай Афанасьевич и нетерпеливо ждал: скоро ли окончится вся эта суматоха и он напьется чаю, как следует порядочному человеку.

Баркас пристал к борту, и мичман Петров далеко не с радостной физиономией представился капитану.

— Очень рад служить вместе! — приветливо и добродушно промолвил капитан.

— А вы, господин Петров, отлично шли на баркасе... Здравствуйте... — Адмирал протянул руку. — Только зачем вы так долго собирались?... Не хотели, что ли, на «Резвый»? — пошутил адмирал.

«Очень даже не хотел!» — говорило кислое лицо мичмана.

— Я, ваше превосходительство, кажется, скоро собрался...

— А мне кажется, что долго-с, — резко проговорил адмирал.

Мичман смутился.

— Надеюсь, вы будете так же хорошо служить на «Резвом», как на «Голубчике»... Мне вас хорошо аттестовал ваш командир... Будем, значит, приятелями! — поспешил подбодрить смутившегося мичмана адмирал, только что его оборвавший... — Можете идти.

Когда маленький лейтенант явился откланяться адмиралу, он сказал:

— Прошу не думать, что я перевожу вас по каким-нибудь причинам. Никаких. Считаю вас хорошим офицером... Вам будет бесполезно поплавать на таком образцовом военном судне, как «Голубчик»... С богом, Василий Васильич...

И адмирал крепко пожал его руку.

Через четверть часа оба судна снялись с дрейфа и, поставив все паруса, снова понеслись по десяти узлов в час.

Подвахтенным просвистали вниз, и капитан, наконец, спустился к себе в каюту и мог основательно заняться чаем.

Ушел к себе и адмирал и через час послал Ваську пригласить к себе господ гардемарinov и кондукторов.

Увы, не «промело»!

Они думали, что «прометет», что адмирал после сегодняшнего «дрейфа с сюрпризами» забудет о своем приглашении-приказе (случалось, он забывал, и они, конечно, еще более забывали), и, следовательно, злосчастным гардемаринам можно избавиться от собеседования, а тут этот Васька со своей нахальной мордой и с красной жокейской фуражкой в руках... Улыбается, под-

лец, и с наглой развязностью, фамильярным тоном говорит:

— Не угодно ли, господа, пожаловать к адмиралу. Слезно просит-с. Ждет не дожидется!

Надо идти.

Припомнили, кому быть сегодня «жертвами», то есть сидеть по бокам адмирала («жертвами» бывали все по очереди) и чаще других подвергаться экзамену, решили не давать пощады адмиральским папиросам и, приведя свои костюмы и прически в более или менее приличный вид, двинулись из каюты.

Сбитой кучкой, не особенно торопясь, прошли они шканцы, имея «жертв» в авангарде, и за минуту еще жизнерадостные и веселые лица молодых людей имели теперь несколько удрученный вид школьников, шествующих к грозному учителю.

Только лицо Ивкова дышало отважно-решительным выражением, и он ощупывал в боковом кармане своего люстринового сюртука несколько листиков с обличительными стихотворениями и почему-то воображал себя то в роли маркиза Позы перед Филиппом, то в положении посла князя Курбского перед Иваном Грозным...

IX

— Очень рад вас видеть... э... очень рад. Прошу садиться, господа! — говорил, по обыкновению слегка растягивая, словно приискивая слова, приветливым тоном адмирал, когда несколько молодых людей, в возрасте от шестнадцати до двадцати лет, вошли гурьбой в адмиральскую каюту.

Судя по неестественно серьезным и несколько напряженным выражениям почти всех этих юных, свежих, жизнерадостных загорелых лиц, безбородых и безусых или с едва пробивающимися бородками и усиками, гости, с своей стороны, далеко не испытывали особенной радости видеть любезного хозяина и что-то долго топтались, складывая свои фуражки на бортовой диван, у входа в каюту.

— Да что вы толчетесь там? Садитесь, прошу вас! — крикнул адмирал с нетерпеливой ноткой в голосе.

Молодые люди не заставили, конечно, более повторять приглашения, они бросились со всех ног, словно ис-

пуганный косячок жеребят, и торопливо уселись вокруг круглого стола, на котором лежало несколько книг и журналов и стояла привлекательная большая коробка зеленого цвета с папиросами. Очередные «жертвы» заняли места по обе стороны адмирала.

Воцарилась мертвая тишина.

Адмирал обводил ласковым взглядом своих «молодых друзей» и, казалось, несколько недоумевал: отчего они не чувствуют себя так же хорошо и приятно, как чувствовал он себя сам в это прелестное утро. И это ему не нравилось.

Действительно, все эти юнцы, обыкновенно веселые и шумливые, какими только могут быть молодые люди на заре жизни, полные надежд,— теперь сидели притихшие, с самым смиренным видом, напоминая собой шустрых и проказливых мышей, внезапно очутившихся перед страшным котом.

Положим, он добродушно и, по-видимому, без всякого злого умысла глядит своими большими, блестящими черными глазами, но все-таки... кто его знает?..

Только Ивков, в качестве всеми признанного либерала, да его большой приятель, добродушнейший и милейший штурманский кондуктор Подоконников, который, проглотив с восторгом в Сан-Франциско «Отцов и детей», отчаянно корчил Базарова, стал признавать одни естественные науки и, внезапно приняв решение поступить после плавания в медико-хирургическую академию, надоедал доктору просьбами прочесть ему несколько лекций по физиологии и анатомии, которые тот, разумеется, основательно позабыл,— только оба эти молодые люди старались принять самый непринужденный и независимый вид (дескать, мы не очень-то боимся глазастого черта) и по временам бросали на своих менее мужественно настроенных товарищей сдержанно-иронические взгляды, которые, казалось, говорили:

— Чего вы трусите? Совсем это недостойно свободных граждан!

«Презренные рабы жестокого тирана!» — мысленно вдруг проговорил Ивков, находившийся, очевидно, в несколько приподнятом настроении человека, собирающегося читать плоды своей гражданской музыки самому общему адмиралу и готового, если придется, пострадать за свой «суровый и свободный стих».

Эта эффектная фраза, внезапно пришедшая Ивкову в голову под влиянием недавно прочитанных стихов Виктора Гюго, хоть и кольнула его художественное чутье своею фальшью — особенно в виду коробки с папиросами на столе гостеприимного «жестокоего тирана», которого — невольно припомнил Ивков — к тому же и матросы любили, — тем не менее соблазнила семнадцатилетнего поэта, как пикантное начало нового цивического произведения.

И, увлеченный им, он уже мысленно слагал следующие строки, не лишенные, по его не совсем скромному мнению, некоторой значительности:

Презренные рабы жестокого тирана,
О заячьи сердца, лишь знающие страх,
Очнитесь поскорей и жалкого титана,
Как древле Перуна, повергните во прах.

Создавая эти строки, Ивков в поэтическом экстазе, по обыкновению, морщил лоб и, сам того не замечая, строил необыкновенные гримасы, свидетельствовавшие о некоторой мучительности поэтических родов.

И «жестокий тиран», заметивший страдания Ивкова, участливо и необыкновенно ласково спросил:

— Что с вами, Ивков?.. Вы нездоровы?.. У вас такой вид, будто желудок не в порядке, а?.. Идите скорей к доктору...

Все поэтическое настроение сразу пропало у Ивкова, и он ответил, стараясь скрыть свое стыдливое чувство обиженного поэта под сдержанной сухостью тона:

— Я совершенно здоров, ваше превосходительство.

И уж более не продолжал слагать стихов в присутствии адмирала.

А Подоконников, в своем неудержимом стремлении походить на Базарова во что бы то ни стало и не признавать ничего, кроме естественных наук, пошел еще далее, и не в области мысли, а в сфере действий. Находя, что сидеть, как все сидят, не вполне прилично Базарову, он слишком откинулся назад на стуле и чересчур высоко закинул ногу на ногу, приняв не совсем естественную и вовсе неудобную, но зато демонстративную позу человека, окончательно решившего, что после него будет расти лопух, а потому теперь ему на все «наплевать», и

был очень доволен, что нисколько не стесняется и в присутствии адмирала походить на Базарова.

Но — увы! — внутреннее торжество юного Базарова длилось всего несколько мгновений, так что никто из товарищей не успел заметить и ахнуть от такого бесстрашия Подоконникова.

Случайный взгляд адмирала, скользнувший по фигуре молодого человека не без некоторого соболезнования к стесненности его положения, смутил робкую душу юного штурмана, заставив немедленно опустить «задранную» ногу, принять более удобную позу и в то же время покраснеть до самых корней своих рыжих волос от смущения и досады за свой страх перед этим «отсталым отцом» и за свое, как он думал, «позорное малодушие».

О, какой он трус, и как ему далеко еще до Базарова! Необходимо изучить естественные науки! И какой, однако, свинья этот доктор Арсений Иванович! Он, видимо, не хочет познакомить его ни с физиологией, ни с анатомией, ссылаясь на занятия, а между тем решительно ничего не делает по целым дням и только играет в шахматы или рассказывает глупейшие анекдоты.

— Что же вы не курите, господа? Курите, пожалуйста... Папиросы к вашим услугам,— с обычным своим радушием предлагал хозяин.

И с этими словами он взял коробку, чтобы любезно передать ее гостям, как вдруг потряс ею в руке, заглянул внутрь и гневно крикнул:

— Васька!

Окрик этот был так металлически и пронзителен и так напоминал адмирала наверху, во время разносов, что все невольно вздрогнули. У «жертв» от этого крика чуть не лопнули барабанные перепонки, как они утверждали впоследствии.

— Васька! Скотина!

Через секунду-другую влетел Васька, и теперь уже не в ситцевой рубашке и не в туфлях на босые ноги, а в обычном своем щегольском виде адмиральского камердинера, который он принимал после подъема флага, долго и тщательно занимаясь своим туалетом и поражая своим франтовством писарей и вестовых.

Он был в черном люстриновом сюртуке, перешитом из адмиральского, в белой манишке с высокими воротничками, в голубом галстуке, в котором блестела амети-

стовая булавка в виде сердечка, при часах с толстой серебряной цепочкой, украшенной несколькими брелоками, и в скрипучих ботинках. Его кудластые, с пробором посредине волосы лоснились и пахли от обильно положенной помады.

Он благоразумно остановился в нескольких шагах от адмирала, на случай неожиданной вспышки, и недвижно замер, подавшись вперед корпусом и не без лакейской грации изогнув несколько руки с красными пальцами, виднеющимися из-под широких манжет с блестящими запонками. В его плутовском лице с ярко-румяными щеками и с сверкавшими из-за полуоткрытых толстых губ зубами и в его наглых и лукавых глазах стояло притворное выражение преувеличенного испуга и недоумения.

— Это что? — спросил адмирал, взглядывая на Ваську и потрясая коробкой.

— Папиросы-с! — умышленно наивным тоном отвечал Васька, делая глупую физиономию.

— Болван! Смотри! — проговорил адмирал и швырнул на пол коробку, из которой посыпался десяток папирос.

— Виноват, недосмотрел.

— А ты досматривай, если я приказываю... Поддай сейчас полную коробку!

— Есть!

И когда Васька исчез, адмирал, уже снова повеселевший, усмехнулся и, обращаясь к своим гостям, проговорил:

— Экая каналья! Хотел оставить вас без папирос сегодня!.. Да вы постойте, Подоконников, не закуривайте... Васька сию минуту принесет...

— Я, ваше превосходительство, закурю сигару, если позволите, — заметил молодой человек, решивший, что он, как и Базаров, должен курить только сигары.

— И охота вам курить такую дрянь, как ваши чирutki, когда вам предлагают хорошие папиросы...

— Я вообще предпочитаю сигары, ваше превосходительство! — храбро настаивал Подоконников.

— Предпочитаете? А когда это вы, любезный друг, успели научиться предпочитать сигары? Я так по выходе из корпуса, когда был таким же молодым, как вы, ни-

чего не умел предпочитать... Случалось, бывало, мичманом сидеть на экваторе,— и махорку курил... А уж вы сигары предпочитаете? Эй, Васька! Поддай сюда ящик с сигарами... У меня по крайней мере хорошие сигары... Впрочем, ведь вы все равно не знаете в них никакого толка... Право, курите лучше папиросы... Советую вам, Подоконников...

Адмирал так настойчиво советовал, что сконфуженный молодой человек поспешил закурить папиросу, чем, видимо, удовлетворил адмирала, имевшего слабость почти требовать, чтобы все разделяли его вкусы.

Закурили почти все гости, наслаждаясь затяжками.

— А ведь не правда ли, любезный друг, что папиросы лучше всяких сигар? — снова обратился он к юному штурману, уже было обрадовавшемуся, что перестал быть предметом адмиральского внимания.

— По-моему, ваше превосходительство, и сигары...

— Да какого черта вы понимаете в сигарах, Подоконников! — перебил, раздражаясь, адмирал, несколько сбитый с толку таким совершенно непонятым пристрастием этого юнца к сигарам.— «Сигары, сигары»! Надо, любезный друг, знать вещи, о которых говоришь... Вот послужите, поплавайте, выучитесь курить хорошие сигары, тогда и говорите. А то курит мерзость и предпочитает сигары... Скажите пожалуйста!.. Так о чем мы последний раз читали, господа? — круто переменял разговор адмирал и взял со стола том «Истории XVIII столетия» Шлоссера.

— О Франции... Когда Наполеон был консулом, ваше превосходительство! — произнесла одна из «жертв» низким баском.

К благополучию этого неказистого, приземистого молодого человека, «дяди Черномора», как звали его за маленький рост, с сонным взглядом и малообещающим выражением широкого и лобастого лица, который не очень-то легко воспринимал науки и хлопал на чтениях глазами,— адмирал не любопытствовал узнать, о чем именно читали.

Он снова обвел взглядом присутствующих и, по-видимому, недовольный общим вялым и унылым настроением, сам начал терять хорошее расположение духа. В самом деле, он собирает этих «мальчишек» и тратит на них время, чтобы развить их и приохотить к занятиям.

чтобы вселить в них дух бравых моряков, а они... не ценят этого и сидят как в воду опущенные!

И вместо того чтобы начать чтение, адмирал совершенно неожиданно проговорил:

— А я вам должен сказать, мои друзья, что вы ведь невежи...

«Друзья» невольно подтянулись на своих местах.

— Да-с, невежи... Разве воспитанные люди заставляют себя ждать, как вы полагаете?

Никто, разумеется, никак «не полагал» насчет этого, а все только подумали, что глазастого черта вдруг «укусила муха» и что сам он тоже далеко не воспитанный человек.

— Так, я вам скажу-с, поступают только...

Видимо, сдержавшись от употребления существительного, характеризующего с большею ясностью невежливых людей, адмирал на секунду запнулся и продолжал:

— Только люди, совсем не знающие приличий... Помните это и впредь не ведите себя по-свински,— выпалил адмирал, на этот раз уже не лишивший своей речи образного сравнения, и подернул одним плечом.— Отчего вы не шли и заставили меня посылать за вами, когда я сказал Ивкову, чтобы вы собрались к десяти часам? Ивков, надеюсь, передал вам мое приказание?

Ивкова подмывало принять «венец мученичества» и по крайней мере отсидеть часа два на салинге. И он открыл было рот, чтобы самоотверженно принять вину на себя, сказав, что забыл передать товарищам приказание, как дядя Черномор уже добросовестно пробасил, что Ивков приказание передал, чем вызвал в неблагодарном Ивкове мысленное название «идиота».

— Так как же вы смели послушаться адмирала, а?

Судя по внешним признакам, барометр адмиральского расположения духа не очень быстро падал, и потому адмирал, казалось, охотно удовлетворился бы более или менее правдоподобной отговоркой. Он ждал ответа, и необходимо было отвечать.

И так как обе очередные жертвы, обязанные, по давно установившемуся соглашению, отвечать на все различные вопросы адмирала, упорно молчали, не умея находчиво соврать, то исполнить эту миссию охотно взял

ся маленький, черный, как жук, шустрый и необыкновенно сладкий гардемарин Попригопуло, «потомок греческих императоров», или сокращенно — «потомок», как часто звали товарищи юного грека, имевшего однажды неосторожность как-то пуститься в генеалогию.

С восторженной почтительностью глядя на адмирала своими «черносливами», большими и масляными, он проговорил вкрадчивым тонким голоском, чуть-чуть шепелявя и плохо справляясь с шипящими буквами:

— Мы, ваше превосходительство, собирались именно в ту самую минуту, когда вы изволили прислать за нами... Часы отстают, ваше превосходительство, в гардемаринской каюте... Необходимо их поправить... На целых десять минут отстают...

Адмирал покосился на «потомка греческих императоров» и усмехнулся. Оттого ли, что ссылка на часы показалась ему слишком нелепой, или просто оттого, что ему не хотелось более «школить» своих «молодых друзей», но только он сразу подобрел и заметил:

— Вперед проверяйте часы, господа... Ну, а теперь почитаем... Прошу слушать-с!

И, раскрывая книгу, прибавил:

— Морскому офицеру надо стараться быть образованным человеком и интересоваться всем... Тогда и свое дело будет осмысленнее, а вы вот... опаздываете и точно недовольны, что я с вами занимаюсь!

— Помилуйте, ваше превосходительство, мы, напротив, очень довольны! — проговорил «потомок».

Адмирал стал читать одну из глав Шлоссера. Читал он недурно, с увлечением, подчеркивая то, что считал нужным оттенить. Несколько человек слушали с вниманием. Остальные делали вид, что слушают, неустанно курили и думали, как бы скорее он кончил.

— Да, мои друзья, — заговорил адмирал, прерывая чтение и уставляя глаза на первое попавшееся лицо слушателя, — гениальный человек был Наполеон... Этот немец Шлоссер его не совсем понимает... Вот Тьера прочтите...

Ивкова так и подмывало заявить, что Наполеон, собственно говоря, был великий подлец и более ничего, который задушил республику и стал тираном. Но он благоразумно решил промолчать. Все равно «глазастого» не убедишь, а он знает, что знает. И Леонтьев того же мне-

ния, что Наполеон подлец, хоть и великий человек... И Подоконников так же думает...

— Да, большой гений был, а флота создать не умел... Англичане всегда били французов на море... Вот хоть бы это Абукирское сражение. Вы, конечно, не знаете Абукирского сражения?.. Вот Ивков стихи пишет и разные глупости читает... романы всякие... а Абукирского сражения тоже не знает!

И адмирал стал рассказывать об Абукирском сражении и — надо отдать ему справедливость — так ярко и картинно, несмотря на недостаток красноречия, нарисовал картину боя, что даже самые невнимательные слушатели и те оживились и внимали с интересом.

— Вы думаете, отчего французов поколотили под Абукиром, хотя французская эскадра была не слабее английской и французские матросы нисколько не уступали в храбрости английским? Отчего везде на море французов били?

И так как ни один из слушателей не отвечал, не рискуя за неправильный ответ быть оборванным, то адмирал, выдержав паузу, продолжал:

— Оттого, что у французов были в то время болваны морские министры и ослы адмиралы... Они заботились о карьере, а не о флоте и обманывали Наполеона... И у французских моряков не было настоящей выучки, не было школы и того морского духа, который приобретается в частых плаваниях... Помните это, господа!.. Без хорошей школы, без плаваний, во время которых надо учиться, чтобы быть всегда готовым к войне, нельзя одерживать побед!

Проговорив это поучение, адмирал принялся читать.

Против обыкновения, сегодня он отвлекался менее и не рассказывал, придираясь к какому-нибудь случаю, разных эпизодов из службы на Черном море. Часа через полтора адмирал закрыл книгу и проговорил:

— На сегодня довольно.

Не было и экзамена. И все нетерпеливо ждали обычного «можете идти», но адмирал, видимо, еще хотел, как он выражался, «побеседовать с молодыми друзьями» и сказал:

— Вот я сегодня перевел в океане офицеров с судна на судно. Как вы полагаете, почему я это сделал?

Все «молодые друзья» полагали, что сделал он это потому, что был «глазастый дьявол» и «чертова переचीца». Почему же более?

Не рискуя высказаться в таком смысле, все, разумеется, молчали.

И адмирал, казалось, понял, что думали «молодые друзья», и проговорил:

— Вы, конечно, думаете: адмиралу пришла фантазия, он и сделал сигнал? Нет, мои друзья. Я сделал это, чтобы вы все на примере видели, что всегда каждый из вас должен быть готов, как на войне... И знаете ли, что я вам скажу...

Но в эту самую минуту, как адмирал собирался что-то сказать, через открытый люк адмиральской каюты донесся нервно-тревожный и неестественно громкий окрик вахтенного офицера:

— Марса-фалы отдай! Паруса на гитовы! Право на борт!

В этом окрике слышалось что-то виноватое.

Вслед за тем в адмиральскую каюту вбежал вахтенный гардемарин и доложил:

— Шквал с наветра!

Адмирал, схватив фуражку, бросился наверх, крикнув Ваське закрыть иллюминаторы.

Довольные, что шквал так кстати прервал адмиральскую беседу, гардемарины выскочили из каюты, не предвидя, конечно, что этот шквал будет началом такого адмиральского «урагана», которого они не забудут во всю жизнь.

Х

Жесточайший шквал с проливным крупным дождем уже разразился, словно бешеный, внезапно напавший враг, над маленьким трехмачтовым корветом в двести тридцать футов длины.

Окутав «Резвый» со всех сторон серой мглой,— точно мгновенно наступили сумерки,— он властно и шутя повалил его набок всем лагом и помчал с захватывающей дух быстротой.

Вздрагивая и поскрипывая своим корпусом, накрепившийся до последнего предела корвет чертит подветренным бортом вспенившуюся поверхность океана. Он тут, этот таинственный океан, страшно близко, кипит



«БЕСПОКОЙНЫЙ АДМИРАЛ»



«БЕСПОКОЙНЫЙ АДМИРАЛ»

своими седыми верхушками. Дула орудий купаются в воде. Палуба представляет собою сильно наклоненную плоскость.

Рев вихря, вой его в вздувающихся и бьющихся снастях и в рангоуте и шум ливня сливаются в каком-то адском, наводящем трепет концерте.

Молодые, неопытные моряки переживали жуткие мгновения. Казалось, вот-вот еще накренит корвет, и он в одно мгновение пойдет ко дну и со всеми его обитателями найдет безвестную могилу.

И многие тихонько крестились.

По счастью, в момент нападения шквала успели убрать фок и грот (нижние паруса) и отдать все фалы. Таким образом, площадь парусности и сопротивления была значительно уменьшена, и шквал, несмотря на мощную свою силу, не мог опрокинуть корвета и только в бессильной ярости гнул брам-стенги в дугу.

Зато, словно обрадованный людской оплошностью, он с остервенением напал на паруса, не взятые на гитовы (не подобранные). В одно мгновение большой фор-марсель «полоскал», изорванный в лоскутья, а оба брамселя, лиселя с рейками и топселя были вырваны и, точно пушинки, унесены вихрем.

Вахтенный офицер, молодой мичман Щеглов, прозевавший подобравшийся шквал и потому слишком поздно начавший уборку парусов, стоял на мостике бледный, взволнованный и подавленный, с виноватым видом человека, совершившего преступление.

Ужас при виде того, что вышло от его невнимательности, смущение и стыд наполняли душу молодого моряка. Он сознавал себя бесконечно виноватым и навеки опозоренным. Какой же он морской офицер, если прозевал шквал? Что подумает о нем адмирал и что он с ним сделает? Что скажут товарищи и Михаил Петрович за то, что он так осрамился? И нет никакого оправдания. Ведь он видел это маленькое серое злое облачко на горизонте и — что нашло на него? — не обратил на него внимания...

В эту минуту молодому самолюбивому мичману казалось, что после такого позора жить на свете и влюбляться в каждом порту решительно не стоит.

С чувством смущения и виноватости смотрели на клочки фор-марселя и на сломанные брам-реи и капитан,

и старший офицер, и старший штурман, выскочившие наверх и стоявшие на мостике, и старый боцман на баке, и все старые матросы.

Каждый из этих людей, дороживших репутацией «Резвого», как исправного военного корабля, и считавших себя как бы связанным с ним тою особенною любовью, какую чувствовали прежние моряки к своему судну,— понимал и еще более чувствовал, что «Резвый» оскрамился, да еще на глазах такого моряка, как адмирал, и такого соперника, как «Голубчик», и каждый словно бы и себя считал причастным этому сраму.

И на виновника его было брошено несколько десятков сердитых и укоряющих взглядов. «Оскрамил, дескать!»

Даже совсем не моряк, невозмутимый флегматик, белобрысый доктор, шибко струсивший в тот момент, когда повалило корвет, и тот, когда страх прошел, при виде сердитых, но не тревожных лиц начальства, неодобрительно покачал головой и заметил, обращаясь к тетке Авдотье:

— А еще считает себя моряком!

— И попадет же Щеглову! — промолвил в ответ лейтенант Снежков.— Из-за него и всем нам въедет,— испуганно прибавил он.

Обыкновенно веселый и добродушный наверху, капитан Николай Афанасьевич был сильно раздражен.

— Прозевали шквал!.. Полюбуйтесь, что наделали... Эх! — сдерживая злобное чувство, кинул капитан, подходя к Щеглову и искоса поглядывая тревожными глазами на адмирала, стоявшего на другом конце мостика и уже поведившего плечами...

«Будет теперь история!» — подумал он, поднимая голову и озирая рангоут.

Старший офицер Михаил Петрович, взволнованный не менее самого Щеглова, ничего не сказал ему, но только бросил на него быстрый взгляд из-под очков, но, господи, что это был за уничтожающий взгляд! Глаза добрейшего Михаила Петровича в это мгновение сверкали такой ненавистью, что, казалось, готовы были разорвать в клочки мичмана, «опозорившего» корвет.

«И ведь новый фор-марсель был!» — пронеслось в ту же секунду в голове старшего офицера, этого заботливо-

го ревнителя и хозяина «Резвого», и он громко, сердито и властно крикнул на бак:

— Стаксель долой!..

Увы!.. От стакселя остались лишь клочки.

Адмирал едва сдерживался и только быстрее и быстрее ерзал плечами.

То спокойно-решительное выражение его лица, которое было в первое мгновение, когда он выбежал наверх, и всегда бывавшее у него в минуты действительной опасности, исчезло, как только его быстрый и опытный морской глаз сразу увидел положение корвета и понял, что никакой беды нет. Шквал сию минуту промчится, и корвет встанет.

И, не обращая никакого внимания ни на сильный крен, ни на ливень, он весь отдавался во власть закипавшего гнева и негодования старого лихого моряка, который видит такой позор, и где же? У себя на флагманском судне!

Хотя он стоял в неподвижной позе «морского волка», расставив врозь ноги, но все «ходуном ходило» в этой кипучей, беспокойной натуре. Насупившееся лицо отражало душевную грозу. Скулы беспокойно и часто двигались, и большие круглые глаза метали молнии. Руки его то сжимались в кулаки, то разжимались, и тогда толстые короткие пальцы судорожно щипали ляжки, или нервно теребили щетинку усов, или рвали петли сюртука.

Но он еще крепился и молчал и только по временам, подрагивая то одной, то другой ногой, взглядывал на Щеглова и на капитана с видом озлобленного ястреба, собирающегося броситься на добычу.

В самом деле, какой срам!.. Прозевать шквал на военном судне! Потерять паруса!! И у него на глазах!

И вздрагивающие губы его невольно шепчут:

— Болван!.. Скотина!..

Эти ругательства и еще более энергичные слышит только флаг-офицер, стоящий с выражением почтительного трепета сзади адмирала. Тут же, в некотором отдалении, стоит и только что выбежавший флаг-капитан. Он, по обыкновению, прилизан, щеголеват и надушен и стоически мокнет под дождем, но золотушное и хлыщеватое белобрысое лицо его несколько бледно и растерянно — не то от страха перед воображаемой опасностью, не то от

боязни попасть «под руку» этого необузданного «животного» и скушать что-нибудь оскорбительное, зная наперед, что заячья его душонка терпит все, чтоб не испортить блестяще начатой адъютантской карьеры.

И в эту минуту он решает окончательно уехать в Россию. Придет корвет в Нагасаки, и он будет проситься отпустить его по болезни... То ли дело служба на сухом пути, где-нибудь в штабе, с порядочными, благовоспитанными людьми!.. А здесь — и эта полная опасности жизнь, и эти «мужики», начиная с адмирала!

На мостике показался Васька с дождевиком для адмирала в руках и развязно подошел к адмиралу.

— Пожалуйста, ваше превосходительство, а то сильно замочит!

— К черту! — цыкнул на него адмирал, и Васька моментально исчез.

Прошло еще несколько мгновений. Адмирал сдерживался. Но гроза, бушующая в душе его, требует разряжения. Более молчать нет сил.

И, словно получивший в спину иголку, он подлетел к мичману и, остановив на нем глаза, сделавшиеся вдруг совсем круглыми, и вращая белками, пронзительно крикнул ему в упор:

— Вы... вы... Знаете ли, кто вы?..

Ему стоило, видимо, больших усилий (или, вернее, гнев не дошел до полной потери самообладания), чтоб не сказать мичману Щеглову, кто он такой в эту минуту, по мнению адмирала.

— Вы... вы... не морской офицер, а... прачка! — закончил он совершенно неожиданно для присутствующих и, вероятно, для самого себя... — Прачка! — повторил он, готовый, казалось, своими выпученными глазами съесть живьем мичмана...

А мичман, весьма ревниво оберегавший чувство своего достоинства и не раз «разводивший» с адмиралом, теперь виновато и сконфуженно слушал, приложив свои вздрагивающие пальцы к козырьку фуражки, и настолько чувствовал себя виновным, что, схвати его в эту минуту адмирал за горло и начни его душить, — он беспрекословно выдержал бы и это испытание.

Ведь он прозевал шквал, он, мичман Щеглов, самолюбиво мнивший себя доселе отличным вахтенным на-

чальником, у которого глаз... у, какой зоркий морской глаз!

Обезоружило ли адмирала истинно страдальческое выражение отчаяния на лице злополучного мичмана, который, казалось, вполне сознавал, что ему следует поступить в прачки, а не служить во флоте, или просто случайно брошенный адмиралом взгляд на Монте-Кристо отвлек его внимание, но только адмирал оставил «мичмана-прачку» в покое и с большею резкостью в тоне сказал, обращаясь к капитану и отряхиваясь от воды:

— У вас, Николай Афанасьевич, не военное судно, а кафешантан-с! Срам! Вы ни за чем не смотрите... Офицеров распустили, и вот...

Монте-Кристо, и сам раздраженный и сконфуженный, слушал эти резкие обидные слова, оскорблявшие в нем самолюбивого и знающего свое дело моряка, с напускным хладнокровием несправедливо обиженного человека, который не оправдывается, хорошо зная тщету оправданий и требования дисциплины.

«Ори, братец, ори, на то ты и беспокойный адмирал!» — говорило, казалось, официально-серьезное выражение его полного, румяного и потасканного лица веселого жуира.

Эта сдержанность, понятая адмиралом как возмутительное равнодушие капитана к своему делу, взорвала его еще более, и он, словно бешеный, выкрикнул:

— Не корвет, а кабак! Ка-бак!

И с этим окриком он круто повернулся и перешел на другой конец мостика. Там он остановился, взволнованный и грозный, словно туча, еще насыщенная электричеством, готовый и ограничиться этой вспышкой и вновь забушевать еще с большей силой, разразившись ураганом.

И то и другое было одинаково возможно в этой бешеной, порывистой и страстной натуре адмирала, наивно-деспотичной и стихийной, как и любимое им море.

— Срам... позор!.. — взволнованно шептал он.

И весь вздрагивал, гневно сжимая кулаки, когда его выпученные и злые теперь глаза останавливались на трепавшемся фор-марселе — этом ужасном свидетельстве служебной небрежности, возмущавшей и приводившей в ярость вскормленника черноморских лихих адмиралов, прошедшего суровую школу службы у этих рыца-

рей долга и вместе с тем отчаянных и подчас жестоких деспотов.

Господа офицеры, выскочившие из кают-компаний, осторожно прятались за грот-мачту, чтобы не попасться на глаза адмиралу. Только храбрый мичман Леонтьев, проповедовавший теорию деспотизма во имя свободы, да батюшка Антоний решились показаться на шканцах.

Гардемарины, ровно шаловливые мыши, сбились у трапа и поглядывали на адмирала, который только что рассказывал им об Абукирской битве и так любезно угощал их папиросами, а теперь...

— Задаст сегодня «глазастый черт» Абукирское сражение! — говорил с насмешливой улыбкой Ивков своему другу Подоконникову. — Вот увидишь... Смотри, каким он глядит Иваном Грозным... А ведь в самом деле Щеглов «опрохвостился»! — прибавил юный моряк, чувствуя невольную досаду на Щеглова и несколько обиженный за честь своего корвета.

XI

Сделав столько вреда, сколько было возможно в одну, много две минуты жестокой схватки с корветом, грозный шквал стремительно понесся далее, заволакивая широкой полосой мглы горизонт по левую сторону корвета.

А справа и над «Резвым» уже все очистилось и радостно просветлело.

Снова ярко сверкало раскаленное солнце, быстро высушивая своими палящими, почти отвесными лучами и мокрую палубу, и намокшие, вздутые снасти с дрожащими на них и сверкающими, как брильянты, дождевыми каплями, и прилипшие к спинам белые матросские рубахи. Снова мягко и нежно сияла голубая лазурь страшно высокого неба с плывущими по нем перистыми, ослепительной белизны облачками, и снова океан с тихим ласковым гулом катил свои волны. Прежний ровный норд-вест раздувал вымпел и адмиральский и кормовой флаги. Чудный прозрачный воздух дышал острой свежестью, как бывает после гроз.

«Резвый» уже поднялся, и бег его становился все тише и тише. Опять были поставлены все уцелевшие паруса, и вслед за тем раздалась команда: «свистать всех

наверх». Надо было менять фор-марсель, поднять новые брам-реи, привязать и поставить новые паруса взамен унесенных шквалом.

Бедный «Резвый» походил теперь на птицу с выщипанными перьями и еле подвигался вперед.

А сбоку, на ветре, в близком расстоянии «Голубчик», уже весь сверху донизу покрытый парусами и стройный, красивый и изящный, словно гигантская белоснежная чайка, грациозно и легко скользил по океану, чуть-чуть накренившись и заметно убегая вперед.

Видно было, что шквал напрасно бесновался, напавши на клипер, встретивший врага с оголенными мачтами. На «Голубчике» не прозевали и вовремя убрали все паруса.

И сконфуженные моряки с оплошавшего и ошипанного «Резвого», начиная с самого адмирала и кончая маленьким кривоногим сигнальщиком Дудкой, смущенно, словно бы виноватые, посматривают на «Голубчик», блестящий и щегольской вид которого еще более подчеркивает посрамление «Резвого» и растравляет свежую общую рану.

«Голубчик» уходил, и адмирал, несмотря на гнев, невольно залюбовавшийся клипером, уже снова нахмурил было брови за то, что спутник осмелился удаляться, как вдруг лицо адмирала прояснилось.

Словно бы волшебством на «Голубчике» исчезли все верхние паруса и убран был пузатый грот. И клипер пошел тише, поджидая своего закопавшегося товарища.

— Поднять сигнал «Голубчику», что я изъясляю ему свое особенное удовольствие! — приказал, слегка поворачивая голову к флаг-офицеру, адмирал.

Через минуту сигнал уже взвился на крюйс-брам-рее.

А адмирал нарочно громко, чтоб слышали все стоявшие на мостике, продолжал, ни к кому не обращаясь, точно говоря сам с собой:

— Вот это военное судно, а не... кафешантан. Видно, что там понимают, как надо служить... Там офицеры не распущены... Там теперь смеются над позором флагманского корвета... Это черт знает что такое!..

Монте-Кристо только морщился и тревожно взглядывал на фор-люк, откуда должны были вынести новые паруса. Уж прошла минута, другая, третья, а фор-марсель не несли, и капитан волновался, нервно пощипывал

свои холеные усы, и все его мысли заняты были фор-марселем.

Старший офицер Михаил Петрович, распорядившись авралом, точно ужаленный жгучим чувством ревности к «Голубчику», где старшим офицером был его большой приятель и такой же славный моряк, как и он сам, и с которым они соперничали в знании всех тонкостей морского дела, — еще нетерпеливее, громче и сердитее крикнул:

— На баке! Что же фор-марсель? Скорее фор-марсель!

В этом крике, полном нетерпения и досады, чуткое ухо моряка услышало бы и нотку мольбы и страдания. Оно отражалось и в нервно напряженном лице Михаила Петровича, и во всей его перегнувшейся через поручни длинной фигуре, и в этой распростертой вперед длинной руке, которая, казалось, протягивалась за марселем.

Он весь теперь был поглощен одной мыслью — скорей переменить паруса. Ничего другого не существовало в мире в эту минуту, и он, как Ричард III, готов был воскликнуть: «Марсель, подавайте марсель, всю жизнь за марсель!»

«Господи! Неужели мы опять опозоримся и не поставим скоро всех парусов?! За что же такое наказание! Боже, помоги!» — мысленно произносил он молитву и еще более подавался вперед, точно этим движением рассчитывал ускорить появление желанного, свернутого в виде длинного кулька, большого паруса.

Но прошла еще длинная, казавшаяся вечностью минута, а паруса не несли. Все как-то угрюмо и вместе сконфуженно смотрели на бак; на палубе царила мертвая тишина.

— Михаил Петрович! Что ж это такое? — голосом, полным жалобы и страдания, шепнул капитан, и вся его полная высокая фигура и его румяное лицо выражали мучительную боль.

Но Михаил Петрович, казалось, не слышал. Его обыкновенно доброе, славное лицо внезапно исказилось бешеным животным гневом, и руки тряслись. И он крикнул дрожащим, задыхающимся, злобным голосом:

— Фор-марсель подать! Боцмана послать!..

С уст его слетела в дополнение самая грубая ругань, и он, словно полоумный, бросился с мостика на палубу

и с распростертыми руками побежал на бак и ринулся в подшкиперскую.

Адмирал в нетерпении ходил взад и вперед по полу-юту, словно зверь в клетке, и по временам бешено мял в руках свою фуражку и яростно бросал ее на палубу.

Глядя на всех этих беснующихся моряков, посторонний человек подумал бы, что попал в бедлам.

Но это были «цветочки».

XII

В эти несколько минут, которые казались нетерпеливым морякам наверху долгими часами, в подшкиперской каюте, заваленной парусами, тросами, блоками и разными другими принадлежностями судового запаса, подшкипер с лихорадочною торопливостью искал новый, запасный фор-марсель.

На этого старого доку и «чистодела», каким был, как почти все подшкипера, унтер-офицер Артюхин, сегодня нашло какое-то затмение. В порядке содержавший подшкиперскую и знавший на память, где что лежит, он, словно обезумевший, метался в небольшой темноватой каюте-кладовой, отыскивая в огромной куче парусов фор-марсель и оглашая каюту отчаянными проклятиями и ругательствами, без которых, по-видимому, поиски его не могли бы увенчаться успехом.

А в открытые двери подшкиперской, около которой в ожидании марселя стояли матросы, посматривая на беснующегося Ивана Митрича, то и дело доносился сверху зычный голос боцмана, все с бóльшим и бóльшим нетерпением посылавшего через люк морские приветствия, и, наконец, перешел в какой-то безостановочный рев сплошной ругани, напоминавшей подшкиперу, что наверху ожидают марсель далеко не с ангельским терпением, и заставлявшей Артюхина, в свою очередь, усиливать энергию и выразительность собственной ругательной импровизации.

— Ах ты, сволочь!

С этими словами старый подшкипер, — на плутоватом лице которого, по выражению матросов, «черти играли в свайку», до того оно было изрыто оспой, — с свирепым озлоблением рванул изо всей силы край одного из парусов и, осыпав марсель новой руганью, словно

живое, безмерно виноватое перед ним существо, указал на него окровавленными пальцами и иступленно крикнул:

— Тащи его, подлеца, братцы!.. Чтоб ему...

В тот самый момент, как несколько человек матросов вытаскивали из подшкиперской свернутый в длинную широкую колбасу парус, в кубрике показался старший офицер Михаил Петрович, весь бледный, с лицом, искаженным страданием и злобой.

— Артюхин! — крикнул он задышающимся голосом, пропустив матросов с фор-марселем.

— Яу! — отозвался подшкипер, показываясь из каюты, как рак красный, обливающийся потом и с угрюмовиноватым видом человека, чувствующего великость своей вины и готового, по меньшей мере, недосчитаться нескольких зубов.

Действительно, было несколько мгновений, во время которых, судя по выражению лица старшего офицера и по сжатым простертым его кулакам, физиономии подшкипера грозила серьезная опасность быть искровяненной, и Артюхин уже заморгал глазами, готовясь к «бою».

Но Михаил Петрович, видимо, овладел собой и только взвизгнул, поднося кулак к самому носу подшкипера:

— У-у-у-у... подлец!

И, стремительно повернувшись, вылетел наверх и пошел бегом на мостик.

Но страдания старшего офицера не прекратились, хотя фор-марсель и был подан. Сегодня, как нарочно, на «Резвом» неудача шла за неудачей.

Когда свернутый парус стали поднимать к марсу, чтобы затем привязать к рее, веревка в каком-то блочке «заела», и — можете ли вообразить ужас моряков «Резвого»? — марсель остановился посередине, повиснув на снастях, и дальше не шел.

Позор, да еще на глазах у «Голубчика», был полнейший.

Марсовой старшина неистово дергал с марса «заевшую» снасть и, разумеется, костил ее так, как только может костить сквернословие лихого и долго служившего во флоте унтер-офицера. Сконфуженный и освирепевший боцман не очень громко, чтобы не было слышно на юте, но очень энергично выбрасывал из своего горла, словно бы

из фонтана, отчаянную ругань на марс и снизу тряс и раздергивал веревку, которая почему-то не шла.

«Неужто он в горячке недосмотрел, что неправильно привязали внизу парус, и его придется снова спустить и перевязать?» — в ужасе думал он, выпаливая, как бы в отместку за такие мысли, какое-то невероятное по смелости фантазии и вдохновения ругательство.

Владимир Андреевич Снежков, заведовавший фок-мачтой, стоял около нее ни жив ни мертв. С ошалелым лицом, глупо вытаращенными глазами и раскрытым ртом растерянно смотрел он на застрявший фор-марсель с выражением отчаяния и страха, то и дело оглядываясь назад, на ют, где бешено носилась взад и вперед коренастая фигура адмирала, и чувствовал, как у него засасывает под ложечкой и схватывает поясницу.

— Боцман... Злодей ты эдакий! — говорил он, не понимая, где это «заело».

— В блоке, должно, не пускает! — сердито отвечал боцман, продолжая потряхивать снасть.

Прошло еще несколько томительных секунд.

Фор-марсель не шел.

— Михаил Петрович! Что ж это такое? — произнес капитан страдальческим тоном, обращаясь к старшему офицеру.

Бедный старший офицер, страдавший, казалось, более всех, только сделал гримасу, точно от сильной зубной боли, и резко и раздраженно ответил:

— Сами видите, что такое!.. Позор!

И крикнул отчаянным тенором *di forza*¹:

— На баке! Отчего фор-марсель не идет?

— Гордень заел! — ответил тоненькой фистулой Снежков.

— Очистить живей!

И старший офицер, не очень-то доверявший распорядительности Владимира Андреевича, хотел было бежать на бак, посмотреть, в чем дело, как вдруг сзади, с полуюта, раздался такой пронзительный крик, который заставил и старшего офицера и всех бывших вблизи невольно вздрогнуть.

— Э-э-э... о-о-о-о! — кричал адмирал, словно бы испуганный.

¹ сильным (итал.).

В этом бешеном крике, полном стихийного необузданного гнева, было что-то, напоминавшее грозный рев разъяренного зверя.

Когда крик прекратился, все бывшие на палубе «Резвого» в этот ясный сентябрьский день 186* года увидели зрелище, довольно странное для неморяков.

Почтенный сорокашестилетний адмирал, начальник эскадры, с налитыми кровью глазами и сжатыми кулаками топтал бешено ногами свою фуражку, выделявая при этом самые невероятные танцевальные па.

Пляска эта, похожая на воинственную пляску краснокожих индейцев, как изображают ее в иллюстрациях, продолжалась несколько секунд.

Вслед за пляской адмирал поднял истоптанную фуражку, надел ее и, подбежав к капитану, возопил:

— Под суд!.. Ка-бак... Фор-марсель!.. Фор-марсель поднимайте!.. Под суд!.. И вас, и старшего офицера, и всех... Всех...

Но эти сравнительно мягкие слова разве могли облегчить его переполненное гневом сердце?..

И, точно негодуя, что нельзя облегчить душевную ярость более энергическими словами и сию же минуту отдать под суд и приговорить к расстрелянию капитана, на судне которого такой разврат, адмирал отскочил от Николая Афанасьевича и, перескакивая по несколько ступенек трапа, понесся сам на бак, разражаясь ругательствами...

Все сторонились, давая дорогу адмиралу, который с легкостью молодого мичмана бежал по палубе, прыгая через снасти. Офицеры скрывались за мачты. Гардемарины притаились на своих местах. Царила мертвая тишина на палубе, оглашаемая адмиральским криком.

Только среди матросов по временам слышался сдержанный шепот. Чуть слышно кто-нибудь говорил соседу:

— Осерчал ведмедь... Ровно под микитки его хва-тили...

— И то: осрамился конверт.

— Накладет же он в кису тетке Авдотье!

Когда адмирал долетел до бака, позорно застрявшего фор-марселя уже не было. Он был поднят и, подхваченный с марса, растяннут вдоль реи, к которой торопливо привязывали его лихие марсовые «Резвого», рассу-

павшиеся по рее, по обе стороны марса, точно белые муравьи в своих белых штанах и рубашках.

Словно разъяренный бык, внезапно потерявший из глаз раздражавший его предмет и с разбега остановившийся, бешено и изумленно поводя глазами и ища кого бы боднуть,— адмирал гневно вращал белками, озираясь по сторонам. Около был только боцман, не спускавший с адмирала глаз. Но гнев адмирала искал офицера, и он крикнул:

— Где мачтовый офицер?

— Я здесь, ваше пре-вос-хо-ди-тель-ство! — скорее пролепетал, чем проговорил Владимир Андреевич упавшим голосом, прикладывая дрожащие пальцы к козырьку фуражки и показываясь из-за мачты, за которой прятался.

Что-то бесконечно жалкое, растерянное и испуганное было во всей его рыхлой, подавшейся вперед фигуре, в этом побледневшем полном лице, в этом дрожавшем, визгливом теноре.

Адмирал уставился на Владимира Андреевича и, казалось, придумывал, что сделать с офицером, у которого не могли сразу поднять фор-марселя.

Прошло несколько мгновений. У тетки Авдотьи душа ушла в пятки, и он, как очарованная овца перед страшным удавом, впился ошалелым взором в выкаченные, метавшие молнии глаза адмирала.

Но, по-видимому, этот перепуганный и побледневший лейтенант не возбуждал в адмирале ярости и желания растерзать его. Не такой человек нужен был в эту минуту его освирепевшему превосходительству!

И, словно бы считая Снежкова недостойным быть предметом своего гнева, адмирал только смерил его с ног до головы уничтожающим взглядом и крикнул ему в упор не столько гневно, сколько презрительно:

— Баба! Баба!.. Баба-с!

И, круто повернувшись, пошел назад, чувствуя неодолимое желание что-нибудь сокрушить, кого-нибудь разнести вдребезги, так как грозовая туча, сидевшая в нем, была еще не разряжена.

Подходя к шканцам, он увидел Леонтьева, того самого невоздержного на язык мичмана, который еще сегодня утром в кают-компании проповедовал возмутительные вещи. Он стоял у грот-мачты с пенсне на носу и—

казалось адмиралу — имел возмутительно спокойный и даже нахальный вид человека, воображающего о себе черт знает что.

«Ах он... скотина! Как он смеет?!»

И адмирал в ту же секунду возненавидел мичмана и за его противные дисциплине мнения, и за его нахальный вид, олицетворявший распушенность офицеров, и за его равнодушие к общему позору на корвете. Но, главное, он нашел жертву, которая была достойна его гнева.

Отдаваясь, как всегда, мгновенно своим впечатлениям и чувствуя неодолимое желание оборвать этого «щенка», он внезапно подскочил к нему с сжатыми кулаками и крикнул своим пронзительным голосом:

— Вы что-с?

— Ничего-с, ваше превосходительство! — отвечал официально-почтительным тоном мичман, несколько изумленный этим неожиданным и, казалось, совершенно бессмысленным вопросом, и, вытягиваясь перед адмиралом, приложил руку к козырьку фуражки и принял самый серьезный вид.

— Ничего-с?.. На корвете позор, а вы ничего-с?.. Пассажиром стоит с лорнеткой, а? Да как вы смеете? Кто вы такой?

— Мичман Леонтьев, — отвечал молодой офицер чуть-чуть улыбаясь глазами.

Эта улыбка, смеющаяся, казалось, над бешенством адмирала, привела его в исступление, и он, словно оглашенный, заорал:

— Вы не мичман, а щенок... Щенок-с! Ще-нок! — повторял он, потряхивая в бешенстве головой и тыкая кулаком себя в грудь... — Я собью с вас эту фанаберию... Научу, как служить! Я... я... э... э... э...

Адмирал не находил слов.

А «щенок» внезапно стал белей рубашки и сверкнул глазами, точно молодой волчонок. Что-то прилило к его сердцу и охватило все его существо. И, забывая, что перед ним адмирал, пользующийся, по уставу, в отдельном плавании почти неограниченной властью, да еще на шканцах¹, — он вызывающе бросил в ответ:

— Прошу не кричать и не ругаться!

¹ Дерзость начальнику на шканцах усугубляет наказание, так как шканцы на военном судне считаются как бы священным местом. (Прим. автора.)

— Молчать перед адмиралом, щенки!— возопил адмирал, наскакивая на мичмана.

Тот не двинулся с места. Злой огонек блеснул в его расширенных зрачках, и губы вздрагивали. И, помимо его воли, из груди его вырвались слова, произнесенные дрожащим от негодования, неестественно визгливым голосом:

— А вы... вы... бешеная собака!

На мостике все только ахнули. Ахнул в душе и сам мичман, но почему-то улыбался.

На мгновение адмирал ошалел и невольно отступил назад.

И затем, задыхаясь от ярости, взвизгнул:

— В кандалы его! В кандалы! Матросскую куртку надену! Уберите его!.. Заприте в каюту! Под суд!

Мичман Леонтьев не дожидаясь, пока его «уберут», и спустился вниз, сопровождаемый сочувственными взглядами гардемарина Ивкова и кондуктора Подоконникова.

А бешеный адмирал взбежал на мостик и кричал, обращаясь к капитану:

— Полюбуйтесь, какие у вас офицеры... Позор... Вас под суд... Под суд... Тьфу! Кабак... Тьфу!

И, точно не находя слов и желая выразить полное презрение к судну, он яростно плюнул (за борт, однако) и бросился с трапа.

Громко стукнувшая дверь доложила, что адмирал ушел в каюту.

Там он рванул с себя сюртук так, что отскочили пуговицы, и, бросив его на пол, забегал, точно раненый зверь в своем логове.

XIII

Минут через двадцать «Резвый» уж не имел вида ошипанной птицы и, поставив все паруса, понесся, разрезывая волны, и нагонял «Голубчика».

Аврал был кончен. Подвахтенных просвистали вниз.

Мичман Щеглов, прозевавший шквал, совсем убитый, снова поднялся на мостик, вступая на вахту, и сконфуженно и виновато взглянул на капитана и старшего офицера, которые оба были мрачны и угрюмы после того, что произошло на корвете.

Особенно ему было стыдно перед Михаилом Петровичем, и Щеглов не мог не сказать ему:

— Я, право, не могу понять, как это случилось, Михаил Петрович...

— Вперед не зевайте на вахте, батенька!.. Ну, нечего так отчаиваться!..— прибавил он, заметив отчаяние Щеглова...— Со всяким может случиться грех.

— А адмирал не запретит мне стоять на вахте, Михаил Петрович? Ведь это было бы ужасно...

— Не думаю... А впрочем, кто его знает... Сегодня он совсем бешеный!— заметил он, спускаясь вслед за капитаном вниз.

Все господа офицеры сидели в кают-компании, подавленные, удрученные и взволнованные и «позором» корвета, и адмиральским «ураганом», и, главное, судьбой этого отчаянного «Сереженьки», который решился называть адмирала, да еще на шканцах, «бешеной собакой».

Что-то будет с бедным Леонтьевым?

— Непременно он его отдаст под суд, и Сереженьку разжалуют в матросы!— говорил Снежков, все еще не пришедший в себя, несмотря на то, что сам он сегодня довольно-таки дешево отделался, скушавши только «бабу».

— Как вы думаете, Михаил Петрович, отдадут Леонтьева под суд?— обратился Снежков к старшему офицеру, который молча и угрюмо дымил папироской, сидя на своем почетном месте, на диване.

— А никак не думаю!— сердито отвечал старший офицер, желая избавиться от расспросов и втайне, кажется, одобрявший поступок своего любимца.

— Если и не под суд, то, во всяком случае, выгонят со службы... Бедный Сергей Александрович! Ни за что пропала карьера человека!.. Вот и допрыгался! Я всегда говорил, что надо быть философом и не лезть на рожон... Ну, поорал бы и перестал... А теперь?.. Эй, вестовые! Подай-ка мне портерку!— приказал доктор.

Старший офицер искоса поглядел на доктора довольным взглядом.

«Стыдно, дескать, упрекать товарища, да еще в беде!»

— А что адмирал с эскадры ушлет Сергея Александровича, это как бог свят!— вставил пожилой артиллерист...

— И то счастливо отделается...

— Дай-то бог, чтобы этим отделался... Только вряд ли... Подумайте: на шканцах!.. Недаром адмирал грозил матросской курткой... Ах, Сереженька! — участливо вздохнул Снежков.—Пойти его проведать...

— Нельзя-с! — резко промолвил старший офицер.— Он под арестом, и часовой у его каюты.

— А я вам скажу, господа, что ничего Сергею Александровичу не будет! — совершенно неожиданно проговорил старший штурман, доселе хранивший молчание.

Все, исключая старшего офицера, удивленно взглянули на штурмана, точно он сказал нечто несообразное.

— Что вы удивились?.. Я не наобум говорю... Я знаю адмирала... Слава богу, плавал с ним... И был случай, да и не такой, а поядовитее, можно сказать... Помните, Михаил Петрович, на «Поспешном» историю с Ивановым, штурманским офицером?

Михаил Петрович молча кивнул головой.

— Какая история? Расскажите, Иван Иванович! — обратилось несколько голосов к седенькому старичку.

— А история простая-с. Тоже взъерепенился адмирал однажды так же, как сегодня, только по другому поводу... Карту, видите ли, штурманский офицер ему не скоро подал... Ну, адмирал и осатанел, да и ругнул, знаете ли, его по-русски... А Иванов, хоть и штурман-с, маленький человечек, а все-таки имел свою амбицию и не стерпел, да и ответил ему на том же русском диалекте-с...

И старый штурман одобрительно хихикнул.

— Ну и что же?

— А ничего... Адмирал спохватился и говорит: «Я не вас, а в третьем лице!» — «И я, — отвечал штурман, — в третьем лице, ваше превосходительство!» Тем все и кончилось... Никакого зуба не имел против него и, как следует, по окончании плавания к награде его представил... Он хоть и бешеный, но справедливый и добрый человек... Мстить из-за личностей не будет!.. Видно, не знаете вы, господа, адмирала! — заключил штурман.

Не знал его, конечно, и Леонтьев и, сидя под арестом в каюте, находился в подавленно-тревожном состоянии духа, вполне убежденный, что ему грозит разжалование.

Как-никак, а ведь он совершил тягчайшее преступление, с точки зрения морской дисциплины. Положим, он был вызван на дерзость дерзостью «глазастого черта», но ведь суд не примет этого во внимание. Морской устав точен и ясен — разжалование в матросы.

И Леонтьев проклинал этого «башибузука», неизвестно за что набросившегося на него, проклинал и ненавидел, как виновника своего несчастья. И все-таки не раскаивался в том, что сделал. Пусть видит, что нельзя безнаказанно оскорблять людей, хотя бы он и был превосходный моряк... Пусть... его разжалуют... Он и матросом запалит ему в морду, если адмирал станет позорить его человеческое достоинство...

И, вспомнив, как его, мичмана, называли «щенком», молодой человек стиснул зубы и инстинктивно сжал кулаки, охваченный негодованием...

О господи! Как еще утром он был весел и счастлив, и вдруг теперь из-за этого «бешеного животного», из-за этого «самодура» вся будущая жизнь его представляется каким-то мраком...

Молодой человек бросился на койку и пробовал заснуть, чтоб избавиться от грустных мыслей. Но, слишком взволнованный, он заснуть не мог и снова стал думать о своей будущей судьбе, о матросской куртке, об адмирале...

Прошел так час, как дверь его каюты отворилась, и вошел вахтенный унтер-офицер.

— Ваше благородие, вас требует адмирал.

«Чего еще ему надо от меня?» — подумал со злостью мичман и спросил:

— Где он? Наверху?

— Никак нет, в каюте!

Леонтьев вскочил с койки и, поднявшись наверх, вошел в адмиральскую каюту с мрачным и решительным видом на все готового человека, полный ненависти к адмиралу.

XIV

Взволнованный, но уже не гневным чувством, а совсем другим, беспокойный адмирал быстро подошел к остановившемуся у порога молодому мичману и, протягивая ему обе руки, проговорил дрогнувшим, мягким

голосом, полным подкупающей искренности человека, сознающего себя виноватым:

— Прошу вас, Сергей Александрович, простить меня... Не сердитесь на своего адмирала...

Леонтьев остолбенел от изумления — до того это было для него неожиданно.

Он уже ждал в будущем обещанной ему матросской куртки. Он уже слышал, казалось, приговор суда — строгого морского суда — и видел свою молодую жизнь загубленною, и вдруг вместо этого тот самый адмирал, которого он при всех назвал «бешеной собакой», первый же извиняется перед ним, мичманом.

И, не находя слов, Леонтьев растерянно и сконфуженно смотрел в это растроганное, доброе лицо, в эти необыкновенно кроткие теперь глаза, слегка увлажненные слезами.

Таким он никогда не видал адмирала. Он даже не мог представить себе, чтобы это энергическое и властное лицо могло дышать такой кроткой нежностью.

И только в эту минуту он понял этого «башибузука». Он понял доброту и честность его души, имевшей редкое мужество сознать свою вину перед подчиненными, и стремительно протянул ему руки, сам взволнованный, умиленный и смущенный, вновь полный счастья жизни.

Лицо адмирала осветилось радостью. Он горячо пожал руки молодого человека и сказал:

— И не подумайте, что давеча я хотел лично оскорбить вас. У меня этого и в мыслях не было... Я люблю молодежь, — в ней ведь надежда и будущее нашего флота. Я просто вышел из себя, как моряк, понимаете? Когда вы будете сами капитаном или адмиралом и у вас прозвоят шквал и не переменят вовремя марселя, вы это поймете. Ведь и в вас морской дух... Вы — brave офицер, я знаю... Ну, а мне показалось, что вы стояли, как будто вам все равно, что корвет осрамился, и... будто смеетесь глазами над адмиралом... Я и вспыхнул... Вы ведь знаете, у меня характер скверный... И не могу я с ним справиться!.. — словно бы извиняясь, прибавил адмирал. — Жизнь смолоду в суровой школе прошла... Прежние времена — не нынешние!

— Я больше виноват, ваше превосходительство, я...

— Ни в чем вы не виноваты-с! — перебил адмирал. — Вам показалось, что вас оскорбили, и вы не сне-

сли этого, рискуя будущностью... Я вас понимаю и уважаю-с... А теперь забудем о нашей стычке и не сердитесь на... на «бешеную собаку»,— улыбнулся адмирал.— Право, она не злая. Так не сердитесь?—допрашивал адмирал, тревожно заглядывая в лицо мичмана.

— Нисколько, ваше превосходительство.

Адмирал, видимо, успокоился и повеселел.

— Если вы не удовлетворены моим извинением здесь, я охотно извинюсь перед вами наверху, перед всеми офицерами... Хотите?..

— Я вполне удовлетворен и очень благодарен вам...

Адмирал обнял Леонтьева за талию и прошел с ним несколько шагов по каюте.

— Присядьте-ка...

И, когда мичман присел, адмирал опустил на диван и, после нескольких секунд молчания, произнес:

— И знаете ли, что я вам скажу, Сергей Александрович, не как адмирал, а как старший товарищ, поживший и повидавший более вашего. Не будьте слишком строги и торопливы в приговорах о людях. Я слышал, что вы сегодня утром говорили в кают-компании... Слышал, каким вы хотели быть адмиралом! — усмехнулся Корнев.— Но только вы все вздор говорили... Положим, я требователен по службе, школю всех вас, но будто уж я такой отчаянный деспот, каким вы меня расписывали, а?.. И знаете ли что? Не услышь я случайно вашего разговора, были бы вы сегодня на «Голубчике»! — неожиданно прибавил адмирал.

Леонтьев удивленно взглянул на адмирала, ничего не понимая.

— Я имел намерение вас перевести на «Голубчик», но после вашего разговора не перевел... А знаете ли почему?..

— Не могу догадаться, ваше превосходительство.

— Чтоб вы не подумали, будто я вас перевожу из-за того, что вы бранили своего адмирала... Теперь поняли?..

— Понял,— отвечал мичман.

— И я рад, что так случилось... Очень рад, что будем вместе. Вы по крайней мере убедитесь, что я не такой уж тиран... Поживете, увидите настоящих злых... адмиралов... Тогда, быть может, и вспомните добром такого, как ваш.

— Я никогда не забуду сегодняшнего дня, ваше превосходительство! — порывисто и с чувством произнес молодой человек. — Я никак не ожидал, что вы... так снисходительно отнесетесь к моему поступку... Я думал...

— Вы думали, что я в самом деле надену на вас матросскую куртку?.. Отдам вас под суд за то, что вы называли меня «бешеной собакой»? — спросил, улыбаясь, адмирал.

— Признаться, думал, ваше превосходительство.

— Плохо же вы знаете своего адмирала! — с выражением не то грусти, не то неудовольствия промолвил адмирал. — А, кажется, меня нетрудно узнать... Я перед всеми вами весь, каков есть... Вот если бы вы осмелились ослушаться моего приказа или были малодушный или нечестный офицер, позорящий честь флага, тогда я не задумался бы строго наказать вас... Не пожалел бы. А в военное время и расстрелял бы офицера-труса или изменника! — энергично воскликнул адмирал, сверкнув глазами и сжимая кулаки... — Но губить молодого мичмана, да еще такого славного, только за то, что он такой же бешеный, как и его адмирал, и на дерзость ответил дерзостью... Как вы могли, как вы смели об этом думать... А еще неглупый человек, и так мало понимать людей?! Нет, любезный друг, я не обращаю внимания на такие пустяки и из-за них никого не губил... Не в них дело... Не в этом дух службы... Этим пусть занимаются какие-нибудь мелочные люди... какие-нибудь торгаши адмиралы, не любящие флота...

И с обычной своей экспансивностью адмирал стал излагать свои взгляды на службу, на ее дух, на отношения начальника к подчиненным, на связь, какая должна быть между ними. Разумеется, не обошлось без указаний на таких «незабвенных» моряков, как Нельсон, Лазарев, Нахимов и Корнилов...

Отпуская после этой интимной беседы молодого мичмана, адмирал сердечно проговорил:

— Помните, что во мне вы всегда найдете преданного друга... И впоследствии, если я вам могу быть в чем-нибудь полезен, идите прямо к прежнему своему адмиралу. Что могу, всегда сделаю... А сегодня прошу ко мне обедать... Вы любите поросенка с кашей?

— Люблю, ваше превосходительство.

— Так у меня сегодня поросенок с гречневой кашей! — весело проговорил адмирал.

Молодой мичман вышел из адмиральской каюты горячим поклонником беспокойного адмирала.

И спустя много лет, когда ему пришлось служить с более покойными «цензовыми» адмиралами новейшей формации, сколько раз и с каким теплым, благодарным чувством вспоминал он об этом «беспокойном» и жалел, что такого уже нет более во флоте.

— Эй, Васька! — крикнул адмирал, когда ушел Леонтьев, но крикнул как-то нерешительно, не так, как всегда.

Тот явился словно бы нехотя, еле передвигая ноги, недовольный и мрачный, с подвязанной черным платком щекой.

Адмирал покосился на подвязанную щеку, вспомнил, что, вернувшись в каюту после того, как бесился на палубе, он за что-то толкнул подвернувшегося ему Ваську, и виновато спросил:

— Ты щеку-то... зачем подвязал?

— Еще спрашиваете: зачем? — грубо отвечал Васька, зная, что адмирал теперь в таком настроении, что ему можно грубить безнаказанно. — Зачем?! Мне тоже даже довольно совестно показывать перед людьми свой срам...

— Какой срам?

— А синяк... В самый глаз давеча звезданули... Чуть выше — и вовсе глаза бы решился... И хоть бы за какую-нибудь вину... А то вовсе зря, из-за вашего бешеного характера...

Адмирал не ронял слова, и Васька, бросив быстрый лукавый взгляд своего неподвязанного глаза на адмирала, после паузы решительно проговорил:

— Как вам угодно, но только больше переносить от вас мук я не согласен. Это сверх сил моего терпения... Как, значит, придем в Нагасаки, извольте меня уволнить... Возьмите себе другого слугу.

— Кого я возьму? Что ты врешь там?

— Совсе не вру... В Нагасаках дозвольте получить расчет.

— Ну, ну... не сердись... Не ворчи...

— Я не сержусь... Я знаю, что вы отходчисты, но все-таки обидно... Прямо в глаз!..

Адмирал вышел в соседнюю каюту и, вернувшись, подал Ваське большой золотой американский игль (в десять долларов) и сказал:

— Вот тебе... возьми... Не ворчи только...

Почувствовав в руке монету, Васька поблагодарил и после небольшого предисловия объявил, что он готов служить адмиралу. Он останется — разумеется, не «из антереса» («какой мне антерес?»), а только потому, что очень «привержен» к его превосходительству.

Проговорив эту тираду, Васька, однако, не уходил.

— Что тебе надо еще? — спросил адмирал.

— Маленькая просьбица, ваше превосходительство.

— Говори.

— Дозвольте взять ваше штатское пальтецо. Вы не изволите носить его. Оно зря висит... А я бы переделал.

— Бери.

— И пинжак у вас один совсем для адмиральского звания не подходит. А вашему камердинеру отлично бы! — продолжал Васька.

— Бери.

— Премного благодарен, ваше превосходительство.

— Большая ты каналья, Васька! — добродушно рассмеялся адмирал.

Васька осклабился, оскалил зубы от этого комплимента и вышел из каюты, весьма довольный, что «нагрел» адмирала, да еще за сравнительно пустой синяк, едва даже заметный.

И он немедленно же снял со щеки платок, надетый им специально для предъявления адмиралу бóльших требований после его гневного состояния, во время которого Васька, кажется, нарочно подвертывался под руку бушующего барина и получал, случалось, экстренные затрещины, чтобы после предъявить на них счет, разыгрывая комедию невинно обиженного человека.

И адмирал всегда откупался, так как, по словам Васьки, после того как отходил, бывал совсем «прост», и тогда проси у него что хочешь. Даст!

XV

Когда мичман Леонтьев появился в кают-компании, веселый и радостный, совсем непохожий на человека, собирающегося одеть матросскую куртку, — все поняли,

что объяснение с адмиралом окончилось благополучно, и облегченно вздохнули, нетерпеливо ожидая сообщений Леонтьева.

По-видимому, более всех был рад за своего любимца старший офицер. Хоть он и не предвидел особых бед для дерзкого мичмана, но все-таки ждал неприятностей и думал, что Леонтьева вышлют с эскадры.

И его нахмуренное лицо озарилось доброй улыбкой, и маленькие близорукие глаза заискрились радостью, когда он спросил, уверенный по веселому виду мичмана, что все обошлось:

— Под арест, значит, уж не нужно, Сергей Александрович?

— Не нужно, Михаил Петрович, не нужно... Сегодня зван к адмиралу обедать.

— Обедать?! — воскликнул тетка Авдотья и совсем выкатил свои ошалелые глаза. — Вот так ловко!

— И вы остаетесь на эскадре?

— В Россию не едете?

— И ничего вам не будет?

— Остаюсь... и ничего мне не будет! — отвечал на бросаемые ему со всех сторон вопросы молодой человек.

— Невероятно! — пробасил артиллерист.

— Удивительно! — счел долгом удивиться даже и доктор.

Штурман значительно и торжествующе улыбался: «Дескать, что я вам говорил?»

— Но, верно, он пушил вас, Сереженька?.. Здорово, а? — спрашивал Снежков.

— И не пушил... Знаете ли, господа, ведь мы совсем не знаем адмирала. Я только что сейчас его узнал... Какая справедливая душа! Какая порядочность! — восторженно восклицал мичман, присаживаясь у стола.

— Влюбился в него теперь? — иронически заметил ревизор.

— Да, влюбился, — вызывающе проговорил молодой человек. — Влюбился и буду теперь стоять за него горой, и охотно прощаю ему и его крики и минуты бешенства... Он — человек! И я был болван, считая его злым и мстительным. Торжественно заявляю, господа, что был болван!

— Да вы расскажите толком, что такое случилось? Как это вы вдруг обратились в христианскую веру? — нетерпеливо заметил доктор.

— Рассказывайте, рассказывайте, Сереженька.

— Что случилось? А вот что: он извинился передо мной, и если б вы знали, как искренне и сердечно. Он... адмирал... Понимаете?

Эти слова вызвали общее изумление.

Действительно, господам морякам, привыкшим к железной дисциплине, трудно было понять, чтобы адмирал, получивший дерзость, мог первый извиниться. Он мог простить ее, но не просить прощения у подчиненного. Это казалось чем-то диковинным.

— И мало того,— порывисто продолжал мичман,— он понял, что я вызван был на дерзость его дерзостью, и не считает меня виноватым... Скажите, господа, многие ли начальники способны на это?.. Ведь надо быть очень порядочным человеком, чтоб поступить так...

Когда Леонтьев подробно передал свое объяснение с адмиралом, в кают-компании раздались восторженные одобрения. Все решили, что хотя с беспокойным адмиралом и тяжело подчас служить и он бывает бешеный, но что он добрый и справедливый человек, достойный глубокого уважения.

И в этот самый день, когда адмирал бесновался как сумасшедший и после извинился пред мичманом, сказавшим ему дерзость, на «Резвом» незримо для всех крепла духовная связь между беспокойным адмиралом и его подчиненными, оставшаяся на всю жизнь добрым и поучительным воспоминанием о «человеке» — воспоминанием, которым — увы! — едва ли похвалятся современные адмиралы, вырабатывающие свои отношения к подчиненным лишь на безжизненной букве устава или на торгашеских правилах «ценза», хотя бы весьма корректные и никогда не увлекающиеся профессиональным гневом.

Пока в кают-компании шли разговоры об адмирале, он вышел из каюты и разгуливал взад и вперед по шканцам, кидая по временам быстрые взгляды на рыжего мичмана Щеглова, стоявшего на мостике.

Расстроенный и подавленный вид молодого моряка возбуждал в адмирале участие. Он понимал, что должен был переживать молодой самолюбивый офицер.

свершивший такое «преступление», как он. И это его отчаяние и вызывало в адмирале сочувствие и заставляло простить его вину, вселяя в адмирале уверенность, что моряк, так сильно потрясенный, уж более не прозевает шквала и что, следовательно, отрешить его от командования вахтой, как он собирался, было бы напрасным лишним оскорблением и без того оскорбленного самолюбия.

И адмирал поднялся на мостик, подошел к Щеглову и как ни в чем не бывало спросил:

— Как ход-с?

— Десять узлов, ваше превосходительство!

В голосе мичмана звучала виноватая нотка.

Адмирал поднял голову, осмотрел паруса и заметил:

— Отлично-с у вас стоят паруса...

Этот комплимент, который в другое время порадовал бы мичмана, теперь, напротив, заставил его только вспыхнуть. Он напомнил ему о парусах, потерянных по его вине, и казался ему какою-то насмешкой.

«Уж лучше бы он опять разнес и назвал прачкой!» — подумал мнительный и нервно настроенный моряк.

Адмирал, казалось, понял и это. Ему стало жаль молодого человека. И он мягко промолвил:

— Не следует падать духом, любезный друг... Вы получили тяжелый урок и, конечно, им воспользуетесь... Беда у всех возможна... И вам только делает честь, что вы так близко приняли ее к сердцу... Это доказывает, что в вас морская душа brave офицера... Да-с!

Молодой мичман, все еще думавший, что ему место только в «прачках», ожил от этих ободряющих слов адмирала и в эту минуту желал только одного: чтобы на корвет немедленно налетел самый отчаянный шквал. Он показал бы и адмиралу и всем, как лихо бы он убрался.

Но горизонт со всех сторон был чист, и мичман мог только взволнованно проговорить:

— Я, ваше превосходительство, поверьте... заглажу свою вину... Вы увидите...

— Не сомневаюсь... И скажу вам, что на ваших вахтах я буду спокойно спать! — проговорил адмирал и спустился с мостика.

Мичман, не находя слов, благодарно взглянул на адмирала, оказывающего ему такое доверие, и окончательно почувствовал себя снова неопозоренным моряком, могущим оставаться на службе.

И адмирал не ошибся. Действительно, он мог потом спокойно спать на вахтах Щеглова, так как после этого дня на корвете не было более бдительного вахтенного начальника.

Ободдряющие, вовремя сказанные слова отчаявшемуся молодому моряку сохранили флоту хорошего офицера и были убедительнее всяких выговоров и арестов и всего того мертвящего формализма, который особенно губителен во флоте.

Николай Афанасьевич долго кейфовал у себя в каюте и не показывался наверху, чтобы не встретиться с адмиралом.

Наконец он послал вестового за старшим офицером, и когда тот присел в капитанской каюте, капитан спросил:

— Ну что, Михаил Петрович, адмирал отошел?

— Отошел, Николай Афанасьич... Только что с Леонтьевым объяснился и извинился перед ним.

Монте-Кристо пожал плечами и, улыбаясь, сказал:

— Сумасшедший!.. С ним ни минуты покоя... Значит, и нас с вами не отдаст под суд?

— Мало ли что он скажет...

— Ну и накричался же он сегодня... Уф! — отдувался Николай Афанасьевич. — И главное: почему, скажите на милость, наш корвет — кафешантан? — внезапно раздражился капитан, вспомнив обидные слова адмирала. — Что он нашел в нем похожего на кафешантан, а?.. Ведь это черт знает что такое...

— Осрамились мы сегодня, Николай Афанасьевич, надо сознаться.

— Да... все из-за Щеглова... И потом этот формальсель... Отчего его долго не несли?

— Подскипер в спешке не мог его найти...

— Экая каналья... Но все-таки: почему же кафешантан? Кажется, у нас корвет в порядке...

— Кажется, — скромно отвечал старший офицер.

— Нет, решительно с ним невозможно служить... Если он будет так продолжать, я, Михаил Петрович, попрошусь в Россию... Надоело... Но пока это между нами... «Распустил офицеров!»... Не ругаться же мне, как боцману... Что значит: «распустил»?..

Капитан еще несколько времени изливался перед старшим офицером и, когда тот ушел, снова улегся на

диван и морщился при мысли, что после сегодняшних тревожений придется идти обедать к беспокойному адмиралу. Правда, обеды у него отличные и вино хорошее, но...

— Нет... почему кафешантан? — воскликнул снова Монте-Кристо и никак не мог сообразить, что этим хотел сказать адмирал.

XVI

Адмирал обедал в шесть часов. Стол у адмирала был обильный и вина превосходные. В море у него каждый день обедало человек десять. Кроме постоянных его гостей — командира, флаг-капитана и флаг-офицера, обедавших у адмирала ежедневно, приглашались: вахтенный начальник, вахтенные гардемарин и кондуктор, стоявшие на вахте с четырех часов до восьми утра и, по очереди, два или три офицера из числа остального персонала кают-компаний. Довольно часто кто-нибудь приглашался и экстренно, не в очередь. По воскресеньям, случалось, адмирала приглашали офицеры обедать в кают-компанию.

Все на «Резвом» хорошо знали, что адмирал не любил, когда приглашенные являлись ранее назначенного времени. Он держался английских обычаев и допускал опоздание минут на пять, но никак не появление гостя хотя бы минутой раньше.

Вначале, когда еще не всем были известны эти «правила», один мичман, приглашенный к адмиралу, желая быть вполне корректным, по его мнению, пришел в адмиральскую каюту минут за восемь и был принят далеко не с обычной приветливостью радушного и гостеприимного хозяина.

Молча протянул адмирал гостю руку, молча указал пальцем на диван, присел сам и, видимо, чем-то недовольный, упорно молчал, подергивая плечами и теребя щетинистые усы.

В отчаянии гость решил завязать разговор и сказал:

— Отличная сегодня погода, ваше превосходительство...

Вместо ответа адмирал только покосился на мичмана и после паузы проговорил:

— А знаете ли, что я вам скажу, любезный друг?..

«Любезный друг», успевший уже изучить другие привычки «глазастого черта», взглянул на него с некоторой душевной тревогой.

И по тону и по упорному взгляду круглых, выкаченных глаз адмирала гость предчувствовал, что адмирал, во всяком случае, не имеет намерения сказать что-либо приятное.

«Уж не хочет ли он перед обедом разнести?»

И он мысленно перебирал в своей памяти все могущие быть за ним служебные вины, за которые могло бы попасть.

Адмирал между тем проговорив обычное свое предисловие, остановился как бы в раздумье.

Так прошла еще секунда-другая тяжелого молчания. Гость чувствовал себя не особенно приятно.

Наконец адмирал, видимо бессильный побороть желание выразить свое неудовольствие и в то же время придумывая возможно мягкую форму его выражения, продолжал:

— У вас, должно быть, часы бегут-с, вот что я вам скажу.

Молодой человек, совсем не догадывавшийся, к чему клонит адмирал, и несколько изумленный таким категорическим мнением о неверности его отличного «полухронометра», торопливо достал из жилетного кармана часы, взглянул на них и поспешил ответить:

— У меня совершенно верные часы, ваше превосходительство... Без пяти минут шесть.

— А я, кажется, любезный друг, приглашал вас обедать в шесть часов?

— Точно так, в шесть! — промолвил мичман, все еще не догадываясь, в чем дело.

— Так вы и должны были прийти ровно в шесть! — отрезал адмирал.

Мичман, наконец, догадался.

— Виноват, ваше превосходительство... я не знал... я уйду-с...

И с этими словами он стремительно сорвался с места, словно бы в диване оказалась игла, готовый немедленно исчезнуть.

— Куда уж теперь уходить! Садитесь! — приказал адмирал.

Сконфуженный молодой человек покорно опустил-ся на диван.

И беспокойный адмирал, облегчив свою душу, тотчас же успокоился и заговорил уже более мягким тоном:

— Я позволил себе заметить вам, любезный друг, об этом для того, чтобы вы вперед знали, что если вас зовут в шесть, то и надо приходить в шесть.

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Вот англичане деловой народ и понимают цену времени. У них принято являться в назначенное время, ни минутой раньше. И это, по-моему, умно, весьма умно... А то хозяин может быть занят мало ли чем — бреется, например, а гость лезет не вовремя. Согласитесь, что это не деликатно. Наконец, хозяин просто может не быть дома до назначенного времени, а вы пришли и сидите один, как болван... Ведь это неприятно, а? Не правда ли?

— Совершенно верно, ваше превосходительство.

— А виноват не хозяин, а гость... Не приходи раньше времени. Надеюсь, вы согласны со мной?

Еще бы не согласиться!

И мичман поспешил выразить полнейшее согласие.

— А я все-таки рад вас видеть, очень рад, — любезно говорил адмирал, снова пожимая руку опешившему мичману. — Да что вы не курите?.. Курите, пожалуйста.

Нечего и прибавлять, что после такого внушения все господа офицеры, гардемарины и кондукторы «Резвого» стали неукоснительно держаться английских обычаев.

И в этот день, полный таких позорных неудач и еще не вполне пережитых волнений, разумеется, никто не осмелился явиться в адмиральскую каюту секундой раньше назначенного времени.

Один за другим являлись приглашенные к обеду моряки, пришедшие и прифранченные, как только что пробило шесть часов.

Монте-Кристо, румяный и представительный, с холеными черными усами и баками, в расстегнутом белом кителе и ослепительном жилете, обрисовывавшем изрядное брюшко, имел сегодня сдержанный, официально-серьезный вид недовольного человека, не забывшего, что корвет, которым он командует, назван кафешантаном.

Выражение его красивого лица, обыкновенно веселое и добродушное, было строго и внушительно и, казалось,

говорило: «Я пришел сюда обедать потому, что того требует долг службы, а вовсе не по своему желанию».

И старший офицер Михаил Петрович, приглашенный по очереди вместе с доктором и старшим штурманом, был несколько угрюм. «Позорная» перемена фор-марселя до сих пор волновала его морское самолюбие.

Зато белобрысый плотный доктор с гладко причесанными вперед височками весело и умильно посматривал на небольшой стол, уставленный соблазнительными закусками, предвкушая удовольствие хорошо покушать.

Старший штурман, человек вообще застенчивый, как-то бочком вошел в каюту, поздоровался с адмиралом и поскорей отошел в сторону и стоял с выражением той философски-спокойной покорности судьбе на своем серьезном, красноватом, морщинистом лице, какое обыкновенно бывает у штурманов — этих пасынков морской службы, — когда они находятся перед лицом начальства.

Владимир Андреевич Снежков, стоявший на вахте с четырех до восьми часов утра и потому обязанный обедать у адмирала, перекрестившийся несколько раз перед тем как войти в каюту, оправивший волосы и закрутивший свои рыжие усы, вошел весь красный, взволнованный и вспотевший, раскланялся с адмиралом и, почувствовав обычную робость, с ошалелым видом юркнул в кружок молодых людей, стоявших отдельно и тихо разговаривавших. Стоявшие с ним утреннюю вахту приземистый и лобастый гардемарин дядя Черномор и старавшийся подражать Базарову штурманский кондуктор Подоконников скрыли тетку Авдотью от глаз адмирала вместе с экстренно приглашенным мичманом Леонтьевым и гардемаринном Ивковым.

— Кажется, все? — проговорил адмирал, озираясь, когда в каюте появился Ратмирцев, как всегда элегантный, в своем адъютантском сюртуке с аксельбантами, чистенький, гладко выбритый, с прилизанными белокурыми волосами, с безукоризненными ногтями своих белых, холеных рук, на мизинцах которых блестело по кольцу, — внося вместе с собой душистую струйку духов.

— Все, ваше превосходительство! — поспешил доложить флаг-офицер Вербицкий.

— Покорно прошу, господа, закусить. Николай Афанасьевич! Пожалуйста... Михаил Петрович... Иван Иваныч... Доктор...

— Вы ведь померанцевую, Николай Афанасьевич? — особенно любезно спрашивал адмирал.

— Померанцевую, ваше превосходительство! — официально-сухим тоном отвечал Монте-Кристо, подходя к столу и чувствуя при виде обилия и разнообразия закусок, что у него текут слюнки и начинает уменьшаться обида на адмирала.

А адмирал, видимо ухаживая за Николаем Афанасьевичем, которого хотел отдать под суд, и словно бы желая особенным к нему вниманием заставить забыть его и «кабак», и «кафешантан», и вообще все бешеные выходки утра, сам налил сегодня капитану рюмку померанцевой и, подавая ее, проговорил:

— Сегодня Васька отыскал последнюю жестянку икры... Позвольте вам положить, Николай Афанасьич.

— Не беспокойтесь, ваше превосходительство.

Но адмирал уже наложил на тарелочку огромную порцию паюсной икры, величина которой как будто соответствовала внутренней потребности адмирала загладить свою несправедливость перед капитаном, который, при всех своих недостатках, все-таки был лихой моряк, и, передавая тарелочку, сказал:

— Не знаю, хороша ли? Вы ведь знаток, Николай Афанасьич...

Монте-Кристо опрокинул в себя рюмку водки и закусил икрой.

— Прелесть, ваше превосходительство! — проговорил Николай Афанасьевич, проглатывая кусок с видимым наслаждением.

И эта особенная внимательность адмирала, и превосходная икра, и вид всех этих вкусных закусок, возбуждавших в Николае Афанасьевиче самые приятные ощущения, заметно смягчили сердце мягкого и добродушного Монте-Кристо, и лицо его уже расплывалось в широкую, довольную улыбку, а его сузившиеся глаза зажглись плотоядным огоньком завязтого гурмана и чревоугодника.

Он не просто ел, а как-то особенно — не спеша и смакуя, точно совершая торжественный культ чревоугодия.

— Еще рюмку, Николай Афанасьевич?.. Рекомендую вам русские грибы...



«БЕСПОКОЙНЫЙ АДМИРАЛ»



«БЕСПОКОЙНЫЙ АДМИРАЛ»

— Что ж, можно, ваше превосходительство... У вас померанцевая отличная... Не беспокойтесь, ваше превосходительство...

Адмирал уже налил рюмку и, обращаясь затем к своему флаг-офицеру, который заведовал его хозяйством и, к немалой досаде Васьки, закупал вина и другие запасы, сказал:

— Вербицкий! Смотрите, чтоб у нас всегда была померанцевая. Берегите ее для Николая Афанасьевича и не давайте ее пить гардемаринам... Молодые люди могут пить другую...

— Есть, ваше превосходительство!

Тронутый Монте-Кристо окончательно простил беспокойному адмиралу «кафешантан» и после грибков усердно занялся омаром под провансальским соусом...

— Иван Иванович! Что ж вы одну рюмку? Наливайте себе другую! — обратился адмирал к старшему штурману.

— Не много ли будет, ваше превосходительство? — пошутил старый штурман, вливавший в себя ежедневно значительное количество портеру и марсалы совершенно безнаказанно, и опрокинув изрядную рюмку водки, отошел в сторону.

— А вам померанцевая тю-тю! — шепнул, смеясь, Ивков Подоконникову.

— Вы что там смеетесь, Ивков?.. Закусывайте.

— Я говорю, ваше превосходительство, что померанцевая нам с Подоконниковым не по чину.

— Ишь, зубоскал! — рассмеялся адмирал. — Ваш чин, любезный друг, такой, что вы можете пить водку, какую вам дадут, и не больше одной рюмки. Ну, уж так и быть, налейте себе померанцевой.

— Да я никакой не пью.

— Чего ж вы хлопочете?

— Я за Подоконникова, ваше превосходительство. Он ее очень любит!

— Ну, так налейте Подоконникову. Он вот и сигары любит, и померанцевую, хотя ничего в них не понимает... А вы что же, Владимир Андреич, не закусываете? Пожалуйте к столу.

Лейтенант Снежков рванулся к столу, словно лошадь, получившая шенкеля.

— Какой вам налить, Владимир Андреич?

— Какой прикажете, ваше превосходительство,— ответил, весь краснея, тетка Авдотья.

— Однако? Тут пять сортов.

— Все равно-с, ваше превосходительство!

— Да ведь и мне все равно, какой вам налить! — нетерпеливо и раздражительно воскликнул адмирал, который терпеть не мог неопределенных ответов.

Лейтенант совсем смутился и не знал, какую водку назвать. В горле у него точно пересохло. Глаза выкатились и смотрели совсем ошалело.

— Я... я, ваше превосходительство,— начал было он.

— Владимир Андреич пьет очищенную, ваше превосходительство! — поспешил выручить Снежкова старший офицер.

— Так бы и сказали, а то — «все равно»!... А я налил бы вам другой. Не угодно ли? — говорил адмирал, подавая лейтенанту рюмку. — Да что ж вы не закусываете? — остановил его гостеприимный хозяин, заметив, что Снежков, проглотив рюмку, хотел снова юркнуть. — Прошу покорно. Да берите икру, Владимир Андреич. Кушайте икру! — почти приказывал беспокойный адмирал, увидав, что Снежков торопливо тыкал вилкой в тарелочку с селедкой. — Икра — редкая здесь закуска. Берите!..

Снежков уж поймал, наконец, кусок селедки, сунул его в рот, проглотил, не жевавши, и потянулся к икре, поглядывая в то же время на адмирала напряженно, растерянно и боязливо, точно сбитый с толку ученик на учителя.

— Пойдите, я вам положу, а то вы... вы ужасно копаетесь, Владимир Андреич, я вам скажу, и не даете Аркадию Дмитричу выпить его любимого аллаша.

— Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство, я успею! — изысканно-почтительно, отчеканивая слова, промолвил Ратмирцев и наклонил голову в знак благодарности за внимание к нему, слегка изогнувшись всем станом и приложив тонкую белую руку к груди.

Все это он проделал необыкновенно красиво и изящно, словно бы показывая всем присутствующим, что значит человек с изящными манерами, и когда Снежков, получив из рук адмирала тарелочку, отскочил, наконец, от стола, обливаясь потом и красный как рак, точно выйдя из бани, — Аркадий Дмитриевич налил себе кро-

шечную рюмку аллаша, взял ее двумя пальцами, грациозно отставив остальные, и, не спеша, выпил, закусил крошечным кусочком икры и отошел назад.

— Это, верно, так полагается по-придворному? — шепнул Ивков своему приятелю.

— Противно на него смотреть! И ведь как задается! ¹ — отвечал Подоконников.

— Удивляюсь, Аркадий Дмитрич, как вы любите такую дрянь, — как аллаш! — неожиданно заметил адмирал.

— У всякого свой вкус, ваше превосходительство.

— То-то я и удивляюсь вашему вкусу. А впрочем, в Петербурге многие гвардейцы любят этот аллаш. Вот Иван Иванович, я полагаю, так не любит, а?

— Я, ваше превосходительство, люблю, чтобы водка — так водка. Горечь чтобы была-с, — отвечал старый штурман, посматривавший на «наперсток» Ратмирцева и на него самого с чувством глубочайшего тайного презрения, как на человека совершенно пустого, заносчивого и неспособного.

— Не смею спорить, ваше превосходительство, особенно с таким авторитетным человеком в этом деле, как почтеннейший Иван Иванович, — проговорил любезно-мягким тоном «придворный суслик», взглядывая на старого штурмана с снисходительно-любезной небрежностью, как на человека совершенно другой и низшей расы. Ратмирцев искренне был убежден, что штурман — это нечто мизерное и терпимое только в море.

Старый почтенный штурман, всю жизнь свою честно тянувший лямку и пользовавшийся уважением и адмирала и всех своих сослуживцев, понял, конечно, и этот намек на то, что он любит выпить, почувствовал и этот высокомерный взгляд, но ничего не ответил: «Не стоит, дескать, связываться!».

И словно бы желая показать, что не обращает ни малейшего внимания на намек Ратмирцева, подошел к столу и налил себе третью рюмку водки.

— И я с вами, Иван Иванович! — весело сказал капитан.

— Вистнете-с, Николай Афанасьич?

— Вистну!..

¹ На морском жаргоне «задаваться» — значит выставляться, поднимать нос. (Прим. автора.)

Адмирал продолжал угощать и всем накладывать икры, хотя и не в таком количестве, как капитану и старшему офицеру, и был, видимо, доволен, что и Николай Афанасьевич и старший офицер как будто на него не сердятся.

— Прошу садиться, господа! — весело проговорил он, когда Васька и его подручный, молодой вестовой Гаврилов, оба в белых нитяных перчатках, расставили тарелки с супом.

По правую руку адмирала сел Николай Афанасьевич, а по левую Ратмирцев, затем старший офицер, старший штурман, доктор и остальные. Молодежь сидела на «баке», то есть на другом конце стола, где прямо против адмирала сидел флаг-офицер, на обязанности которого было, между прочим, разрезывать птицу, когда таковая подавалась на жаркое, и наливать гостям на «баке» вино.

Обед был превосходный, особенно принимая в соображение, что «Резвый» уже две недели был в море. После супа с пирожками была подана консервованная лососина, превосходно приготовленная с разнообразным гарниром. Адмирал зорко следил, чтобы все ели, и часто кричал Вербицкому, что около него у гостей пустые рюмки.

И за обедом адмирал, видимо, особенно ухаживал и за Николаем Афанасьевичем и за старшим офицером, то и дело подливая и тому и другому вина в различные рюмки, красовавшиеся у приборов и прежде, бывало, сбивавшие с толку многих гардемарин, пока адмирал не научил их, какое вино и в какие рюмки следует наливать.

Когда подали поросенка с гречневой кашей, Монте-Кристо, уже слегка размякший после нескольких рюмок хереса, портвейна и красного бургонского, совершенно забыл о «кафешантане» и о своем намерении проситься в Россию, тем более, что адмирал весьма кстати вдруг припомнил, как однажды у них на корабле «Наварине», которым командовал сам Павел Степанович Нахимов, на глазах у всей эскадры долго не могли переменить марселей.

— Шкипер, каналья, виноват был...

— И что же, ваше превосходительство, Павел Степанович задал такую же гонку, как и вы нам сегодня? — спросил, улыбаясь, Монте-Кристо.

— А вы все еще не забыли?.. Экий злопамятный! Ну, мало ли иногда что бывает?.. Разве сами-то вы сегодня не сердились в душе... Разве вам не было обидно-с?.. Спросите-ка у Михаила Петровича, как ему досадно было... Не так ли, Михаил Петрович?..

— Совершенно верно, ваше превосходительство...

— То-то и есть... Мы, моряки, всё слишком горячо принимаем к сердцу... в этом-то и сказывается любовь к делу, хоть часто мы и беснуемся из-за пустяков... Но и пустяки иногда важны... да-с... Эй, Васька! Подавай еще поросенка Сергею Александровичу... Он любит поросенка с кашей... Кушайте, Сергей Александрыч!..

Разговоры оживились к концу обеда. Адмирал рассказал, как однажды в Черном море два капитана держали пари на легавого щенка, кто скорей снимется с якоря.

— Так что бы вы думали сделал Ивков, покойный брат нашего зубоскала?..

— А что, ваше превосходительство?

— Видит он, что шкуна, с командиром которой он держал пари, его обгоняет, все гребные суда подняла, а у него еще баркас не поднят... Он, чтобы выиграть время, велел баркас утопить, оставив на месте буюк, поднял якорь, поставил паруса и был таков на своем тендере... щенка-то и выиграл... После уж он сам признался, на какой пошел фокус... Фокус-то фокусом, а находчивость... Такой командир и с неприятелем найдется... Вот что значит — школа черноморская...

В свою очередь, и Монте-Кристо рассказал, как они на фрегате «Коршун» «втирали очки» одному адмиралу.

После пирожного адмирал попросил всех пересестя на диваны. Подали ликеры и кофе.

Адмирал взял под руку Николая Афанасьевича и, стводя его в сторону, тихо сказал:

— А вы уж со Щеглова не взыскивайте, Николай Афанасьич... прошу вас... Он и так наказан... И вообще.. на меня не сердитесь... Мало ли что скажешь... Я ведь знаю, что корвет у вас в порядке...

Монте-Кристо ушел от адмирала примиренный с ним. Скоро и адмиралу пришлось убедиться, что Монте-Кристо в критические минуты — образцовый капитан, и это заставило адмирала снисходительнее относиться к его недостаткам.

Когда вслед за капитаном все стали откланиваться, адмирал, веселый и довольный, благодарил всех за посещение и, когда к нему подошел Леонтьев, крепко пожал ему руку и сказал:

— Так мы теперь друзья, не правда ли?

— Друзья, ваше превосходительство! — отвечал, улыбаясь, Леонтьев.

XVII

На корвете все, кроме вахтенных, крепко спали.

Был второй час чудной южной лунной ночи. «Резвый» бесшумно неся вперед, неся почти все паруса.

Мичман Леонтьев, стоявший на вахте, шагал по мостику, зорко поглядывая по сторонам и изредка покрикивая:

— Вперед смотреть!

Вдруг на мостике внезапно показалась фигура адмирала. Он был заспанный, в кителе и в туфлях, одетых на босую ногу.

Постояв минуту-другую, он подошел к Леонтьеву и тихо сказал:

— Вызовите барабанщика, да чтобы без шума.

— Есть!

Через минуту явился барабанщик.

— Пожарную тревогу! — приказал адмирал.

Раздалась тревожная, призывная, долго не умолкавшая дробь.

И не прошло и двух минут, как весь корвет ожил. Раздался топот сотен ног, доносились окрики боцманов. Все стремглав летели по своим местам. Еще минуты две, и все палубы были освещены, все брандспойты готовы, и крьюйт-камера в несколько мгновений могла быть затоплена.

Испуганные выскочили капитан и старший офицер, спрашивая у Леонтьева, в каком месте пожар.

— Нигде... Адмирал, — тихо произнес он, указывая на адмирала.

— Ну, пойдемте, господа, посмотрим, — сказал адмирал, обращаясь к капитану и старшему офицеру, — как мы приготовились к пожару... Собрались люди молодцами, как следует на военном судне!

Адмирал в сопровождении капитана и старшего офицера обошел весь корвет. Все было найдено им в образцовом порядке. Все люди по местам. Все инструменты в исправности.

Поднявшись наверх, адмирал приказал поставить команду во фронт и, обходя фронт, благодарил матросов.

— Рады стараться, ваше-ство! — раздалось среди океана.

Затем адмирал велел собраться всем офицерам на шканцах и сказал:

— Видно, что исправное военное судно... От души благодарю вас, Николай Афанасьевич, и вас, Михаил Петрович, и всех вас, господа... Аркадий Дмитриевич!.. Завтра отдайте приказ по эскадре! Спокойной ночи! Распустите команду.

С этими словами адмирал скрылся.

Через пять минут на корвете снова царила тишина, и «Резвый» разрезал своей грудью океанские волны, по-прежнему безмолвный и, казалось, заснувший.

XVIII

Через несколько дней «Резвому» пришлось выдержать жесточайшую «трепку».

Это была одна из тех, по счастью, редких трепок, которые наводят ужас даже на самых опытных и бесстрашных моряков и не забываются ими во всю жизнь. Особенно отзываются они на капитанах. Они, сознающие, что от их находчивости, умения и энергии зависит жизнь сотен людей, переживают ужасные часы в страшном напряжении нервов и, случается, нередко в одну ночь седеют и преждевременно стареются. Вспоминая о таких испытаниях впоследствии, они обыкновенно становятся серьезны и говорят:

— Да, трепануло-таки нас порядочно!

Но, разумеется, слушатель-неморяк и не догадается, сколько скрыто драмы в этих немногих словах и сколько пережито было в такие дни или ночи.

«Резвый» приготовился к встрече тайфуна под штормовыми парусами, но дьявольский шторм продолжался двое суток.

В течение этого времени капитан «Резвого» спал несколько часов,—вернее, не спал, а дремал тут же наверху, в штурманской рубке, и после снова поднимался на мостик. Напряженный и страшно серьезный, Монте-Кристо лично распоряжался управлением «Резвого», командуя рулевым и зорко наблюдая, чтобы громадные валы не залили корвет, метавшийся с болезненным скрипом среди разъяренных волн.

Положение было серьезное.

Бывали минуты,—и эти минуты сознавались всеми,—когда «Резвый», казалось, изнемогал в этой долгой борьбе с озверевшей стихией. Малейшая неосторожность со стороны капитана, потеря присутствия духа — и корвет мог бы погибнуть. Это чувствовалось всеми... это написано было на бледных лицах матросов, в широко раскрытых глазах, устремленных на мостик...

Но Монте-Кристо, словно бы весь преображенный, хладнокровный и решительный, страшно напряженный и совсем не похожий теперь на легкомысленного, веселого и ленивого жуира, полный энергии и сил, неустанно и внимательно следил за каждым движением «Резвого», направляя его вразрез волнам и уклоняясь от их нападений.

Необыкновенно яростный порыв освиrepевшей бури, достигшей, по-видимому, своего апогея, повалил грот-мачту. Она с треском закачалась, склонилась и упала на подветренный борт. Корвет лег на бок. Минута была критическая.

— Очистить скорей! — громовым голосом крикнул капитан в рупор.

Старший офицер Михаил Петрович уже был там, у свалившейся мачты. Несколько ударов топоров, и мачта, освобожденная от вант, была за бортом.

Корвет снова поднялся, и лицо Монте-Кристо, напряженное до последней степени, прояснилось.

— Слава богу!.. — невольно прошептал он. И губы его вздрагивали.

Беспокойный адмирал, выдавший на своем веку виды, был угрюмо-спокоен. Он тоже не покидал мостика и стоял, уцепившись за поручни, безмолвный, ни разу не вмешиваясь в распоряжения капитана. Они были безукоризненны, и адмирал за эти два дня, внутренне любуясь Монте-Кристо, вполне убедился в том, что Нико-

лай Афанасьевич лихой и энергичный капитан, особенно в критические минуты, и что он, этот сибарит и жуир, сумеет умереть рыцарем долга, если бы пришлось.

И два штормовые дня сблизили эти две противоположные натуры. Беспокойный адмирал проникся невольным уважением к мужественному и лихому капитану и прощал все его недостатки.

Не раз предлагал он ему спуститься вниз и отдохнуть.

— Я за вас постою, Николай Афанасьич... Вы утомились.

— Место капитана здесь, на мостике, и я его не оставляю, пока корвет в опасности! — отвечал Монте-Кристо.

И голос его звучал энергией. И тон его был совсем не такой, каким он говорил обыкновенно с адмиралом. В нем было что-то властное и сильное, словно бы подчеркивающее, что он — капитан, и на нем лежит вся ответственность за судно и за экипаж.

Зато адмирал то и дело посылал за Васькой и приказывал ему приносить наверх разные закуски и вина для Николая Афанасьевича, чтобы он подкрепился. Но Монте-Кристо был слишком нервно напряжен и не ощущал голода. Он в эти два дня довольствовался несколькими галетами, которые запивал портвейном.

Когда, наконец, к концу второго дня шторм стал затихать и корвет был вне опасности, капитан попросил Михаила Петровича его сменить на мостике и, отдав приказание вахтенному начальнику не будить его без особенной надобности, спустился, наконец, с мостика.

Лицо его осунулось и, казалось, постарело. Впавшие глаза, уже не горевшие блеском возбуждения, были утомлены и безжизненны. Вся его фигура казалась какою-то вялою и ленивою, нисколько не напоминавшею ту энергичную, которая пленяла всех еще несколько минут тому назад.

— Не хотите ли закусить, Николай Афанасьич? Я велю сейчас подать вам! — предложил адмирал, только что вышедший из каюты.

— Покорно благодарю, ваше превосходительство. Я ничего не хочу...

— Не прислать ли вам чего-нибудь в каюту, Николай Афанасьевич, а? Ведь вы ничего не ели? Есть не-

дурная ветчина, омары, честер, страсбургский пирог, копченая лососина. И у меня сохранилась одна бутылка превосходной редкой мадеры... Я получил в подарок несколько бутылок этого вина в прошлое плавание, когда был на Мадере... Одна бутылка осталась... Позвольте вам прислать.

— Если позволите, завтра, ваше превосходительство, я с удовольствием воспользуюсь вашим любезным предложением, а теперь я смертельно хочу спать.

— Ну, идите... идите... Только позвольте вам сказать, Николай Афанасьич, что я, как моряк, все время любовался вашими распоряжениями и гордился, что у меня в эскадре такой капитан. Да-с. Только с такими командирами, как вы и как командир «Голубчика», можно было выйти с честью из такого анафемского шторма, и я считаю своим долгом горячо благодарить вас за спасение корвета и людей! — взволнованно проговорил адмирал и как-то особенно сердечно и крепко пожал руку Монте-Кристо. — Такие дни не забываются! — прибавил он. — Спокойной ночи. Выспитесь хорошенько. Завтра, если стихнет, разведем пары и к вечеру будем в Нагасаки.

Монте-Кристо был польщен словами адмирала, но ничего на них не ответил и торопливо спустился в свою каюту.

— Уф! — облегченно и радостно вздохнул он при виде чистой и свежей постели, которая в эти минуты составляла единственный предмет его желаний. Ничего другого не существовало для него. Он точно забыл все, что только что произошло, все, что он пережил в эти двое суток... Нервы словно бы притупились...

И он, обессиленный, раздетый вестовым, с наслаждением бросился на мягкую койку и в ту же минуту заснул как убитый.

XIX

К утру следующего дня значительно стихло. Ветер ослабевал. Черные клочковатые тучи чернели на горизонте, и из-за перистых облачков то и дело показывалось ослепительное жгучее солнце. Старший штурман Иван Иванович уже поспешил взять высоты, чтобы сде-

лать астрономические вычисления и точно определиться. И то два дня без наблюдений. Это его смущало.

Покачиваясь на затишавшем, но все еще сильном волнении, «Резвый» и «Голубчик» шли в близком расстоянии друг от друга, попыхивая дымком из своих белых труб, оба сильно пощипанные бурей. Каждого из них шторм покалечил, и они напоминали раненых птиц. На «Резвом» не было грот-мачты и утлегаря (оконечность бугшприта), снесен с боканцев капитанский катер и проломлен борт. «Голубчик» потерял фок-мачту, все свои шлюпки, и верхняя рубка сильно пострадала.

Машины на обоих судах работали полным ходом, и корвет и клипер, буравя своими винтами, шли узлов по семи, по восьми, направляясь в Нагасаки, до которого было не более ста миль.

Там, в затишье спокойной гавани, можно будет основательно исправить все аварии: поставить и вооружить новые мачты и достать новые шлюпки, а пока на обоих судах залечивали раны домашними средствами на случай нового нападения врага.

К подъему флага на «Резвом» и на «Голубчике» взамен потерянных мачт уже стояли так называемые «фальшивые», на которых можно было держать, в случае крайности, легкую парусность, и проломленные борты были заделаны. Работали всю ночь, и Михаил Петрович, конечно, не смыкал глаз.

В семь часов адмирал вышел наверх и довольным взглядом оглядел «Резвого» и потом «Голубчика». Оба они, хотя и пощипанные, все-таки сохраняли внушительный вид исправных военных судов.

Адмирал приказал сигналом спросить «Голубчика», какие у него повреждения и нет ли сильной течи.

Ответные сигналы перечислили повреждения и сообщили, что течи нет.

Адмирал удовлетворенно улыбался, разгуливая по юту. Он думал теперь, к какой бы награде представить этих двух лихих капитанов и заставить адмирала Шримса уважить его представление. И он уже заранее волновался при мысли, что этот Шримс, не имеющий понятия о морском деле, может не исполнить его ходатайство и оба капитана не будут отличены, как следует. Волновался и решил, что он, в случае отказа, напишет ему такое письмо... такое...

В эту минуту адмирал вспомнил, что он еще не поблагодарил командира «Голубчика» за шторм, и сказал вахтенному офицеру:

— Сергей Александрович! Прикажете поднять сигнал, что я изъявляю командиру «Голубчика» свое особенное удовольствие.

— Есть! — отвечал мичман Леонтьев.

— Да отчего это Вербицкого нет, а? Адмирал наверху... семь часов... а флаг-офицер спит... Пошлите за ним! — вдруг раздраженно крикнул адмирал.

Но, увидав поднявшегося на мостик старшего офицера, он снова просветлел и, пожимая Михаилу Петровичу руку, проговорил:

— Доброго утра, Михаил Петрович... Очень рад вас видеть и не могу не сказать, что вы меня даже удивили...

— Чем, ваше превосходительство? — спросил, недоумевая, старший офицер.

— Еще спрашивает! — улыбнулся адмирал... — Так быстро исправить повреждения и поставить мачту... это... это... делает большую честь старшему офицеру... Ну, да ведь мы с вами старые приятели... Я вас давно знаю... А все-таки... удивили, Михаил Петрович. Ну что, у нас течи не показалось после вчерашнего?..

— Нет, — отвечал Михаил Петрович и покраснел, видимо польщенный словами адмирала, который действительно понимал и умел ценить работу подчиненных, потому что и сам умел работать и в свое время был образцовым старшим офицером.

— Хорошо построенное судно, крепкое судно. Шторм ведь был серьезный.

— Довольно серьезный, ваше превосходительство! — подтвердил старший офицер.

— А как с ним справился Николай Афанасьевич... Да-с! Он показал всем, что значит лихой капитан в критические минуты! Какой глаз... Какое хладнокровие... Какое уменье!

— Николая Афанасьевича надо видеть во время штормов, чтобы вполне оценить и понять его, ваше превосходительство!

— А вы думаете, я не ценю его, а? С таким капитаном, как он, да с таким старшим офицером, как вы, я куда угодно пойду-с... Вы дополняете друг друга, вот что я вам скажу, любезный друг... Ведь — что уж гре-

ха таить — Николай Афанасьич с ленцой и в тихую погоду любит больше кейфовать... Зато вот эти два дня... Кстати, прикажите его вестовому не будить его к флагу... Пусть высыпается.

— Слушаю-с...

— Да и вам надо отдохнуть, Михаил Петрович. Глаза-то красные.

— Успею, ваше превосходительство. В Нагасаки отосплюсь.

— А вы, Вербицкий, почему это до сих пор спали, а? Вследствие каких таких трудов? — обратился адмирал к своему флаг-офицеру ворчливым и в то же время добродушным тоном.

Шустрый мичман, хорошо изучивший своего адмирала, понял, что настроение его не предвещает разноса, и потому храбро соврал:

— Я и не думал спать, ваше превосходительство.

— Что же вы делали?

— Читал, ваше превосходительство.

— Это видно по вашим сонным глазам... Ишь ведь... Всегда хочет вывернуться... Всегда у него наготове ответ! — засмеялся адмирал и шутливо погрозил мичману пальцем.

— А Аркадий Дмитрич тоже читает? — насмешливо спросил адмирал.

— Аркадий Дмитрич нездоров, ваше превосходительство.

— Что с ним? Укачало, видно?

— Точно так. Эти два дня Аркадию Дмитриевичу было так нехорошо, что Аркадий Дмитриевич даже и не душился, ваше превосходительство! — с самым серьезным лицом проговорил Вербицкий, зная, что лишняя шутка над флаг-капитаном может только быть приятной адмиралу.

Действительно адмирал рассмеялся детским громким смехом...

— Даже и не душился?! Ха-ха-ха!.. Вот поправится Аркадий Дмитрич, я ему скажу, как вы, Вербицкий, определяете серьезность его болезни. Так не душился?

— Никак нет, ваше превосходительство... Я заходил к Аркадию Дмитричу и третьего дня и вчера...

— Что ж он, отлеживался?

— Отлеживался и про себя читал акафисты пресвя-

той богородице и Николаю-угоднику, ваше превосходительство.

Адмирал снова засмеялся.

— Ну, довольно вам зубоскалить, Вербицкий... Аркадий Дмитрич религиозный человек... ну и читает акафисты... Не беспокойте его сегодня... Пусть отдохнет после шторма... А вы вот что: сегодня чтобы обед был по вкусу Николая Афанасьича... Вы знаете, что он особенно любит?

— Постараюсь догадаться, ваше превосходительство.

— Догадайтесь, и чтобы Николай Афанасьич был доволен обедом... И Михаил Петрович тоже. Надеюсь, вы не откажетесь, Михаил Петрович, откусать сегодня у меня?..

Михаил Петрович поблагодарил адмирала.

— Ну, а теперь узнайте, Вербицкий, отчего Васька не докладывает, что готов кофе. Что он морит меня голодом, каналья? Шуганите его хорошенько.

Шустрый флаг-офицер хотел было ринуться со всех ног исполнять адмиральское приказание, как в ту же минуту на полуяте показалась маленькая заспанная фигурка адмиральского камердинера в красной жокейской фуражке.

Он подошел, не особенно спеша, к адмиралу и, галантно приподнимая фуражку с своей черной кудлатой головы, проговорил:

— Пожалуйте кофе кушать.

— Копаешься! — воркнул адмирал.

— У меня не десять рук, а всего две! — огрызнулся Васька и пошел назад.

— Ишь ведь бестия! Поздно встал и... прав! — проговорил, улыбаясь, адмирал. — Вербицкий! Пожалуйте ко мне кофе пить! — приказал он и спустился с юта, сопровождаемый флаг-офицером.

— А ведь этот мальчик карьеру сделает, Михаил Петрович! — заметил Леонтьев.

— А что ж, пусть делает! — равнодушно промолвил старший офицер.

— И если будет нужно, продаст этого самого адмирала, перед которым лебезит.

— И это возможно.

— Удивляюсь, как адмирал его не раскусил...

— А быть может, и раскусил... да привык к нему. Привычка, батюшка, большое дело... А кроме того, Вербицкий прирожденный флаг-офицер, ну и способный малый — этого отнять у него нельзя.

— Несимпатичный... карьерист...

— А вам, Сергей Александрович, хочется, чтобы все были симпатичны?.. Какой еще вы юный, однако, батенька! — ласково улыбнулся Михаил Петрович своими маленькими, покрасневшими глазами в очках и прибавил: — Пойду-ка и я напьюсь чайку... Ужасно устал, признаться. После восьми часов и я закачусь спать... Всю ночь не спал из-за этих починок.

В начале шестого часа, когда солнце быстро клонилось к закату, «Резвый», имея в кильватере «Голубчика», входил в прелестную бухту Нагасаки, живописно расположенного в ее глубине.

Все были наверху, и на корвете царил торжественная тишина, обычная при входе военного судна на рейд, да еще в чужие люди.

На рейде стояли четыре русских военных судна, два корвета и два клипера, принадлежащие к составу эскадры Тихого океана, которым было приказано собраться в Нагасаки и там ждать адмирала, и несколько военных судов других наций.

Едва только «Резвый» под контр-адмиральским флагом на крьюйс-брам-стеннге показался в виду эскадры, как со всех судов раздался салют адмиральскому флагу, и на «Резвом» тотчас же последовал ответ. Вслед за тем салютовали и иностранные суда, и им тоже отвечали.

Когда рассеялся дым от выстрелов, «Резвый» бросил якорь, и все шлюпки были спущены. «Голубчик» стал рядом.

Как только отдан был якорь, со всех судов отвалили гички и вельботы с командирами, которые спешили к адмиралу с рапортами. У всех были щегольские шлюпки. Только командир «Голубчика» приехал на своей единственно уцелевшей маленькой четверке.

Один за другим входили капитаны в полной парадной форме на «Резвый», встречаемые караулом, и, несколько напряженные и взволнованные, проходили в адмиральскую каюту.

Адмирал принимал всех приветливо, расспрашивал о плавании, о состоянии судов, обещал побывать на

всех судах и пригласил капитанов обедать «ровно в шесть». И так как возвращаться на свои суда было поздно, то все капитаны собрались в капитанской каюте и, в ожидании обеда, были гостями радушного Монте-Кристо, который немедленно приказал вестовому подать разных вин и предложил всем выпить по рюмке, по другой «начерно».

Нечего и говорить, что главной темой разговоров были общие расспросы о шторме, об адмирале и об его предположениях. Куда и кого он пошлет? Не слышно ли, какие суда возвращаются в Россию?

Насчет шторма Монте-Кристо не вдавался в большие подробности.

— Трепануло изрядно, ничего себе,— говорил он, разливая в бокалы шампанское,— грот-мачту, как видите, потеряли. А куда кто идет — разве адмирал сообщает! Этого и Аркадий Дмитрич не знает! — засмеялся Монте-Кристо.

— И меня он не посвящает в свои предположения! — вставил флаг-капитан.

— Да и не все ли равно, господа, узнать днем позже, днем раньше, кто куда идет... Я и сам не знаю, куда мы идем: в Австралию или на Ситху... Аркадий Дмитрич говорил, что в Австралию...

— Адмирал как-то сказал...

— А я не удивлюсь, если он вздумает вдруг идти в Берингов пролив...

Все рассмеялись.

— От него всего можно ожидать! — заметил кто-то.

— То-то и есть... А вот вы, господа, лучше расскажите, нет ли чего в Нагасаки новенького. Это, право, интереснее.

— Чего новенького?..

— Как чего?.. Неужели здесь одна и та же «королева Гортензия», что была в прошлом году?.. Неужели придется опять ухаживать за японками?..

— Вы вот насчет какого новенького!.. Так вас можно порадовать... На днях приехали три француженки...

— Вот это дело... Каковы они?..

Один неказистый, толстенький и низенький, совершенно лысый капитан стал подробно описывать достоинства француженок. Другой, помоложе, вступился за

честь японок и хвастал своей нанятой на месяц женой¹, и скоро разговор почтенных и солидных капитанов принял несколько одностороннее и игривое направление.

Решено было, что все капитаны отправятся сегодня же вечером знакомить Монте-Кристо с француженками.

Тем временем адмирал внимательно оглядывал убранство стола и говорил Вербицкому:

— Смотрите не осрамите меня с обедом... Довольно ли всего?

— Довольно, ваше превосходительство...

— Какой обед?

— Суп с пирожками, ветчина... Николай Афанасьич любит.

— Дальше?

— Индейки!.

— Сколько?

— Четыре.

— Хватит на двадцать человек?

— Хватит... Индейки большие, ваше превосходительство. Горошек и маседуан.

— Ну, смотрите же, чтобы всего было довольно.

После обеда все разъехались. Капитаны отправились на свои суда, чтобы переодеться в статское платье и сообщить старшим офицерам, чтобы все было готово к смотру, и затем все вместе поехали на берег. Монте-Кристо конфиденциально предупредил старшего офицера, чтоб его не ждали. Он, может быть, вернется к утру.

— Надо освежиться! — прибавил он, смеясь. — Не все же штормовать в море. Надоело!

Разъехались еще и раньше все офицеры и гардемарины, кроме вахтенных. Все торопились на берег погулять и познакомиться с туземными дамами и затем собраться в гостиницу, где сегодня должен был составиться грандиозный ландскнехт. Соберутся офицеры и гардемарины всей эскадры.

На «Резвом» оставались, кроме вахтенных да старшего офицера, только батюшка да «лобастый» гардемарин, дядя Черномор.

¹ Время рассказа относится к дореформенной Японии, когда можно было в чайных домах покупать временных жен, обязанных на время найма сохранять верность. (Прим. автора.)

Адмирал прочитывал у себя в каюте газеты.

В девятом часу он вышел наверх погулять.

Заметив на шканцах лобастого гардемарина, он пошел к нему и спросил:

— А вы, любезный друг, отчего не на берегу? Или на вахту станете?

— Нет-с... Не хочется что-то, ваше превосходительство...

— Ну что вы вздор говорите. Как не хочется? Почему не хочется? Съездили бы, покатались верхом... моряки любят кататься верхом, хоть и ездят как сапожники... Посмотрели бы город... А то что сидеть на корвете... Отчего вы не съехали, а?

— Как-то не расположен-с...

— Не расположены-с?.. Не поверю... Вы и в Сан-Франциско редко съезжали... Что это значит?

— Дорого стоит съезжать! — сконфуженно проговорил молодой человек.

— Как дорого?.. Разве вам жалованья не хватает, а? Куда вы его деваете?.. Уж не продулись ли в карты... Говорите правду... Вас не адмирал спрашивает, а старший товарищ! — прибавил ласково адмирал.

— Я в карты не играю...

— Так куда же вы деваете ваши деньги?.. Почему не съезжаете на берег?.. Копите, что ли?..

— Какое коплю... Я... я... ваше превосходительство...

— Ну что вы тянете? Говорите, любезный друг, толком...

— Я, ваше превосходительство, оставляю большую часть своего содержания матери... У нее, кроме меня, нет никого-с! — тихо и застенчиво проговорил молодой человек.

— Так вот почему!.. Экий вы какой славный, я вам скажу, мальчик! — с нежностью проговорил адмирал, обнимая за талию молодого человека.

И, помолчав, прибавил:

— А все-таки... не мешает и вам съездить... да-с... И вы, любезный друг, напрасно не сказали мне, что у вас денег нет... И знаете ли что... Позвольте мне быть вашим банкиром, а? Что вы на это скажете?

— Я не понимаю, как это банкиром?..

— Очень просто... Вы берите у меня деньги, а после отдадите, когда больше получать жалованья будете...

Вы мне же одолжение сделаете... Я не буду всех своих денег тратить... Прошу вас... Пусть это между нами...

И, несмотря на протесты молодого человека, адмирал потащил его к себе в каюту и предложил взять денег. Он просил и требовал так настоятельно, что дядя Черномор взял, наконец, десять долларов.

— Ну, а теперь поезжайте на берег... Товарищи ваши все там... И помните, что я ваш банкир...

Адмирал сел писать письма и велел Ваське разбудить себя завтра в шесть часов.

— А мундир готовить?

— Зачем мундир?

— А смотры делать!..

— Ты, Васька, хоть и бестия, а глуп. Зачем смотры делать в мундире, когда можно и в сюртуке? Не мешай мне!

XX

Почтовый пароход, пришедший из Гонконга на следующий день, привез европейские газеты, в которых, между прочим, сообщалось о крайне натянутых отношениях между Россией, Англией и Францией и предсказывалась вероятность близкой войны ввиду известных событий 1863 года.

Беспокойный адмирал был встревожен за положение своей маленькой эскадры и еще более раздражен тем, что из Петербурга не было никаких известий об этом.

— Эдакие скоты... эдакие болваны! Всякие глупости спешат написать, а то, о чем нужно, не пишут,— громко проговорил адмирал и, видимо взволнованный, заходил по каюте, повторяя время от времени весьма неместные эпитеты по адресу высшего морского начальства.

Вызванный им консул не мог сообщить адмиралу никаких точных известий. Он тоже ничего не знал.

Отпустив консула, адмирал долго ходил, обдумывая свое положение, и, наконец, велел сигналом потребовать к себе всех командиров судов.

Сообщив им газетные известия, он сказал:

— Если, господа, в самом деле будет война, эти подлецы англичане получают известие о ней раньше, чем мы, и могут захватить нас врасплох... У них в китайских водах огромная эскадра. Придет и разнесет нас,

как дураков благодаря тому, что у нас в министерстве сидят болваны-с!

Флаг-капитан Ратмирцев, присутствовавший в адмиральской каюте, решил сегодня же проситься в Россию по болезни и в то же время подумал, что у него есть большие козыри в руках, чтоб насолить этому ненавистному ему адмиралу в глазах морского министерства.

— Но этого не случится... не может случиться! — воскликнул адмирал, сверкнув глазами. — Нас не возьмут живьем... Я прошу вас, господа, быть во всякую минуту готовыми к бою... Орудия имейте всегда заряженными... И я не сомневаюсь, что в случае чего каждый из вас сумеет поддержать честь русского флага.

Все молча наклонили головы.

Адмирал между тем продолжал:

— Завтра же с рассветом прошу всех выйти в море и держаться у Нагасаки... Если увидите англичан или французов, клиперу «Кобчик» немедленно дать знать сюда. Я остаюсь здесь ожидать почты и ответа от посланника нашего в Иеддо... Надеюсь, что вы, Николай Афанасьич, и вы, Егор Егорыч, поторопитесь исправить свои повреждения? — обратился адмирал к командирам «Резвого» и «Голубчика».

Оба командира отвечали, что на их судах будут работать день и ночь.

— Если известия из России, — продолжал адмирал, — подтвердят газетные сообщения, каждый из вас, господа, получит от меня инструкцию. А пока прошу держать в тайне то, что я вам сказал, а то этот англичанин-фрегат, который стоит здесь, может узнать наши намерения... Объявите на берегу и всем офицерам, что идете в Гонконг... а на рассвете непременно сняться! — приказывал адмирал.

Один из капитанов заявил, что он едва ли успеет окончить расчеты с берегом.

— Чтоб были окончены! И скажите вашему ревизору, что если ему мало части дня и всей ночи, чтоб окончить все расчеты, то я его вышлю с эскадры, как нерадивого офицера... Слышите?

— Слушаю, ваше превосходительство!

Капитаны были отпущены и, разъехавшись по своим судам, сделали распоряжения об уходе с рассветом из

Нагасаки в Гонконг. На «Резвом» и «Голубчике» принялись немедленно за работы, и в тот же день новые мачты были привезены с берега.

А беспокойный адмирал в это время набрасывал свой план действий на случай войны — и затем стал писать инструкцию командирам и донесение в Петербург.

Все это он делал с стремительной горячностью, точно война должна быть объявлена не сегодня-завтра.

Ратмирцев несколько раз в течение дня спрашивал Ваську, что делает адмирал, и каждый раз получал ответ, что адмирал пишет.

Наконец, уже вечером, флаг-капитан опять осведомился у камердинера.

— Пишет! — отвечал Васька.

— А как он... в духе? — спрашивал Ратмирцев.

— Не должно быть, Аркадий Дмитрич... Давече я подавал ему стакан лимонада, так он... уставил довольно даже грозно глаза, я так и полагал, что он меня кокнет этим самым стаканом...

У трусливого флаг-капитана невольно пронеслась мысль: «А что как он и меня кокнет?»

— Если угодно, я сейчас пойду посмотрю, Аркадий Дмитрич, в каком он находится теперь градусе...

— Сходи...

Через минуту Васька вернулся и доложил:

— Извольте идти к нему, Аркадий Дмитрич, он в самом лучшем, можно сказать, состоянии своего характера.

Ратмирцев вошел в адмиральскую каюту и увидел адмирала, сидевшего без сюртука за столом. Среди тишины слышно было, как шуршало перо по бумаге.

Адмирал не слышал, как вошел флаг-капитан, и, видимо увлеченный, продолжал писать.

Ратмирцев обдернул сюртук, пригладил и без того прилизанные свои височки и чуть слышно кашлянул. Ни малейшего результата!

Тогда флаг-капитан кашлянул громче.

Быстрым движением адмирал вздернул свою большую круглую, коротко остриженную голову и уставил на Ратмирцева глаза.

Эти глаза, блестящие и возбужденные, казалось, не видали флаг-капитана и были где-то далеко-далеко.

— Прошу извинить меня, ваше превосходительство,— начал Ратмирцев, наклоня голову в почтительном поклоне,— я, кажется, помешал вам.

Только при звуках этого почтительно-тихого голоса адмирал, по-видимому, сообразил, кто перед ним.

И он резко и недовольным тоном спросил:

— Что нужно-с?

— Я пришел к вашему превосходительству с просьбой, большой просьбой, и смею думать, что ваше превосходительство...

Адмирал положил перо и нетерпеливо перебил:

— Да говорите короче, Аркадий Дмитрич, а то вы всегда удивительно мямлите... В чем дело?

Но Ратмирцева недаром же прозвали «придворным сусликом». Внутренне негодуя на этого «грубого мужика» (распишет он его в Петербурге!), он тем не менее продолжал тем же почтительно-изысканным тоном, чуть-чуть ускоряя речь:

— Как ни лестно мне служить под непосредственным начальством вашего превосходительства, но болезненное мое состояние...

— Вы хотите вернуться в Россию, Аркадий Дмитрич? — снова перебил адмирал, но на этот раз голос его звучал веселой и довольной ноткой.

— Точно так, ваше превосходительство, если вам угодно будет отпустить меня...

— Что ж, с богом, Аркадий Дмитрич. Если здоровье ваше требует, удерживать не стану и, как больному, разрешаю вернуться в Россию на казенный счет,— любезно прибавил адмирал.

Ратмирцев рассыпался в благодарностях. Отправки на казенный счет он не ожидал.

— Вы когда хотите ехать, Аркадий Дмитрич?

— С первым пароходом, отправляющимся в Гонконг.

— Рекомендую из Гонконга идти в Европу на французском пароходе... Отличные пароходы...

— Я так и думал, ваше превосходительство.

— Вы как думаете: прямо в Петербург или по дороге заедете в Париж?

— Хотелось бы кое-где побывать в Европе.

— И отлично... А как приедете в Петербург, расскажите Шримсу, как мы здесь плаваем и как сумасшест-

вует «башибузук»... Они меня так называют, я знаю! — усмехнулся адмирал...— Ну, до свиданья пока, Аркадий Дмитрич, у меня много работы! — сказал адмирал, протягивая Ратмирцеву руку...— Да прикажите Вербицкому завтра же выдать вам деньги, какие полагаются! — крикнул он вдогонку.

Ратмирцев вышел из каюты адмирала очень довольный. С деньгами, какие он получит, можно будет побывать в Париже и вообще попутешествовать не стесняясь. В свою очередь, и адмирал был рад, что избавился от этой «золотушной бабы», как презрительно называл он за глаза своего флаг-капитана.

«То-то будет сплетничать Шримсу на меня!» — подумал он, усмехнувшись, и снова принялся за работу.

На рассвете следующего дня все суда эскадры, за исключением «Резвого» и «Голубчика», снялись с якоря и вышли в море, сопровождаемые сигналом на флагманском корвете, изъявлявшим удовольствие адмирала. Сам адмирал, невыспавшийся, с красными глазами, стоял на мостике и смотрел в бинокль на удалявшуюся в стройном порядке маленькую эскадру.

И когда она скрылась, он, видимо удовлетворенный, лег опять спать, с полной уверенностью, что эта маленькая эскадра в случае войны кое-что сделает.

Через три дня усиленных работ и «Резвый» и «Голубчик» были готовы к выходу в море.

Наконец, на четвертый день, пароход, пришедший из Шанхая, привез почту из России. Секретная бумага из морского министерства подтверждала сообщения иностранных газет и предписывала адмиралу собрать эскадру и немедленно идти в Николаевск-на-Амуре, где и находится в безопасности от неприятельского захвата в случае войны.

— Болваны! Так я вас и послушался! — крикнул гневно адмирал.

И он немедленно же прибавил к своему донесению, что считает невозможным исполнить такое приказание и оставаться все время в бездействии. В подробном же донесении, написанном еще раньше, он сообщал, что соберет всю эскадру в Сан-Франциско и, получив по телеграфу извещение о войне, отправит все свои суда в крейсерство для ловли английских купеческих кораблей и для внезапных нападений на английские колонии. Вот

что он намерен сделать, вместо того чтобы позорно запереться в Николаевске-на-Амуре. Одновременно с донесением к морскому министру адмирал написал и рапорт августейшему генерал-адмиралу.

В тот же вечер Ивков был позван к адмиралу.

— Я вас посылаю курьером в Россию с важными бумагами, Ивков,— проговорил адмирал, пожимая руку молодому человеку.

— Слушаю, ваше превосходительство!— проговорил изумленный Ивков.

— Завтра утром мы уходим, а вы останетесь в Нагасаки и на первом пароходе отправитесь в Печелийский залив, а оттуда через Пекин в Сибирь и в Петербург... Надеюсь, что вы оправдаете мое доверие и докажете, что моряки могут летать не хуже фельдъегерей.

— Постараюсь.

— Я уверен, потому и выбрал вас. Предписание и деньги на дорогу вам выдадут сегодня же, а завтра в семь часов утра будьте готовы и приходите ко мне за бумагами... Берегите их... Из Петербурга, если хотите, вернетесь на эскадру... Хотите?

Ивков, уже мечтавший об отставке, поколебался.

— Ну, как хотите... Станный вы мальчик... Я хочу вас иметь подле себя, а вы чураетесь этого... А ведь я очень расположен к вам, Ивков. Из вас вышел бы хороший моряк... все данные есть... А вы вот вместо того все стихи пишете и адмирала своего ругаете... Ну, идите, собирайтесь.

На следующее утро ровно в семь часов Ивков уже был у адмирала.

Тот вручил ему маленькую сумку с бумагами и велел при себе надеть ее на грудь под рубашку. Затем он обнял Ивкова, крепко поцеловал его и сказал:

— Телеграфируйте в Сан-Франциско, когда приедете в Петербург.

— Слушаю-с.

— А теперь послушайте, мой милый, дружеского совета. Не ломайте себе шеи в Петербурге, понимаете? Вы слишком увлекающийся и горячий... А в Петербурге разные кружки... Новые там идеи... Подавай все сразу. Того и гляди попадетесь в какую-нибудь историю... Право, возвращайтесь лучше на эскадру, ко мне...

— Я подумаю.

— Подумайте и сейчас же телеграфируйте — я вас вытребую сюда. И помните, Петя,— прибавил горячо адмирал,— что где бы вы ни были и что бы с вами ни случилось, у вас есть верный и любящий друг... вот этот самый «глазастый черт»! — заключил, ласково улыбаясь, адмирал.— Ну, прощайте... Христос с вами.

В десять часов утра «Резвый» и «Голубчик» снялись с якоря. Как только они вышли в море, на обоих судах были заряжены орудия, и оба судна были вполне готовы к немедленному бою. В скором времени показалась эскадра, и на флагманском корвете взвился сигнал: «Лечь в дрейф». Вслед за тем мичман Вербицкий развез всем командирам запечатанные пакеты с инструкциями, и, когда вернулся, адмирал велел поднять сигнал: «Следовать в Сан-Франциско без замедления».

Все недоумевали, зачем это эскадра идет в Америку, если ожидают войны.

А Ивков через четыре дня уже был в Печелийском заливе и высадился в Таку. Оттуда он немедленно отправился в китайской одноколке на мулах в Тяньзин и дальше — в Пекин. Доехав из Пекина до Калгана, пограничного города в Монголии, верхом, в сопровождении казака из посольства и китайского чиновника, он в Калгане купил двухколесную монгольскую телегу и на почтовых монгольских лошадях день и ночь скакал через Гобийскую степь, приводя в ужас бешеной ездой сопровождавших его, меняющихся через несколько станций, китайских чиновников. В Кяхте он пересел на перекладную и уже один поехал в Петербург.

Адмирал отлично знал, как нужно было подействовать на самолюбивого юнца, чтоб заставить его лететь сломя голову. Ивков скакал как сумасшедший дни и ночи на курьерских, останавливаясь на станциях, чтоб наскоро поесть, всего в сложности не более часа в сутки, и действительно приехал из Нагасаки через Китай и Сибирь необыкновенно скоро в Петербург.

Прямо с вокзала он отправился к морскому министру. Курьер в приемной сказал, что можно идти без доклада прямо в кабинет.

Ивков вошел и увидал за большим письменным столом полную, рыхлую фигуру адмирала Шримса, в раскритом халате, под которым была только ночная сорочка.

Несколько адмиралов и офицеров в мундирах сидело и стояло около. Адмирал Шримс что-то рассказывал и заливался густым, сочным смехом...

— Откуда это вы в таком виде, молодой человек? — удивленно воскликнул министр, увидав остановившегося у дверей запыленного и истомленного Ивкова. — Где это вы ночь кутили, а? Видно, прямо из веселой компании да к министру? — со смехом говорил Шримс, хорошо известный морякам своими циническими шуточками и фамильярностью обращения, шутливо грозя пальцем. — Подходите-ка поближе... дайте на вас посмотреть... Не бойтесь, не укушу.

Несколько изумленный таким приемом, Ивков подошел к столу, поклонился и хотел было проговорить обычную фразу представления, как адмирал Шримс, протягивая свою большую белую и пухлую руку, продолжал с обычным своим видом балагура, шутки которого должны доставлять удовольствие подчиненным.

— Ну-с, рекомендуйтесь. Откуда и зачем пожаловали?

— Гардемарин Ивков...

— Покойного Андрея Петровича сын?

— Точно так, ваше высокопревосходительство. Только что прибыл из Нагасаки с эскадры Тихого океана... Ехал через Китай и Сибирь.

— А какой сумасшедший прислал вас сюда? — смеясь и, видимо, нарочно спросил министр.

— Меня прислал не сумасшедший, ваше высокопревосходительство.

— А кто же? — с лукавой улыбкой перебил Шримс.

— Начальник эскадры Тихого океана, свиты его величества контр-адмирал Корнев с бумагами к вашему высокопревосходительству! — отвечал с самым серьезным видом Ивков, сильно разочарованный таким шутливым отношением к возложенному на него поручению. Он скакал день и ночь — и такая странная встреча.

Он подал министру толстый пакет и отступил от стола.

— Ишь ведь загорелось... Курьеров гоняет наш неукротимый Корнев! — заметил, усмехнувшись, министр, обращаясь к сидевшим в креслах двум адмиралам.

И адмиралы и почти все присутствующие поторопились засмеяться.

Небрежно поворачивая в своих белых пальцах пакет, словно бы желая показать, что не придает особенной важности привезенным бумагам и не торопится ознакомиться с их содержанием, министр спросил Ивкова:

— На эскадре все благополучно?

— Все благополучно, ваше высокопревосходительство! — отвечал молодой человек, чувствуя невольную обиду за своего «глазастого черта».

— Ну, что, очень вас всех разносит там ваш адмирал? Топчет фуражку? Задает вам перцу? Небось рады, что уехали с эскадры? Говорите, не стесняйтесь, молодой человек.

Ивков хорошо понял, что этот веселый толстяк с умным, заплывшим, когда-то красивым лицом, сделавший блестящую карьеру, никогда не бывавши в море, ждет от него подтверждения, чтоб позабавиться насчет беспокойного адмирала, видимо, не очень-то любимого министром.

Но вместо того, чтобы ответить в тон, Ивков, чувствуя сильное негодование против этого шутника циника, проговорил с некоторой аффектацией официальности и слегка возбужденным тоном:

— Начальника эскадры все слишком уважают и любят, ваше высокопревосходительство, чтоб не желать служить под его начальством... И никто из моряков, любящих дело, не в претензии, если адмирал, случается, делает выговоры и замечания... От такого моряка-адмирала, как Иван Андреевич, хоть и неприятно получить замечание, но всякий знает, что он делает их справедливо.

Министр пристально оглядел молодого человека, и с его лица сбежала улыбка.

— Вы любимчик вашего адмирала, что ли?

— Я ничьим любимчиком не был и не желаю им быть, ваше высокопревосходительство! — отвечал, весь вспыхивая, Ивков.

— Ого, какой он вернулся из жарких стран горяченький! Советую вам здесь поостыть, молодой человек. Так-то оно лучше будет! — полушутя, полусерьезно промолвил министр. — Ну, с богом, родной... Ступайте... Приведите себя в надлежащий вид да явитесь по начальству, куда там следует... А я еще вас позову.

Ивков поклонился и вышел.

Когда он ехал в гостиницу, в голове его невольно явилось сравнение, и этот «глазастый черт», этот «Ванька-антихрист», которого он казнил в стихах, казался ему куда симпатичнее, милее и нужнее для флота, чем этот толстяк министр.. Какая разница!

XXI

С тех пор прошло много лет.

Все эти «Резвые» и «Голубчики» давно пошли на слом и остались лишь в памяти старых моряков, которые на них плавали в дальних морях и учились своему тяжелому ремеслу под начальством такого преданного делу учителя, каким был беспокойный адмирал. Деревянный паровой флот вместе с парусами как-то быстро исчез, и на смену его явились эти многомиллионные гиганты броненосцы, оскорбляющие глаз моряков старого поколения своим неуклюжим видом, похожие на утюги, с маленькими голыми мачтами, а то и вовсе без мачт, вместо прежнего красивого рангоута,— но зато носящие грозную артиллерию, имеющие тараны и ходящие, благодаря своим сильным машинам, с такою быстротой, о которой прежде и не помышляли.

С обычной своей энергией отдался беспокойный адмирал делу реорганизации флота и несколько лет сряду пользовался большою властью и видным влиянием. Не бывши министром, он благодаря своей кипучей деятельности и авторитету значил не менее министра, и без его участия или совета не строилось в те времена ни одного судна. В своем кабинете, окруженный чертежами, беседующий с инженерами, увлекающийся приходившими в его голову новыми типами судов, разносящий какого-нибудь опоздавшего мичмана или приходящий в бешенство при посещении строящегося судна, где копались и делали не так, как, казалось ему, было нужно,— он был все тот же беспокойный адмирал, что и на палубе «Резвого», также умел вносить «дух жизни» в дело и заставлять проникаться этим живым духом других.

В его кабинете толпилась масса народа. Зная его влияние, в нем заискивали, ему льстили, перед ним казались увлеченными делом так же страстно, как и он сам. В нем видели будущего морского министра, и каждый ловкий человек старался эксплуатировать его довер-

чивость к людям. И он часто верил показной любви к делу и выводил в люди каждого, в котором видел эту любовь и признавал способности...

Нечего и прибавлять, что многие завидовали беспокойному адмиралу и ругали его. Особенно бранили его бездарные моряки и те ленивые поклонники канцелярщины и мертвечины, которых словно бы оскорблял своей энергией и преданностью делу этот беспокойный, во все вмешивающийся адмирал.

Они просто служили, исполняя с рутинным равнодушием свое «от сих и до сих», а этот вечно волновался, вечно кипятился, вечно представлял какие-то новые проекты, какие-то записки...

Но вот настали новые времена. Запелись иные песни. Во флоте появились новые люди, и деятельность адмирала сразу была прекращена.

Его, еще полного сил и энергии, сдали в архив.

И — как обыкновенно случается — все те, которые больше всего были обязаны беспокойному адмиралу, все те, которые чаще других обивали порог его кабинета, — отвернулись от него, словно бы боясь потерять в чьих-то глазах, продолжая бывать у адмирала.

И первый, разумеется, Вербицкий, только что произведенный, благодаря Корневу, в контр-адмиралы.

Еще бы! Беспокойный адмирал был почти что в опале, совсем бессильный, нелюбимый и даже оклеветанный. А главное, в то время было выгодно бранить все прежнее во флоте: и дух, и систему, и корабли, и беспокойного адмирала, как одного из выдающихся представителей и пользовавшегося особенным расположением прежнего главного руководителя флота.

Новым людям необходимо было показать, что все прежнее негодно и что у них есть своя программа возрождения.

Явился пресловутый ценз... Явился какой-то бухгалтерский и чисто коммерческий взгляд на службу; всякая посредственность, бездарность и наглость высоко подняла голову, и затем мало-помалу молодым поколением овладел тот торгашеский дух, который стал руководящим принципом. Моряки почти разучились плавать и почти не плавали. Всякий старался зашибить копейку и поскорей «выплавать ценз», а где и на чем — на пароходе ли, делающем рейсы между Петербургом и Крон-

штадтом, или на броненосцах, отстаивающихся на трандзундском рейде,— не все ли равно?

На пароходе даже спокойнее. Так или иначе, а всякий умеющий не беспокоить начальство будет в свое время командиром и имеет все шансы посадить на мель судно на кронштадтском рейде. Этот торгашеский взгляд на службу и эта полная индифферентность к другим, высшим идеалам морского служения сделали свое дело. По мере того как увеличивалось количество гигантов-броненосцев и торжествовал «культ гроша», обезличивались люди и исчезал тот истинно морской дух, та любовь к делу и то обычное у прежних моряков рыцарство, которые являлись как бы традиционными и без которых все эти чудеса техники являются лишь бесполезными и дорогостоящими игрушками.

Подобные мысли часто приходили в голову беспокойного адмирала, и он горько задумывался, расхаживая по своему кабинету в долгие дни своего служебного бездействия и заброшенности, но уже не прежней порывистой и энергичной походкой, какой, бывало, ходил по палубе «Резвого», а тихими и медленными шагами престарелого человека.

В этих грустных думах, в разговорах с немногими близкими людьми, которые навещали его, не было ничего личного. Он знал, что его песня давно спета, и не о себе думал он, не о тех обидах и ослиных ляганиях, которые пришлось ему испытать, особенно вслед за опалой, а о судьбе горячо любимого им флота.

Несмотря на свои семьдесят с хвостиком лет, он глядел еще бодро. Седой как лунь, со своей коротко остриженной головой и большими круглыми глазами, он все еще сохранил остатки прежней неукротимой энергии, а по временам напоминал прежнего беспокойного адмирала в его «штормовые» минуты. Сильно уходился он, но стихийная натура все-таки прорывалась.

Потребность деятельности еще сильно жила в нем, и он старался выдумать ее... Дома читал, читал много и следил за морским делом. Посещал разные общества, в которых был членом, и всегда за кого-нибудь да хлопотал, за кого-нибудь да просил, являясь к разным влиятельным лицам в мундире и орденах, и настойчиво

рекомендовал того «хорошего человека», который обращался к нему за помощью, и радовался как ребенок, когда ему удавалось что-нибудь сделать, особенно для прежних своих сослуживцев.

А Леонтьев, когда-то назвавший адмирала «бешеной собакой» и принужденный оставить морскую службу вследствие того, что неосторожно отозвался в клубе об одном молодом адмирале как о человеке слишком фамильярно общавшемся с сказанными деньгами (хотя эта фамильярность ни для кого не была секретом), и, кроме того, — что было еще преступнее! — напечатал без разрешения начальства какую-то статейку, в которой критически относился к цензу и находил, что «купеческий дух» развращает флот, — этот самый Леонтьев, оказавшийся во флоте неудобным человеком, испытал на себе истинно дружескую привязанность беспокойного адмирала.

Когда адмирал прослышал, что Леонтьев вышел в отставку и бедствует с семьей, он, без всякого вызова с его стороны, стал хлопотать за бывшего сослуживца, и у кого только не перебывал он, кому только не надо едал, пока не добился-таки, что Леонтьеву дали какое-то место.

Испытал воистину отеческую заботливость беспокойного адмирала и Ивков, давно вышедший в отставку и попавший в какую-то «историю», заставившую его прокатиться в не столь отдаленные места.

XXII

В это декабрьское утро беспокойный адмирал, по обыкновению, встал в восемь часов, и когда Ефрем, бывший матрос, состоявший камердинером при адмирале более десяти лет, принес кофе, адмирал подал ему листок бумаги с написанными на нем фамилиями и сказал:

— Сейчас сходи в адресный стол и узнай, где живут эти господа... Возьми справки... понял?

— Понял, ваше высокопревосходительство.

— Ступай.

Напившись кофе, беспокойный адмирал отправился гулять. Гулял он ежедневно, несмотря ни на какую погоду.

Возвратившись с прогулки, он взял с письменного стола телеграмму, прошел на половину к жене и, поздоровавшись с ней, проговорил:

— А я, Машенька, вчера поздно вечером получил приятную телеграмму. Слушай.

И старик несколько взволнованным голосом прочитал:

— «Бывшие командир и офицеры «Голубчика», собравшиеся за товарищеским обедом, пьют за здоровье бывшего своего адмирала и учителя и, вспоминая плавание под вашим начальством с чувством глубокой признательности, шлют сердечные пожелания всего лучшего и выражения глубочайшего уважения доблестному и славному адмиралу, имя которого никогда не забудется во флоте».

— Вспомнили, Машенька, и как тепло... Не правда ли? Уж я послал Ефрема узнать адреса подписавших телеграмму, чтоб сегодня же побывать у них и поблагодарить. И чего этот болван так долго шляется! — внезапно крикнул адмирал и, круто повернувшись, прошел в кабинет.

Этот Ефрем был глуп, честен и предан своему барину, который, в свою очередь, любил Ефрема и привык к нему, не переставая, впрочем, удивляться его глупости и выражать иногда это удивление в довольно энергичной форме.

Привычку свою к Ефрему, несмотря на его глупость, беспокойный адмирал довольно оригинально и неожиданно приводил иногда как доказательство того, как трудно иногда бывает менять министров.

— Ведь вот, например, Ефрем — болван, естественный болван, а я держу его десять лет! — говорил адмирал.

Беспокойный адмирал крикнул другого лакея и, приказав закладывать карету, тревожно заходил по кабинету, поводя плечами.

Наконец Ефрем явился и с радостно-глупым видом подал справки из адресного стола.

— Отчего так поздно?

— А я, ваше высокопревосходительство, по пути заходил к портному за вашим сюртуком.

— Я разве тебе приказывал?

— Никак нет, ваше высокопревосходительство.

— И какой же ты, Ефрем, болван, я тебе скажу! Ступай, вели подавать карету! — проговорил довольно мягко адмирал, бывший в хорошем настроении по случаю полученной телеграммы.

Возвратившись домой, беспокойный адмирал рассказывал жене, как он разыскивал квартиры и поднимался в пятые этажи.

— И только троих застал. Остальным оставил карточки... И знаешь ли что, Машенька? Я приглашу их всех обедать... Надо отблагодарить за внимание... И Леонтьева и Ивкова позову... Завтра же позову! Так ты распорядись, Машенька.

— Хорошо.

— И к этому дураку Любимову заезжал сегодня.

— Зачем?

— Надо было за одного человека попросить... Но эта скотина ничего не хочет сделать, Машенька... Ведь дурак, а воображает себе, что если был министром, то и умен... От него же новость услышал. Ратмирцев,— знаешь этого вылощенного болвана Ратмирцева?

— Ну, знаю,— улыбнулась адмиральша, давно привыкшая к энергической речи адмирала.

— Его старшим флагманом назначают... Эту бабу!! Этого «придворного суслика», как звали его мичмана на моей эскадре... С такими флагманами далеко не уедешь! — раздраженно проговорил беспокойный адмирал.

Он помолчал с минуту и, видимо смягчившись, сказал:

— Да... вот говорят, что люди неблагодарны и забывают многое... А вчерашняя телеграмма, а?.. Что ты скажешь, Машенька?.. Есть, значит, люди, которые помнят, что я кое-что сделал для флота.

— Поверь, что все это сознают в душе,— горячо проговорила адмиральша.

— Ну, едва ли... Теперь, Машенька, не моряки, а торгоши... Духа нет... Ну да что говорить...

Адмирал как-то безнадежно махнул рукой, пошел в свой кабинет и принялся читать «Times».

Но сегодня ему не читалось.

Прошрое и настоящее проносилось перед оброшенным стариком, и он горько задумался, склонив свою седую голову.

РЕШЕНИЕ

I

В этот осенний петербургский день, ненастный и мрачный, наводящий хандру, Варвара Александровна Криницына пришла к окончательному и твердому решению: взять детей и уехать от «этого человека».

«Этим человеком» был, само собою разумеется, не кто иной, как муж, лишенный с некоторых пор, за многочисленные и тяжкие вины, своего христианского имени Бориса Николаевича. Еще не особенно давно «Борис», «Боря», а иногда даже и «Борька», он теперь был для Варвары Александровны только «этим человеком» и под такой кличкой, с прибавкой подчас не особенно нежных прилагательных, удручал мысли Варвары Александровны и фигурировал в ее интимных беседах о нем с одной доброй приятельницей, у которой тоже вместо порядочного мужа был «этот человек». Нечего и говорить, что обе приятельницы досыта изливались одна перед другой и вместе плакали после того, как оба «эти человека» были обеими дамами расписаны в надлежащих красках.

Да, взять детей и уехать.

Он не осмелится разлучить детей с матерью — да и на что, по правде говоря, «этому человеку» дети? — и будет давать на их образование и на содержание — не настолько же он «подл», чтоб отказаться от священных обязанностей отца (Варвара Александровна мысленно подчеркнула слово: «священных»), да, наконец, и суд есть! — а сама она, конечно, ничего не возьмет от «этого человека», ни гроша! Она будет работать, не покла-

дая рук. Ей обещали занятия на пятьдесят рублей в месяц,— как-нибудь да проживут. Уж она присмотрела маленькую квартиру в три комнаты с кухней на Петербургской стороне, нарочно подальше от Владимирской, где он останется жить один в шести больших комнатах.

«Квартира-то у него по контракту. Раньше весны не сдаст!» — не без злорадства подумала Варвара Александровна.

И она продолжала ходить быстрой, решительной походкой взад и вперед по спальне, вновь перебирая в уме мотивы своего бесповоротного решения.

Другого исхода нет. Долее терпеть унижения и оскорбления она не намерена («Благодарю покорно!») да и не в состоянии. Есть предел всякому терпению для порядочной, уважающей себя женщины. Довольно-таки перенесла она обид, особенно за последний год, все надеясь, что «этот человек» одумается и поймет всю гнусность своего поведения... Но он и ухом не ведет... По-прежнему никогда не сидит дома, пропадает до поздней ночи и возвращается иногда навеселе... А в редкие часы, когда «этот человек» дома, он спит или молчит. Никакие объяснения с ним невозможны: ни мольбы, ни слезы, ни упреки не действуют. Он безучастно слушает, точно и не ему говорят, и упорно отмалчивается, не считая нужным даже оправдываться... С ней оскорбительно холоден... почти не разговаривает, точно она ненавистная жена... Ну, если разлюбил... да и мог ли когда-нибудь серьезно любить «этот человек», готовый увлекаться каждой юбкой и бегать за ней, как... (Тут Варвара Александровна употребила не совсем удобное в дамских устах сравнение, и лицо ее выразило гадливое отвращение). Ну, не люби, если уж ты такой подлец, что не ценишь порядочной женщины, но уважай, по крайней мере, мать своих детей, уважай женщину, которая отдала тебе свою молодость... («Тогда вы сидели дома и никуда без меня не смели выезжать!») Обращайся, как следует, не веди себя, как какой-нибудь беспутный мальчишка, не делай жену предметом оскорбительных сожалений... Оказывай хоть должное внимание. Она ведь, кажется, не требует большего, настолько она горда... Своим поведением он уничтожил в ней всякое чувство, теперь она презирает «этого человека», и если б не дети — давно бросила бы его! Только ради них

она все переносила, ради них питала надежду, что он исправится... Но больше нет надежды, нет и сил... Вина на нем. Ее совесть чиста. Она свято исполняла свой долг: была верной, любящей женой, хорошей матерью, бережливой хозяйкой... Даже в мыслях она никогда не изменила ему, и никто не посмеет усомниться в ее добродетели... Господи! Другие жены и имеют романы, и кокетничают до бесстыдства, и разоряют мужей и... их любят, их ценят, а она безупречная, честная женщина и... вот...

— Уеду, уеду! — решительно проговорила вслух Варвара Александровна. — Пусть «этот человек» пропадает один... Мы ему не нужны!

Чего еще ждать? И без того она совсем измучена... Здоровье надорвано, нервы расшатаны... Один вид «этого человека» приводит ее в раздражение... Надо же наконец успокоиться... Надо побереечь здоровье хотя бы для этих бедных, ни в чем не повинных детей... Отныне она безраздельно будет принадлежать милым крошкам и жить исключительно для них, а ее личная жизнь кончена... Не надо ей любви, кроме любви детей... Впоследствии они узнают, какая она была страдальца и почему должна была бросить их отца... Они, конечно, не осудят матери...

И при мысли о бедных детях — мальчике и девочке, которые в это время весело играли в соседней комнате со старой няней, Авдотьей Филипповной, и о том, какая она в самом деле страдальца, слезы заволокли глаза Варвары Александровны. Она всплакнула, горько жалея себя, и ей казалось, что несчастнее ее нет на свете женщины и что она жертва «этого человека».

II

Однако внешний вид Варвары Александровны далеко не соответствовал представлению о «жертве» и еще менее внушал опасения за ее здоровье.

Несмотря на свои тридцать шесть лет (для лиц, незнакомых с ее метрическим свидетельством, «около тридцати»), это была еще довольно моложавая и свежая, пикантная брюнетка, небольшого роста, крепкая, сухощавая, отлично сложенная женщина с тонкой талией и хорошо развитым бюстом. Ее смуглое, цыганского

типа, лицо, энергичное и властное, с неподдельным румянцем на подернутых пушком щеках, с расширенными ноздрями крупного восточного носа над строго сжатыми пышными губами с едва заметными усиками, с нежным подбородком, на котором чернела родинка,— еще сохраняло следы красоты и дышало жизненностью и здоровьем. Большие черные глаза, осененные густыми длинными ресницами, были полны жизни, красивы и строги. Несмотря однако на эту строгость взгляда, и в этих глубоко сидящих глазах с темными кругами и маленькими «веерками» у висков, и в лице, и в нервной, порывистой походке, и во всей этой маленькой сухощавой фигурке чувствовался страстный и впечатлительный темперамент южанки.

Черные, как смоль, роскошные волосы с узенькой серебристой прядкой, красиво белевшей на черном фоне, были гладко зачесаны назад и собраны в виде коронки на темени. Видно было, что Варвара Александровна дорожила внешностью и одевалась с кокетливой изысканностью женщины, желающей нравиться. Домашнее черное кашемировое платье с вырезом у шеи, закрытом пластроном, затканым серебряным шитьем, отлично сидело на ее статной фигурке и шло к ней.

Варвара Александровна отерла платком слезы, распространив по комнате тонкий аромат ириса, и меланхолическим взором обвела свою спальню,— уютную комнату с пылающим огнем камина, убранную со вкусом и тонким умением опытной женщины, понимающей значение хорошо свитого гнездышка,— с мягкой мебелью, располагающей понежиться на отдыхе, красивыми вещичками на письменном столике и этажерках, с цветами, ковром во всю комнату, красным фонариком и атласной, расписанной цветами, ширмой, за которой стояла кровать под белоснежным кружевным парижским покровом.

Эта, прежде столь любимая, комната возбуждала теперь в Варваре Александровне одни лишь горькие воспоминания оскорбленной женщины и безвинной страдальцы.

Еще бы! Сколько было здесь сцен! Сколько в ней пролито слез за последний год! Сколько она тут выстрадала! Сколько провела бессонных долгих ночей с печальными думами в скорбном одиночестве в то время, как «этот человек», возвратившись на заре и прокравшись

чуть слышными шагами, безмятежно храпел у себя в кабинете!

Жесткое, злое выражение внезапно искривило лицо маленькой женщины и сверкнуло острым блеском в глазах. Ей почему-то вдруг живо припомнилось несколько затрудненное объяснение «этого человека», когда он, год тому назад, совершенно неожиданно перебрался в кабинет. И каким заискивающим, подлым тоном говорил он тогда!

«Ему, видите ли, удобнее спать в кабинете. Он иногда поздно возвращается и не хочет беспокоить Вавочку. И наконец он не выносит света лампы!»

А прежде выносил?!

— О, подлый, лживый человек! К чему он лгал? Ему просто хотелось скрывать свои поздние возвращения... Он и тогда уже не любил меня! — прошептала Варвара Александровна, полная злобного презрения к этому лживому человеку.

Она без всякого сожаления бросит его и сегодня же, когда он вернется со службы, объявит ему о своем бесповоротном решении. Небойсь, его передернет от такого сюрприза — он все же любит детей — и, вдобавок, скандал... Жили двенадцать лет, и его бросает жена, безупречная, честная жена...

— Как-то отмолчится он на этот раз. Заговорит-таки наконец, за-го-во-рит! — протянула вслух Варвара Александровна с ядовитым сарказмом в тоне.

И, разумеется, не отказала себе затем в маленьком, невинном удовольствии: вообразить «передернутую» изумлением физиономию «этого человека», когда она ему «холодно, тихо и спокойно» сообщит о своем непоколебимом решении. «Пусть хоть совсем скосится на сторону это «рыбье лицо», — подумала эта маленькая решительная женщина, продолжая порывисто ходить по спальне, вся поглощенная злыми мыслями о тяжких винах мужа и об его полнейшей безнадёжности сделаться когда-нибудь в ее глазах мало-мальски порядочным человеком.

Вообще далеко не злая, скорей даже добрая женщина, всегда умевшая довольно терпимо относиться к людям (исключая, впрочем, неверных мужей) и прощать им многое, Варвара Александровна, как и большая часть жен, считавших себя безвинно оскорбленными, — пере-

бирая в памяти разные «подлости» последнего времени того самого мужа, которого она еще не особенно давно считала лучшим человеком в подлунной,— была теперь к нему беспощаднее самого злейшего врага и мысленно устраивала будущее «этого человека» полным таких «египетских казней», что при одних мечтах о них лицо Варвары Александровны принимало злобно-торжествующее выражение.

Пусть поживет один, если не умел ценить счастья семейного очага и любви порядочной женщины! Пусть поживет! В квартире у него, конечно, будет грязь, пыль и беспорядок, кабинет никогда не прибран, утром чаю ему вовремя не дадут и нальют не такой, к какому он привык... Никто не починит ему белья («ходите в рваном, презренный человек!»), никто не пришьет пуговиц... Кухарка будет немилосердно обкрадывать... или шляйся обедать по трактирам... Почувствует он потом, что значит жить без семьи, без преданной женщины... Будет проводить за картами ночи, кутить, развратничать и совсем опустится... Пусть! Пусть под старость кается, что разрушил семью, оттолкнул верную жену... Не маленький... Сорок два года!.. Пусть во время болезни лежит один без призора... Нет жалости к этому безжалостному человеку!

Но эта, созданная Варварой Александровной, приятная картина будущих злосчастий «этого человека» без пришитых пуговиц, в рваном белье, кутящего развратника («деньги на содержание детей будут, конечно, удерживаться казначеем из его жалованья»), возвращающегося поздней ночью в грязную, неприбранную комнату,— омрачилась внезапно появившейся мыслью, что какая-нибудь другая женщина может, вслед за переездом Варвары Александровны, поселиться с «этим человеком» и не только чинить ему белье, пришивать пуговицы, убирать стол в кабинете и наливать по вкусу чай,— но вот в этой же самой комнате нежно и мирно беседовать с ним, и не думающим удирать из дому... Кто именно могла быть такой «дурой», Варвара Александровна с достоверностью решить не могла («этот подлец ловко скрывает от нее свои интриги»), и подозрение ее перебегало с одной «дуры» на другую из некоторых знакомых дам, задело было одну смазливую девушку, говорившую, что она без предрассудков, и кокетничавшую

довольно «нагло» с «этим человеком», и в слепой ярости метнулось даже на свою кухню, молодую «толстушку», с которой «этот человек» в последнее время обращался слишком по-родственному и всегда при встречах как-то долго целовал ее «скверные», «жирные» руки, находя их красивыми,— и ни на ком не остановилось окончательно... Но такая «дура» могла найтись и верно уж есть... Анна Петровна, например... Мало ли бесвестных женщин, расстраивающих семейное согласие?.. И «этот человек» может быть счастлив, устроивши себе новую приятную жизнь, в то время, как она будет жить в трех маленьких комнатах, в заботах о детях, одинокой, несчастной вдовой при живом муже...

Эта мысль о другой женщине, мгновенно развитая причудливой фантазией Варвары Александровны в целую картину благополучной, счастливой жизни виноватого, негодного мужа, заставила маленькую женщину вздрогнуть, как ужаленную, от прилива злобного чувства и острой тяжкой обиды.

Господи! Могла ли она когда-нибудь подумать, что ей придется переживать такие страдания и что ее осмелится так безжалостно оскорблять тот самый человек, который прежде — и давно ли? — был ее покорным, безответным рабом.

III

В самом деле, быть оскорбленной человеком, которого женщина считала своим вечным подданным, это еще обиднее! А прежде, когда Борис Николаевич еще не состоял в звании «этого человека», он, действительно, находился в полном подчинении у властной, деспотической Варвары Александровны, безропотно исполнял ее желания, не смел, бывало, и пикнуть перед ней, боясь получить хорошую порцию упреков, одним словом, был порядочным мужем, мягким и уступчивым, никогда, казалось, и не дерзавшим даже подумать поднять знамя бунта.

Варвара Александровна была полновластная глава в доме. Она решала не только за себя, но и за мужа. Нередко даже и говорила за него, когда он, казалось ей, несколько мямлил. Она обожала Бориса Николаевича со всей силой страстной и ревливой природы, заботилась о нем с усердием няньки и следила за ним с зоркостью

опытного шпиона. И за свою любовь, безграничностью которой она сама гордилась, точно подвигом, и о которой часто напоминала мужу, чтоб он ее чувствовал и ценил,—она, разумеется, требовала, чтобы он находился, так сказать, в постоянном и безраздельном ее пользовании во все время, свободное от службы, и чтобы давал отчет о тех редких часах, в которые он пользовался относительной свободой. Опоздание со службы к обеду вызывало подробные объяснения. Еще бы! Ведь она так беспокоилась за своего Бориса, она так его любит, что всякая неизвестность о нем серьезно расстраивает ее. Нечего и говорить, что в гости ли, в театр ли они ходили вместе, а когда оставались дома, то просиживали вдвоем вечера в ее комнате. Он читал какую-нибудь книгу, а она слушала, пришивая к его ночным сорочкам пуговицы или штопая его носки. Отпуская его иногда сыграть в карты, Варвара Александровна просила его не засиживаться — вредно! — и за ужином не пить много вина — еще вреднее! — и дожидалась его возвращения, встречая его ласковой улыбкой и нежным взглядом своих больших, черных, блестящих глаз. Расспрашивая о подробностях проведенного вечера, она интересовалась: были ли дамы, и какие, и говорила, что проскучала без мужа вечер: ведь она — он это знает — так его любит!

И Борис Николаевич, человек очень мягкий, не отличавшийся большим характером, нес это иго чрезмерной любви с трогательной покорностью, и хотя его подчас тянуло из дому сыграть в картишки или поужинать и поболтать в трактире с приятелем, но он сдерживал свои желания, чтоб не огорчить жену, подавленный, так сказать, ее добродетелями и переполненный благодарностью за ее беспредельную любовь. Да и трусил, признаться, сцен... очень трусил, тем более, что они имели более или менее трагический характер и кончались истериками, после которых Борис Николаевич чувствовал себя бесконечно виноватым. Она вся живет для него, боготворит его, а он, свинья, вдруг закатился до трех часов ночи!! Правда, в голове Бориса Николаевича иногда шевелилась мысль, что, пожалуй, было бы лучше, если б жена любила его чуть-чуть поменьше, без той порывистой страстности, которая граничит с тиранией, и без того особенного нежного и заботливого внимания

к его здоровью, которое лишало его возможности бес-
печно просидеть за ужином, потягивать вино и вести
оживленную беседу, не поглядывая беспокойно на часы
и не думая, что из-за тебя не спит любимая женщина и
в страхе, что тебя переехала карета, напали недобрые
люди или, еще того хуже, заинтересовала какая-нибудь
блондинка или брюнетка,— не отходит от окна, прислу-
шиваясь: не едет ли извозчик с запоздавшим мужем. Но,
разумеется, Борис Николаевич не осмеливался при жене
проповедовать такую возмутительную ересь и возлагал
надежды на время, которое сделает привязанность жены
более спокойной. А пока — надо покориться. Ведь Ва-
вочка его так любит, так заботится о нем,— утешал се-
бя Борис Николаевич, вдобавок и польщенный, что его
особа возбуждает к себе такую необузданную привязан-
ность, да еще такой хорошенькой маленькой женщины,
как его Вавочка, обладающая каким-то особенным ис-
кусством поддерживать в нем влюбленные чувства.

И этот-то мягкий и пугливый человек, казалось,
вполне помирившийся с положением «законного пленни-
ка» и с трогательной покорностью переносивший, ради
редкой любви жены, некоторое стеснение свободы,—
вдруг, после долгого пленения, поднял знамя бунта, за-
думав сбросить иго своей повелительницы.

IV

Революция, как водится, началась с робких демонст-
раций.

Оставаясь по вечерам наедине с Варварой Александр-
овной, Борис Николаевич стал чаще позевывать, испы-
тывая удрученное состояние духа, и нередко, как тру-
сливый человек, замышляющий ковы, не без внутренне-
го страха бросал украдкой взоры на Вавочку, причем
совершенно неожиданно для себя находил, что лицо
Вавочки хоть и красиво еще, но потеряло прежнюю све-
жесть, и подмечал «веерки» на висках, и то, что под гла-
зами как будто подведено. И усики на пышных губах,
которые прежде так нравились, теперь казались ему
слишком заметными у женщины. Борис Николаевич не-
редко громко вздыхал и читал вслух книгу без прежнего
увлечения и довольно рассеянно.

«Удрать бы куда-нибудь. То-то бы хорошо!» — ча-
стенько забежала в голову Бориса Николаевича соблаз-

нительная мысль на самой интересной сцене романа, и он мысленно представлял себе «место», где можно бы приятно провести время,— поболтать с какой-нибудь менее серьезной, чем Вавочка, хорошенькой женщиной... Просто так, поболтать и посмеяться, не считая всякого лыка в строку, а потом кутнуть слегка с добрым приятелем... Как ни хорошо и уютно, казалось, было в гнездышке Варвары Александровны, где обыкновенно происходили вечерние чтения, от десяти до двенадцати, когда спали дети, и как ни мила и любяща была сама Вавочка, склонившая головку над починкой какой-нибудь принадлежности детского или его туалета — «она ведь вся живет для него и детей!» — тем не менее неблагодарного Бориса Николаевича все сильнее и сильнее тянуло задать тягу из этого уютного храма безграничной любви и забот о нем, и от этой самой образцовой жены, милой, любящей Вавочки, не отпускающей его от себя.

Но вот вопрос: как улепетнуть, чтоб не раздражить и не огорчить Вавочку?.. Она примет это за недостаток любви... и тогда — взбучка!

Борис Николаевич озабоченно ломал голову, пока не напал на счастливую мысль: надо ее приучить к этому. Из-за чего, в самом деле, огорчаться и делать человеку сцены? Другие же жены (в голове Бориса Николаевича мелькал ряд других жен) сидят одни дома или преспокойно себе ездят одни в гости или в театр, а мужья их так же спокойно уходят, куда им заблагорассудится. И ничего себе... Нельзя же, в самом деле, вариться вечно в собственном соку! — не без тайного раздражения рассуждал Борис Николаевич, весь полный зависти к более свободным и менее любимым мужьям. И Борис Николаевич мечтал завоевать тихо, постепенно, не раздражая Вавочки, с помощью доводов, словом — легальным путем, и себе это маленькое право в супружеской конституции: право по временам уходить из дому и посещать своих знакомых и приятелей, а не одни только излюбленные женой дома, где жены — унеси ты мое горе! — и вечно толкуют о своих добродетелях. Еще бы! Удивительно еще, что мужья не сбежали от этих добродетельных уроков... А Вавочка именно только с такими дамами и дружит!

Такие революционные идеи все чаще и чаще стали заходить в голову доселе покорного мужа, и он сперва раз, потом два раза в неделю, а затем и чаще стал исчезать из дому. На первых порах, пока Криницын не перешел к открытому возмущению и еще трусил своей авторитарической повелительницы, — он, перед уходом из дому, давал подробные объяснения и, надо сказать правду, довольно-таки позорно вилял хвостом. То его непременно звали повинтить. «Уж ты не сердись, что я уйду, Вавочка. Я давно не играл. Я, милая, скоро вернусь» (Чмок, чмок!). То сослуживец именинник! «И не особенно хочется, а надо, родная, идти. Обидится!» (Чмок, чмок!). То приятель в каком-то обществе доклад читает. Обещал прослушать, а потом к нему чай пить... «Я буду недолго!» (Чмок, чмок!). Одним словом, надобности стали являться сами собой, словно из рога изобилия, и тон этих объяснений был убедительно-застыскивающий и необыкновенно красноречивый — откуда только слова брались, точно у хорошего адвоката! И когда, в ответ на эти ораторские приемы, Варвара Александровна с прискорбным изумлением смотрела на мужа, как бы пораженная, что он оставляет ее одну, Борис Николаевич старался не глядеть на Вавочку, чтобы позорно не спасовать в решительную минуту, и, благодарно облобызав хорошенькую ручку, торопливо хватался за шапку и улепетывал из дома. Очутившись на улице, он чувствовал необыкновенный прилив веселости и внезапный подъем духа, словно бежавший узник, обеспеченный от опасности погони, и, вероятно, от радости, давал извозчику хорошую цену. Случалось однако, что попытки уйти не увенчивались успехом. Варвара Александровна вдруг объявляла, что больна, и надеялась, что Борис не оставит ее больную одну. Борис Николаевич покорялся, но в душе роптал, не замечая никаких признаков болезни Вавочки, кроме разве того, что она снимала корсет, одевала капот и объявляла, что у нее и голова болит, и вот тут, и тут. Борис Николаевич, разумеется, предлагал ехать немедленно за доктором, чтобы хоть прокатиться с полчаса, но доктора, конечно, не требовалось... «Так пройдет!» И действительно, в скором времени проходило. Но Борису Николаевичу уходить уже было поздно в одиннадцать часов, и он выражал затаенное неудовольствие тем, что помалчивал, сидя около Вавоч-

ки, довольно сдержанно отвечал на нежные слова Вавочки, благодарившей за «жертву», которую он принес для нее, оставшись дома, и закатывался спать, не дожидаясь отхода ко сну Варвары Александровны и не болтая с ней, как они обыкновенно делали, перед тем, что заснуть. На следующий день Борис Николаевич уже придумывал новый предлог, чтобы вечером освободиться от обязательного чтения или от поездки вдвоем в гости, тем более, что, как и бóльшая, впрочем, часть господ мужей, чувствовал себя в обществе, в присутствии жены, совсем не так, как без нее. При ней он был как-то солиден и молчалив, а без нее — откуда только прыть бралась! Он оживлялся, болтал, спорил, бывал остроумен и любезен и не стеснялся высказывать иногда довольно щекотливые мнения о цепях любви; но при этом, разумеется, как вполне приличный муж, говорил вообще, «теоретически»... Что же касается лично до него, то он безгранично счастлив.

И, случалось, в приливе откровенности, после нескольких стаканов вина, шептал на ухо приятелю:

— Вавочка, знаете ли, такая редкая женщина... Такая редкая...

На первых порах возвращения Бориса Николаевича домой были более или менее аккуратны, и Варвара Александровна не имела повода беспокоиться, что мужа переехала карета. Однако учащенные отлучки из дома не нравились ей, вселяя в ее ревнивое сердце смутные подозрения и оскорбляя ее властолюбивую душу. «Сидел покорно дома, никуда его не тянуло, и вдруг зачистил...» И она время от времени задавала мужу так называемые «бенефисы», в которых упрекала, что она вечно одна и что, следовательно, муж ее не любит. Борис Николаевич, конечно, клялся, что любит по-прежнему, в доказательство нежно целовал ее руки и почтительно старался убедить Вавочку, что, во-первых, она не вечно одна, а много-много два или три раза в неделю, и что нельзя же ему не поддерживать знакомства с товарищами и сослуживцами... И так как «бенефисы» эти были, относительно говоря, из легких, то Борис Николаевич покорно их выслушивал, считая их терпимым наказанием за приятно проведенные вечера, и без особого труда получал в конце концов прощение.

Но вскоре Борис Николаевич совершил тягчайшее преступление.

Уйдя из дому, несмотря на жестокую мигрень Варвары Александровны, и обещая вернуться никак не позже двенадцати часов, он возвратился в пятом часу утра, и в каком виде!..

Пошатываясь, с раскрасневшимся лицом, на котором бродила добродушно-блаженная улыбка подвыпившего человека, с ословелыми глазами, вошел он в спальню и увидел перед собой дожидавшуюся его жену, изумленную, строгую и взволнованную.

— Борис! — прошептала только она голосом, полным скорбного упрека, при виде своего столь тяжко провинившегося подданного.

Но Борис Николаевич как будто не почувствовал всей трагичности тона жены и добродушно, слегка заплетая языком, спросил:

— А ты не спишь, Вавочка?..

— Ты, кажется, видишь!.. Я всю ночь не спала из-за тебя,— проговорила она мрачным голосом и строго прибавила,— где ты был?

Видимо склонный к откровенной болтливости и стараясь твердо держаться на ногах, Борис Николаевич неосторожно вдался в подробности.

— Напрасно ты не спала, Вавочка... Напрасно, милая... Карета меня не переехала... Нет... Твой муж здоров и невредим... Я был у Василия Григорьевича... Много народу... Играли в карты... Ужинали... Прости, Вавочка, засиделся... А потом... потом...

— Что потом? — спросила упавшим голосом Варвара Александровна.

— Не пугайся, Вавочка... Потом мы поехали на тройках... Прелестно... Славная дорога... В Самарканд... А я сидел в санях с Анной Петровной... Премилая эта женщина и хорошенькая, Вавочка... Она к тебе очень расположена... велела кланяться... Все смеялась, что ты меня никуда не пускаешь и что я к тебе пришит... Говорила, что я не посмею поехать на тройке... А я взял и поехал. Что тут дурного?.. Ты ведь не сердишься?.. Ты ведь прелестная женщина, Вавочка...

Варвара Александровна слушала, пораженная непритворным ужасом и внезапно охваченная жгучим подозрением. Она не прочь была тут же, сейчас же сде-

дать трагическую «сцену» и показать виновному всю силу своего негодования, раскрыть все муки оскорбленной, обиженной женщины, муж которой ездит на тройках в то время, когда жена больна, и ухаживает «бог знает за кем»; но, взглянув на добродушно-веселое лицо Бориса Николаевича, неспособного, казалось, в эту минуту восчувствовать весь ужас своего поступка, она лишь резко и повелительно сказала:

— Ложитесь спать!

Варвара Александровна еще долго плакала, оскорбленная, возмущенная, негодующая (особенно против этой «подлой, вертлявой» Анны Петровны, увлекающей чужих мужей), лежа рядом с бессовестно храпевшим преступником, словно он и не совершил тяжкого преступления, нарушив слово и нагло обманывая жену, и наконец, обессиленная от злобы и мук ревнивых подозрений, забылась в коротком тяжелом сне, приняв знаменательное решение: «серьезно поговорить с мужем», чтобы впредь он не осмеливался оскорблять ее верховных прав.

По счастью, Борис Николаевич не мог провидеть во сне всего значения этого предстоявшего «серьезного разговора», иначе едва ли его сон был бы столь безмятежен и храп так нагло бессовестен, как в это январское утро. Впрочем, ведь известно, что некоторые преступники спят спокойно и перед казнью.

Позднее пробуждение Бориса Николаевича было не из приятных. Голова была тяжела, а состояние духа отвратительное. Воспоминание о позднем возвращении, о неуместной болтливой откровенности с Вавочкой охватило позорной трусостью его робкую душу, удручая ее сознанием действительной виновности и ожиданием непременного возмездия.

«В пятом часу... Тройки... Самарканд... Анна Петровна... Мигрень... Вавочка...» — тревожно думал он, высовывая из-под одеяла заспанное лицо и осторожно поворачивая голову... Постель Вавочки пуста... В спальне зловещая тишина. «Вавочка, верно, оделась и пьет в столовой кофе, глубоко огорченная...» И смущенный Борис Николаевич торопливо поднялся с постели и стал одеваться, питая робкую надежду удрать поскорее без объяснений на службу и выпить где-нибудь по дороге стакан чаю... Быстро одевшись, он вышел из-за ширмы,

из-за этой красивой, атласной ширмы, скрывающей обе кровати, и совершенно неожиданно увидел Вавочку.

Она сидела в мягком кресле бледная, с устремленными перед собой глазами, грозно-спокойная и торжественно-мрачная, точно подавленная тяжестью несчастья, с крепко сжатыми губами и гневно раздувающимися ноздрями своего крупного с горбиной носа, и, казалось, не замечала мужа.

Вид Вавочки не предвещал ничего приятного, и окончательно струсивший Борис Николаевич думал было проскользнуть в двери, а затем за шапку и с богом на службу — пусть уж объяснение будет потом, после обеда... Но топография местности не позволяла исполнить этот план. Он не мог не заметить Вавочки. Поэтому Борис Николаевич, в отваге отчаяния, сделал несколько шагов к креслу и, подбадривая себя, проговорил умышленно развязным тоном, будто человек, не совершивший ничего преступного:

— Здравствуй, Вавочка... Ты, бедная, из-за меня не спала?

И с этими словами, развязность тона которых не исключала однако некоторой заискивающей трусливости, Борис Николаевич, приблизившись к креслу, хотел было поднести руку Вавочки к своим губам, как вдруг движением, полным отвращения, точно Борис Николаевич был весь в проказе и прикосновение к нему грозило гибелью, Варвара Александровна отдернула вздрагивающую руку и глухим трагическим голосом своего низкого контральто произнесла:

— Не прикасайтесь ко мне!

Борис Николаевич опешил. Такого начала «бенефисов» еще не бывало в его супружеской практике, и «вы» еще ни разу не употреблялось.

И, почтительно отступив, он мог только робко и нежно произнести:

— Но, Вавочка... друг мой... выслушай.

— И вы еще смеете говорить!?! — вскрикнула Варвара Александровна, вскакивая с кресла, словно в нем вдруг оказалась игла, и до глубины души возмущенная недостаточно виноватым видом Бориса Николаевича, который между тем так виноват.

— Вы смеете еще говорить!?! — повторила она, вся закипая гневом и окидывая уничтожающим взглядом

своих сверкнувших глаз человека, который был пьян, ездил на тройке, ухаживал за Анной Петровной и вернулся в пятом часу утра, в то время, как жена сидела дома одна... больная.

Слова эти были вступлением к тому, что Варвара Александровна называла: «серьезно поговорить», а вслед за тем начался и самый разговор, вернее монолог, так как говорила только Варвара Александровна, а оробевший Борис Николаевич лишь тщетно пытался вставить слово оправдания,— монолог, перешедший в одну из тех бурных, неистовых сцен, которые столь любят подозрительные, страстные и нервные женщины, думающие только о своей любви, о своих страданиях, оскорблениях и правах и забывающие в своем наивном эгоизме о каких бы то ни было правах человека, который имеет завидную долю быть ими безгранично и горячо любимым.

Это было целое драматическое представление впечатлительной, экспансивной и страстной женщины, легко принимающей фантазию за действительность, подозрение за факт, частью искреннее, частью несколько театрально приподнятое, с криками, слезами, угрозами, с жестами отчаяния и непритворным страданием,— с эффектами и резкими переходами от трагического шепота глубоко несчастной женщины к властному крику оскорбленной повелительницы возмущившегося подданного,— от едких оскорбительных сарказмов и грубых ругательств мучительной ревности к мольбе о пощаде и уверениям в своей любви и своих добродетелях,— от заклинаний сказать все, все, всю правду и обещаний просить, если он разлюбил Ваву, к жестоким упрекам в подлом поведении, в обмане и в черной неблагодарности,— от злобных насмешек над «подлой тварью», на которую муж мог променять честную женщину, к угрозам покончить с собой, если он ей изменит...

И затем — истерика и заключительный обморок.

Борис Николаевич, хорошо знакомый с драматической жилкой характера своей Вавочки, был тем не менее сильно угнетен и в первую минуту считал себя бесконечно виноватым, готовый каяться, что поехал на тройке, да еще с Анной Петровной. Удрученный и растерянный, он перенес Вавочку на кровать, давал ей нюхать соли, нашатырный спирт, осыпал ее поцелуями. Но так как

обморок не проходил и Вавочка лежала без движения, то Борис Николаевич, не вполне знакомый с продолжительностью и характером женских обмороков, выбежал из спальни и, взволнованный и испуганный, хотел было посылать за доктором. Но старуха-няня, Авдотья Филипповна, державшая втайне всегда сторону Бориса Николаевича и находившая, что он совсем не по-мужски позволяет помыкать собой вместо того, чтобы держать жену в повиновении,— остановила его от напрасной траты денег на доктора и уверенно объявила, что «все это» у барыни скоро пройдет от компрессов. Она приложит их сейчас.

— У барыни часто бывает эта самая «мегрень»,— дипломатически и не без иронии назвала няня болезнь Варвары Александровны,— и, ничего себе, скоро проходит... Варвара Александровна, слава богу, дама здоровая... Не выспались,— вот и мигрень. А вы напрасно не волнуйтесь, Борис Николаич... Не из чего... И не ухаживайте сами за барыней, лучше будет. Наша сестра от потачки только больше дуреет...— конфиденциально прибавила Авдотья Филипповна.— Эка важность, что поздно вернулись... Вы посидите-ка в кабинете, пока я побуду у барыни, а Таня займет детей,— подбадривала няня Бориса Николаевича и взглянула на него с сочувствием и в то же время с сожалением, что он такая «тряпка».

День прошел в томительном беспокойстве. В квартире стояла тишина, точно в ней был тяжелобольной. Дети, слышавшие, как мама ругала папу, присмирели и боялись шумно играть. Мама больна. Мама спит. И все ходили на цыпочках.

А Борис Николаевич, несколько оправившийся от сцены, терзался упреками, что был откровенен, и дал себе слово впредь о тройках никогда не говорить и ни одного женского имени при жене не произносить иначе, как с порицанием. Он и жалел Вавочку,— она так близко принимает все к сердцу, бедная! — и в то же время находил, что его вина не настолько же, в самом деле, серьезна, чтобы так расстраиваться и делать такие ужасные сцены. Ведь если подобные сцены да в частых порциях, то это проявление любви, пожалуй, вроде каторги... Няня умная женщина и права: не следует потакать... «Эка важность, что я поздно вернулся и что

ездил с Анной Петровной... Ну... поцеловал раза два руку... Только и всего!»

— Барыня вас просит,— дoloжила вошедшая Таня, довольно уродливая, пожилая девушка, любимица барыни.

Криницын с подавленным вздохом вышел из кабинета, как человек, не знающий, что его ждет: возобновление ли «бенефиса» (примеры бывали) или помилование. Осторожно ступая, вошел он за ширмы и хотя только что у себя в кабинете храбрился, считая свою вину не очень тяжелой,— здесь, перед Вавочкой, благоразумно имел покорный вид кающегося преступника.

Вавочка, хорошо выспавшаяся в течение дня, умытая и надушенная, успевшая, при помощи маленького зеркала, основательно познакомиться с наружным видом своего посвежевшего, после сна, лица и с эффектом распущенных черных волос, ниспадавших по белому фону капота,— лежала, полуосвещенная мягким светом фонарика, на убранной кровати, полузакрыв глаза, с томным видом оправляющейся от тяжелого недуга женщины.

Борис Николаевич осторожно взял ее руку, поднес к своим губам и нежно и продолжительно поцеловал, как бы испрашивая этим поцелуем помилование. Варвара Александровна, видимо, перестала считать мужа прокаженным, потому что не только не отняла руки, но даже в ответ слабо, как немошная женщина, пожала руку Бориса Николаевича, печально вздохнула и, словно вспомнив что-то тяжелое, заплакала... Слезы тихо струились из ее глаз, но это были слезы покорной, несчастной женщины и умилили Бориса Николаевича.

— Вавочка... милая...— прошептал он дрогнувшим, взволнованным голосом.

И он опустился на колени (коврик перед постелью был мягкий и пушистый) и стал нежно гладить ее голову. И Вавочка закрыла глаза своими длинными ресницами, из-под которых сочились слезы.

Прошла минута трогательного молчания с обеих сторон. Борис Николаевич приободрился, чувствуя, что возобновления бенефиса не предвидится и что помилование близко, а следовательно в доме кончится так называемое «военное положение», когда все ходят мрачные, и дети снова могут шумно и весело играть без страха обеспокоить больную маму.

И ввиду этого Борис Николаевич с особенной нежностью несколько раз поцеловал благоухающую Вавочкину щеку и при этом печаянно даже попробовал вкус слезы, но, впрочем, не нашел его особенно приятным.

Наконец Варвара Александровна открыла глаза, увлажненные слезами, и, утирая их, тихим, совсем тихим и слабым голосом, точно слабость и горе не позволяли ей говорить громко,— спросила:

— Ты не обманываешь меня, Борис? Ты в самом деле меня любишь?

Этот вопрос был обыкновенно первым верным признаком помилования человека, которому задавались «бенефисы», и Борис Николаевич поспешил ответить самым искренним и горячим тоном, не допускающим ни малейшего сомнения:

— О, Вавочка...

И так как продолжать стоять на коленях, хотя бы и на мягком коврикe, не совсем было удобно для сорокадвухлетнего человека, да, по-видимому, и не представляло больше надобности, то Борис Николаевич пересел в низенькое креслецо и приятно потянулся.

— А та... Анна Петровна...— произнесла, как бы с трудом выговаривая это имя, Варвара Александровна с болезненно-презрительной гримасой и вперила испытующий долгий взгляд на мужа.

Борис Николаевич только брезгливо пожал плечами, словно бы говоря, что Анна Петровна для него ровно ничего не значит.

— Что между вами было... Признайся, Борис... Ведь было? Ты с ней часто встречаешься... Она тебе нравится?

— Вавочка!.. Да мы с ней всего-то раз или два виделись... И за кого ты меня принимаешь?.. Кажется, у меня вкус есть... Анна Петровна!? Нравится!?

И Борис Николаевич даже рассмеялся и стал горячо говорить, что Анна Петровна, пожалуй, и смазливая бабенка, но нисколько неинтересная, и с такой беспощадной критикой стал разбирать и ее нос, и глаза, и шею, и глупость, что если б Анна Петровна могла это слышать, то, вероятно, назвала бы Бориса Николаевича порядочным лицемером и трусом, готовым из-за спасения своей шкуры позорить ту самую хорошенькую блондин-

ку, бойкую, остроумную и веселую, которой он еще вчера расточал комплименты.

Варвара Александровна опять испытующе посмотрела на мужа. Но он, помня еще хорошо утреннюю сцену и зная возможность перехода Вавочки из состояния томной грусти в состояние бешеной ярости, с блистательным бесстыдством выдержал испытание.

— И ты не целовал ее рук?.. Ведь она рада случаю. Признайся, целовал?..

«Нашла дурака!» — подумал Борис Николаевич.

И, чувствуя, что помилование его в шляпе, он не без шутовщины заметил:

— Благодарю покорно, Вавочка... Стану я целовать ее скверные пухлые руки! — прибавил он не без брезгливости.

— Поклянись! — торжественно произнесла Варвара Александровна, вообще имевшая слабость к разного рода клятвам.

За этим дело не стало, и Борис Николаевич весьма охотно поклялся, предпочитая дать десять ложных клятв, чем иметь одну сцену, подобную утренней.

— Я бы удивилась, Борис, если б тебе могла понравиться «такая» женщина, — несколько оживленнее проговорила Вавочка.

— Еще бы не удивиться!

— Но как же она смела дразнить тебя... Говорить вздор, что я тебя никуда не отпускаю...

— Дура, потому и говорит! — коротко обрезал Борис Николаевич.

Варвара Александровна вытянула губы, давая этим знать, что он может их поцеловать, и горячим поцелуем помиловала его. Однако продиктовала условия: избегать встреч с этой «дурой», а то она в самом деле вообразит, что Борис за ней ухаживает. И кроме того...

— Чтó, Вавочка?..

— Собирай у себя лучше партнеров... Раз, два в неделю, как хочешь...

Борису Николаевичу предложение это очень не понравилось. Однако на радостях, по случаю помилования, он обещал как-нибудь это устроить...

В эту минуту чего бы он ни обещал?

Барваре Александровне казалось, что муж теперь настолько проучен, что не скоро обнаружит дух неповиновения. Но она ошиблась. Крутые меры, которыми она думала удержать своего подданного, вместо того, чтобы сделать ему благоразумные уступки, только ускорили приближение открытого бунта.

Прошло два-три дня, что Криницын, еще не вполне оправившийся от погрома, покорно просиживал вечера дома и раз даже проскучал у «симпатичных» знакомых Барвары Александровны, как уж он снова норовил удрать из дома, где чувствовал ту подавленность и неодолимую скуку, какую испытывает заключенный хотя бы с самым обожающим его тюремщиком. Нечего и говорить, что Борис Николаевич из любви к Вавочке не всегда откровенно заявлял, куда он уходит, и чаще всего называл фамилию одного молодого сослуживца, где часто играли в карты, хотя вместо карт преспокойно дул себе у Палкина красное вино с каким-нибудь приятелем и горячо говорил на тему о женской любви, развивая при этом самые парадоксальные взгляды насчет стеснительности ее в неумеренной дозе. А не то уходил к знакомым, где собиралось много народу в дни журфиксов и где бывала и Анна Петровна. Давая отчет о своем времяпрепровождении, Борис Николаевич, из боязни огорчить Вавочку и получить «бенефис», малодушно врал самым отчаянным образом и о всякой встрече с особами женского пола, о всяком, самом невинном, разговоре с ними, не говоря, разумеется, о любезных разговорах менее невинного свойства, — даже и не заикался, точно дома, где он бывал, были мужские монастыри, и в них никогда не встречалось ни одной женщины, а если встречались, то все больше одни старухи.

Эта ложь, конечно, обнаруживалась. Жена случайно через своих «симпатичных» приятельниц узнавала, что вместо холостяка Васильева ее благоверный был у Иванова на журфиксе и очень оживленно болтал с Анной Петровной (это с «дурой»-то!), или что Бориса Николаевича видели в гостинице, куда он вызвался ехать за покупками, чтобы не простудилась Вавочка, разговаривающим с какой-то очень миленькой барышней, или наконец (о ужас!) Бориса Николаевича видели, без сом-

нения его, в очень веселом настроении духа, в Аркадии (а он говорил, что идет на именины к начальнику и пробудет довольно долго. Хорош гусь!).

Эти открытия сопровождались блистательными «бенефисами». Благодаря умолчаниям мужа из боязни этих же самых «бенефисов», Варвара Александровна подозревала всякие ужасы и с понятным негодованием обманутой женщины осыпала бранью и проклятиями Бориса Николаевича. И напрасно он пробовал возражать, оправдываться... Напрасно он уверял, что любит одну Вавочку и не изменял ей. Напрасно он доказывал, что привязанность не есть вечное терзание... Он обманщик... Он скрывает от нее свои шашни... Сцены повторялись все чаще и чаще, были продолжительней и грозней, сопровождались обмороками, и после них все в доме долго ходили смущенные на цыпочках. Однажды даже Варвара Александровна в отчаянии решилась принять яд, оказавшийся, по счастью, совершенно безопасной микстурой (и няня потом довольно ехидно подчеркнула Борису Николаевичу, что барыня отлично это знала), и трогательно проделала сцену предсмертного прощания с ревущим, как белуга, Борисом Николаевичем и плачущими детьми, пока не приехал доктор и не разрешил недоразумение, объявив, к общей радости, что умирающая совершенно здорова.

Но обтерпевшийся Борис Николаевич уже не так близко принимал к сердцу все эти сцены, как прежде. Эта атмосфера вечных историй, упреков, истерик и слез, это вечное стеснение угнетало и озлобляло его, и «дом» казался ему тюрьмою. Долготерпение покорного мужа наконец лопнуло, и он открыто возмутился.

Начал он с довольно ловкого маневра — перебрался в кабинет, чтобы, возвращаясь домой, не рисковать немедленными «бенефисами». Поощряемый старой няней и задетый за живое насмешками Анны Петровны и одного приятеля, объяснившего, как он прекратил обмороки жены, не обращая на них внимания, Борис Николаевич обнаружил еще большую отвагу и однажды на вопрос Вавочки: «куда он собирается?» — так решительно ответил, что это его дело, что Варвара Александровна только ахнула от изумления и в первое мгновение онемела. И когда явился дар слова и она заговорила, потом вскрикнула и, схватившись за сердце, упала, как подко-

шенная, в обморок (по счастью, не на пол, а на диван), то Борис Николаевич хоть и колебался с секунду, но в конце концов имел жестокость, не подавши помощи, уйти из дому, послав к жене няню, наградившую его одобрительным взглядом.

Сбросив с себя иго, бунтовщик отпраздновал это событие тем, что в тот же вечер отправился к приятелю, «закатился» с ним в ресторан и вернулся домой в пятом часу утра очень навеселе. Признаться, в первое время Борис Николаевич широко пользовался своей свободой и, словно желая себя вознаградить за долгое рабство, посещал знакомых, у которых он давно не бывал, не стесняясь оставался ужинать, любезничал с дамами, покупивал в трактирах, с приятелями, совершенно забывая, что вино вредно, словом, держал себя точно школьник, вырвавшийся на волю и переставший бояться грозного учителя, и при этом не только не чувствовал никаких угрызений совести, а, напротив, был так оживлен и весел в обществе, как никогда. И лишь воспоминание о том, что надо возвращаться домой, угнетало его. Впрочем, он и бывал-то дома не особенно часто: за обедом да перед вечерами, когда приходилось выдерживать «бенефисы». Но он принял отличную тактику: он отмалчивался. Чего-чего только ни говорила ему Варвара Александровна, каких только сцен ни делала она, желая вернуть свихнувшегося мужа на путь добродетели,— он ни гу-гу, только пощипывает бородку и постукивает тихонько пальцами по столу, точно и не его называют «извергом» и «бессовестным человеком», а там за шапку — и марш, а не то пойдет к детям и возится с ними, пока не запрется в кабинете и не начнет работать... И Варвара Александровна, видя, что его ничем не проймешь, бросила наконец сцены, обмороки и стала дуться. Увы, и это не помогло. Сделайте одолжение! Наконец бессовестность мужа дошла до того, что когда однажды Варвара Александровна, желая сделать последнюю попытку обращения его на путь истины, поздно ночью, когда Борис Николаевич только что вернулся,— пришла к нему вся в слезах, полуодетая, с распущенными волосами, в кабинет, стала просить пощадить и ее, и детей и наконец бросилась к нему с воплем на шею, умоляя изменить образ жизни, Борис Николаевич не только не успокоил ее, не только не обещал исправиться, но с любезною вежли-

востью заметил наконец, что ему хочется спать. Это обстоятельство окончательно убедило ее в громадности ее несчастья и открыло глаза на бесповоротную потерянность Бориса Николаевича.

VI

Склонив голову над маленьким письменным столиком, на котором, среди разных вещей, стояли в изящных рамках фотографии детей (портреты «этого человека», когда-то занимавшие почетное место и на столе и над столом, были давно сосланы в глубину комода),— Варвара Александровна дописывала своим красивым мелким английским почерком шестой листик письма или, вернее, обвинительного акта, в котором, со страстностью самого свирепого прокурора, сгруппировала в яркой картине все гадости мужа, сообщая старушке-матери, вдове, жившей на юге, о своем решении.

«Бедная мама! Как она будет удивлена! Она и не подозревает, что ее дочь так несчастна!» — подумала Варвара Александровна, перечитывая письмо.

Она вложила его в изящный конверт из толстой бумаги, написала решительно адрес, наклеила почтовую марку и вышла из спальни, чтоб приказать горничной Тане бросить письмо в ящик. «С курьерским оно пойдет, и через три дня мама его получит и, верно, на следующий же день выедет!» — рассчитывала Варвара Александровна. Затем она заглянула в детскую, где играли дети: мальчик Боря, восьми лет, и Варя — миленькая шестилетняя девочка, поцеловала их обоих с какой-то особенной страстной порывистостью, глотая слезы, и велела Авдотье Филипповне прийти на минутку к ней.

Старая, полная, опрятно одетая няня, с маленькими, умными серыми глазами и степенным серьезным лицом вышла вслед за барыней в спальню.

— Няня, я знаю, вы любите детей,— заговорила слегка заискивающим тоном Варвара Александровна, — и они к вам привыкли...

— Слава богу, пять лет около них,— сдержанно отвечала няня, не понимая, в чем дело.

— Так, я надеюсь, вы их не оставите, если я уеду с детьми отсюда...

— Куда изволите уезжать?..— спросила недовольным тоном Авдотья Филипповна.

— На другую квартиру... Я с детьми буду жить отдельно от Бориса Николаевича.

Няня строго поджала нижнюю губу с бородавкой и бросила на барыню недоверчивый и неодобрительный взгляд.

— А как же Борис Николаевич будет без детей? — спросила она после паузы.— Борис Николаевич очень любит детей, да и дети любят барина.

— Он будет с ними видаться.

Старуха укоризненно покачала своей круглой седой головой в белом чепце и решительно проговорила:

— Осмелюсь доложить, барыня, неладное вы затеяли дело. Мало ли что бывает между мужем и женой, но только чем же дети виноваты... За что детей лишать отца? Извольте-ка об этом подумать, сударыня.

— Я и без вас, няня, об этом думала... Что делать?.. Иначе нельзя! — промолвила Варвара Александровна, видимо недовольная замечанием няни, и, желая прекратить дальнейшие объяснения, спросила:

— Так вы согласны оставаться у меня или нет?

— Детей не брошу. Из-за них останусь! — отрезала Авдотья Филипповна и вышла из спальни.

Из передней донесся звонок.

— Он! — шепнула Варвара Александровна и вся как-то подтянулась, принимая решительный вид.

Через минуту вошла горничная и доложила:

— Барин пришел. Прикажете подавать обедать?

— Подавайте... Да скажите кухарке, чтобы не пережарила рябчиков,— крикнула вдогонку Варвара Александровна, внезапно увлеченная ролью хозяйки.

«О каких пустяках приходится заботиться!.. Какие-то рябчики, когда ломается вся жизнь!» — печально усмехнулась Варвара Александровна, подходя к большому шкапу с зеркалом и с грустной улыбкой оглядывая свое лицо и всю свою крепкую, статную маленькую фигурку.

Она пригладила свои чудесные, густые черные волосы с эффектной серебристой прядкой,правила лиф, тонкая ткань которого обливала пышные формы бюста, затем вымыла маленькие тонкие руки, надела кольца,

взглянула на безукоризненные розовые ногти и, свежая, красивая, изящно одетая, с строго-печальным и решительным выражением в лице, вошла, с легким шелестом платья, в столовую, где в ожидании ее Борис Николаевич держал на коленях детей и, покачивая их, вместе с ними весело улыбался.

«Этот человек» по виду совсем не походил на того «бессовестного», «безжалостного» и «потерянного» господина, которому, по мнению Варвары Александровны, предстояла печальная перспектива спиться с круга и вообще быть жестоко наказанным за свои многочисленные преступления.

Это был небольшого роста блондин с светлыми волосами и небольшой русой бородкой, с мягкими, расплывчатыми чертами довольно красивого лица, моложавый, здоровый, мягкотелый, с флегматическим взглядом небольших серых глаз.

Сравнивая «этого человека», в выражении лица которого и во всей фигуре сразу чувствовался спокойный и податливый темперамент ленивой, склонной к подчинению, натуры, с этой маленькой энергической женщиной,— можно было только удивляться, как «этот человек» решился открыто восстать против своей повелительницы; разве только соображение, что эти мягкие, пассивные натуры, раз только выведенные из терпения, бывают упрямы,— могло до известной степени объяснить строптивую непокорность этого человека.

При появлении Варвары Александровны, веселая улыбка сбежала с лица Бориса Николаевича, и он вдруг затих, как затихли и стали серьезны вдруг и дети, хорошо понимавшие натянутые отношения между родителями.

Борис Николаевич спустил детей с колен, поклонился жене, проговорив холодно-вежливым тоном: «Здравствуй, Вавочка!» и хотел было подойти к жене, чтоб пожать ей руку, но Варвара Александровна, едва кивнув головой, торопливо прошла и села за стол на свое хозяйское место.

Обед прошел, как обыкновенно проходил в последнее время, в томительном безмолвии. Только маленькая черноглазая Варя, не обращая никакого внимания на об-

щую натянутость, по временам громко смеялась и обращалась с вопросами то к матери, то к отцу. Борис Николаевич добродушно отвечал ей, любовно поглядывая на свою любимицу и как бы доказывая, что и «этот человек» способен любить детей.

Няня, стоявшая за высоким стульчиком Вари, была сегодня сумрачна и с некоторой жалостью смотрела на Бориса Николаевича, которого хотят разлучить с детьми. Она не одобряла его поведения за последнее время. «Со всем непутевый стал, отбился от дому, шатается по ночам, и жена ему словно не жена!» Но все-таки во всем винила «эту безумную», которая не умела ужиться с таким мужем. «Все из-за того, что бес в ней ходуном ходит! Не может усмирить свою кровь, черномазая! Все еще о своей красоте мечтает!» — с сердцем думала Авдотья Филипповна, размышляя о господских неладах.

Варвара Александровна раз или два бросила украдкой взгляд на мужа и отводила взор еще более строгим и решительным. Та же холодность... То же бессердечие и никакого признака раскаяния у «этого человека».

«Наверное связался с этой подлой дурой и воображает, что я дам ему развод! Ждите моей смерти!» — подумала Варвара Александровна, метнув злобный взгляд на «этого человека».

А «этот человек», по правде говоря, «воображал», как бы поскорее кончился обед и он бы мог поспать часа два и затем «дернуть» куда-нибудь, благо сегодня он получил изрядный-таки куш наградных денег, из которых можно, по совести, прокутить малую толику. И о «той дуре» он уж и не думал больше. После четырехмесячного веселого и довольно неограниченного флирта, «дура» увильнула и на днях уехала за границу в обществе какого-то юного дальнего родственника, и Борис Николаевич мог только задним числом сокрушаться о том, что «счастье было так близко, так возможно», если б он не был такой рохля.

Обед был кончен, дети ушли, и Борис Николаевич хотел было удрать в кабинет, как Варвара Александровна торжественно произнесла:

— Мне нужно с вами поговорить.

«Бенефис!» — подумал, слегка морщась, Криницын,

снова опускаясь на стул, чтоб выслушать «бенефис» в более удобном положении, и проговорил покорно-равнодушным тоном человека, сознающего, что противиться неотвратимому року бесполезно и надо покориться судьбе:

— Я слушаю...

— Не здесь, надеюсь?

В самом деле, какой он рассеянный! Он и забыл, что в столовой подпускались только ядовитые намеки, а специальным местом для «бенефисов» был в последний год — кабинет.

— Так пойдем в кабинет, Вавочка,— вымолвил Криницын, по старой привычке называя жену Вавочкой, и, пропустив ее мимо себя, вошел вслед за женой в свою небольшую комнату и с предусмотрительностью плотно затворил двери на случай высоких нот звучного контроля жены.

«Еще смеет называть Вавочкой, негодяй!» — возмущалась про себя Варвара Александровна и присела на диван.

Криницын опустился в кресло напротив.

Несколько секунд длилось молчание.

«Что ж она не начинает!»—тревожно подумал Борис Николаевич. Взгляд его скользнул по Вавочке, и в голове пронеслась внезапно шальная мысль: «а ведь как она еще сохранилась, эта Вавочка... Если б только не характерец...»

И Криницын вздохнул...

— Надеюсь, вы не удивитесь,— начала Варвара Александровна торжественно-спокойным тоном,— если после всего того, что я испытала за последний год, благодаря вашему постыдному поведению, недостойному порядочного человека,— я пришла к решению: предоставить вам полную свободу жить, как вам будет угодно, и уехать от вас... Разумеется, детей я возьму с собой... Вы ведь не решитесь отнять их от матери?

Варвара Александровна имела полное право торжествовать. Криницына действительно передернуло от этого сюрприза, и он воскликнул:

— Уехать!? Лишить меня детей!?

Это восклицание омрачило минутное торжество

Варвары Александровны и ядовитым жалом вонзилось в ее душу, нанеся глубокое оскорбление ее самолюбия, хотя она и говорила, что презирала «этого человека».

Как! Он только жалеет детей, а меня нисколько не жаль,— жены, которая отдала ему лучшие годы жизни. И это за двенадцать лет верности и любви. О, презренный человек!

И, совсем позабыв, что хотела говорить с ним «холодно и спокойно», Варвара Александровна с гневной страстью кинула:

— Зачем вам дети? Разве вы их много видите? Разве вы часто с ними бываете? Они и так лишены отца. Хорош отец!? Ведь вы вечно пропадаете из дому и возвращаетесь пьяный по утрам... Хорош пример для детей, нечего сказать! Да и без них вам будет удобнее. Они, по крайней мере, не помешают вам жить со своей любовницей... Будете праздновать вторую молодость на полной свободе... Никто не стеснит вас! — ядовито прибавила Варвара Александровна.

Криницын молчал в каком-то столбняке.

— А если захотите видеть детей — можете видеть их у меня... Я останусь в Петербурге. Будьте спокойны, во время этих свиданий я не стану беспокоить вас своим присутствием...

Она взглянула на «этого человека», сидевшего опустив голову, и все еще надеялась, что он вдруг бросится к ее ногам и станет молить о прощении, и она, быть может, простит его ради бедных детей.

Но Криницын не бросался к ногам и, видимо стараясь скрыть свое волнение, наконец проговорил:

— Что ж, если ты... вы хотите, я согласен...

— Еще бы... Я и не сомневалась в вашем согласии... Надеюсь, вы не откажете детям в содержании... Мне от вас ничего не надо... Но дети...

— Я буду давать три четверти своего жалованья...

— Этого за глаза довольно... Благодарю вас за детей! — поднимаясь с дивана, проговорила сдержанно-спокойным, казалось, тоном Варвара Александровна и уже подошла к дверям, как вдруг вернулась и, приблизившись к Борису Николаевичу, крикнула голосом, полным злобы и презрения:

— А от себя скажу вам, что вы презренный, гнусный человек, которого я презираю и никогда не прощу!..

И, глотая рыдания, выбежала из комнаты.

Борис Николаевич струсил. Струсил и крепко задумался. Перспектива одиночества и разлука с детьми сильно смутила его... Да и к Вавочке ведь он все-таки в конце концов привязан... Как-никак, а прожили двенадцать лет... Положим, у нее характерец... немало досталось ему от Вавочки, но ведь она его любила, да еще так, что из-за этой любви, собственно говоря, все и вышло... (Если б поменьше любила! — вздохнул Криницын.) Ну, да и он тоже виноват, что довел жену до того, что она его бросает... Совсем он ее забыл, бедняжку, в этой борьбе за свою свободу и жестоко мстил ей... Действительно, он свиньей себя вел, совсем того... замотался... Все эти флирты, ничего интересного... только трата денег... Вольно же ей было оттолкнуть от себя нелепой ревностью... вечными сценами...

Так размышлял Борис Николаевич и решил, что надо поговорить с Вавочкой, объяснить ей... успокоить ее...

И сам несколько успокоился, почему-то уверенный, что все обойдется. Вавочка не бросит его и простит, не смотря на все его безобразия.

В этот вечер Борис Николаевич не удрал из дому, пил чай с детьми и долго потом ходил по кабинету, все не решаясь идти к Вавочке, пока она «не отойдет» после недавнего объяснения...

Он несколько раз спрашивал няню, «как барыня?», и старуха все советовала не ходить — обождать, пока барыня в большом расстройстве чувств, и только около полуночи Авдотья Филипповна пришла в кабинет и сказала:

— Теперь барыня не плачет, ступайте, Борис Николаевич, поговорите. Да только не очень винитесь. Наша сестра этого не любит,— конфиденциально прибавила умная няня.

VII

Тук-тук-тук.

— Кто там?

— Это я, Вавочка,— робко и просительно проговорил Криницын.

— Войдите! — ответил дрогнувший голос Варвары Александровны.

Борис Николаевич вошел в спальню — давно он не заглядывал в эту уютную комнату! — и увидел жену, сидевшую на маленьком диванчике и перебиравшую какие-то старые письма — его письма.

— Что вам угодно? — строго спросила она, укладывая письма в ящик.

— Я, Вавочка, пришел с тобой поговорить и...

— Нам не о чем с вами больше говорить, — презрительно перебила Варвара Александровна.

— Вавочка... Так неужели это серьезно?.. Ты хочешь бросить меня...

— А вы думали, я шутила? — саркастически ухмыльнулась она. — Да и не все ли вам равно?.. Детей вы будете видеть...

— Но, Вавочка... Позволь сказать... объяснить... Выслушай, ради бога...

Чем мягче и нежнее звучал голос Бориса Николаевича, тем надменнее и, казалось, холоднее становился тон Варвары Александровны. Но грудь ее тяжело дышала из-под тонкой ткани капота, губы вздрагивали, рука нервно теребила носовой платок.

— Что можете вы объяснить? А впрочем, говорите, если вам угодно...

И Варвара Александровна пододвинулась вперед и, откинув за плечи распущенные свои волосы, оперлась рукой на маленький рабочий столик у дивана и полуприкрыла глаза. Свет лампы осветил ее побледневшее лицо.

— Можно присесть, Вавочка? — спросил почтительно Борис Николаевич.

— Садитесь, — с холодной вежливостью отвечала она, бросая взгляд на «этого человека» и снова опуская ресницы.

Муж опустился в низенькое кресло и начал:

— Положим, я виноват перед тобой, Вавочка... очень виноват, хотя и не в том, в чем ты думаешь... Я вел себя скверно... кутил... проводил ночи за картами... постоянно уходил из дому... был к тебе невнимателен...

— Вы были жестоки, — встала Варвара Александровна.

— Согласен... Но, Вавочка, милая Вавочка, вспомни, отчего все это вышло... Ты слишком... опекала меня, и

я... возмущился... Однако поверь мне, я никогда не переставал тебя любить...

— И имели любовницу? — иронически воскликнула Варвара Александровна.

— Я, любовницу?.. Господь с тобою, Вавочка!

— А эту... вашу... Анну Петровну...

— Анну Петровну!?. Клянусь тебе, что между нами ничего не было...

«Лжет!» — подумала Варвара Александровна, но, взглядывая в лицо «этого человека», в его заблестевшие глаза, которые снова ласкали ее с давно забытой нежностью, Варвара Александровна не стала спорить...

А муж продолжал:

— Мы с этой Анной Петровной, правда, иногда встречались... болтали...

— А теперь?..

— Да ее и нет здесь, Вавочка... Она уехала за границу с каким-то молодым человеком.

— Но другие ваши любовницы?.. — уже мягче спросила жена.

— Никаких никогда у меня не было, Вавочка! — горячо протестовал Борис Николаевич, помня совет умной няни: «не очень виниться».

И опять, разумеется, Варвара Александровна, зная мужа, не поверила, но, вся охваченная едва сдерживаемым волнением близкого, столь неожиданного примирения, она снова промолчала, готовая простить ему все...

А Борис Николаевич, не спуская глаз с Вавочки, пикантной, еще хорошенькой своей Вавочки, еще горячей и искренней заговорил, что он всегда любил Вавочку, знал одну только Вавочку в эти двенадцать лет; он пожалел о бедных детях без отца и, увидав, что растроганная Вавочка жадно внимает его речам и, вся заалевшая, с полуоткрытыми устами, смотрит на него нежным прощающим взглядом своих больших влажных глаз, — понял, что теперь можно броситься к ногам Вавочки и получить ее полное помилование, несмотря на все свои вольные и невольные прегрешения.

VIII

На следующий день, поздно проснувшись, Варвара Александровна, бодрая, веселая и счастливая, быстро оделась, заказала обед из самых любимых блюд Бори-

са Николаевича и послала старушке-матери следующую телеграмму:

«Письмо, которое получите, считайте недействительным. Недоразумение вполне разъяснилось».

А когда часу во втором к Варваре Александровне приехала та ее приятельница, муж которой все еще оставался «этим человеком», и, увидав Вавочку веселой, поздравила ее, решив, что она наконец разъезжается с мужем,— Вавочка, немного смутившись, ответила:

— Нет, милая, я долго-долго думала и остаюсь ради детей.

К обеду уже все портреты Бориса Николаевича были возвращены из ссылки и красовались на прежних местах, и «этому человеку» снова было даровано христианское имя «Бориса» да еще с прибавлением «милого».

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖИЗНИ

I

Мрачный осенний петербургский день с пронизывающим до костей холодным северным ветром близился к концу. Отливая от центральных частей города, пешеходы, угрюмые и голодные, торопились по домам.

В это время к углу Невского и Лиговки приковылял, имея на плечах ларек, маленький мальчуган в большом измызганном картузе, нахлобученном на уши.

Окинув быстрым и зорким взглядом местность и главным образом местопребывание «фараона», то есть городского, маленький человек опустил ларек у тротуара в нескольких шагах от Невского и стал выкрикивать звучным тоненьким голоском в упор проходящим по Лиговке:

— Спички, да хорошие! Бумаги и конвертов! Не пожелаете ли, господин?

Засунув покрасневшие от холода руки в карманы, мальчик то и дело подпрыгивал и ежился, так как костюм его был далеко не по сезону. Довольно жидкое порыжелое пальто неопределенного цвета, сидевшее мешком и, очевидно, шитое на человека более зрелого возраста, и тонкие летние панталоны соответствовали скорее итальянскому климату, чем этой подлой, «собачьей» петербургской погоде. Высокие намокшие сапоги, тоже предназначавшиеся, по-видимому, на более крупные ноги, требовали по меньшей мере основательной починки. Едва ли не самую лучшей частью костюма был вязаный шарф, обмотанный вокруг шеи и скрывавший от нескромных глаз рваную ситцевую рубашу и нечто вроде жилета.

— Купите, господин! Поддержите коммерцию!

Голос мальчугана выкрикивал все ленивее и безнадежнее. Казалось, он и сам понимал, что ни один из этих торопившихся прохожих в такую погоду не остановится, чтобы поддержать отечественную коммерцию. И если он все еще предлагал и спички, и бумагу, и конверты, то более для очистки своей торговой совести и, главное, из страха иметь недоразумения с одним человеком, которого он называл «дяденькой», не чувствуя, впрочем, к нему никаких родственных чувств.

Мальчик не ошибался в своих предположениях. Действительно, ни одна душа не откликнулась на его призыв. Всякий спешил в теплую квартиру, думая об обеде, а не о письменных принадлежностях. Никто даже и не взглянул на этого вздрагивающего мальчугана в уродливом картузе и не слышал тоскливой нотки, звучащей в этих назойливых предложениях поддержать коммерцию.

Но вдруг в глазах мальчика блеснула надежда.

Он увидел солидного плотного господина в отличном теплом пальто и с цилиндром на голове под руку с молодой и хорошенькой барыней. Несмотря на отвратительную погоду, господин вел свою даму не спеша и, наклонив к ней голову, о чем-то говорил ей с самым умильным выражением на своем полноватом и не особенно моложавом лице.

Опыт недолгой, но уже богатой уличными наблюдениями жизни маленького человека привел уже давно его к выводу, что господин, гуляющий под руку с молоденькой барыней и разговаривающий с ней, чересчур близко наклонившись к ее уху,— несравненно отзывчивее, и добрее, и охотнее поддерживает коммерцию, чем господин, идущий одиноко или с дамой некрасивой, или преклонного возраста.

Все эти соображения заставили мальчика предположить, что письменные принадлежности крайне необходимы господину, и он, еще не зная, что нет правил без исключений, торопливо вынул из ларька пачку бумаги и конвертов, подбежал к проходившей паре и крикнул, протягивая пачку:

— Милый барин! Купите у бедного мальчика! Поддержите коммерцию.

Молодая женщина вздрогнула от этого неожиданного окрика, а господин гневно произнес, хватая за руку мальчика:

— Ты как смеешь приставать, негодяй, а? Вот я сейчас кликну городского!

Мальчуган рванулся из рук господина и побежал к ларьку, испуганный и несколько изумленный таким неожиданным оборотом дела. Он успокоился только тогда, когда господин с дамой продолжали свой путь и скрылись, после чего не отказал себе в маленьком удовольствии— погрозить им вслед кулаком и затем пустить вдогонку:

— Тоже... городской!.. Сволочь!

Прошло еще минут десять. Мальчику становилось очень зябко, и он собирался было сняться с места и закончить на сегодняшний день торговлю, как внимание его привлекла дама в глубоком трауре, шедшая опустив голову.

Обязательно следовало сделать еще попытку. Вид этой барыни подавал некоторую надежду.

И он проговорил самым трогательным голоском, владея которым приучила его недавняя профессия нищенки:

— Милая барыня! Купите бумаги... Дешево отдам... Пятачок две тетрадки!

Барыня подняла голову и взглянула на мальчика. Его бледное, посиневшее от холода лицо, худое, с тонкими, красивыми чертами и с бойкими, бегающими, как у мышонка, карими глазами, тотчас приняло притворно жалобное выражение.

— Купите, милая барыня...

Тень грусти омрачила лицо дамы в трауре, точно при виде этого худенького, болезненного мальчугана она вспомнила кого-то...

Она остановилась, торопливо вынула портмоне и протянула мальчику двугривенный.

— Пятнадцать копеек сдачи... Извольте получить бумагу... Бумага первый сорт! — говорил мальчик значительно повеселевшим и уже деловым тоном человека, совершившего выгодное дельце.

— Сдачи не надо, и бумагу себе оставь, мальчик,— промолвила дама.

— Не надо? — изумился мальчик.

И, зажав в кулачке монетку, он горячо и торопливо проговорил:

— Дай вам бог здоровья, милая барыня!

— А ты, мальчик, шел бы домой... Холодно.

— И то зябко... Сейчас иду...

— Сколько тебе лет?

— Пятнадцатый...

— Пятнадцатый год, и такой маленький? А как зовут?

— Антошкой...

— Ты у кого живешь?

— У дяденьки...

— Ты, Антоша, приходи ко мне как-нибудь... Я тебе дам платья...

И дама в трауре сказала свой адрес и фамилию, ласково кивнула головой и ушла.

Антошка несколько мгновений стоял с разинутым ртом. Житейский опыт не очень-то баловал его людским сочувствием и не располагал к оптимизму. И обещание платья и, главное, такая щедрая подачка, признаться, значительно удивили его.

Прежде, еще недавно, когда он «работал» на петербургских улицах в качестве «бедного сиротки», гонявшегося за прохожими с жалобными причитаниями дать копеечку, и затем в роли мальчика, которому не хватает двугривенного на покупку билета до Твери или до Пскова (смотря по вокзалу, у которого Антошка стоял), или в роли только что выписавшегося из больницы, — случалось, хотя редко, что ему и попадали двугривенные от сердобольных людей, но с тех пор как он стал ходить с ларьком и продавать спички, бумагу и конверты, ни одна душа не принимала в соображение его собственных нужд, и каждый старался купить и спички и бумагу дешевле, чем где бы то ни было, точно считая, что дать мальчику с ларьком лишнюю копейку — значит потакать грабежу.

Вероятно, подобными житейскими наблюдениями следовало объяснить и то, что в сердце Антошки после первых мгновений радости закралось вдруг подозрение насчет доброкачественности двугривенного.

И он с серьезным, деловым видом опытного человека, умеющего отличить олово от серебра, взял монетку

в зубы и несколько раз куснул ее. Испытание на мелких острых зубах и затем металлический ее звон на камне мостовой убедили мальчика, что монетка не фальшивая. Тогда он с удовлетворенным и довольным видом опустил ее не в кожаный кошель, в котором хранилась выручка сегодняшнего дня, а в карман штанов, решив, что, по всей справедливости, о которой он имел понятие, двугривенный принадлежит ему одному и что, следовательно, отдавать его «этому дьяволу», как он мысленно называл «дяденьку», было бы величайшей глупостью.

Вслед за тем он достал карандаш и свою записную книжку, служившую ему в то же время и учебной тетрадью, в которой он списывал, учась самоучкой, названия вывесок, после того как мог уже списать фамилии спичечного и бумажного фабрикантов, изделиями которых торговал,— и не без некоторого напряжения и больших гримас вывел каракулями, смутно напоминавшими печатные буквы: «Гаспажа Скварцова, Сергифская, № 15».

Ларек тщательно был накрыт клеенкой. Оставалось вскинуть его на плечи и идти на Пески, на постылую квартиру «дяденьки», предварительно умненько распорядившись с двугривенным, как над самым его ухом раздался чей-то сиплый и приятный басок:

— Здравствуй, Антошка!

Антошка радостно и весело улыбнулся, увидев перед собой довольно странную фигуру пожилого человека с испитым и изможденным лицом, сохранявшим, несмотря на резкие морщины и припухлость век, еще остатки выдающейся красоты,— с большой и сильно заседевшей черной бородой, тщательно расчесанной, и с глубоко сидящими в темных впадинах черными глазами, глядевшими с выражением угрюмой, спокойной и вместе с тем какой-то презрительной грусти, какое бывает у опустившихся, когда-то знавших лучшие времена людей. В этих глазах светилось теперь что-то бесконечно ласковое.

Одет этот господин был в невозможно ветхое и совсем лоснившееся пальто, но, видимо, с претензией на аккуратность и некоторое щегольство: пуговицы были целы, и нигде не видно было дыр, хотя заплаток было довольно. Панталоны были в таком же роде. Серое кашне скрывало ночную сорочку, рукава которой, видневшиеся на худых волосатых руках, были не особенно

грязны. На маленьких ногах были стоптанные резиновые калоши, а на руках — изящной формы, с длинными пальцами — лайковые заношенные и заштопанные перчатки. Совсем порыжелый цилиндр был одет чуть-чуть набекрень, а из-под него выбивались седоватые кудри. Несмотря на этот почти нищенский костюм, в осанке и манерах этого господина сразу чувствовался барин.

— Здравствуйте, граф...

Под кличкой «граф» этот господин был известен в числе многих обитателей трущоб и Антошке, который познакомился с ним год тому назад, нищенствуя у вокзалов; он несколько раз исполнял поручения «графа» по доставлению писем в разные богатые квартиры и пользовался его благосклонностью. «Граф» был единственным в мире человеком, который всегда дружески и участливо относился к Антошке, платил ему за комиссии, если Антошка приносил благоприятные ответы, даривал леденцы и, случалось, зазывал к себе в «лавру», где жил в угле, угощал чаем и вел с ним беседы довольно своеобразного философского характера.

— Ты это что?.. С ларьком нынче?.. Давно?..

— С лета, граф...

— Лучше, чем прежняя работа, а?

— Лучше... И фараонов не так опасешься... Показал жестянку, и шабаш!

— А как дела! Хорошо торгуешь?

— Плохо, граф... Летом еще ничего, а теперь... Главное, погода! Вот спасибо одной барыне... Добрая... Целый двугривенный подарила...

— Ишь какая добрая! — иронически протянул «граф».

— И бумаги не взяла... И велела прийти к себе за платьем... А я двугривенный «дяденьке» не отдам... Как, по-вашему, граф? Отдавать?

— Ником образом. Он твой! — категорически заявил «граф» и прибавил: — А ты, братец, скажи своему подлецу «дяденьке», чтобы дал тебе обмундировку теплей, а то в чем, скотина, выпускает! Скажи ему, что генерал Езопов — запомни фамилию! — тебя остановил и расспрашивал, какой такой подлец хозяин, что посылает мальчику в таком виде... Понял?

— Понял... скажу... А если спросит: какой из себя генерал?

— Скажи: сердитый такой, с большими глазами... Усищи длинные-предлинные! — улыбаясь, объяснял «граф».

— Беспременно скажу,— радостно промолвил Антошка.

— Что твой дяденька-мерзавец... По-прежнему тебя бьет? — участливо спрашивал «граф».

— Теперь полегче... Маленьких шибко бьет. Ремнем больше, черт! А, главное, она — настоящая ведьма!

— Уйти тебе от них надо, вот что...

— Никак нельзя... Он говорит, что я ему проданный по бумаге... И, кроме того, племянник... Везде, говорит, тебя разыщут...

— Глупый! Нонче людей не продают... И какой ты ему племянник? Он все врет... Однако иди, иди, Антошка... Замерзнешь... Ишь погода! — проговорил «граф», сам пожимаясь от холода.— Да завтра же зайди ко мне, слышишь?..

— А где вы теперь живете? Я в «лавре» был... Там вас не оказалось.

— В больнице три месяца лежал и, видишь, отлежался! Теперь я не в «лавре» живу, а у Бердова моста, дом сто четыре, во втором дворе, у прачки... Запомни адрес. Да спрашивай не графа...

— Не графа? — удивился Антошка.

— То-то не графа! — усмехнулся «граф», — а Опольева, Александра Ивановича Опольева. Не забудешь?

— Не забуду... А то записать разве?

— Уж и писать выучился? Ай да умница!.. Только векселей не пиши! — вставил «граф» с грустной улыбкой... — Я тебе когда-нибудь объясню, что такое вексель... Постой... у тебя руки как у гуся... Давай карандаш...

Он записал адрес и фамилию и, отдавая листок мальчику, сказал:

— Смотри же, завтра приходи... Я тебя угощу и побеседуем, как тебе от твоего разбойника уйти... Только ему ни слова... До свидания, Антошка!

С этими словами «граф» как-то важно приподнял голову, слегка выпятил грудь и скоро скрылся в полутьме сумерек, а Антошка, вскинув на плечи ларец, бодро зашагал на Пески, весьма довольный и встречей с «графом» и двугривенным, столь неожиданно попавшим

в его карман и позволившим ему побаловать себя роскошным обедом.

Зайдя в закусочную, он спросил себе порцию селянки, запил ее двумя стаканами горячего чая и затем забежал в мелочную лавочку и на пяточок спросил леденцов. Засунув себе в рот сразу штуки четыре, Антошка остальные бережно завернул в бумагу и, спрятав их за голенище, вышел из лавки.

После такого лукулловского пиршества Антошка почувствовал себя и счастливее, и бодрее, и совсем не думал о жидких, пустых щах у «дяденьки». Эти щи и вообще-то не прельщали его — до того они были водянисты и мало насыщали, а теперь, вспомнив о них, он даже сделал гримасу.

Слова «графа» о том, что Антошка «не проданный», значительно подняли его дух, и он продолжал свой путь, мечтая о том времени, когда он будет сам от себя продавать и спички, и бумаги, и конверты, и разные другие вещи, купит себе сапоги и полушубок и не будет жить у «дьявола дяденьки». В этих ребячьих мечтах заброшенного, несчастного мальчика, никогда не знавшего нежной ласки, не знавшего ни матери, ни отца, не забыты были и «граф» и маленькая Нютка, его любимица, жившая, как и он, у «дяденьки». Что же касается нелюбимых людей, то Антошка не без злобного чувства мечтал о возмездии. Хорошо было бы «дяденьку» засадить в тюрьму на вечные времена, а «ведьму»... Он придумывал ей разные беды и в конце концов решил, что было бы недурно, если б ее переехала конка и она бы издохла.

Однако, когда Антошка вошел в ворота знакомого деревянного дома на окраине Песков и поднимался по темной вонючей лестнице в «дяденькину» квартиру, его охватило невольное, знакомое еще с детства, чувство робкого страха, и ему представлялась пьяная физиономия «дяденьки» с ремнем в руках и рядом «ведьма», подзадоривающая его своим подлым смехом.

Счастливые мечты сразу выскочили из головы Антошки, и он, удрученный, с чувством узника, возвращающегося в тюрьму с жестокими тюремщиками, вошел в незапертые двери темной прихожей, робко пробрался мимо кухни и очутился в крошечной комнатке, в которой помещались все мифические «племянники» и «пле-

мянницы», работавшие на «дяденьку» в качестве уличных нищенок.

Посредине этой грязной, низкой и сырой комнаты, освещавшейся тусклым светом стенной лампы, стояли небольшой стол и две скамейки, на которых была разбросана разная мокрая рвань, отдававшая запахом гнили. Это было верхнее платье «пансионеров», разложенное для просушки. Никакой другой мебели не было. На этом же столе среди вещей стояла деревянная чашка, из которой жадно хлебал холодный суп белокурый мальчик лет восьми. Остальные обитатели, уже вернувшиеся с работы, сдавшие свои выручки «дяденьке» и поужинавшие, лежали на полу, на тощих матрасиках, рядом, вповалку, прикрытые какою-то старой ветошью и согреваясь более теплотою собственных тел. Маленькие соломенные подушки поддерживали детские головы.

Почти все дети спали, вдыхая в себя смертоносный воздух.

Антошка снял с себя ларек, затем разулся, сунув под свой матрасик сверток с леденцами, надел какие-то дырявые башмаки и хотел было снимать свое намокшее пальто, как вдруг из-за стены донесся жалобный детский вопль, заглушаемый пьяным грубым мужским голосом.

— Это Нютку! — шепотом проговорил белокурый мальчик.

— За что? — отрывисто спросил Антошка.

— Всего два пятака принесла...

— Ишь... подлые!.. — шепнул Антошка, и в его глазах сверкнул огонек.

Через минуту в комнату вбежала с плачем маленькая, совсем худенькая девочка с черными растрепавшимися волосенками и, увидев Антошку, проговорила прерывающимся от рыданий голосом:

— Ан-тош-ка... У-бей бо-г нап-расно. Я гро-ши-ка не утаила...

И, понижая голос, прибавила:

— Он бы прос-ти-л, а она... тварь под-лая...

— Он чем тебя, ремнем или руками? — осведомился довольно объективно белокурый мальчик, засовывая в рот последний кусок черного хлеба.

— Рем-нем... Пять раз... Больно... Ах, больно, голубчики!

Антошка проговорил с важным видом:

— Подожди, Анютка... Мы на этих дьяволов управу найдем... Най-дем! — прибавил он, вспоминая вдруг слова графа.— Мы не проданные... Не реви, Анютка...

И с этими словами он достал сверток и подал его Нютке.

— На вот, ешь... только дай два леденца Алешке... Больше не давай... Ешь.

Нютка сквозь слезы улыбнулась и набросилась на леденцы с жадностью дикого зверька.

В эту минуту двери бесшумно отворились, и на пороге показалась высокая худая молодая женщина в юбке, в сером платке на голове, из-под которого выбивались пряди рыжих волос.

Она вошла тихо, подкравшись, как кошка.

Антошка первый заметил «ведьму» и кинул выразительный взгляд, предостерегающий об опасности, на своих маленьких товарищей.

Нютка немедленно зажала в своей грязной ручонке оставшиеся леденцы, проглотив, не без риска подавиться, бывшие у нее во рту, и с выражением испуга на своем заплаканном лице бросилась к постели и легла, притихшая и оробевшая, словно виноватая собачонка.

Алешка, успевший съесть свои два леденчика в мгновение ока и глядевший в рот девочки с чувством зависти и очарования, побрел к своему матрацу с видом человека, не имеющего достаточных оснований опасаться трепки.

Между тем рыжая женщина, успевшая подслушать слова Антошки, подозрительно оглядела комнату и, заметив валяющуюся на полу серую бумажку из-под леденцов, подняла ее с полу и, обращаясь к Антошке, проговорила своим резким, низким контральтовым голосом:

— Ты что ж это, подлец, не идешь сдавать выручку? До каких пор ждать тебя, мазурика?

«Ведьма» любила вообще уснащать свои речи бранью, но особенно в сношениях с Антошкой, которого терпеть не могла больше, чем остальных детей этого заведения своего супруга, так как чувствовала, что Антошка, несмотря на свою видимую покорность, является, так сказать, протестующим элементом и, кроме того, как-то подозрительно и насмешливо улыбається, когда «ведьма» посылает его за сорокоушкой, чтоб угостить гостя —

молодого наборщика, захаживавшего по вечерам и по большей части в отсутствие мужа.

— Иду сейчас... Только что пришел! — Разуться надо... Измок... — отвечал не особенно мягко Антошка.

— Измок! Ишь какой сахарный господин! — презрительно и медленно выговаривая слова, кинула рыжая дама, и злая улыбка искривила ее тонкие губы.

С этими словами она вышла, бросив на Антошку взгляд больших, несколько выкаченных серых глаз, не предвещавший ничего хорошего для Антошки.

В свою очередь и Антошка, ненавидевший «ведьму» с бессильной злобой загнанного волчонка, посмотрел ей вслед злыми-презлыми глазами и снова от всего сердца пожелал, чтобы «подлую» переехала конка.

— Что, Нютка, шибко пьян хозяин? — осведомился он.

— Не очень, — ответила Нютка.

Антошка через минуту вышел — сдавать «дяденьке» выручку.

Признаться, он шел далеко не спокойный, и мрачные предчувствия невольно закрадывались в его душу относительно ремня.

II

«Дяденька», отставной унтер-офицер Иван Захарович, сидел в одном жилете поверх розовой ситцевой рубахи за столом, на котором шумел самовар, в жарко натопленной, довольно большой комнате, разделенной ситцевым пологом, за которым помещались большая кровать и шкаф с посудой. Цветы на окнах, наклеенные на стенах вырезанные из иллюстрации картинки и портреты нескольких генералов и отца Иоанна Кронштадтского свидетельствовали о некотором эстетическом вкусе хозяев. Кое-какая мебель и огромный шкаф, в котором хранился разный хлам, купленный на рынке и составлявший запасный гардероб питомцев «дяденьки», дополнял убранство, не лишенное некоторого комфорта, особенно по сравнению с конурой, где помещалась детская команда.

Сам «дяденька» медленно отхлебывал чай, попыхивая папироской, и, казалось, находился в благодушном относительно настроении довольного своею судьбой че-

ловека. Он был выпивши, но еще не дошел до «граду-са»,— это еще было впереди — и его спокойный вид несколько не напоминал человека, только что жестоко отхлеставшего ремнем, опоясывавшим его чресла, маленькую беззащитную девочку.

Это был плотный и крепкий человек лет за сорок, с грубым, так называемым «солдатским» лицом. Красное, одутловатое, испещренное рябинами, с толстым носом и толстыми губами, окаймленное черными баками и окладистой бородой, оно далеко не отличалось привлекательностью. Маленькие, заплывшие и плутовские глаза светились масляным блеском. В них было что-то хищное и выдавало прожженную каналью, прошедшую житейские «медные трубы».

Действительно, Иван Захарович перепробовал много профессий после того, как вышел в отставку.

Он был швейцаром, сидельцем в кабаке, рассыльным, но не уживался на местах, имея слабость и к вину, и к картам, и к прекрасному полу,— слабость, заставлявшую его не всегда быть особенно разборчивым, если ему поручали деньги. Он их частенько так терял и, вероятно, благодаря только своей счастливой звезде не попал в сибирские палестины.

Долго он влачил полунищенское состояние: торговал на рынке старым платьем, ходил в факельщиках, носил шарманку, сопровождая «Петрушку», и не оставлял сладкой надежды выбиться и жить «как люди», не обременяя себя праведными трудами. И, наконец, напал на счастливую мысль — открыть «заведение» для детей.

Осуществление этой идеи не потребовало особенных затрат. Хорошо знакомый с трущобами, он знал, что в Петербурге детского товара сколько угодно, и при известной осторожности предприятие его не представляло большого риска.

И Иван Захарович «арендовал» несколько беспризорных и брошенных детей у нищих их родственников, обещая содержать детей и вдобавок еще платить за это известную сумму денег. Антошку, впрочем, Иван Захарович приобрел почти задаром у одной пьянчужки-вдовы, у которой ребенок очутился на руках после смерти его матери-прачки.

Дела Ивана Захаровича сразу пошли хорошо. Маленькие нищенки ежедневно приносили ему изрядную

выручку, и он держал их в ежовых рукавицах; строго наказывая, если они приносили, по его мнению, мало. Справедливость требует, однако, сказать, что до женитьбы Ивана Захаровича положение детей было сноснее: их и кормили лучше, и Иван Захарович бил их только тогда, когда был очень пьян уже к вечеру, когда он возвращался из трактира, а дети с «работы». Жившая при нем в качестве помощницы корявая Агафья жалела детей и часто их защищала.

На беду Иван Захарович влюбился в рыжую, худую Марью, встреченную им в трактире, который он посещал и где он за стаканчиком водки нередко беседовал с приказчиком о политике и вообще вел отвлеченные разговоры, до которых был охотник. Трудно сказать, чем привлекла Ивана Захаровича эта девица: своими ли выкаченными наглыми глазами, умением ли ругаться хуже извозчика, белым ли, покрытым веснушками лицом, не потерявшим еще свежести молодости, но только Иван Захарович окончательно «втюрился» и очень скоро женился.

С тех пор как водворилась Марья Петровна, положение детей стало воистину ужасным.

Дети прозвали новую хозяйку ведьмой и боялись ее больше «дяденьки», понимая, что она главная виновница тех жестоких побоев и истязаний, каким они теперь подвергались.

Раздирающие вопли и стоны раздавались в квартире почти каждый вечер при возвращении озябших и продрогших детей с «работы». «Ведьма» находила, что они мало приносят выручки, что они обкрадывают «дяденьку», и с какой-то холодной жестокостью натравливала супруга на детей.

И, несмотря на разные благотворительные общества, существующие в Петербурге, несмотря на множество блестящих дам-благотворительниц, никто не слышал этих детских стонов, никто не приходил на помощь обреченным страдальцам.

III

— Много принес? — спросил Иван Захарович, увидав вошедшего в комнату Антошку.

— Немного, — отвечал Антошка, приближаясь к столу.

— А по какой такой причине? — строго спросил «дяденька», останавливая взгляд на мальчике.

— Погода...

— Что погода!? Ты, верно, подлец, по трактирам сидел, а?

— И вовсе не сидел...

— Ну, давай... выкладывай...

Антошка высыпал деньги из кошелька.

Было всего тридцать копеек.

— Только и всего?

— Только... Совсем покупателей нет... И меня даже один генерал остановил,— вдруг прибавил Антошка, вспомнив совет «графа» и имея в виду не столько припугнуть «дяденьку», сколько отвлечь его внимание от щекотливого разговора насчет вырочки.

— Какой такой генерал?

— Важный, должно быть. Такой высокий и с большими усами... И сердитый... Остановил это он меня у Гостинного двора и спрашивает: «По какой причине ты, мальчик, шляешься по улицам в таком рваном пальте?.. Это, говорит, не полагается, чтобы по такой холодной погоде и без теплой одежды... Кто, говорит, тебя посылает? Сказывай, где ты живешь?»

Не лишенный, как оказывалось, некоторого художественного воображения, Антошка врал блистательным образом и не моргнувши глазом, испытывая в то же время внутреннее злорадство при виде беспокойного выражения на лице «дьявола».

— Что ж ты сказал этому генералу? — не без тревоги в голосе нетерпеливо спросил Иван Захарович.

— Живу, мол, ваше сиятельство, у родного дяденьки... А квартируем мы...

— Что-оо?.. Разве я вам, подлецам, не приказывал никогда не говорить, где вы живете!..— перебил, закипая гневом, Иван Захарович.— Знаешь ли, что я за это сделаю с тобой, с мерзавцем?..

Иван Захарович проговорил последние слова таким зловеющим тоном, и его лицо исказилось такой злостью, что Антошка невольно попятился и поспешил проговорить:

— Да я, дяденька, не сказал ему настоящего адреса... Я совсем другой дал... На Острове, мол, квартируем, в пятнадцатой линии... Пусть ищет...

— То-то! — облегченно промолвил Иван Захарович. — А то бы тебя до смерти избил... Так бы и издох... Ты это помни... А теперь я скажу, что ты молодец, Антошка... Всегда так отвечай... Какое кому дело, где мы живем? — прибавил Иван Захарович, окончательно успокоенный, и даже взглянул одобрительно на Антошку, как на достойного своего ученика, ловкого и смышленного, пославшего генерала на Васильевский остров... «Прогуляйся, мол!»

И после незначительной паузы проговорил:

— А я тебе, Антошка, завтра другое пальтецо подберу... форменное пальтецо... на байковой подкладке... у татарина купил... И фуфайку дам... Я, братец, старательных ценю... И ты цени... Старайся для дяденьки... Помни, что я тебя вскормил и воспитал... Без меня пропал бы ты, как паршивый щенок у забора, а я вот тебя человеком сделал... Да... Какой человек ежели неблагодарный, того бог накажет. Ты этого не забывай, Антошка! — философствовал Иван Захарович. — И выручки правильные носи! — неожиданно перешел он на вопрос чисто практического характера. — А то — тридцать копеек! За это, по-настоящему, следовало бы тебя наказать, но я прощаю... Чувствуешь ты это?

Хотя Антошка и после этой трогательной речи не переставал питать к «дяденьке» далеко не дружелюбные чувства и сию минуту посадил бы его на вечные времена в острог, тем не менее выразить этого не посмел и довольно-таки недурно, с точки зрения декламаторского искусства, проговорил, благоразумно опуская свои мышинные карие глазенки, которые могли бы его выдать:

— Я завсегда чувствую, дяденька...

— То-то, чувствуй...

Антошка со свойственным его возрасту легкомыслием уже считал себя вполне обеспеченным, по крайней мере на этот вечер, от ненавистного ремня. Слишком увлеченный столь благоприятными результатами от своей встречи с генералом, он хотел было отважиться еще на одну подробность генеральской беседы, а именно сказать, что генерал приказал ему продавать спички, бумаги и конверты не иначе как в полушубке и в крепких сапогах, как в эту самую минуту из-за полога показалась «ведьма», уже без платка на голове, с причесанными не

без кокетства рыжими волосами, взбитыми на лбу, в голубой ситцевой кофточке и с вымытыми руками.

Повиливая бедрами, она подошла к столу и, присаживаясь у самовара, проговорила самым любезным и вкрадчивым тоном:

— Наливать, что ли, еще, Иван Захарыч?

— Налей, Машенька,— отвечал Иван Захарович, передавая стакан и с нежностью взглядывая на эту белолицую, всю в веснушках молодую женщину лет двадцати пяти, с вздернутым кверху курносым носом, выкаченными серыми наглыми глазами и тонкими губами.

Взглянул исподлобья на нее и Антошка, очевидно совсем не разделявший взглядов «дяденьки» на красоту его супруги. Он находил, что отвратительнее этой «курносой ведьмы» не было существа на свете. И худато она, ровно ободранная кошка, и на ее «подлой морде» черти отметины сделали в виде веснушек, и руки у нее в виде «крючков», и нос дырявый... одним словом, как есть настоящая ведьма!

Он сообразил отлично, для кого это она принарядилась, и только удивлялся «дяденьке», как это он совсем ею «облещен» и слушается ее, вместо того чтобы таскать ее за косы и бить поленом каждый день, а не в исключительных только случаях, когда он, совсем пьяный, случалось-таки, таскал за косы, но все-таки, глупый, ни разу не отдубасил поленом...

Антошка дипломатически кашлянул, чтоб получить разрешение уйти (присутствие «ведьмы» вместе с воспоминанием о поднятой ею бумажке из-под леденцов наводило его на тревожные мысли) и закатиться спать, и Иван Захарович хотел было отпустить его, как «ведьма» вдруг хихикнула и насмешливо проговорила, кивнув головой на Антошку:

— И ты, Иван Захарыч, веришь этому подлому мазурику? Ах, какой же ты, Ваня, простой... Ах, какой простой...

Обвинить Ивана Захаровича в простоте значило задеть самую чувствительную струну его мошеннической души. Он, как и все прожженные плуты, именно гордился тем, что проведет каждого, и потому предположение жены, что его мог оболванить мальчишка, показалось ему слишком обидным, и он произнес:

— В каких это смыслах понять, Машенька?..

— Мало ли чего он набрешет, а ты по доброте своей и веришь... Какой генерал станет с ним разговаривать, и кому нужно узнавать, где живет этот змееныш... Я за ним слежу... Знаю, как он бесстыж врать... Все-то он тебе набрехал, Иван Захарыч...

— И вовсе не набрехал, Марья Петровна... Хучь сейчас под присягу, что генерал со мной говорил... И фамилию свою даже объявил: я, говорит, генерал Езопов,— с энергией отчаяния произнес Антошка, имея, впрочем, о присяге довольно смутные понятия.

Надо полагать, что и относительно всеведения господ бога Антошка имел далеко не точные представления или же полагал, что господь милосердно терпит вранье несчастных мальчиков, спасающих свою шкуру от толстых ременных поясов, потому что нисколько не затруднился в доказательство действительности встречи с генералом прибавить:

— Как перед истинным богом говорю... Пусть разразит меня на этом месте, если я вру...

И вслед за тем еще перекрестился несколько раз, нисколько не думая, что совершает грех.

По счастью, Иван Захарович никогда не видал генерала Езопова, хотя и слышал, что есть такой генерал, занимающий видное место, и не потребовал более подробного описания его наружности, довольствуясь лишь «длинными усами». Он только взглянул на свою супругу не без торжества человека, оправданного от взведенного тяжкого обвинения, и сказал:

— Я, Машенька, наскрозь человека вижу... Меня не обманешь. Шалишь, брат... Откуда бы услышал Антошка, что есть генерал Езопов. А я, Машенька, знаю, что есть в Петербурге такой генерал... Об нем и в газетах пишут... Небось меня не объегоришь... Не таковский! — снова повторил Иван Захарович, хвастливо подмигивая глазом.

По лицу «рыжей дамы» скользнула едва заметная насмешливая улыбка.

— Ну, хорошо, пусть генерал и говорил с этим подлюгой... Пусть. А ты, Иван Захарыч, спроси-ка у него, на какие это деньги он сейчас угощал леденцами Нютку и Лешку... Пусть-ка ответит, мерзавец! — проговорила «ведьма».

— Леденцами!? — воскликнул Иван Захарович и вперил на Антошку злые глаза.

Антошка понял, что дело принимает весьма серьезный оборот. Сердце в нем упало. Бледное лицо вдруг приняло испуганное выражение затравленного зверька.

А «рыжая ведьма» между тем продолжала:

— Спроси-ка у него, как он найдет на тебя управу... Я своими ушами слышала, как он грозился. «Мы, говорит, найдем управу на этого дьявола!» Это он про тебя, Иван Захарыч... Вот как он ценит твою заботу... Вот как он обкрадывает нас... А ты ему, подлому, и поверил... Принес всего тридцать копеек, а сам леденцы... покупает!

Лицо Ивана Захаровича побагровело. Что-то беспощадно жестокое было теперь в его маленьких, засверкавших глазах и в скверной улыбке, искривившей его толстые губы.

— Так вот ты какой... змееныш? Управу?.. Леденцы покупаешь? — говорил тихим злым голосом Иван Захарович, снимая с себя толстый ремень. — Я покажу тебе управу! — засмеялся он, поднимаясь со стула.

— Да не жалея его... Пусть помнит! — вставила «ведьма».

— Я не из выручки взял деньги... Мне дала их одна барыня и не взяла товару... Клянусь богом... Не встать с места... Дя-де-нька!

Он говорил эти слова и сам чувствовал их безнадежность.

Сильный удар кулаком по лицу сшиб его с ног. Он упал навзничь, стукнувшись головой об пол. Новый удар сапогом заставил его вскочить на ноги, окровавленного, с тупою болью в груди.

Злоба, страх и отчаяние вдруг залили волной его маленькое сердце. Он видел по этому страшному лицу «дяденьки», что пощады не будет, и в его голове пробежала мысль о бегстве. Злобно сверкая глазами, словно маленький волчонок, он старался вырваться из крепкой руки Ивана Захаровича, которая держала его за шиворот, встряхивая, как щенка.

— Дя-денька! — молил Антошка. — Дя-де-нька! Вы не смеете мучить! — вдруг крикнул он в какой-то тоске отчаяния и рванулся сильней.

— Ах ты...

И голова мальчика уже была между толстых икр Ивана Захаровича. В комнате раздались отчаянные крики... Мольбы о пощаде сменялись ругательствами. Злобный рев бессильного животного чередовался с раздражающим душу стоном.

«Дяденька» совсем озверел. Казалось, он не помнил себя и с остервенением палача полосовал мальчика толстым ремнем с металлической пряжкой и все сильнее и сильнее сжимал его голову.

Вопли становились реже и глуше. Мальчик задыхался.

— Ты, Иван Захарыч, смотри, не задуши его! — крикнула ему «ведьма», довольно равнодушно поглядывая на экзекуцию и нисколько не волнуясь этими криками.

— Небось... Не задушю...

Однако он чуть-чуть раздвинул ноги и в ту же минуту вскрикнул, словно от жестокой боли.

— Отпусти, подлец! Не то до смерти забью! — прошипел в бешеной ярости Иван Захарович, продолжая наносить удары.

Но Антошка не отпуская.

Точно маленький кровожадный бульдог, он вцепился своими крепкими и острыми зубами в ляжку своего мучителя и все крепче и крепче нажимал их с каким-то наслаждением мстительной злобы, готовый оторвать кусок мяса.

Иван Захарович рванулся, чтоб избавиться от этих зубов, причинявших ему жестокую боль, и серьезно проучить дерзкого мальчишку.

Но Антошка не зевал и вообще обнаружил в этот вечер редкую находчивость.

Почувствовав себя свободным от рук «дяденьки», он с ловкостью уличного мальчишки, бывавшего в переделках, изо всей силы дернул его за ногу, и Иван Захарович, и без того не особенно твердый на ногах, грохнулся наземь. Еще мгновение, и «ведьма» получила удар в живот, после чего Антошка, схватив со стола стакан с горячим чаем, не отказал себе в удовольствии удовлетворить свою злобу, выплеснув жидкость прямо в ее «поганую морду», и, не теряя затем драгоценного времени, выскочил из комнаты и стремглав бросился вон из

квартиры, не заметив даже Нютки, которая выглядывала из дверей с застывшими от ужаса и страха черными большими глазами.

IV

Опасаясь погони, Антошка несколько времени бежал что есть духу по глухой дальней улице Песков. Пробежав порядочное расстояние, он завернул в какой-то переулок и остановился, чтобы передохнуть, прийти в себя и обдумать свое положение.

Положение мальчика в этот осенний холодный вечер в летнем намокшем и разорванном пальтишке и рваных старых башмаках на босых ногах, без шапки и даже без шарфа, одинокого как перст в большом городе, избитого и окровавленного, было не из блестящих. Но Антошка не унывал и считал, что несравненно лучше поззябнуть, чем после всех происшедших столь неожиданно событий попасться к «дяденьке» и быть заколоченным насмерть. Антошка имел решительное желание жить на свете, и даже с бóльшим спокойствием, чем до сих пор, и потому одна мысль о возможности возврата в ненавистную квартиру заставляла его вздрагивать и пугливо всматриваться в редких прохожих.

Несмотря на сильную трепку, Антошка не без удовлетворенного чувства гордости припомнил, как прокусил ляжку «черту» и ошпарил «ведьму», находя, впрочем, что этого им мало и что, бог даст, когда-нибудь он их «разделает» еще не так. Только бы ему сделаться большим. Тогда они узнают Антошку!

Эти злые мысли быстро сменились вопросом: куда ему идти? И тотчас же решение было принято. Он пойдет к доброму «графу», и тот посоветует, что ему делать, и, конечно, не откажет в пристанище. По счастью, Антошкина записная и учебная книжка находилась в кармане, и он, приблизившись к фонарю, не без труда разобрал адрес, написанный мелким почерком «графа».

Оставалось еще привести себя в некоторый порядок. Он увидел, что руки его были в крови, и догадался, что это от расквашенного носа, за который он хватался; необходимо было смыть кровь ввиду предстоящего путешествия по освещенным улицам и придирчивости «фа-раонов».

Ведро с водой у водосточной трубы, замеченное Антошкой поблизости, доставило ему возможность не только пополоскать руки и вымыть лицо, но и освежить воспаленную голову... Она, казалось ему, была какая-то тяжелая и точно чужая, а после воды стала легче.

Возбужденный и взволнованный, Антошка двинулся в путь и сначала не чувствовал ни дьявольски холодного ветра, насквозь пронизывающего его худенькое тельце и играющего его кудрявыми волосами, ни боли в спине, покрытой синими подтеками, и торопливо шагал по улицам, осторожно обходя «фараонов», чтобы не иметь с ними каких-нибудь неприятных разговоров, какие могли бы завести эти придиричвые люди с мальчиком в рваном пальтишке и, главное, без шапки, который ищет пристанища и участия.

По счастью, дело обошлось без приключений, и через часа полтора Антошка, совсем посиневший от холода, чувствуя страшную боль в спине, поднимался по грязной лестнице в квартиру прачки, у которой жил «граф».

Невообразимо радостное чувство охватило его, когда он очутился в тепле и когда старая женщина, впустившая его, с видом изумления и в то же время жалости провела этого вздрагивающего оборванца к своему жильцу.

V

После не особенно удачливого дня «граф» сидел в затрапезном халате трудно определимой материи у небольшого деревянного стола и при тусклом свете маленькой лампы читал вчерашнюю газету. Он читал в ней описание какого-то великосветского бала, напоминавшее ему о близком когда-то мире суеты и тщеславия, блеска и роскоши, о прежних знакомых и родных и, судя по выражению его лица, воспоминания эти вызывали скорее чувство озлобления, чем горечи.

Он задумался, как задумывался не раз, о превратности судьбы и безнадежности своего положения, когда скрипнула дверь и в эту крошечную, убогую комнату, все убранство которой состояло из кровати, стола и стула, вошел Антошка и, радостно взволнованный, остановился у дверей.

— Это вы, Анисья Ивановна? Что вам угодно? — окликнул «граф», не поворачивая своей кудрявой, заседевшей головы.

— Это я... Антошка!

— Антошка!? — воскликнул «граф», изумленный приходу мальчика в такую пору, и быстро подошел к нему.

Жалкий вид худенького, посиневшего и вздрагивавшего мальчугана, пришедшего в легком одеянии, в дырявых башмаках на босые ноги и без шапки, вызвал на лице «графа» выражение жалости и участия, и он тревожно спросил:

— Что случилось, Антошка? Откуда ты в таком костюме?

— Я убежал от них, от подлецов... Уж вы только не отдавайте, граф, если он потребует меня обратно... Он убьет!.. А я вам заслужу... Я на вас стану работать! — взволнованно говорил Антошка.

— Глупый! Разве я отдам тебя этим мерзавцам! Не бойся, Антошка. Что ж ты стоишь? Садись, бедный мальчик... Ишь как озяб... Сейчас чаем отогреешься... Молодец, что удрал и ко мне явился... Я тебя в обиду не дам... Надень-ка мое пальто... согрейся...

— Я и так согреюсь. У вас страсть как тепло. Славно у вас!

— Надевай пальто, говорят! — весело и ласково приказывал «граф», снимая с гвоздя пальто. — И сапоги мои одень, а то босой почти... Так и заболеть недолго... Что, видно, дяденька бил?

— Шибко бил, подлец... спина саднит... И чуть было не задушил ногами... Ну, и ему таки попало! — не без гордости прибавил Антошка.

— Попало? — сочувственно улыбнулся «граф».

— Я ему ногу прокусил... до крови! — с торжествующим видом сказал мальчик.

— Ловко!.. Ты мне потом в подробности расскажешь обо всех этих событиях, а пока побудь один... Я пойду распорядиться насчет чая.

«Граф» вышел и завел конфиденциальный разговор с квартирной хозяйкой о нескольких щепотках чая и кусках сахара, о гривеннике «до завтра» и об устройстве

ночлега для мальчика. Он говорил так убедительно, что хозяйка тотчас же согласилась на все его просьбы и обещала немедленно подать самовар, купить хлеба и дать тюфяк, подушку и одеяло.

— Очень благодарю вас, Анисья Ивановна! — с чувством проговорил «граф», пожимая руку квартирной хозяйки.

— Не за что, Александр Иванович... И у меня, слава богу, христианская душа... И мне жалко этого мальчика. Что, он у вас будет жить?

— У меня пока. Бездомный сиротка этот несчастный мальчик, Анисья Ивановна... Нельзя не приютить.

— Где же он прежде-то жил? — спрашивала старая Анисья Ивановна, раздувая самовар.

— А у одного подлеца солдата... Он детей чужих берет и посылает их на улицу нищенствовать... Ну и тиранит их...

— Ах, бедные! — пожалела квартирная хозяйка и, вероятно, разжалобившись, прибавила: — Так я, кроме ситника, пожалуй, и колбасы возьму... Пусть мальчик закусит...

«Граф» еще раз поблагодарил Анисью Ивановну и, вернувшись к Антошке, весело сказал:

— Сейчас будет чай готов... Хорошенько напьешься и потом ложись спать... Хозяйка тебе постель смастерит... отлично выспишься...

Антошка благодарными глазами смотрел на «графа» и произнес:

— Без вас вовсе бы пропасть, граф... Только вы один и есть на свете добрый человек для меня...

— Ну, нечего там благодарить, — дрогнувшим голо- сом перебил «граф», ласково взглядывая на Антошку. — Хотя на свете и много мерзавцев, Антошка, и злых людей, но не все же такие; есть, братец мой, и хорошие... Это ты помни...

— Вы вот хороший...

— Я? — горько усмехнулся «граф». — Я прежде был, может, самый дурной... Ну да еще успеем с тобой пофилософствовать... и поближе познакомиться друг с другом. А с завтрашнего дня начнем действовать.. Быть может, завтра же и оденем и обуем тебя как следует, по сезону...

— И вы меня на работу пошлете? — весело спросил Антошка. — Я умею хорошо собирать... Мне всегда подавали, когда я в нищенках был...

— Нет, Антошка, на такую работу я тебя не пошлю... К черту такую работу...

— Значит, с ларьком думаете?... На это много капиталу нужно... И товар и за жестянку! — деловито проговорил Антошка, понимавший, что «граф», который сам, случалось, «работал» по вечерам, останавливая прохожих просьбами на разных диалектах, не находится в таких блестящих обстоятельствах, чтобы завести ларек.

И так как Антошка не желал сидеть сложа руки и объедать «графа», считая это в высшей степени недобросовестным, то деликатно напомнил, что работа в нищенках вовсе не дурная и не тяжелая, особенно если под пальтом полушубок.

Но, к крайнему изумлению Антошки, «граф» решительно запротестовал.

— Что ж я буду делать? — спросил мальчик.

— Об этом подумаем! Подумаем, Антошка! — значительно протянул «граф», оставляя Антошку в некотором недоумении.

Анисья Ивановна принесла самовар, хлеб и колбасу, и скоро Антошка с наслаждением пил чай и закусывал. За вторым стаканом он передал «графу» подробности недавних событий у «дяденьки», и «граф» несколько раз вставлял неодобрительные эпитеты по адресу «ведьмы» и ее супруга и весело улыбался, когда Антошка рассказывал о подвигах, предшествовавших его бегству.

Постель была устроена на славу доброй Анисьей Ивановной. Она принесла довольно мягкий матрац, накрыла его простыней, положила большую подушку и теплое ватное одеяло и, убирая самовар, промолвила, обращаясь к Антошке:

— Небось спать хорошо будет. Спи, Христос с тобой, бедняжка!

Сонный Антошка быстро разделся и, облачившись в чистую ночную сорочку «графа», юркнул под одеяло и тотчас же заснул, довольный, благодарный и счастливый, тронутый до глубины души нежной лаской, которую он испытал первый раз в жизни.

«Граф» заботливо ощупал голову мальчика, присел к столу и задумался.

«Граф» раздумывал о том, как устроить Антошкину судьбу и не дать ему погибнуть в той развращающей атмосфере нищеты, безделья и нищенства, которую он хорошо знал по собственному опыту многих лет.

Но он поконченный человек, а способный, неглупый Антошка еще на пороге жизни...

Этот бездомный, несчастный мальчик, обратившийся к покровительству «графа» и видевший в нем своего единственного спасителя, сделался теперь как-то особенно ему близким и точно родным и словно бы явился светлым лучом, озарившим беспросветный мрак одинокой горемычной жизни павшего человека.

И озлобленное сердце этого отверженца, презираемого всеми родными и бывшими друзьями, чужого и все-таки барина в глазах тех товарищей по нищете, среди которых он вращался, втайне жаждавшего и не находившего слова участия и привязанности,—это сердце смягчалось, охваченное чувством жалости, любви и заботы к такому же бездомному, одинокому созданию, как и он сам.

Этот мальчик, видимо, привязанный к нему, словно бы давал новый смысл его жизни. Сделать его человеком, иметь на свете преданное, благодарное существо — эта мысль радостно волновала «графа», являясь как бы примирением с жизнью.

Он горько усмехнулся, вспомнив, что прежде, когда он имел возможность спасти не одно несчастное существо, подобное Антошке, мысль об этом никогда даже и не закрадывалась в его голову. Он жил только для себя и думал о себе...

«Неужели надо быть нищим и отверженным, чтобы пожалеть других!?» — мысленно задал он себе вопрос и решил его утвердительно, чувствуя неодолимое желание помочь Антошке именно тогда, когда это для него было так трудно.

Он сделает все, что только возможно.

Он напишет всем своим клиентам и, быть может, соберет нужную сумму для экипировки мальчика. Разумеется, ни один из его клиентов не поверит, что он просит не для себя. Еще бы поверить! Давно уже больше рубля, много двух, ему не посылали те из немногих род-

ственников и товарищей, которые не всегда оставляли без ответа письма «графа», посылавшиеся в особенно трудные минуты жизни.

Наконец, он даже обратится к своему «знатному братцу», как презрительно называл «граф» своего старшего брата, занимавшего очень важный пост. Он ненавидел этого брата и в слепом озлоблении считал его лицемером, эгоистом и даже взяточником. Недаром у него огромное состояние. Откуда оно?

Он, никогда не обращавшийся к этому брату после того, как брат раз навсегда отрекся от него, готов не только написать ему, но даже после пятнадцати лет пойти к нему в его парадную казенную квартиру и, если только швейцар пустит, лично просить помочь Антошке.

И много ли нужно?

Всего каких-нибудь двадцать рублей, чтоб сделать все необходимое мальчику... И тогда можно будет посылать его в школу...

И двоюродной сестре, княгине Моравской, напишет... Она благотворительная дама... Быть может, устроит мальчика, назначит ему какую-нибудь пенсию на содержание...

В мечтах о будущей судьбе Антошки «граф» непременно хотел, чтобы Антошка жил с ним, хотя бы первое время... Не все же это вечное одиночество. Все же около существо будет!

Двадцать рублей! Каким огромным капиталом казались эти деньги теперь «графу», швырявшему по сотне на чай в модных ресторанах во время былых кутежей!

Да, то было прежде, лет пятнадцать тому назад, когда молодой, красивый и изящный гвардейский кавалерийский офицер Опольев блистал в свете, считаясь одним из блестящих и элегантных представителей золотой молодежи, и имел все шансы на хорошую карьеру.

Он был умен, легкомыслен и бесхарактерен и жил, что называется, вовсю: кутил, ссужал приятелей, тратил направо и налево и, промотав большое состояние, доставшееся от бабушки, стал делать долги, попал в руки ростовщиков, запутался совсем и в один прекрасный день поставил фальшивый бланк отца, старого генерала с большим состоянием... Это обнаружилось; отец заплатил крупную сумму, но с тех пор не желал знать сына и уже больше не простил его.

Опольев должен был выйти в отставку и скрыться с светского горизонта. От него отвернулись, разумеется, все бывшие приятели, а старший брат, лишившийся благодаря брату-кутиле значительной доли ожидаемого наследства, совсем отказался от брата, и когда несчастный обратился однажды к нему за помощью, он отказал и велел ему передать, что не считает такого негодяя своим братом. Прежний общий любимец Шурка, веселый и блестящий Шурка вдруг сделался отверженцем.

История этого падения представляла собой одно из обычных явлений в жизни светской молодежи, явлений, которые в большинстве случаев кончаются не так печально. Многие в той среде, в которой вращался Опольев, делали то же самое и еще худшее, но эти «ошибки молодости» благодаря различным случайностям, в виде ли выгодного брака, или снисходительности родителей, несколько не мешали потом таким же виноватым, как и Опольев, остепениться и быть даже впоследствии в некотором роде столпами отечества.

Опольев хорошо понимал это. Он считал, что судьба его жестоко и несправедливо покарала за то, что проходит бесследно для других... Ни одна душа не поддержала его в это время, никто из близких не протянул ему руки серьезной помощи. Кое-кто бросал ему брезгливо подачки, считая, что исполнил долг и на некоторое время избавлялся от назойливого попрошайки.

Та самая среда, которая воспитала его и всеми своими привычками, взглядами и поступками поощряла к той же праздной и бесцельной жизни, какую вела сама, исключила его из своих членов, как недостойного, опозорившего честь касты, и Опольев был скоро всеми основательно забыт.

Возмущенный отношением тех самых приятелей и друзей, которые кутили на его счет и брали от него деньги, открывший внезапно глаза на всю подлость людей, он озлобился, хотел было пустить себе пулю в лоб, но кончил тем, что запил и махнул на все рукой в какой-то безнадежной отчаянности человека, не способного ни к какому серьезному труду.

Подняться он уж более был не в силах. Все связи были порваны, и никакого места он получить не мог. Поступил было в частную контору, но его скоро выгнали.

И он постепенно переходил все фазисы падения за эти пятнадцать лет своего паразитного существования, пока не сделался нищим пропойцем. Всего было, за что в минуты просветления приходилось краснеть...

Но за это время он кое-чему научился, обо многом размышлял и многое понял.

Он понимал всю неприглядность своего существования, но зато оценил по достоинству и весь ужас прежней своей жизни. И сравнение выходило не особенно утешительное, когда он сопоставлял настоящее и прошлое. Он понял, что среда, в которой он прежде вращался, безжалостно эгоистична и зла, и возненавидел эту среду. Он близко увидел нищету и страдания обездоленных и несчастных, неудачников и свихнувшихся и понял, что они такие же люди, как и потомки Рюриковичей, и заслуживают по справедливости иного отношения. Среди этих отверженных он встречал и участие и отзывчивость...

И прежний блестящий офицер, считавший «свольчью» всех, кто не может жить порядочно, обратился в протестующего скептика философа, решавшего довольно оригинально общественные вопросы и относившегося с презрительной злостью к великим мира сего и вообще к устройству самого мира, требующего, по его мнению, самой основательной встряски, и с какою-то иронической покорностью отпетого человека нес свое положение. Он ни на что уже более не надеялся и ничего не ждал. Доктора ему сказали, что при том образе жизни, который он ведет, он не протянет и пяти лет. Его это нисколько не испугало. Он усмехнулся и проговорил:

— Однако долго еще тянуть, доктор!

Опускаясь все ниже и ниже в глубину нищеты и казавшийся стариком в свои сорок пять лет, он все-таки старался сохранить некоторое внешнее подобие приличного господина и особенно заботился о своем костюме, имея вид барина даже и тогда, когда в сумерки (днем «граф» никогда не «работал») останавливал кого-нибудь из прохожих и на превосходном французском диалекте просил «одолжить» некоторую монету. Он даже не просил, а скорее предлагал, причем сохранял свое достоинство, и когда слегка приподнимал свой рыжий цилиндр, зажимая в перчатке полученную монетку, и когда только галантно прикладывал руку к шляпе, полу-

чив отказ. За это его в «Лавре», где он жил последнее время, и прозвали «графом». Никто не знал его настоящей фамилии, и под кличкой «графа» он известен был своим товарищам по профессии.

Антошка сладко всхрапывал во сне, а «граф» еще писал, имея на столе запас почтовой бумаги и конвертов, которые являлись для него, так сказать, главным орудием производства.

Наконец последнее письмо было окончено. Эти прочувствованные, горячие строки к брату, в которых он просил денег для мальчика, должны были, по мнению «графа», подействовать даже и на такого «знатного прохвоста». Он, наверное, пришлет просимую сумму, и быть может, и больше. Вдруг письмо попадет в хорошую минуту, когда человек делается добрее обыкновенного!

Лампа догорала. «Граф» встал из-за стола с видом человека, вполне удовлетворенного своей работой, достал из-под кровати маленькую склянку с водкой и слегка трясущейся рукой налил рюмку водки. Он вытянул ее медленно, процеживая через губы, с наслаждением алкоголика. Затем выпил другую и третью, опорожнив бутылку, и только тогда разделся и лег в постель.

В эту ночь он заснул не с теми мрачными мыслями, с какими засыпал обыкновенно. Напротив, приятные и радостные думы проносились в его голове. Жизнь не казалась ему такой безотрадной благодаря присутствию Антошки.

VII

Мутный сероватый свет дождливого осеннего утра пробивался в окно, когда «граф» поднялся довольно бодрый и в хорошем расположении духа. За стеной, у хозяйки, пробило семь часов. Антошка еще спал.

При свете маленького огарка с иглой в руках «граф» занялся приведением в некоторую возможную исправность своего костюма. Дыры на черном лоснившемся сюртуке были зашиты, бахромки с конца штанин срезаны и все платье аккуратно вычищено. Затем «граф» почистил сапоги и достал из маленького сундучка чистые воротники и манжеты. Когда все было готово, он вышел в кухню, вымылся и довольно долго и тщательно рас-

чесывал свои кудреватые волосы и длинную бороду перед маленьким зеркальцем и привел в порядок ногти на своих красивых руках.

Покончив с туалетом, он снова вышел и, встретив хозяйку, с обычной своей галантностью пожелал ей доброго утра.

— Что так рано сегодня, Александр Иванович?

— Дел сегодня много, Анисья Ивановна... Рано выйду со двора... Надо хлопотать за мальчика, понимаете?..

Он деликатно попросил насчет самоварчика и булки для Антошки, обещая сегодня же покончить маленькие счета с хозяйкой, и прибавил:

— И еще покорнейшая просьба, добрейшая Анисья Ивановна.

— Что такое?

— Быть может, я сегодня не скоро вернусь, так уж будьте любезны, не откажите накормить мальчика.

— Не бойтесь, голодным не оставлю. Позову обедать, не обьест! — не без обидчивости проговорила добрая женщина, которая не раз предлагала и жильцу своему поесть вместе с ней.

Она жалела «графа», и главным образом потому, что он барин, отставной офицер и, верно, прежде богатый, находится в таком положении. Старый альбом «графа» с photographиями генералов, блестящих дам и офицеров, в который она полюбопытствовала как-то заглянуть в отсутствие «графа», окончательно разжалобил Анисью Ивановну и заставил ее отнестись к «графу» еще с большим участием. И она (хоть при найме комнаты это и не было выговорено) подавала ему самовар и вообще старалась оказывать услуги. Жилец он был тихий и очаровывал хозяйку своим любезным и полным достоинства обращением.

— А вы, Александр Иванович, насчет чего же, собственно, хотите хлопотать? Определить куда мальчика? — полюбопытствовала Анисья Ивановна.

— Вообще устроить... Ну, разумеется, прежде всего насчет денег... Надо же и одеть и обуть его...

— Что и говорить... Совсем, можно сказать, голый мальчик... Где же вы, Александр Иванович, полагаете достать?.. У сродственников?

— Да...

— Дадут? — недоверчиво спросила хозяйка.

— Рассчитываю. Я не для себя прошу.

— Ну, дай вам бог, Александр Иванович!.. Сами вот терпите, а за мальчика хлопочете... Да и насчет его документа схлопочите, а то старший дворник узнает... Как бы не было неприятностей.

«Граф» обещал похлопотать и насчет документа — он пойдет сегодня же к бывшему хозяину Антошки и, поблагодарив квартирную хозяйку, хотел было уходить, как вдруг она сказала, понижая голос:

— Ведь вы не при деньгах, кажется, Александр Иванович?

— Не при деньгах, Анисья Ивановна, но перед деньгами... А что? — шутиливо спросил «граф».

— А то, что как же вы по делам будете ходить и по такой погоде... Ишь ведь дождь-то какой... Неравно и простудитесь... А вы бы в конке... И я с полным моим удовольствием.. Сколько вам будет угодно?.. Сорок копеек, а то полтину?.. Как получите, отдадите...

У «графа» что-то защекотало в горле, и теплое благодарное чувство прилило к сердцу, когда он ответил:

— Ишь вы какая... заботливая, Анисья Ивановна... Сердечно благодарю вас и не откажусь... Возьму двугривенный... В самом деле... в конках удобнее...

Анисья Ивановна отдала деньги и предложила зонтик.

— Удобный зонтик, по крайней мере не промочит!

Но синий неуклюжий зонтик, видимо, шокировал «графа», и он отказался.

Вернувшись к себе, он застал уж Антошку вставшим и одетым в свое тряпье, с заспанным лицом, полным радости и счастья. Карие его глазенки весело улыбались.

— Доброго утра, Антошка! — приветствовал его «граф», протягивая ему руку. — Хорошо спал?

— Доброго утра, граф... А спал я чудесно, граф.

— Ну, что, здоров?

— Как есть вполне... И спина не болит... Хучь сейчас на работу...

— Ишь ты выносливый какой... Вчера у тебя жар был... Я думал — заболеешь, а ты как встрепанный... Что, здесь лучше, чем у дяденьки?

Вместо ответа Антошка засмеялся и вдруг, охваченный радостным благодарным порывом, по привычке нищенки прильнул к его руке.

— Не надо... Не люблю,— промолвил «граф», отдергивая руку.— Никогда этого не делай... Слышишь?

— Вы не сердитесь, граф. Я больше не буду! — виновато промолвил Антошка.

— Я не сержусь, голубчик! — улыбнулся «граф» и с нежностью потрепал Антошку по плечу.

— Не прикажете ли чего сделать, граф? Сапоги ваши почистить? Комнату подмести?

— Прежде всего я прикажу тебе идти на кухню и хорошенько вымыться... Вот что я тебе прикажу... А вечером я тебя сведу в баню... Давно ты был в бане?

— Давно... И не упомяну когда... «Дяденька» не посылал...

— Вот сегодня я поговорю с твоим дяденькой...

— Зачем? — испуганно спросил Антошка.

— Возьму твой документ.

— Какой документ?

— Такой... У каждого человека есть документ, чтобы знали, кто он такой... А ты не бойся... Теперь твой дяденька ничего не смеет тебе сделать...

— А как он придет сюда?

— Не придет... Я его так припугну, что он и не подумает прийти...

— Если бы и Нютку взять... Она ловкая девчонка...

— О Нютке, братец, потом подумаем...

Через четверть часа оба приятеля сидели за самоваром. «Граф» на постеле, а Антошка напротив, на стуле. Анисья Ивановна деликатно подала не одну булку, а еще и большую краюху ситного хлеба... «Граф» выпил лениво стакан чая, покуривая скверную папироску, зато Антошка выпил целых три стакана, уписывая за обе щеки хлеб.

— Сыт?

— Сыт совсем... Покорно благодарю...

Антошке хотелось быть чем-нибудь полезным «графу», как-нибудь ему услужить, и он, увидавши на столе письма, проговорил.

— Прикажете снести, граф?

— В таком костюме? — засмеялся «граф».

— Что ж костюм? Я привык... Я бы сбегал, граф. Только дозвоьте.

— Вижу, что сбегал бы... Лаской из тебя хоть веревки вей!.. — вставил «граф» не совсем понятное для Ан-

тошки выражение.— А ты уж сегодня никуда не бегай, посиди дома... Видишь, какая погода... Я сам письма разнесу и вообще пойду по разным делам... К вечеру я вернусь... Обедать ты будешь с хозяйкой, с Анисьей Ивановной... Она, брат, добрая, хорошая женщина, Анисья Ивановна... Без меня ты можешь прибрать нашу комнату и помочь хозяйке, если что нужно...

«Граф» стал одеваться и, окончив одевание, имел довольно внушительный вид.

— Ну что, Антошка, как ты находишь мой костюм... Хорош?

— Чего лучше! — отвечал восхищенный Антошка.

— Ну и отлично! — засмеялся «граф». — Кстати, ты не забыл адреса той барыни, которая звала тебя за платьем?.. Я, быть может, и ее навещу...

— Он у меня записан, — отвечал Антошка, доставая из кармана штанов свою записную книжку...

— Ну-ка, давай ее сюда... Я посмотрю, как ты выучился писать... Гм... Недурно... весьма недурно... «Скварцова... Сергифская, пятнадцать»... Со временем можно будет и лучше... И выучимся... И писать, брат, выучимся, и арифметике, и истории... всему, Антошка, в школе выучимся! — значительно проговорил «граф», заставляя Антошку вытаращить от изумления глаза.

Он, признаться, подумал, что «граф» так себе... «хвастает», но из деликатности не заявил сомнения насчет возможности исполнить такое обещание. «Граф» сам нищенствовал — и вдруг... школа...

«Подико-сь все это денег стоит!» — подумал Антошка.

— Ну, брат... об этом после поговорим... вечером... а пока до свидания!

И «граф», надев чуть-чуть набекрень свой цилиндр, с важным и решительным видом вышел из комнаты, натягивая перчатки.

VIII

«Граф» имел обыкновение рано утром выпивать рюмки две водки. Хотя доктора и находили, что это вредно, но «граф», напротив, полагал, что это очень полезно. Некоторый прием алкоголя возбуждал его нервы, и он чувствовал себя бодрее и оживленнее.

Так как дома запаса водки не было, то первый визит «графа» был в заведение поблизости, где он имел кредит.

— С добрым утром, Александр Иванович! — любезно приветствовал его заспанный пухлый сиделец.

«Граф» кивнул головой и проговорил:

— Стаканчик!

Проглотив стаканчик, он с тем же небрежным видом, с каким, бывало, держал себя у Бореля или у Дюссо, кинул: «За мной!» — и, дотронувшись до полей цилиндра, вышел на улицу.

Дождь лил немилосердно, и потому «граф» торопливо дошел до Офицерской и сел в маленькую одноконную каретку-омнибус, которая повезла его по Казанской улице до Невского. Оттуда он направился в Большую Морскую и вошел в подъезд большого дома, где жил его брат, тайный советник Константин Иванович Опольев.

Толстый, раскормленный швейцар с отлично расчесанными холеными бакенбардами, которым мог бы позавидовать любой директор департамента, с нескрываемым презрением оглядел «графа» с ног и до головы и хотел было спровадить на улицу, как попрошайку, который не понимает, куда лезет, как был решительно поражен и озадачен высокомерным тоном, каким этот намокший господин в рыжем цилиндре произнес:

— Эй... ты, швейцар!.. Передай это письмо Константину Ивановичу... Да, смотри, немедленно...

Швейцар нехотя, с брезгливой миной протянул руку за письмом и, с умышленным упорством оглядывая костюм «графа», проговорил не без презрительной нотки в голосе:

— Если генерал спросит, кто передал письмо, как сказать?

— Скажи, что... что... дальний родственник.

И не спеша, с достоинством испанского гранда вышел из подъезда, оставив швейцара в изумлении, что у его превосходительства могут быть родственники, одетые, как нищие.

Дальнейшие посещения «графом» разных швейцарских, где его знали по прежним визитам, нельзя было назвать особенно удачными.

В двух домах ему сообщили, что господа почивают; в двух — передали, что на письма никакого ответа не бу-

дет; в трех ему послали с лакеями по рублю, а от кузины-княгини был деликатно передан конвертик. Он содержал в себе зелененькую кредитку и маленький листок почтовой бумажки, на котором были написаны карандашом следующие слова:

«Желательно повидать мальчика».

— Не верит! — прошептал «граф», запрятывая трехрублевую бумажку и записочку в жилетный карман.

«Что ж, когда Антошку приведем в приличный вид, можно его и послать к княгине Марье Николаевне... Пусть познакомится. Быть может, что-нибудь и сделает!» — весело думал «граф», собираясь теперь сделать визит к «дяденьке».

Был четвертый час. «Граф» порядочно-таки устал после своих посещений нескольких домов в разных частях города и проголодался. Но он решил прежде закончить свою программу действий на сегодняшний день и потом уже пообедать.

Дождь перестал. «Граф» на Михайловской поднялся на империял конки и поехал на Пески.

Иван Захарович и его супруга были дома и оба находились в дурном расположении духа. «Дяденька» курил молча, без обычного благодушия, был совершенно трезв и не выказывал обычной нежности своей Машеньке. Он даже сегодня не ходил в трактир, чтобы почитать газету и побеседовать о политике и о разных отвлеченных предметах с приказчиком. В свою очередь и Машенька была угрюма и зла и, грязная и нечесаная, с подвязанной щекой от ожога, сидела за пологом и взглядывала по временам в окно на двор.

Бегство Антошки беспокоило обоих по весьма уважительным причинам.

Во-первых, Антошка представлял собой и весьма доходную статью их бюджета и потеря такого «племянника» затрогивала довольно чувствительно их материальные интересы. Во-вторых — и это, пожалуй, волновало супругов не менее, — у обоих мелькали неприятные мысли, как бы из-за этого «неблагодарного подлеца», забывшего все оказанные ему благодеяния (на это особенно напирал Иван Захарович, ценивший, как известно, высокие чувства), не вышло каких-нибудь серьезных не-

приятностей с полицией и даже с сыскным отделением, близкое знакомство с которым не очень-то улыбалось Ивану Захаровичу, имевшему уже случай в своей жизни раза два побывать там.

Этот «разбойник» недаром грозился, что найдет управу, и чего доброго заведет какую-нибудь клязузу...

— Дда... неблагодарный и подлый, можно сказать, ныне народ! — наконец проговорил Иван Захарович.

Реплики со стороны жены не последовало, и Иван Захарович снова задумчиво курил папироску.

Оба супруга не прочь бы явить Антошке снисхождение и избить его не особенно сильно, несмотря на укушенную ногу и ошпаренное лицо, если бы только он явился с повинной. Иван Захарович даже несколько сердился на жену за то, что она вчера его «настроила» против Антошки, и размышлял теперь о том, что благоразумие требует не очень-то сильно валять ремнем и что следует при «выучках» остерегаться пускать в ход пряжку во избежание знаков на теле, весьма заметных при медицинском осмотре.

Вообще Иван Захарович, несмотря на сознание необходимости грозной власти в своем заведении, обнаруживал, как большая часть жестоких людей, трусливую подлость в этот день.

Оба супруга с утра поджидали Антошку и часто поглядывали в окно. Отпуская утром своих «пансионеров» на работу, Иван Захарович был со всеми необычно ласков и многих снабдил одеждой и обувью, более соответствующими осенней погоде. Вместе с тем он поручил своим питомцам, в случае если кто из них встретит Антошку, передать ему, что «дяденька» нисколько на него не сердится и охотно простит его, если он вернется домой.

И, как опытный правитель в духе Макиавелли, понимающий, что дурные примеры, подобные Антошкину бегству, заразительны и что после нежных слов не мешаает и угроза, прибавил, обращаясь к своим маленьким покорным подданным:

— Я жалеючи его говорю. А то хуже будет, когда городской его приволокет за шировот. А приволокет беспрерывно, потому как Антошка и все вы в полном моем распоряжении и обязаны по закону мне повиноваться... Ну, а тогда не пеняй... Не прошу! — не без энергии закончил Иван Захарович свою правительственную речь.

По случаю дурной погоды «дяденька» милостиво разрешил своим воспитанникам вернуться пораньше. К трем часам все почти вернулись.

Никто Антошки не встречал.

— Этакий подлец! — сердито проворчал Иван Захарович.

В эту минуту в прихожей звякнул звонок.

Иван Захарович сам пошел отворять, по дороге плотно затворив двери комнаты, в которой помещались его питомцы.

Увидав незнакомого человека, костюм которого не внушал большого уважения и в то же время успокаивающим образом подействовал на Ивана Захаровича, он все-таки по привычке с пытливой подозрительностью взглянул на вошедшего, словно желая определить его житейское положение, и довольно холодно осведомился, что ему угодно.

— Мне угодно переговорить с вами по одному делу, — сухо и резко проговорил «граф», как будто не замечая протянутой ему руки.

Душа Ивана Захаровича ушла в пятки.

«Уж не агент ли сыскной полиции!» — пробежало в его голове.

И он, несколько смущенный, понижая голос до конфиденциального шепота, уже самым любезным, заискивающим тоном просил «графа» пожаловать в комнату.

— Машенька! Выдь на минутку! — значительно проговорил он, обращаясь к жене, и, когда та прошмыгнула мимо гостя в двери, предложил ему присесть и снова бросил на него пристальный взгляд.

Тут, в комнате, при свете лампы, он лучше осмотрел и костюм графа и его испитое лицо, и ему показалось, что он где-то видел этого господина...

«Граф» между тем не предъявлял своего агентского билета, и Иван Захарович все более и более сомневался, что перед ним агент. Он, слава богу, выдывал их! И, словно досадуя на свой напрасный страх, он сел на стул против «графа» и не без некоторой фамильярности сказал:

— Так по какому такому делу пожаловали, господин?.. Извините, не имею удовольствия знать, кто вы такой... А я с незнакомыми никаких делов не веду... Да и, прямо ежели сказать, никакими делами не занимаюсь.

— Я пришел получить у вас метрическое свидетельство Антошки...

— Что-с?..

— Слышали, кажется...

— Какого такого Антошки, позвольте узнать-с? — нахально спросил Иван Захарович, стараясь скрыть вновь овладевшее им беспокойство.

— А того Антошки, который ходил от вас с ларьком и которого вы вчера истязали ремнем и чуть не задушили... Нога ваша, вероятно, уже зажила? — насмешливо прибавил «граф».

— Позвольте, однако, спросить, кто вы такой будете и по каким таким правам требуете документ моего родного племянника?

— Не лгите. Он вам не племянник... Я знаю! — уверенно произнес «граф».

Иван Захарович смутился.

— Все равно вместо родного. Я его воспитал. А вы, что ли, сродственник ему? — насмешливо кинул он.

— Нет, я мальчика давно знаю и принимаю в нем участие... В нем принимают участие и другие лица, и Антошка теперь находится у моей двоюродной сестры, княгини Моравской, — пугнул «граф», заметив, с каким трусом имеет дело.

Иван Захарович недоверчиво взглянул на «графа». Костюм его не свидетельствовал о родстве с князьями, но в то же время в манере этого господина было что-то барское и внушительное. Это Иван Захарович сообразил.

— А вы чем изволите быть?..

— Я... штаб-ротмистр лейб-гвардии уланского его величества полка в отставке, Опольев. Можете, если хотите, удостовериться... Вот мой указ об отставке.

— Что мне удостоверяться?.. Только я документа не отдам. Нашли, с позволения сказать, дурака? По какой такой причине я отдам вам документ?.. Довольно даже странно, что вы, господин, вмешиваетесь в чужие дела... Я тоже права имею.

— Как знаете! — промолвил, вставая, «граф», — но только помните, что завтра же утром я подам заявление градоначальнику! — прибавил «граф» и направился к двери.

Эта угроза произвела на Ивана Захаровича впечатление, и он сказал:

— Позвольте, сударь... Зачем же градоначальнику?.. Если мне уплатят за содержание этого подлеца — как перед богом говорю, что Антошка неблагодарная тварь,— я готов развязаться с ним... Ну его... а то, согласитесь, за что же разорять бедного человека...

— Мне некогда с вами разговаривать. Документ, или завтра же вы будете в сыском отделении... И вообще я советовал бы вам переменить род занятий! — внушительно прибавил «граф»...

— Какие такие занятия, позвольте спросить?

— А заведение чужих детей, которых вы посылаете нищенствовать...

— Всякому надо кормиться... И дети у меня, слава богу, ничем не обижены... всем довольны...

— И тем, что вы их порете?.. Ну, довольно... Отдадите документ или нет?

Через пять минут «граф» вышел, получив под расписку метрическое свидетельство Антошки.

Струсивший и растерявшийся Иван Захарович, провожая «графа», униженно просил не поднимать истории и обещал серьезно подумать о перемене занятий.

— Действительно, беспокойное занятие, сударь... Того и гляди из-за какого-нибудь неблагодарного мальчишки получишь одни неприятности! — говорил Иван Захарович.

«Граф» возвращался в конке с Песков очень довольный, что дело с этим «мерзавцем» было покончено так скоро и легко. Он не ожидал, что «дяденька» окажется таким трусом и отдаст документ первому встречному, который пугнет его. Теперь можно и пообедать. Но прежде «граф» решил, несмотря на голод, свершить маленькую вечернюю экскурсию в одну из людных улиц и, глядя по успеху, позволить себе более или менее роскошное меню обеда.

Деньги, бывшие у «графа» в кармане, он считал Антошкиными и взять из них на обед считал возможным только в случае крайней необходимости.

Доехав до Михайловской, он пошел по левой стороне Невского и сделал несколько предложений одолжить ему какую-нибудь монетку. Несмотря на то, что предложения эти делались и по-русски, и по-французски, и по-немецки, ни одна душа не одолжила «графа», и он повернул в Большую Морскую.

У ресторана Кюба он заметил господина в путейской форме, выходявшего с какой-то дамой из подъезда ресторана со стороны Кирпичного переулка, и быстро очутился возле инженера. При свете фонаря он разглядел веселое, жизнерадостное молодое еще лицо с седоватыми волосами, выбивавшимися из-под фуражки. Инженер оживленно и громко что-то говорил даме под густой вуалью.

— Господин инженер,— проговорил почти на ухо «граф» своим сипловатым баском,— не откажите после устриц одолжить монетку на скромный обед... Премного обяжете...

Инженер, действительно только что евший с своей дамой устрицы, как-то торопливо полез в жилетный карман, взглядывая несколько сконфуженными, ласковыми и наблюдательными глазами на странного господина, и, смеясь, спросил:

— А вы разве не одобряете устриц и тех людей, которые их едят?

— Устрицы весьма одобряю, особенно с хорошим шабли или с максотеном сес, заедаая стильтоном или рок-фором... Благодарю вас! — прибавил «граф», получая, к крайнему изумлению, не монетку, а бумажку и слегка приподнимая шляпу.

— Не за что... Эй, Иван... подавай! — крикнул инженер лихачу извозчику.

— Виноват... — вдруг заговорил «граф», снова подходя к инженеру. — Вы, разумеется, ошиблись.

— В чем?

— Это не канарейка, а синенькая... Возьмите назад, чтоб после не раскаиваться! — иронически вымолвил «граф», протягивая инженеру бумажку.

— Я не ошибся... Я и хотел одолжить вам именно пять рублей! — необыкновенно мягко и ласково отвечал инженер, не без удивления посматривая на этого странного субъекта.

— Не ошиблись? В таком случае я кладу деньги в карман и позволю себе заметить, что вы представляете собою редкий пример легкомыслия и расточительности по нынешним временам... Первый раз в течение моей практики я делаю такой громадный заем на улице... Удивительно!.. Всего хорошего... Всяких успехов...

— Вы, однако, большой оригинал! — заметил инженер, заинтересованный «графом».

— Ника, едем! — торопила дама.

— До свидания! — крикнул инженер...

— Мое почтение!

«Граф» приподнял шляпу и несколько мгновений смотрел вслед удаляющемуся экипажу удивленными глазами.

— Верно, очень счастлив сегодня! — прошептал он, трогаясь с места.

Ввиду такого неожиданного благополучия «граф» считал вправе позволить себе редкую роскошь — пообедать как следует, в трактире, а не в закусочной, и даже выпить полбутылки крымского бордо. Давно уж он не пил вина!

И он направился в один из маленьких ресторанов на Гороховой, предвкушая удовольствие полакомиться вкусными блюдами и глотая слюнки при мысли о нескольких рюмках водки перед аппетитной закуской. Куда ни шло, он кутнет рубля на полтора.

Спасибо легкомысленному инженеру!

IX

Его превосходительство Константин Иванович Опольев уже сидел за письменным столом в своем большом внушительном кабинете, убранном в строго солидном стиле, гладко выбритый, свежий и хорошо сохранившийся, несмотря на свои пятьдесят два года и многочисленные занятия, в щегольски сшитом утреннем костюме, и прилежно занимался, обложенный делами в синих папках, с большим красным карандашом в красивой холерной руке с большими крепкими ногтями,— когда в дверях кабинета показался в это утро его камердинер Егор с письмом на маленьком серебряном подносе в руках.

Неслышно ступая в своих мягких башмаках, Егор приблизился к столу и положил на край его письмо «графа».

Опольев поднял лицо, красивое, смуглое, серьезное лицо, окаймленное такими же вьющимися и засевшими черными волосами, как у младшего брата, с большими темными глазами, над которыми красивыми дугами темнели густые брови, сходящиеся у переносицы.

— Письмо вашему превосходительству!

— Хорошо! — промолвил Опольев низковатым приятным голосом и, взяв в руки письмо, не спеша и аккуратно взрезал конверт ножом слоновой кости.

Брезгливая улыбка слегка искривила его губы, когда он читал письмо брата. Он отложил письмо, пожал плечами и снова принялся за работу.

Однако минуто спустя его превосходительство подавил пуговку электрического звонка и, когда явился Егор, спросил:

— Кто принес это письмо?

— Не могу знать. Швейцар подал.

— Узнайте.

Егор скоро вернулся и доложил, что письмо подал какой-то очень скверно одетый господин и...

Камердинер, видимо, затруднялся продолжать.

— И что же?..

— Он назвался...

— Ну, говорите же, кем он назвался? — нетерпеливо допрашивал Опольев.

— Дальним родственником вашего превосходительства, — словно бы извиняясь, что обязан передать такое неправдоподобное известие, проговорил Егор и даже позволил себе улыбнуться.

«По крайней мере имел стыд не назваться братом!» — облегченно подумал его превосходительство.

И сказал:

— Позовите сюда швейцара.

Когда швейцар явился, Опольев тихим, ровным и спокойным тоном, каким всегда говорил с прислугой, произнес:

— Если господин, который принес утром письмо, придет еще когда-нибудь, не принимайте от него писем и никогда не пускайте его. Поняли?

— Понял, ваше превосходительство.

— Можете идти.

Швейцар повернулся почти по-военному и исчез.

Его превосходительство вновь принялся за работу.

Часа через полтора он поднялся с кресла, слегка перегнулся, расправил свою уставшую спину и, взяв со стола письмо, легкой, молодцеватой походкой, чуть-чуть перекачиваясь, прошел через ряд комнат в столовую.

Там за чайным столом сидела жена Опольева, полная, довольно красивая еще блондинка, в кольцах на

пухлых белых руках, с пышным бюстом и туго перетянутой тальей, и молоденькая девушка в черном шерстяном платье, свежая худенькая брюнетка с одним из тех лиц, которые не столько красивы, сколько привлекательны. Особенно привлекательны были эти большие темно-серые глаза, опущенные длинными ресницами, ясные, детски-доверчивые и в то же время будто пугливые.

— Здравствуй, Anette! Здравствуй, Ниночка! — приветствовал своих Опольев.

И его серьезное, строгое лицо прояснилось ласковой улыбкой, и ровный, несколько монотонный голос его зазвучал мягкими звуками.

Он поцеловал благоухающую руку жены, горячо поцеловал дочь и присел к столу.

— Ну что, хороша была вчера опера? Тебе понравилась, Нина?

— Очень, папа.

— Музыка или певцы?

— Музыка...

— И я вчера хотел попасть в театр, да заседание комиссии затянулось... На вот, прочитай-ка это письмо, Anette,— вдруг, хмурясь, проговорил Опольев, передавая письмо жене...

— А все-таки жаль! — слегка певучим голосом протянула жена, окончив чтение письма.

— А мне нисколько не жаль! — резко и докторально ответил Опольев, видимо недовольный мнением жены. — Совсем не жаль! Человек, который дошел до положения скота, нисколько не заслуживает моего сожаления, хотя бы он был и близкий мой родственник. Нисколько! И я не понимаю этих уз крови, совсем не понимаю и не чувствую их. Коль скоро человек опозорил и себя и всю семью так, как вот этот господин (его превосходительство указал пальцем на письмо, лежавшее около Анны Павловны), то нечего и рассчитывать на какие-то узы... Мне не денег жаль... какие-нибудь двадцать рублей не беда бросить... но принцип... понимаешь ли, принцип...

— Но, послушай... ведь он обращается к тебе в первый раз после того, как ты — помнишь — так круто отнеся к нему... И, наконец, ведь он не для себя, а для какого-то мальчика...

— Ты веришь... этому мальчику? — засмеялся тихим жестким смехом Опольев. — Ну, милая, ты доволь-

но легковерна... Ему на пьянство надо, вот для чего... Помилуй, человек неглупый, который после своего падения мог бы как-нибудь устроиться... жить честным трудом... работать, как все мы работаем, дошел до того, что по вечерам останавливает прохожих и просит подаяния...

— Неужели это правда?.. Мне говорила Marie, но я не поверила...

— К сожалению, правда... И ты хочешь, чтоб я таким помогал?.. Да я готов помочь всякому чужому, но сколько-нибудь порядочному человеку, но только не этому пропойце... Никогда! Дай ему раз, он повадится... Эти люди наглы и лживы... Покойный батюшка недаром его проклял — а отец был твердых правил человек! И я не хочу его знать... Черт с ним... Пусть пропадает... Такие люди не нужны обществу...

— Он сам приходил? — спросила жена, восхищенная убедительными, красноречивыми словами мужа и его умом.

— Вообрази... имел наглость прийти сам... Еще слава богу пощадил... назвался только дальним родственником... Я приказал швейцару никогда больше его не пускать и не принимать никаких писем! — заключил Опольев...

Молодая девушка, слышавшая что-то смутно о «погибшем дяде», внимала жестоким словам любимого отца с каким-то невольным чувством сомнения и, вся притихшая, как-то пугливо взглядывала на него.

— Ну, однако, мне пора в министерство... До свидания, милые! — промолвил Опольев и, сделав прощальный жест, вышел...

— Мама! Позволь мне прочитать это письмо... Можно?

Мать передала молодой девушке письмо.

Та прочитала его и сказала:

— Мама! Папа ошибается... Так не пишут обманщики. Дядя наверное просит не для себя, а для мальчика... Грешно не помочь! — прибавила девушка, и лицо ее подернулось тихою грустью.

— Ты слышала, что папа говорил?

— Слышала... А все-таки папа не прав... Необходимо помочь! — решительно произнесла девушка. — И дяде и мальчику...

— Отец всегда прав! — строго проговорила мать.
Наступило молчание.

Х

Только благодаря сознанию важности принятых на себя обязанностей «граф» в этот вечер обнаружил воистину героическую силу характера, ограничившись всего пятью рюмками водки и полубутылкой красного вина.

Давно уж он не ел такого вкусного обеда, напомнившего ему лакомые блюда былых времен, давно уж не позволял себе такой роскоши, как вино. И он ел с аппетитом проголодавшегося человека, соблюдая, однако, вид джентльмена, имеющего обыкновение обедать более или менее хорошо каждый день.

«Граф» несколько оживился, покончив обед. Глаза его слегка блеснули пьяным блеском. Он чувствовал потребность завершить обед маленькой чашкой кофе и, разумеется, с рюмкой коньяку.

Одну только рюмочку... всего одну!

Но в тот самый момент, когда «граф» величественным жестом руки подозвал лакея, чтобы отдать соответствующее приказание, в голове его, весьма кстати, пронеслась мысль об Антошке, и вслед за тем он вспомнил, что коньяк, особенно недурной, может увлечь его далеко за пределы благоразумия и бюджета и значительно отдалить время возвращения домой... За одной рюмкой любимого им напитка может последовать другая, третья, четвертая, и тогда... что будет тогда с Антошкиными деньгами и где он сам проведет ночь?

— Что прикажете? — довольно небрежно осведомился лакей, точно сконфуженный, что ему пришлось служить такому подозрительному господину.

Душевная борьба, видимо, еще не кончилась, потому что «граф» не сразу отвечал, что ему угодно.

Еще секунда, другая, и он решительно спросил:

— Что с меня следует?

— Рубль шестьдесят пять копеек.

— Сдачи не надо! — небрежно кинул «граф», подавая два рубля; и торопливо вышел из ресторана, словно бы боялся, что решение его может внезапно измениться.

Вернулся он домой чуть-чуть захмелевший, но совершенно твердый на ногах. Он был возбужденно весел и

доволен собой, как человек, избежавший серьезной опасности.

— Ну вот и я, Антошка! Здравствуй, брат! — весело проговорил «граф», входя в комнату и выкладывая на стол несколько свертков, многочисленность которых несколько удивила обрадованного появлением «графа» Антошку.

— Зазябли, граф?..

— Нисколько... ничуть... Чувствую, брат, себя превосходно... Теперь мы с тобой обеспечены на неделю чаем и сахаром! — сказал «граф», похлопывая рукой по двум сверткам. — Четверть фунта чая и пять фунтов сахара!.. А вот тут кое-что и для тебя есть, Антошка! — ласково подмигнул «граф». — Останешься доволен.

Он снял шляпу, снял пальто, бережно повесил на гвоздь и потрепал Антошку по щеке.

— Верно, сегодня хорошо работали с письмами, граф? — спросил Антошка с участием.

— Недурно работал, как ты выражаешься, — засмеялся «граф». — И с письмами, и так... благодаря ораторскому искусству... А ты, пожалуй, правильнее смотришь на вещи, называя это работой. Собственно говоря, такое занятие — очень неприятная и тяжелая работа, хотя люди и называют нас нищими бездельниками! Пусть-ка его превосходительство, мой братец, попробует такой работы... Ха-ха-ха!.. Да, сегодня я недурно работал, Антошка... Однако не так хорошо, как надеялся...

— Не на все письма был ответ?

— Ты сообразительный мальчик. Именно не на все... Но все-таки для начала твоей экипировки кое-что получено... Можно тебе и несколько белья сделать, и сапоги купить, и даже приобрести у татарина какую-нибудь принадлежность костюма. Например, жакетку или панталоны, что ли... Сразу, брат, полное благополучие не достигается... Нет! Но ты этим не смущайся... Я тебе весь костюм сделаю и полушубок куплю! Непременно и в скором времени! — уверенно повторил «граф», ласково глядя на Антошку. — А пока вот попробуй-ка эту штучку, — прибавил «граф», вынимая из одного из пакетов красную пастилку.

Антошка решительно был подавлен такою заботой об его костюме и таким вниманием. Эта заботливость

трогала и смущала его тем более, что пальто самого «графа», по мнению Антошки, не должно было в достаточной степени защищать от холода.

Он быстро проглотил вкусную «штучку» и молчал, не находя слов для изъявления благодарности, и в то же время недоумевал, как это «граф» может так хорошо «работать», чтобы с такою уверенностью говорить о полушубке, и почему он до сих пор не позаботился о собственном пальто. Это, казалось ему, было непростительной ошибкой с его стороны.

— Мне вовсе не надо полушубка. Зачем мне полушубок, ежели вы не будете посылать меня на работу? — вымолвил, наконец, Антошка. — Мне никакого даже костюма не надо... Здесь тепло... Вот вам, граф, ежели, например, к пальто да теплый воротник...

— Обо мне не беспокойся, добрый мой мальчик, — возразил «граф», тронутый такою деликатностью Антошки. — Я знаю секрет, как согреться, если очень холодно...

— И я знаю, граф.

— Ты? Какой же твой секрет?

— Я пробовал. Бывало, заколешь от холода, выпьешь шкалик, и будто теплее...

— Никогда больше не пробуй, Антошка! — строго и торжественно сказал «граф» и прибавил: — Ах, бедный, бедный! Такой маленький и уж согревался водкой!

— Никак нельзя было по нашей работе иной раз не выпить, — оправдывался Антошка. — И меньше меня мальчики пили...

— Теперь у тебя такой работы не будет... слышишь? И ты дай мне слово, что никогда больше не прикоснешься к водке, чтоб не огорчить меня... Дашь?

— Убей меня бог, если я прикоснусь! — горячо воскликнул Антошка и перекрестился. — Да я и не люблю ее. Только горло дерет...

— То-то... Нечего и любить, подлую! — как-то грустно и значительно протянул «граф».

Он стал раздеваться и, облачившись в халат, присел к столу и спросил:

— Ну рассказывай, Антошка, что ты без меня делал? Скучно было?

Антошка не без некоторой гордости объявил, что он не сидел сложа руки. Утром прибрал комнату, вытопил

печь, потом помогал кое в чем Анисье Ивановне и вот теперь занялся книжкой.

— Ай да молодчина, Антошка! Хвалю, что не сидел в праздности. Праздность — мать всех пороков... Не слышал об этом?.. Ну, а теперь скажи: есть хочешь?

— Нет, я сыт. Только что ужинал. Анисья Ивановна дала мне горячих щей и мяса... Преотличные!

— А я тебе ветчины принес... Ну все равно, завтра поешь... И документ твой принес...

— Получили? — воскликнул Антошка.

— Получил.

— И видели их?

— И видел. Ведьма-то твоя с подвязанной щекой ходит, — ловко ты, брат, ее ошпарил! — а дяденька прихрамывает! — присочинил «графа», желая доставить Антошке удовольствие. — Бумага твоя здесь, у меня. Припугнул я этого мерзавца... Теперь ты, Антошка, вольный российский гражданин... Дяденьки не бойся... Он ничего не смеет тебе сделать... Тю-тю твой дяденька! И вовсе он тебе не дяденька и никогда им не был... То-то... Ну, а теперь будем чай пить и беседовать... А чай будем пить с вареньем... Любишь варенье?.. И калачи есть... Ставь-ка скорей самовар... Умеешь?

— Еще бы не уметь! — весело отвечал Антошка.

— Да попроси ко мне Анисью Ивановну...

Бесконечно обрадованный, что ненавистный «дяденька» теперь не смеет взять его к себе, Антошка со всех ног полетел на кухню и, передав Анисье Ивановне приглашение «графа», принялся ставить самовар с каким-то ожесточением усердия.

Ах, как было радостно и светло теперь на душе у Антошки, и как казалось ему лучезарно будущее!.. А главное, как хотелось ему отблагодарить «графа», к которому он чувствовал такую горячую любовь, что готов был для «графа» на все...

«Хотя бы еще такую порку выдержать, как третьего дня!» — мысленно решил Антошка, придумывая, как бы он мог доказать свою преданность...

И пока он раздувал уголья, в голове его бродили, сменяясь одна другой, самые смелые мечты о том, как он потом купит «графу» шубу и наймет ему комнату побольше... Как он избавит его от работы, которая ему почему-то кажется тяжелой и неприятной, хотя казалось

ему, что особенно неприятного нет — писать письма и получать в ответ деньги. И не особенно тяжело, если только тепло одеться, попросить на улице у хорошо одетых людей... Что им стоит дать пятак?... По крайней мере, когда он работал в нищенках, он нисколько не стеснялся... но «граф» не хочет, чтобы Антошка так работал, и Антошка, конечно, не будет... «Граф» худу не научит. Только бы поскорей ему научиться читать и писать, а там он найдет место... Он поступит в приказчики в лавку. Чего лучше? А то сделается газетчиком... тоже недурно... Во всяком случае, он позаботится о добром «графе». И Анисья Ивановна пусть вместе живет... И Нютка тоже... То-то будет отлично!

И Антошка находился в таком альтруистическом настроении, что в своих ребячьих мечтах ни разу не вспомнил ни о «дяденьке», ни о «ведьме» и в данную минуту далек был от мысли засадить первого в острог, а вторую бросить под конку.

XI

«Граф» усадил Анисью Ивановну на стул и, предложив ей полакомиться пастилой, советовался с ней насчет того, что можно сделать для Антошки на семь рублей.

Анисья Ивановна приняла живое участие в этом деле и кстати похвалила мальчика. Сегодня он сам вызвался ей помогать и делал все со старанием. Она предложила свои услуги по части белья. На два рубля она купит холста и сошьет ему по паре рубаш, исподних и подверток.

— А за два рубля, Александр Иванович, можно купить в рынке сапоги, а на три — целый костюм для мальчика. Вот и обули и одели...

— Вы говорите: можно? Отлично! Только за глаза трудно покупать... Идти-то ему не в чем.

Но и это затруднение было улажено. Анисья Ивановна обещала попросить у дворника пальтецо и сапоги его сынишки. Он одного роста с Антошкой.

«Граф» горячо благодарил хозяйку. Отдавая ей два рубля, он передал ей еще полтинник, чтоб покончить маленькие счета.

— Да вы не торопитесь, Александр Иванович. Мне пока деньги не нужны, а у вас большие расходы.

— Пожалуйста,— настоял «граф».— У меня есть в виду значительная получка, Анисья Ивановна. Непременно двадцать рублей должны прислать! — прибавил «граф».— Куда ж вы? Сейчас Антошка самовар принесет... Не угодно ли с нами чаю напиться?

Анисья Ивановна сперва отнекивалась, но кончила тем, что согласилась выпить «чашечку» и пошла за стаканами и чашкой.

Скоро на маленьком столе шумел самовар. Около стояли варенье, пастила и калачи. От ветчины все отказались.

Антошка угощался на славу и только удивлялся, что «граф» ничего не ест, а пьет пустой чай и попыхивает папироской. Анисья Ивановна молча, прикусывая вареньем, выпила чашку и скоро поднялась, объяснив, что у нее дело...

— А мерку я завтра с тебя сниму, Антошка! — проговорила она, уходя.

— Вот, брат, дело и слажено... Завтра мы тебя обмундируем! — промолвил «граф».— А потом я тебя к одной княгине пошлю...

— К княгине? Зачем мне идти к княгине? С письмом, что ли?

— Нет, так. Она с тобой говорить будет...

— Настоящая княгиня?

— Настоящая...

— Зачем же ей со мной говорить?..

— Расспрашивать будет... Ты ей всю правду говори, как жил у дяденьки, как ко мне убежал...

— К чему ей это знать?..

— Она, быть может, денег даст или захочет определить тебя куда-нибудь...

— Я бы от вас никуда не хотел! — решительно заявил Антошка.

— Я и сам не отпущу тебя, если ты согласен со мною жить... Разве уж что-нибудь хорошее представится...

— Ничего не представится. А я месяца в два, бог даст, выучусь писать и читать по-настоящему и тогда в газетчики поступлю. У меня есть один знакомый газетчик... Он схлопочет...

— В газетчики? — протянул «граф».

— Что ж, разве худое место? Небось жалованье дадут... А я у вас жить буду.

— Положим, и в газетчики недурно... Всякие новости знать будешь. Но можно и лучше сыскать место, если подольше поучиться. Например, этак, знаешь ли, машинистом, а?.. Ты прежде поучись основательно... А уж мы с тобой как-нибудь да прокормимся. Много ли нам нужно? А к княгине ты все-таки сходи... Кто знает, она, быть может, что-нибудь и сделает... Кстати увидишь, как живут князья... Любопытно...

— Небось очень богато... Мне сказывал один человек, будто они едят на серебряных и на золотых тарелках, а купаются в молоке... Это правда?

— Не совсем... Твой человек несколько преувеличил... Но все-таки живут богато...

— И лакеев страсть?

— Есть-таки.

Антошка примолк и минуту спустя спросил:

— И откуда только у них деньги, у этих самых князей да графов?

— Доходы получают с имений, с домов... А то и сами наживают.

— А эти имения и дома откуда?

— Гмм... Откуда?.. У одних перешли от родителей; другие купили на деньги, которые тоже от родителей достались... Ну, а третьи сами нажили... А как, лучше и не спрашивай...

Это объяснение не вполне, однако, удовлетворило любопытность Антошки. Откуда, в свою очередь, у родителей явились имения и дома, так и осталось для него невыясненным.

Но он не нашел удобным приставать к «графу» с дальнейшими расспросами о происхождении богатств и, переходя к другой занимавшей его мысли, спросил:

— А что, граф, настоящие князья и графы делают? Ненастоящий «граф» весело рассмеялся.

— А ты как думаешь, Антошка? — переспросил он.

— Я думаю, что они ничего не делают. Да и что им делать?

— Ты не ошибся... Собственно говоря, они ничего не делают... Не все, впрочем... Некоторые служат... получают жалованье... выходят в генералы...

— Зачем, ежели они богаты...

— А так... Лестно... Шапка белая... на груди кресты и звезды... мундир расшитый... Видал?..

— Видал...

— Небось и ты хотел бы быть генералом?

— Очень бы даже хотел... Но только из простых генералов не бывает...

— Бывает... Ежели выучишься всему, что нужно, и ты можешь быть генералом... Конечно, это редко, но случается...

— Ну?..

— Я тебе верно говорю.

— А вы, граф, тоже прежде были богаты?

— Был, Антошка...

— То-то вас графом называют...

— Только я не граф...

— Из каких же вы будете?

— Из дворян, из старинных дворян, Антошка!

— Это из господ, значит?..

— Именно, мой друг...

— Я так и полагал, что вы из важных...

— Это почему?

— Вид у вас такой графский... Сейчас приметно... Другой и видно богач, а виду нет... А вы богаты тоже были? — допрашивал Антошка.

— Да... было состояние...

— И много у вас денег было?.. Тысяч десять поди? — осведомлялся Антошка, имевший о богатстве довольно смутные представления.

— Тысяч триста считай! — усмехнулся «граф».

Антошка ахнул. В его воображении пронеслось что-то колоссальное.

«Я бы таких денег не спустил!» — подумал он и спросил:

— За такие деньги можно, например, дом купить?

— Да еще какой!

— Ишь ты! Куда же вы столько денег потратили?

— Так, зря потратил... на всякие глупости и безобразия... Только и жил для того, чтоб себя потешить и другим показать: вот какой я дурак... Не понимал тогда, что это гнусно...

— Для форца, значит? — старался уяснить себе Антошка.

— То-то для форца, как ты выражаешься... И когда я ухнул свои триста тысяч, я еще задолжал на двести...

Отец долги заплатил и отказался от меня... Проклял... Понял?

— Понял! — шепнул Антошка, невольно вздрагивая при представлении об ужасе проклятия.

— Ну, вот с тех пор я и сделался нищим...

Антошка участливо посматривал на «графа».

— А разве тогда никто вам не помог? — спросил он.

— Никто... Да и к чему помогать такому мотыге? Решительно не к чему!

— А я на месте отца помог бы! — решительно заявил Антошка.

«Граф» усмехнулся.

— Капиталу большого не дал бы, а отпускал бы на прожиток... А то вдруг так-таки и бросить человека. Пропадай, мол!

«Граф» любовно взглянул на своего сожителя и словно бы про себя заметил:

— Оно, пожалуй, и лучше вышло, что тогда меня все бросили... А то я так бы свиньей и остался!

Этой «философии» Антошка, видимо, не понял и удивленно приподнял брови. По его мнению, получать барину на прожиток от сродственников ничего общего не имело со свинством. На то он и барин, чтобы ничего не делать... Видал он, слава богу, господ... Катаются себе да гуляют. Пречудесно!

Однако он не сообщил этих соображений «графу» и с большим любопытством и некоторым соболезнаванием спросил после минуты молчания:

— А если б того не случилось... вы могли бы выйти в генералы?

— Наверное. Все мои товарищи генералы... Я прежде офицером был.

— Офицером? — протянул удивленно Антошка.

— Хочешь посмотреть, какой я был?

«Граф» достал из своего сундука старенький альбом и, передавая его Антошке, проговорил:

— Вот узнай-ка, где я?

Антошка стал рассматривать альбом, в котором было много офицеров, генералов в крестах и со звездами и красивых дам, несколько огорошенный таким обилием важных особ.

— Это все ваши сродственники, граф?

— Тут не одни родственники; есть и бывшие товарищи и знакомые...

— И князья и графы есть?

— Однако ты, Антошка, как посмотрю, имеешь к ним большое пристрастие... Уж не думаешь ли и ты графом быть со временем? — рассмеялся «граф». — Ну, а меня не узнал?

— Нет! — отвечал несколько сконфуженный Антошка.

— Вот, полюбуюсь!

И «граф» указал на фотографию молодого красавца брюнета, в полной парадной форме уланского офицера, веселого, жизнерадостного, с смелым, слегка надменным выражением в больших глазах. И поза на фотографии была вызывающая, самоуверенная...

— Это — вы? — воскликнул полный восхищенного изумления Антошка, и его быстрые карие глаза перебежали с портрета на оригинал, желая уловить сходство.

— Я... Собственной своей персоной...

— Теперь и не признать!

— Ну еще бы! — грустно протянул «граф».

И по его преждевременно состарившемуся, испытанному, землистому лицу, нисколько не напоминавшему красавца на портрете, пробежала тень...

— Укатали, брат, сивку крутые горки! — промолвил «граф».

Оба примолкли.

— Однако ложись спать, Антошка... Завтра пораньше пойдем в рынок покупать тебе обмундировку... Ложись... О князьях и графах еще успеем поговорить... Только знаешь ли что?.. Не особенно завидуй им... Правильно, не стоит...

Скоро они улеглись спать.

Антошка хоть и полон был новыми впечатлениями и мыслями, но тем не менее довольно скоро сладко захрапел.

В этот вечер, перед отходом ко сну, «граф» почему-то вдруг вспомнил о советах доктора и не выпил обычных нескольких рюмок водки, хотя бутылка и была им принесена в числе других закусок и спрятана в сундук, чтоб Антошка ее не видал. И — что еще было странней! — ему, еще несколько дней тому назад совсем равнодушному к смерти, теперь, напротив, очень хотелось жить.

Долго ворочался «граф» на своем жестком блинчатом тюфяке, долго кашлял скверным, сухим кашлем, чувствуя, как ноет грудь, и долго думал об Антошкиной судьбе и об его полушубке.

«Неужели «знатный братец» до конца будет последователен и оставит просьбу без ответа? Неужели жалость недоступна его сердцу?»

И в голове «графа» забродили воспоминания о «братце».

Никогда они не были близки и дружны. Этот благоразумный, солидный и корректный Костя, любимец отца, всегда относился несколько свысока к беспутному Шурке и нередко читал ему нравоучения. И всегда он был какой-то жесткий и гордился и тем, что вышел из школы правоведения с золотой медалью, и своим умом, и своими блестящими успехами по службе. Когда бабушка оставила одному Шурке, своему любимцу, свое состояние, брат еще более озлился на Шурку, говорил с нескрываемым презрением, что дуракам счастье, и наотрез отказался взять половину наследства, которую Шурка великодушно предложил старшему брату. С тех пор они редко и видались. Шурка просаживал наследство, а Костя работал, усердно делая карьеру. Скоро он уехал в провинцию, назначенный двадцати семи лет прокурором окружного суда, и вернулся в Петербург, чтобы занять довольно видное место в то самое время, как младший брат должен был выйти из полка и избежал позора суда за подлог только благодаря тому, что отец заплатил за сына большую часть своего состояния... После этого Шурка обратился за помощью к брату, но получил от него жестокое письмо...

О, это было одно из тех бессердечных и в то же время неумолимо справедливых писем, логичных и строго принципиальных, которые могут писать только очень сухие и мнящие себя непогрешимыми люди. И «граф» до сих пор не забыл этого письма — он даже сохранил его, — в котором старший брат привел веские соображения, почему он считает невозможным помочь человеку, делающему подложные надписи, хотя бы таким человеком был и родной брат, и почему он «покорнейше просит» не считать его братом и ни в какие сношения не входить. Далее он откровенно выражал сожаление, что отец заплатил по векселю, а не передал дела судебному

разбирательству, и рекомендовал пустить себе пулю в лоб. Это было бы самое лучшее.

С тех пор прошло пятнадцать лет. «Граф» знал из газет, что брат занимает очень видное место. О нем пишут в газетах. В иллюстрациях помещают его портреты. «Знатный братец» был знаменит, и пропойца-нищий раз за два-три видел его на улице... видел и каждый раз вспоминал его со злобой. Он ненавидел его и глубоко презирал, считая его далеко не заслуживающим той репутации, какой он пользовался. Прослышав про его богатство, он был уверен, что «знатный братец», несмотря на всю свою корректность, далеко не разборчив в средствах, но только умеет ловко хоронить концы.

«Наверное, ворует!» — решил «граф» и нередко в компании таких же пропойц, как он сам, ораторствовал по поводу несправедливости и неправды, которые царят на земле.

— Укради что-нибудь какой-нибудь уличный ворюшка — и его в тюрьму, ему нет пощады, а если ворует видное лицо, как бы вы думали, что ему? Ничего! Даже если и попадется, то самое большее, что уволят и назначат в какой-нибудь совет... Так-то на свете творятся дела!

Он все ждал, что «знатный братец» попадется и его уволят, но проходили года, и он крепко сидел на своем месте, хотя озлобленная уверенность «графа» как будто и имела некоторые основания. По крайней мере о бескорыстии Опольева ходили весьма нелестные слухи в бюрократических кругах, и многие удивлялись, как это министр верит в добродетели Опольева.

С такими недобрыми воспоминаниями о своем «знатном братце» граф еще долго не засыпал. Он уж не надеялся больше на ответ. Никакого ответа не будет. Необходимо придумать новый источник для приобретения полушубка.

XII

На следующее утро, скверное и сырое октябрьское утро, «граф» с Антошкой отправились в Александровский рынок и после тщательного осмотра разных костюмов и сапог купили, наконец, все, что было нужно.

Нельзя сказать, чтобы «граф» был удовлетворен покупками, но зато Антошка был в полном восторге и от

сапог, и от поношенной темно-серой блузы, и от штанов, приобретенных за три рубля после довольно оживленного торга. В таком костюме Антошка еще никогда не ходил. Все было цело и, главное, впору, точно на него сшитое. «Дяденькины» же костюмы всегда отличались полным несоответствием с тоненькой и худенькой фигурой Антошки и имели вид мешков. Недурна была и фуфайка, приятно согревающая грудь, хороша была и шапка из поддельных смушек, купленная у татарина за двугривенный.

Из рынка они вернулись домой. Отворила им двери Анисья Ивановна, необыкновенно радостная, и тотчас же сообщила «графу», что его ждет посыльный с «приятным письмецом».

— Уж полчаса, как дожидается, Александр Иванович. Не могу, говорит, без расписки доверить... А я тоже сбегала, холста купила... Вечером и шить начну...

Радостное волнение охватило «графа» при известии о «приятном письмеце», и напрасно он старался скрыть его! Лицо его мгновенно просветлело и оживилось, и голос дрогнул, когда он торопливо проговорил:

— Попросите-ка, Анисья Ивановна, посыльного... Что за письмецо...

«Совесть в нем, видно, не совсем пропала!» — подумал он в ту же минуту.

Посыльный вошел в комнату «графа» и подал ему небольшой, эlegantный, надушенный конверт с коронкой. К изумлению «графа», почерк на конверте был, очевидно, женский: мелкий английский и довольно красивый.

Он вскрыл конверт. Там было письмо и в нем двадцатипятирублевая бумажка. Тем же мелким почерком написанное письмо было следующего содержания:

«Дорогой дядюшка!

Папа поручил мне послать прилагаемые деньги и извиниться перед вами, что сам не отвечает вам. Он очень занят. Вместе с тем он просит не благодарить его и, если вам что будет нужно, обращаться ко мне. Я с большим удовольствием принимаю на себя эту обязанность и усердно прошу не забывать этого. Дай бог вам и вашему бедному мальчику всего хорошего. Преданная вам Нина Опольева».

Глаза «графа» были влажны, когда он прочитал это письмо.

Он понял, почему не надо благодарить «знатного брата», и тотчас же написал племяннице:

«Дорогая Нина Константиновна!

Ваша помощь и ваше доброе письмо тронули меня до глубины души. Что бы вам ни говорили обо мне, верьте, что присланные вами деньги будут употреблены на мальчика. Будьте счастливы и примите горячую благодарность от меня и от мальчика. Безгранично благодарный А. Опольев».

— Вот вам ответ и двугривенный за то, что ожидали меня! — радостно проговорил «граф», обращаясь к старику посыльному.

И затем спросил:

— Кто вам письмо передал? Сама барышня или прислуга?

— Сама барышня... Позвали в коридор перед кухней и передали...

— Что, как она?.. Должно быть, совсем молодая?

— Молодая... Лет этак двадцати, не более.

— Так, так... Брюнетка или блондинка?

— Чернявенькая, сударь... И аккуратенькая такая барышня.

— А собой как?.. Красива?

— Очень даже лицом приятные... И простые такие, даром что такого важного генерала дочь... Ласково так говорили со мной... Просили, чтобы скорей отнес вам письмо... Очень, мол, нужное... В собственные руки бесприменно отдайте... И целых шесть гривен дали... Не по тации, значит.

«Не в отца!» — подумал «граф».

Когда посыльный ушел, «граф» весело воскликнул, показывая Антошке бумажку, которую давно уже не видал в своих руках:

— Вот мы и с полущубком, Антошка... И у нас еще про запас останется... Решительно тебе везет счастье! Спасибо милой племяннице... Спасибо молодому доброму сердцу... Оно отозвалось и поверило... Да, Антошка, молодость-то отзывчива...

— А откуда у барышни так много денег, что она вам такую бумажку прислала? — задал вопрос практичный Антошка.

— Откуда?.. Верно, отец на булавки ей дает... Она единственная у него дочь...

— На булавки... и такую пропасть денег?..

«Граф» объяснил, что значит «на булавки», и пошел заказывать Анисье Ивановне обед.

В тот же день Антошка щеголял в полушубке.

«Граф» в этот вечер не выходил на работу.

XIII

Княгине Марье Николаевне Моравской тридцать два.

Так по крайней мере она говорит вот уже года три-четыре, и показание это нисколько не противоречит ее наружности.

Она недурна собой, даже красива, свежа, цветуща и пышет здоровьем. Слегка подведенные глаза полны блеска и жизни и в то же время целомудренно-строги. Талии ее позавидовали бы многие барышни. Походка легка и грациозна. Фигура красивая и внушительная, напоминающая римскую матрону древних времен.

Всем этим она обязана не одному только господу богу, но в значительной мере и самой себе; так как заботы о своей персоне она возводит до степени культа и ведет самый гигиенический образ жизни, чтобы не пополнеть, не подурнеть и преждевременно не поблекнуть.

Она ежедневно берет холодную ванну, спит в прохладной комнате, ходит пешком верст по пяти, не ест мучного и сладкого, не пьет горячего чая или кофе, рано ложится спать и рано встает — словом, основательно блюдет себя.

Детей у нее нет. Мужу, военному генералу, страдающему ревматизмом и печенью, под шестьдесят. Исключительно светская жизнь княгиню не удовлетворяет. Семейная — и подавно. Супруг совсем не интересен со своим ревматизмом и брюзжанием. Свободного времени у княгини много, и она отдает его на служение ближним.

Она — дама-благотворительница, необыкновенно деятельная и энергичная.

В этой деятельности она находит удовлетворение. Поглощенная ею, княгиня не так чувствует «тяжесть креста», как фигурально она называет свой брак с почтенным генералом.

В свою очередь и князь, хотя и относится слегка насмешливо к «филантропическому зуду» жены и к тому,

что она «пускает к себе всякую сволочь», тем не менее, в сущности, весьма доволен и охотно открывает супруге свой кошелек.

Еще бы! Ведь благодаря ее увлечению он избавился от семейных сцен, он не видит скучающего лица любимой жены, он не слышит ядовитых намеков о загубленной жизни.

Все это как рукой сняло с тех пор, как Марья Николаевна посвятила себя делам благотворения и в них, казалось, забыла о неудовлетворенности личной своей жизни. Она стала мягче и ласковее с мужем и, по-видимому, прощала ему и его шестьдесят лет, и его печень и терпеливо выслушивала за обедом жалобы князя на государственных людей.

Вы, вероятно, видели эту высокую, статную, элегантную женщину со слегка приподнятой головой, одетую почти всегда в черное, безукоризненно сшитое платье, на благотворительных вечерах, где она является в качестве распорядительницы и всегда о чем-то хлопочет, отдает приказания, появляясь то тут, то там? Если не видали, то, наверное, знаете княгиню Моравскую понаслышке, как об известной благотворительнице. И уж, во всяком случае, встречали ее имя в газетах.

Она председательница кружка «Помогай ближнему!», член разных благотворительных обществ, издательница и автор многих душеспасительных брошюр, рекомендующих в горячей вере найти забвение от терний жизни, устроительница всяких благотворительных спектаклей, концертов, лекций и базаров и одна из самых умелых и назойливых опустошительниц карманов своих многочисленных знакомых в различных слоях общества.

Стоит только быть ей представленным или явиться к ней по какому-нибудь делу, как через минуту-другую у вас в руках два-три билета на какое-нибудь зрелище с благотворительной целью. Отделаться от княгини так же трудно, как попасть в царство небесное. Она нападает внезапно, без всяких предисловий и смотрит на вас так строго и решительно, что нужно обладать большим мужеством, чтобы немедленно не вынуть бумажника и не заплатить контрибуции.

Репутация княгини в свете выше всяких подозрений. Ее даже не злословят и только удивляются самоотвер-

жению, с каким она несет крест свой, имея на руках шестидесятилетнего мужа. Ее уважают, но не особенно любят. Злые языки даже говорят, что от сердечных увлечений княгиню спасают не столько строгие правила, сколько темперамент. Она холодна по натуре и слишком дорожит своею репутацией, чтоб рискнуть увлечься.

Но как бы то ни было, а княгиня высоко держит знамя супружеского долга и женской добродетели и, гордая ею, даже не повторяет слов пушкинской Татьяны, так как никого не любит, кроме самой себя.

В это утро княгиня, проведя после ванны целый час в уборной, где выпила чашку жидкого чая с крошечным сухариком, по обыкновению ровно в девять часов вышла в свой роскошный небольшой кабинет, убранный с тонким вкусом и изяществом и полный редких художественных вещей.

Свежая, цветущая и благоухающая, княгиня была в черном кашемировом платье, нежная ткань которого плотно охватывала красивые формы. Темно-каштановые волосы были гладко зачесаны назад и собраны в коронку, возвышавшуюся над головой. Не совсем правильные крупные черты ее лица не лишены были той холодной красоты, которая светит, а не греет. Высокий лоб, прямой римский нос, чуть-чуть приподнятый, с расширенными ноздрями, румяные щеки, тонкие, плотно сжатые губы, большие темно-серые глаза и над ними красивые дуги густых бровей.

И в выражении этих глаз, и в складе рта, и в несколько горделивом подъеме головы, и во всей ее фигуре было что-то строгое, холодное и самоуверенное. Сразу чувствовалось, что эта красивая женщина любит себя и свое холеное тело, внутренне любит себя и своим видом будто говорит: «Посмотрите, какая я цветущая, здоровая и добродетельная. Чувствуйте это!»

В маленьких ее ушах сверкали брильянтовые кабюшоны. На руках колец не было, за исключением обручального. Кольца едва бы шли к ее несколько крупным, почти мужским, белым, выхоленным рукам с крепкими розоватыми ногтями больших, но породистых пальцев.

Она подошла к письменному столу, на котором с поразительною аккуратностью были расставлены разные

письменные красивые принадлежности и расположены бумаги и книги, и посмотрела в свою маленькую записную книжку, в которую княгиня записывала программу дня.

Оказалось, что сегодня во время прогулки ни одного из клиентов кружка посещать не следует. В час у нее заседание комитета, в три у нее назначено деловое свидание, а в четыре она должна ехать хлопотать о концерте. Вечером — благотворительный спектакль.

Она посмотрела затем аккуратно собранные в папке прошения для доклада в сегодняшнее заседание и, взглянув на часы, прошла через анфиладу комнат на половину мужа. Она всегда ходила здороваться к нему сама, чтобы муж не являлся к ней и не засиживался у нее, отнимая время.

Низенький, худой, плешистый старик генерал в коротенькой тужурке, с закутанными в плед ногами, сидел в большом кресле в жарко натопленном кабинете и читал газету.

При виде своей молодой и цветущей жены, с появлением которой в комнату как будто ворвалось само здоровье, он завистливо вздохнул и, поднявшись с кресла, пошел к ней навстречу, стараясь твердо ступать тоненькими ногами и вообще принять молодцеватый вид.

— Здравствуй, Marie.

И князь почтительно и нежно поцеловал руку жены. Она слегка прикоснулась губами к его холодному желтоватому лбу.

Перед высокой, крепкой, здоровой княгиней тщедушный князь казался каким-то карликом.

— Доброго утра, Пьер. Ну, как ты сегодня себя чувствуешь? Кажется, хорошо? — спросила княгиня своим низким и густым красивым контральто.

— Сегодня как будто получше... Ревматизм не донимает... А тебя и спрашивать нечего... Цветешь, красавица! — прибавил нежно князь, и взгляд его маленьких тусклых глаз скользнул по роскошному бюсту жены...

— Ну, до свидания... Иду гулять...

— До свидания, Marie...

Он опять поцеловал женину руку и спросил:

— К завтраку придешь?

— Разумеется...



«ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖИЗНИ»



«ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖИЗНИ»

Княгиня облегченно вздохнула, выйдя из этой душевной, натопленной комнаты,— она не любила жарких комнат,— и прошла в переднюю.

Молодая, чисто одетая горничная уж ожидала ее там со шляпкой, перчатками и зонтиком. Представительный лакей подал ей коротенькую жакетку, и княгиня, несмотря на сырость и дождь, пошла «делать моцион», направляясь твердой и скорой походкой с Гагаринской набережной к Летнему саду.

Перед уходом она взглянула на часы. Было ровно десять.

— В половине двенадцатого я вернусь! — сказала она швейцару и прибавила: — Если кому-нибудь меня нужно видеть, пусть подождет.

— Слушаю, ваше сиятельство! — отвечал швейцар.

Княгиня обязательно гуляла ровно полтора часа, не более ни менее, имея с собою подометр, и — совсем не по-женски — была аккуратна, как вернейшие часы, и — что еще удивительнее — умела отдавать приказания кратко, ясно и точно.

XIV

Вернулась она слегка вымокшая, зарумяненная и проголодавшаяся.

— Никого не было?

— Никак нет, ваше сиятельство!

Переменив обувь (калош княгиня не носила) и чулки, она присела к письменному столу и принялась просматривать газеты, принесенные от князя и отчеркнутые красным карандашом в тех местах, которые почему-либо ему очень нравились или, напротив, возбуждали его негодование.

Княгиня, впрочем, не особенно интересовалась такими местами, находя взгляды мужа слишком уж напоминающими времена Иоанна Грозного, но все-таки их прочитывала, чтобы подавать в случае разговора реплики.

Часы пробили двенадцать.

И с последним ударом хорошо вышколенный княжеский лакей доложил, что завтрак подан.

Княгиня отложила в сторону не прочитанные еще «Times» и «Figaro» и торопливо прошла в столовую.

Князь уже был там в расстегнутом сюртуке, под которым был ослепительной белизны жилет, и не садился в ожидании княгини.

Им подали различные блюда после того, как они отведали закуски. Князю — бульон, яйца всмятку и рубленую, разбавленную хлебом куриную котлетку с каким-то пюре, а княгине — большой сочный кусок филе.

Плотоядный огонек блеснул в глазах проголодавшейся женщины, когда она, съев маленький кусочек селедки, заложила салфетку за ворот платья и положила с серебряного блюда к себе на тарелку филе, полив его почти кровавым соусом.

Она ела «корректно», не спеша, с видимым наслаждением, хорошо прожевывая куски и запивая их глотками чуть-чуть тепловатого польяка из маленького стакана, и что-то животное, напоминающее радостного зверя, было в это время в красивом лице княгини. Глаза оживились; широкие ноздри слегка раздувались.

Она вся, казалось, отдавалась наслаждению еды, серьезная и сосредоточенная, и словно бы инстинктивно чувствовала, что в этом кровавом нежном мясе, которое она дробит своими крепкими и крупными белыми зубами, она черпает и свою свежесть, и румянец, и здоровье.

А генерал в эту минуту лениво ковырял вилкой котлетку, поглядывая на жену и завидуя ее аппетиту. Он знал, что жена не любит разговаривать во время еды, и молчал.

Княгиня окончила мясо и чувствовала, что еще голодна. Но она удержалась от соблазна взять кусок холодной индейки, поданной лакеем, и только скушала немножко цветной капусты.

Затем ей подали крошечную чашку кофе и тут же на подносе письмо.

Она прочитала письмо и сказала лакею:

— Пусть мальчик подождет. Когда я кончу завтракать, проведите его в коридор. Что! Он очень грязен?

— Нет, ваше сиятельство, незаметно...

— А одет как, в лохмотьях?

— Одевание весьма пристойное. Полушубок-с.

— В таком случае проведите его в мой кабинет! — приказала княгиня.

Она выжидала, пока остынет кофе, и генерал воспользовался этим, чтоб заговорить.

— А ты обратила, Marie, внимание, что делается во Франции?..

— Как же, читала...

— Недурная страна равенства и братства. Хе-хе-хе... Княгиня отмалчивалась.

— А я говорю, что и мы к тому же идем!

Жена подняла на мужа удивленные глаза и стала отхлебывать маленькими глоточками кофе.

— Ну уж, ты слишком,— промолвила она.

— Не слишком, душа моя, а я вижу, что творится в бедной России... Земство все еще о себе воображает... Ты читала корреспонденцию из Оршанска?.. Я отметил...

— Нет еще...

— Так прочти... Увидишь, что не слишком... И вообще... Само правительство созывает какие-то сельскохозяйственные съезды... Говори что угодно... Решительно у нас нет государственных людей... Надо бы сразу, знаешь ли...

Княгиня, почти не слушая, тщательно выполаскивала рот.

— Извини, меня там ждут,— проговорила она, вставая...

Поднялся и князь.

— Непременно, Marie, прочти... Это бог знает что такое...

— Прочту, будь уверен...

— Тебе не нужна будет карета?.. Я еду сегодня в совет.

— Нет... Я выеду на дрожках.

И супруги разошлись по своим комнатам.

Тем временем Антошка, вымытый и причесанный, в новом полушубке и вычищенных сапогах, сидел в сторонке в обширной кухне и зоркими, любопытными глазами молчаливо наблюдал и повара в белой куртке и колпаке, и лакея во фраке, и забежавшую щеголеватую горничную и не оставил без должного внимания длинного ряда блестящих кастрюль, кастрюлек и разных не виданных им форм и медных вещей, расставленных на трех полках.

Это обилие вычищенной на славу медной посуды несколько удивило его, и он решил, что держать столько

беспольных вещей положительно ни к чему. Если бы половину продать, и то было бы за глаза достаточно.

И пылкое его воображение уже оценивало приблизительно стоимость назначенного им к продаже и на эти деньги, которые он почему-то уже считал своей собственностью, покупало теплую шубу «графу», необходимую для такого больного человека. А эту ночь бедный «граф» все кашлял, кашлял и утром, снаряжая Антошку к княгине, часто схватывался за грудь.

Анисья Ивановна поила «графа» малиной и советовала ему посидеть дома.

Вот почему Антошка жалел «графа», и воображение его, увлеченное видом бесполезных кастрюль, работало в известном направлении.

Затем, наблюдая, как повар без церемонии пробует кушанья, Антошка возымел желание сделаться поваром и начал было размышлять, сколько княжеский повар должен получать жалованья (должно быть, немало — недаром он такой толстый!), — как вошедший лакей прервал его размышления и сказал:

— Пойдем, мальчик, к княгине!.. Да сапоги оботри хорошенько, а то наследишь!

Несколько оробевший Антошка вытер насухо сапоги и пошел вслед за лакеем, осторожно ступая по паркетным полам и коврам.

Лакей отворил двери кабинета и слегка подтолкнул Антошку. Он очутился перед лицом княгини.

XV

Антошка остановился у дверей с разинутым ртом от изумления и теребил в руках шапку, несколько смущенный и подавленный при виде пушистых ковров, картин, мебели, обоев, разных вещей, клетки с попугаем — словом, всей роскошной обстановки комнаты, в которой находился.

Никогда в жизни не видал он ничего подобного и, озираясь с видом ошалевшего дикаря, в первую минуту не заметил княгини, сидевшей в дальнем углу за письменным столом и несколько скрытой трельяжем.

— Попка! Попка дурак!.. Попочка!

Антошка вздрогнул.

Однако, догадавшись скоро, что это кричит птица, он сосредоточил на ней свое внимание и улыбнулся.

Княгиня между тем рассматривала Антошку в длинный черепаховый лорнет с тем подозрительным вниманием, с каким обыкновенно смотрят благотворители на обращающихся к ним клиентов.

По-видимому, она осталась довольна первым впечатлением, произведенным на нее выразительным, бледным и худым лицом Антошки, и, отводя лорнет, произнесла ободряющим, мягким, но в то же время деловым тоном:

— Подойди поближе. Не бойся, мальчик!

Антошка только теперь увидал княгиню.

Осторожно ступая по ковру, словно у него был лапек в руках, и боясь что-нибудь задеть в этой полной мебели и всяких диковинных штук комнате, он сделал несколько шагов и остановился в почтительном отдалении.

— Еще ближе! — приказала княгиня.

Антошка приблизился к столу.

Первое впечатление охватившего его смущения уже прошло. Недаром же Антошка большую часть своей жизни проводил на улице, обращаясь за копеечками для «бедного сиротки» преимущественно к хорошо одетым людям, норовя их по возможности «объегорить», как выражался он сам в минуты откровенности.

И Антошка довольно смело поднял свои умные, бегающие карие глаза на свежее, красивое, выхоленное лицо княгини и, помня наставления «графа», не соорудил плаксивой физиономии, так как этого по обстоятельствам не требовалось.

По-видимому, наружность молодой женщины удовлетворила эстетическое чувство Антошки и вполне соответствовала его представлению о красоте настоящих княгинь и о том, что они едят с золотых тарелок и, разумеется до отвала, пищу самую хорошую и потому такие гладкие и румяные.

Но костюм княгини, признаться, разочаровал его.

Воображению его представлялось — да и фотографии разных важных барынь, выставленные в витринах, казалось, подтверждали его, — что настоящие княгини и графини обязательно должны быть в каких-нибудь особенных платьях, затканых серебром или золотом, и непременно с оголенными шеями и руками, украшенными драгоценными камнями, или по крайней мере в красных,

а не то голубых платьях, стоящих много денег, а вместо того эта княгиня, в комнате у которой так все красиво и пахнет чем-то приятным, одета вся в черном, точно монашка.

Только горевшие в ее ушах крупные брильянты указывали, по мнению Антошки, на отличие ее от обыкновенных барынь, которых он видал на улицах. Да и у многих из них были такие же камешки.

«Скупая, должно быть. Жалеет одёжи», — решил Антошка.

— Как тебя зовут, мальчик?

— Антошка, ваше сиятельство! — довольно бойко отвечал Антошка.

Он с особенным, свойственным мелким торгашам, щегольским мастерством произнес титул, которым с расточительною щедростью награждал, не справляясь в департаменте герольдии, лиц, покупавших у него на улице спички, бумаги и конверты.

— А твоя фамилия?

Антошка опешил. Он не знал, как его фамилия, и никогда не интересовался знать, есть ли у него она, и вообще нужна ли ему такая роскошь.

— Меня все Антошкой зовут, ваше сиятельство!

— Однако должна же у тебя быть фамилия?

— В документе, который граф отобрал у дяденьки, верно, обозначена фамилия.

«Граф» и «дяденька» решительно ничего не объяснили княгине и только усложнили дело допроса, вызвав на лице княгини выражение некоторого недоумения.

— Так ты не знаешь, как твоя фамилия?

— Не знаю, — отвечал Антошка, несколько сконфуженный, что на первых же порах дал маху и не догадался сочинить фамилию, которая, судя по словам княгини, должна была быть и у него.

— Кто твои родители?

— У меня нет родителей, ваше сиятельство!

— То есть умерли?

— Бог их знает. Надо полагать, что умерли.

— И матери не помнишь?

— Не помню.

— У кого же ты жил до сих пор?

— У Ивана Захарыча...

— Кто он такой... Твой родственник?

— Назывался дяденькой, только он не дяденька, а чужой... Я у него в нищенках работал, а потом с ларьком ходил... У него много детей живет в нищенках... На него собирают... Этим он и живет.

Антошка решительно заинтересовал княгиню, открывая ей Америку. Она, ретивая благотворительница, и не знала, что в Петербурге существует такой безнравственный промысел.

— Где живет этот Иван Захарович?

Антошка сказал адрес. Княгиня записала его в записную книжку и продолжала допрос:

— А теперь ты где живешь?

— У графа...

— У какого графа? — удивилась княгиня и в то же время подумала, что ее несчастный кузен обманул ее, написавши, что мальчик находится у него.

— То есть они не графы, а только их так прозывают... А по-настоящему их зовут Александр Иванович Опольев... Они, можно сказать, меня и спасли от Ивана Захарыча, как я от него убежал... Они мой документ у него отобрали и приютили меня...

— А ты отчего убежал от этого Ивана Захарыча?

— Шибко бил... Ремнем бил...

— Тебя только бил?

— Меня еще реже, а других ребят и не дай бог как хлестал, ваше сиятельство... Особенно маленьких...

— За что же он наказывал?

— Главное за выручку.

— Как за выручку?

— Если кто, значит, мало соберет милостыньки. А — извольте рассудить, ваше сиятельство, — ежели в дурную погоду да в рваной одежде, какая тут выручка? Тут дай бог не заколеть от холода, а не то что выручка... А он этого не разбирал... Все больше жена его, подлая, настраивала... Озверев, и давай ремнем...

— Какой ужас! — проронила княгиня. — И дети никому не жаловались?

— Кому жаловаться? Он застрашивал. «Вы, говорит, у меня проданные, я, говорит, что хочу, то с вами и делаю!..» Дай бог здоровья графу, это он объяснил, что мы не проданные... Я и убежал от этого дьявола, ваше сиятельство!

Положительно Антошка являлся в некотором роде интересным героем в глазах княгини. Его рассказ может дать благодарную тему для сегодняшнего заседания комитета...

И она сказала Антошке:

— Расскажи мне подробно и по чистой правде, за что именно тебя наказали и как ты убежал... И почему именно к «графу»... Ты где с ним познакомился?

— На улице... Они тоже работали...

— Как работали?

— Сбирали, значит... Только больше по вечерам...

«До чего упал!» — подумала княгиня и проговорила:

— Так рассказывай же, как это все случилось...

С этими словами княгиня придвинула записную книжку и карандаш, чтобы отметить существенные показания Антошки и не забыть их при докладе.

Она всегда, допрашивая клиентов с искусством и настойчивостью хорошего судебного следователя, записывала даваемые ей сведения и затем наводила более или менее точные справки о просителях, считая возможным и полезным оказывать помощь только более или менее добропорядочным нищим, то есть таким, которые ради подачки не лгут наглешим образом.

Эта система помощи, возведенная в принцип, строго проводилась в обществе «Помогай ближнему!», председательницей которого была княгиня, и потому, вероятно, многие его клиенты запасались самыми доброкачественными свидетельствами, фабриковавшимися умелыми людьми, о разных более или менее правдоподобных злоключениях и несчастиях.

Польщенный вниманием, оказанным его особе настоящей княгиней, Антошка не без повествовательного таланта рассказал о непосредственной причине своего бегства, предпослав эпизод с двугривенным, данным доброй барыней, и не злоупотребил вниманием своей слушательницы подробностями выдержанной им порки. Подчеркнув затем с похвальной, впрочем, скромностью подвиги, оказанные им самим в этот достопамятный вечер, он с художественною краткостью и силою расписал «дяденьку» и «рыжую ведьму» и с горячим чувством признательного сердца рассказал про гостеприимство доброго «графа».

— Кабы не граф, пропасть бы мне, как собаке, ваше сиятельство! — заключил Антошка свой рассказ.

И с этими словами вытер рукавом обильно струившийся по лицу пот, так как продолжительное пребывание в теплой комнате, да еще в полушубке, давало-таки себя знать.

Княгиня записала показания Антошки и, когда он кончил, подняла на него испытующий взгляд.

Довольно приличный, относительно, костюм Антошки возбудил вдруг в ней подозрительные мысли и словно бы бросал тень на правдивость рассказа. Ведь ей рассказывают так много невероятных вещей!

И она спросила:

— Ты не лжешь, мальчик?

— Убей меня бог, ваше сиятельство.

— Не клянись всеу... Это нехорошо, — строго остановила Антошку княгиня и продолжала: — Тебя не научил рассказать всю эту историю твой «граф»?

— Они приказывали правду говорить и ничему не научали. Граф ничему дурному не научит! — горячо заступился за «графа» Антошка, чуя в словах княгини, что «графа» подозревают в чем-то нехорошем.

— Ты рассказывал, что убежал от этого Ивана Захаровича в летнем пальто и в башмаках...

— Точно так, ваше сиятельство.

— Так объясни мне, пожалуйста: откуда у тебя и полушубок и сапоги, а? где ты их достал? — допрашивала княгиня, продолжая смотреть в глаза Антошки и ожидая, что мальчик смутится.

Но Антошка нисколько не смутился и ответил:

— Все это мне граф справили.

— «Граф»? — усмехнулась княгиня. — Но твой благодетель сам нищий... На какие же деньги он мог тебя одеть?.. Это что-то неправдоподобно! — говорила княгиня, которая действительно не могла понять, что этот несчастный пропойца и нищий, каким был ее кузен, мог не только сердечно отнестись к другому нищему, но еще и одеть его.

Тогда Антошка рассказал про письма, которые «граф» разносил, и про двадцать пять рублей, полученные от какой-то «сродственницы». Из этих денег «граф» и сделал полную обмундировку. Все справил: и рубахи, и пиджак, и сапоги, и полушубок...

— Вот какой граф, ваше сиятельство! — произнес дрогнувшим голосом Антошка. — Как отец родной... И я за графа, кажется, что угодно приму... Меня-то одели и обули в самом лучшем виде, а сам-то граф, ваше сиятельство, в зябком пальтеце ходят... Наскрозь продувает... Хучь бы воротник меховой какой, и того нет... А между тем больны... Кашляют страсть! — говорил со страстностью адвоката Антошка, имея заднюю мысль порадеть в пользу своего друга. Быть может, княгиня, узнав положение родственника, справит графу шубу.

Речь Антошки дышала такой правдой, что даже и пессимистическая княгиня поверила, что Антошка не рассказывает заранее сочиненной истории. И княгине как будто стало неловко за свои подозрения на своего «пропавшего» кузена. Она прежде его знала, и он ей когда-то даже нравился.

И княгиня, значительно смягчившись, спросила:

— Так твой «граф» болен?

— Грудью, должно быть, больны...

— Пьет, видно?..

— И вовсе не пьет, ваше сиятельство! — решительно отвечал Антошка.

Княгиня недоверчиво усмехнулась.

Затем она задала Антошке еще несколько вопросов относительно помещения и пищи у Ивана Захаровича и, получив обстоятельные ответы, занесла их в записную книжку.

Как ни лестно было Антошке находиться в гостях у княгини, тем не менее визит этот начинал казаться ему несколько продолжительным. Было дьявольски жарко и очень хотелось есть.

И Антошка рассчитывал, что княгиня тотчас же прикажет выдать «графу» на шубу, а ему, Антошке, тоже отвалит по крайней мере рубль и отпустит его домой.

Но надежды Антошки не оправдались.

Княгиня несколько времени молчала, погруженная, казалось, в какие-то размышления, и, наконец, обратилась к Антошке с вопросом:

— Тебе сколько лет?..

— Пятнадцатый...

— Грамоте, конечно, не знаешь?

— Немножко, самоучкой, ваше сиятельство.

— А в церковь ходишь?..

— Нет, ваше сиятельство...

Княгиня строго покачала головой и что-то черкнула в книжке.

— Но по крайней мере дома молишься каждый день?

Антошка, имевший довольно смутные понятия и о религии и о религиозных обязанностях, обыкновенно прибегал к помощи господ бога в экстренных случаях, преимущественно тогда, когда выручка была плоха и ему грозила, по его соображениям, порка. В такие моменты Антошка с страстной горячностью молился богу, сочиняя сам молитвы, приноровленные исключительно к обстоятельствам дела. Он просил всемогущего, чтобы он послал ему хорошую выручку или чтобы запретил подлему черту «дяденьке» наказывать его ремнем, а в некоторых случаях, когда молитвы его не бывали услышаны и Антошка возвращался из комнаты «дяденьки» с исполосованной спиной,— он обращался к господу богу с молитвами уже самого нехристианского характера, а именно: просил, чтобы «дяденьку» разразило на месте, а «рыжую ведьму» взяли черти.

Затем он часто упоминал имя божие и особенно Христа-спасителя во время нищенства, а во время своей торговой деятельности клялся и божился, призывая господ бога в доказательство доброкачественности и дешевизны спичек, конвертов и бумаги,— с расточительностью, воистину греховной.

Таково было религиозное поведение Антошки.

И потому, когда княгиня задала ему последний вопрос, он, решительно не знавший, что молиться следует каждый день, а не тогда только, когда грозит встрепка, добросовестно сознался, что каждый день не молится.

И, сознавшись, тотчас же раскаялся, что не соврал, так как опять увидел, как неодобрительно княгиня покачала головой и снова черкнула что-то в своей книжке...

Решительно, конец визита подгадил все. «Теперь тютю и графская шуба и рубль!» — подумал Антошка, прозревая, как опытный наблюдатель, в серьезном выражении красивого лица княгини и особенно в ее глазах, больших, строгих, темно-серых глазах, что-то недовольное и малообещающее.

— Ты знаешь какую-нибудь молитву?

Увы! Антошка не знал ни одной молитвы, кроме вдохновенных молитв собственного сочинения.

Соврать было решительно невозможно. Эта «занозистая княгиня», как уже мысленно окрестил ее Антошка, сейчас же поймает.

И Антошка, испытывая чувство подавленности и некоторого раздражения, далеко без прежней развязности проговорил:

— Не знаю.

Снова зачиркал карандаш. И опять вопрос:

— И «Отче наш» не знаешь?

— Не знаю! — угрюмо, опуская на ковер глаза, прошептал Антошка.

— Бедный мальчик! — промолвила княгиня, отметив в книжке, что Антошка не знает даже «Отче наш».

Но это восклицание не приободрило Антошку и только отозвалось в его ушах, но не проникло в сердце.

Снова наступило молчание.

Антошка с удовольствием готов был бы дать тягу, значительно разочаровавшись в настоящих княгинях, которые, вместо того чтобы дать мальчику на бедность и приказать его накормить, нудят его допросами, не принимая в соображение, что он задыхается от жары.

«Нечего сказать, княгиня!»

То-то он расскажет «графу», как она донимала. И что за беда, что он не знает молитв. Он может их выучить, если на то пошло!

— Я подумаю, что для тебя можно сделать, мальчик! — проговорила, наконец, княгиня и пожала плечики электрического звонка.

Явился лакей.

— Проводите мальчика на кухню. Пусть он там пождет. Что, все приготовлено в зале?

— Все готово, ваше сиятельство!

— Ступай, мальчик, посиди. Ты еще будешь мне нужен.

Антошка вышел, несколько недоумевающий.

«Что еще с ним будут делать? Неужели опять нудить допросами? В таком случае хоть бы дали поесть!» — подумал Антошка, чувствуя дьявольский аппетит, особенно усилившийся на кухне, где пахло чем-то вкусным.

Но княгиня, скорбевшая о мальчике, не знавшем даже «Отче наш», и решившая сегодня же в заседании поднять вопрос о том, как его устроить, не подумала, что мальчик, может быть, голоден, и не приказала накормить Антошку.

XVI

В час начали собираться члены комитета общества «Помогай ближнему!».

В ожидании начала заседания в кабинете княгини шла обычная болтовня: передавали новости, говорили о погоде, о только что назначенном новом министре, о последнем судебном деле, интересовавшем Петербург.

Собравшиеся дамы-благотворительницы принадлежали к разным кружкам петербургского общества: было несколько светских, две-три принадлежащие к среднему кругу, одна женщина-врач и некрасивая, немолодая, сухоощавая девица — купчиха-миллионерка, известная своею щедрою благотворительностью.

Во втором часу княгиня попросила гостей перейти в зал. Почти все собрались, только адмиральша Андрусова, по обыкновению, опоздала — верно, скоро придет.

Все уселись вокруг большого стола, покрытого зеленым сукном, на котором были разложены листы белой бумаги, очиненные карандаши и экземпляры последнего отчета.

На конце стола перед креслом председательницы рядом с большой чернильницей и перьями лежали папки с бумагами и красовался звонок.

— Открываю заседание! — произнесла княгиня, опускаясь в кресло.

По обе ее стороны уселись единственные два мужчины, бывшие среди присутствовавших девяти дам: казначей общества Артемий Ильич Пушкиков, известный петербургский коммерсант и богач, пожилой, сухоощавый господин с бритым лицом, смахивающий на англичанина, и секретарь, господин Цветковский, молодой блондин из лицейстов с приятным, несколько женоподобным лицом, мягкими, изящными манерами и почтительно-нежным взглядом красивых голубых глаз, — словом, с тою наружностью, которая словно бы присуща секретарям дамских благотворительных обществ.

Корректный, элегантно одетый, коротко остриженный, с бородкой à la Henri IV, чистенький и аккуратный, он и имя имел вполне соответствующее положению: Евгений Аркадьевич.

Сын небогатых родителей, он служил в одном из департаментов и подавал надежды, а досуги свои посвящал обществу «Помогай ближнему!», работая в нем усердно и добросовестно и несколько побаиваясь строгой председательницы, которая вникала во все дела и, энергичная, деятельная и до щепетильности аккуратная сама, требовала и от других добросовестного исполнения принятых на себя обязанностей.

— Не угодно ли, Евгений Аркадьевич, прочитать протокол прошлого заседания?

Цветковский поднялся с кресла и приятным, слегка певучим баритоном стал читать протокол о разрешенных разным лицам пособиях, о назначении пенсий, о наведении справок, об отказах по тем или другим причинам, об устройстве благотворительного концерта и тому подобное.

Чтение заняло минут пять времени.

— Угодно принять протокол? — спросила княгиня.

Никто не возражал.

Секретарь положил протокол перед председательницей. Она подписала его, и затем все стали подписывать, передавая протокол друг другу, пока он не вернулся к секретарю и, им подписанный, бережно и аккуратно был вложен в портфель.

— Вы готовы, Евгений Аркадьич?

— Готов, княгиня! — отвечал секретарь, кладя перед собой чистый лист бумаги и вооружаясь пером.

— Не угодно ли прослушать справки о лицах, обращавшихся с просьбами о пособии в прошлое заседание. Лидия Васильевна!.. Вам первой... О вдове рядового Камчатского пехотного полка Пелагее Устиновой... прачке, — говорила княгиня привычным, деловым тоном, громко и отчетливо, заглядывая в исписанный листок.

Некрасивая пожилая девушка-миллионерка, за громадным состоянием которой напрасно охотились одно время молодые и красивые женихи титулованных фамилий, стала давать отчет о своем посещении прачки.

Она говорила порывисто и горячо, краснея, торопясь и заикаясь и оттого, что конфузилась говорить на собраниях, хотя была членом во многих благотворительных обществах, и оттого, что сознавала некрасивость своего желтого прыщеватого лица с подслеповатыми глазами, и оттого, что на нее были обращены взгляды всех присутствовавших дам, которые не без зависти разглядывали ее простое, но прелестно сшитое платье от Ворта и крупные брильянты в ушах.

Она была на прошлой неделе у Пелагеи Устиновой, на Петербургской стороне. Положение ее ужасное. Ей пятьдесят пять лет. Вот уже год, как она не в состоянии работать и добывать себе кусок хлеба. У нее застарелый ревматизм, и она не встает с постели. В больницу ее не принимают...

— Кажется, хронических больных не принимают в больницы, Анна Игнатьевна? — обратилась некрасивая миллионерка к даме, сидевшей напротив.

Плотная, здоровая и крепкая женщина-врач, лет около сорока, в черном шелковом платье, с золотой цепочкой от часов поверх лифа, с тем твердым, уверенным и даже самодовольным выражением на своем широком, румянном лице с крупными некрасивыми чертами, которое нередко бывает у женщин, добившихся тяжелым, долгим трудом успеха в жизни, подтвердила предположение девушки-миллионерки, заметив авторитетным тоном:

— Совершенно верно. Хроников в больницы не принимают.

— Вот и старуха говорит, что ее не приняли...

И девушка-миллионерка продолжала перечислять бедды Пелагеи Устиновой.

Родных у нее здесь ни души. Живет она в отвратительном угле и три месяца не платит за квартиру, так что бедную старуху квартирная хозяйка грозит выгнать... Все, что она скопила на черный день, прожито... Все это рассказала старуха... Она вообще производит хорошее впечатление... Ее слова подтвердили и все ее сожители и квартирная хозяйка.

— По моему мнению, ей непременно следует помочь... даже назначить пенсию! — заключила докладчица, деликатно, разумеется, умолчав, что при посещении старухи она дала ей своих пять рублей.

— Мне кажется, самое лучшее нам поместить ее в богадельню! — проговорила княгиня.

Все согласились, что это было бы лучше всего.

— Я говорила ей об этом, но она не хочет.

— Отчего не хочет?

— Она надеется поправиться и опять работать...

Еще бы ей хотеть в богадельню, этой Пелагее, известной на Петербургской стороне нищей и посетительнице кабаков.

Она, эта охавшая, с завязанным лицом старуха, тотчас же по уходе дамы-благотворительницы вскочила с постели как встрепанная и, добросовестно поделившись с сожителями за подтверждение ее бесшабашного вранья, ушла из квартиры и вернулась домой мертвецки пьяная.

Отдавши должную дань трудолюбивым порывам Пелагеи Устиновой, комитет постановил: назначить ей по три рубля ежемесячного пособия на год и, если она не поправится, хлопотать о помещении ее в богадельню. О постановлении известить просительницу.

Женщина-врач, сообщившая о престарелой вдове мелкого чиновника, и господин Цветковский, доложивший об одной молодой женщине, брошенной с четырьмя детьми негодяем мужем, были не так восторженны в своих речах, как девушка-миллионерка, и, по всей вероятности, менее доверчивы к словам разного бедного люда, который им приходилось посещать по своим обязанностям благотворителей. Но так как и вдова-чиновница, и женщина, брошенная мужем, бесспорно жили в нищете, то им было назначено временное пособие по пяти рублей на каждую, причем поставлено было иметь в виду брошенную женщину и ее малолетних детей.

Затем княгиня стала докладывать поступившие прошения.

Их было порядочно, этих прошений, на больших и на маленьких листах белой и серой бумаги, написанных и чувствительным, и строго деловым, и патетическим, и унижительным, и ругательным слогом, и длинных, с автобиографическими подробными сведениями, и с изложением утешительных видов на будущее, и лаконических в несколько строчек, и, наконец, юмористических, в которых разная беднота, но по преимуществу «престарелые капитаны и поручики», «несчастные благородные

дворянке» и «горемычные вдовы», обремененные сиротами, взывали к «добрым сердцам» и «высокому покровительству» высочайше утвержденного общества «Помогай ближнему!».

Княгиня не читала прошений, особенно длинных и иногда не лишенных глубокого трагизма, скрытого в высокопарных, безграмотных словах, а делала извлечение, выбирая самое существенное.

По нескольким прошениям давнишних клиентов разрешены были выдачи, нескольким хорошо известным пьяницам было отказано, а по остальным решено собрать сведения...

Доложив последнее прошение, княгиня проговорила:

— Теперь позвольте обратить ваше внимание на одно из тех ужасающих зол, которые, к стыду нашему, творятся в Петербурге... Я сегодня, сейчас об этом узнала, и совершенно случайно. Знаете ли вы, что в Петербурге существует особый промысел: брать несчастных детей и посылать их, рваных и плохо обутих, просить милостыню на улицах. Мы все, конечно, видели таких детей, но едва ли кому-нибудь из нас могла прийти в голову чудовищная мысль, что эти дети — жертвы чужой организованной эксплуатации...

Вслед за таким эффектным началом княгиня, со свойственной ей умелостью, передала факты, сообщенные ей Антошкой о заведении Ивана Захаровича, об истязании детей, об их одежде, помещении, пище.

Для огромного большинства благотворительных дам сообщение княгини было невероятным открытием.

Все возмутились.

— Неужели, милая княгиня, такие ужасы существуют? — воскликнула одна из светских благотворительниц, молодая элегантная дама.

— Ведь это что-то чудовищное! — воскликнула другая.

— И чего смотрит полиция! — строго заметила пожилая супруга какого-то видного чиновника.

— Вы, княгиня, открываете одно из возмутительнейших явлений! — вставил, в виде комплимента, секретарь.

Весьма довольная, что ей пришлось открыть это возмутительное явление и познакомить с ним своих коллег, княгиня продолжала:

— У меня находится одна из таких жертв — мальчик, который бежал из заведения нищих детей после того, как его истязали. Он нашел пристанище у одного сострадательного нищего, человека, когда-то принадлежавшего обществу и окончательно павшего... Этот отверженец — можете себе представить? — принял горячее участие в мальчике, кое-как одел его, обратившись за подачками к своим родственникам, и прислал его ко мне с просьбой что-нибудь сделать для него... Этот мальчик и рассказал мне все... Его история необыкновенно печальная... Он сирота... Не знал ни отца, ни матери... и «работал», как он выражается, то есть собирал милостыню для этого изверга, какого-то отставного солдата... Мальчик производит хорошее впечатление, но вообразите, в какой обстановке он рос?.. Он не знает даже своей фамилии... Только одно имя! А ему пятнадцатый год!

Открытие мальчика, «не знающего своей фамилии», вызывает общий взрыв удивления.

Снова раздаются восклицания:

— Не знает своей фамилии!

— Несчастный мальчик!

— Это дикарь какой-то!

Только женщина-врач не выражала удивления, и в глазах ее мелькала едва заметная улыбка. Ее подмывало даже объявить во всеуслышание, что в сообщенном факте нет ничего особенно удивительного, и в доказательство привести кое-какие данные о положении детей бедных хотя бы в Англии.

Но Анна Игнатьевна вспомнила, что получила место в институте благодаря княгине, и, несмотря на желание блеснуть эрудицией, дипломатически промолчала, хорошо сознавая, что омрачить это наивное удивление мало-сведущих дам, и в особенности княгини, было бы для них неприятно.

«Пусть себе удивляются тому, что всякому интеллигентному человеку хорошо известно! На то они и светские барыни!» — высокомерно подумала Анна Игнатьевна, питавшая в то же время некоторое завистливое удивление к этим светским барыням за их манеры и умение одеваться.

Но еще большее впечатление, чем незнание фамилии, произвели на собрание слова княгини:

— Мало того... Этот мальчик никогда не бывал в церкви и никогда не молился... Он даже не знает «Отче наш»!

После нескольких секунд изумленного молчания несколько дам сразу заговорили о том, что надо принять меры против таких чудовищных явлений... Необходимо указать полиции. Вероятно, в Петербурге не одно такое заведение, в котором вырастают подобные дети... Что ждет их в будущем?.. Обществу «Помогай ближнему!» следует прийти им на помощь... Это его святая обязанность... Не правда ли, княгиня?

Княгиня, твердо соблюдавшая порядок, позвонила в колокольчик.

Наступило молчание.

— Я не имею повода сомневаться в правдивости показаний мальчика,— заговорила княгиня,— но во всяком случае прежде всего надо навести справки... Если комитету будет угодно, я возьму это на себя... Разрешает комитет?

Все изъявили согласие.

Кто ж это лучше сделает, как не княгиня?

— Если сведения, сообщенные мальчиком, подтвердятся, я сама поеду просить кого следует о том, чтобы обратили внимание на эту безжалостную эксплуатацию детей... и затем доложу комитету... Занесите это в протокол, Евгений Аркадьевич!

— Я записал, княгиня...

— А я тогда скажу Петру Петровичу... Хотите, княгиня? — спросила молодая элегантная барыня.

— Отлично... Он, конечно, распорядится, чтобы этого не было.

— Конечно, он ничего и не знает о бедных детях! — промолвила пожилая супруга важного чиновника.

— Что же касается мальчика, то я предложила бы комитету поместить его в наш приют... У нас ведь есть, кажется, одна вакансия в приюте, Евгений Аркадьевич?

— Есть, княгиня...

— Угодно комитету разрешить поместить мальчика в приют?..

Никто не имел ничего против.

— Оставлять его на попечении того лица, у которого он находится, было бы гибельно для мальчика и для всей его будущей жизни... А мальчик очень способный...

Быть может, комитету угодно видеть будущего питомца и от него самого услышать его печальную эпопею?..

Это предложение было принято с большим удовольствием. Всем любопытно было первый раз в жизни взглянуть на маленького несчастного дикаря, не знающего своей фамилии и не знающего «Отче наш»!

XVII

Благодаря сердобольной молодой судомойке, догадавшейся предложить голодному Антошке стакан кофе с большим куском ситника, мальчик заморил червяка и, снявши полушубок, уже с меньшею подавленностью духа сидел в сторонке на кухне и снова любопытно наблюдал и за поваром и за другой прислугой, прислушиваясь к их разговорам. Довольно едкие замечания насчет княгини только подтвердили предположение Антошки, что она «занозистая» и что ее все слуги в доме боятся.

Прошел долгий час, и Антошка решился обратиться к лакею, водившему его в кабинет княгини, с вопросом: — Позвольте узнать: долго мне еще дожидаться?

Слова эти были сказаны таким почтительным тоном, что Антошка сразу расположил к себе великолепного лакея с роскошными бакенбардами.

— Теперь, должно быть, недолго... Комитет скоро кончится! — снисходительно проговорил он.

Антошка, видимо, не имел ни малейшего понятия о комитете, и лакей ему пояснил:

— Господа, значит, собрались к княгине, ну и рассуждают о таких же бедных субъектах, как ты... И твое дело обсудят как следует. Не бойся, и тебе выйдет какая-нибудь резолюция... Сиди, пока не потребуют!

Антошка, решительно не подозревавший о существовании благотворительных обществ и в течение своей воистину каторжной жизни у «дяденьки» ни разу не испытывавший их благодеяний, был порядочно таки удивлен, что господа собираются для разговоров о бедных субъектах (слово это он почему-то счел ругательным и вообще презрительным по отношению к бедным), и в особенности тем, что господа обсуждают — если только лакей не врет — и его какое-то дело.

По его мнению, это уж совершенно лишнее. Что тут обсуждать? Гораздо проще, казалось бы, богачке княгине

не, не спрашивая ничьих советов, дать ему рубль и послать в конверте графу красненькую: «купите, мол, себе теплый воротник», и дело с концом! А то из-за таких пустяков собираться и рассуждать, заставляя человека зря дожидаться,— это Антошка находил невероятным и «довольно даже глупым».

И он подумал, что, верно, княгиня забыла про него, а лакей врет и смеется над ним, расчесанная шельма!

«Знаю я их, подлецов. Они любят издевку!» — решил про себя Антошка, испытавший не раз во время летних экскурсий по дачам с ларьком лакейские каверзы.

Однако он не выразил на своем лице подозрения и сделал вид, что вполне поверил словам лакея.

«Пусть себе думает, что надул!»

Но когда, наконец, этот же самый лакей торопливо вошел на кухню с приказанием Антошке идти за ним и, разрешив Антошке остаться в блузе, ввел его в большую залу, Антошка, увидав сидевших за столом лиц, убедился, что лакей был прав.

«Верно, все княгини и князья!» — подумал он и, оставленный лакеем у двери, поглядывал на «княгинь» без особенного смущения и страха, имея уже случай из продолжительного свидания с самой настоящей княгиней убедиться, что страшного в них решительно ничего нет. Это не то что «дяденька», «рыжая ведьма» или озверевший «фараон»!

Он заметил, что княгиня что-то сказала щуплому барину, сидевшему около нее, и тот направился к нему.

«Видно, объявка будет!»

Но вместо того «щуплый», как обозначил Антошка молодого секретаря, довольно осторожно взял своими двумя белыми и длинными пальцами за рукав Антошкиной блузы и, проговорив: «Идем, мальчик», не без некоторой торжественности провел Антошку через залу и поставил его у кресла председательницы, лицом к столу — так, что все господа члены комитета общества «Помогай ближнему!» могли отлично рассмотреть такую диковину, как мальчик, прокусивший ногу своего мучителя и — что еще необыкновеннее! — не знающий ни своей фамилии, ни «Отче наш».

Зрители, устремившие любопытные взоры на Антошку, были, по-видимому, несколько разочарованы в своих ожиданиях увидеть перед собою маленького дика-

ря, грязного, с всклокоченными волосами, или что-нибудь в подобном роде.

Вместо того перед ними мальчик как мальчик, даже довольно приличный и чистый и совсем не имеющий того забитого вида, который, казалось бы, должен иметь после всех своих злоключений. Напротив! В этой маленькой, тщедушной фигурке и особенно в выражении его глаз было что-то слишком смелое и вызывающее для мальчика в его положении и совсем непривычное в клиентах, с которыми благотворительные дамы имели дело.

Однако они нашли (о чем некоторые и перекинулись французскими фразами), что мальчик недурен собою, но только, бедняжка, бледен, и, хотя разочарованные, все-таки не отказали ему в некотором сочувственном сожалении.

Несколько иначе отнеслись к нему мужчины: казначей, господин Пушников, подумал, что Антошка должен быть продувная бестия и что, следовательно, из него со временем может выйти человек, а секретарь Евгений Аркадьевич был даже несколько шокирован и не совсем, по его мнению, почтительною позой Антошки и недостаточным, так сказать, проникновением чувством благоговения и благодарности, которое должен бы испытывать этот нищенка и бродяжка, имея счастье находитьсяся перед таким собранием.

Во всяком случае, Антошка не оправдал ожиданий, и княгиня это тотчас же заметила.

И, чтобы возбудить интерес к открытому ею интересному мальчику, она сказала ему:

— Ну, мальчик, расскажи нам, что ты терпел у своего Ивана Захаровича и как ты от него убежал... Рассказывай, как знаешь... Не бойся... Здесь все твои доброжелатели...

Антошка удивился, что это интересуется княгиню настолько, что она во второй раз заставляет его рассказывать, да еще не с глаза на глаз, а при других.

Однако делать было нечего. Антошка откашлялся и повторил свой рассказ с некоторыми, впрочем, сокращениями.

Тем не менее успех Антошки как лектора был несомненный, и когда, вслед за сообщением Антошки, заседание было закрыто, то многие дамы перед уходом

подходили к Антошке и выражали ему в более или менее теплых словах участие. Его называли «бедным мальчиком», его трепали по щеке лайковыми и шведскими перчатками. Его утешали, что теперь положение его совсем изменится и он делается вполне хорошим мальчиком и будет знать не только «Отче наш», но и другие молитвы и вполне оправдывает заботы о нем общества «Помогай ближнему!».

Антошка принимал все эти знаки сочувствия довольно равнодушно и, к ужасу секретаря Евгения Аркадьевича, даже не благодарил, а только хлопал глазами, очевидно, не вполне понимая, в чем дело и каким образом изменится его положение, если ни одна из этих «княгинь», подходивших к нему и находивших, что он бедный мальчик, не дала ему ни гривенника. «А дай каждая из них по гривеннику — было бы ровно девяносто копеек!» — быстро решил в уме своем Антошка математическую задачу.

Двух мужчин он вовсе не принял в расчет при этой выкладке, так как сразу почувствовал не особенно дружелюбное отношение их к себе. Особенно этот «щуплый» брезгливо посматривал на него своими стеклянными голубыми глазами... От этих двух господ нечего было и ожидать хотя бы пятака — и черт с ними!..

Но барыни, кажется, могли бы дать по гривеннику. Небось не обеднели бы. А то трепали по щеке и ушли себе, а еще княгини!..

«Нечего сказать: довольно скупые княгини!» — подумал Антошка, оставаясь наедине с княгиней Моравской в большой зале и поглядывая, как она писала какое-то письмо.

«Верно, графу и, верно, сейчас вложит бумажку», — решил про себя Антошка.

Но его подвижное выразительное лицо, только что оживленное надеждой, что все его сегодняшние мытарства кончатся, наконец, посылкой денег графу, омрачилось, когда княгиня никакой бумажки в конверт не положила и, вручая его Антошке, проговорила:

— Вот отдай эту записку твоему «графу»... Пусть завтра ровно к часу пришлет тебя с твоим документом в приют... Я в это время сама там буду... Адрес написан... Васильевский остров, Десятая линия, дом пятнадцать. Не забудешь?

Антошка был удручен, прозревая что-то очень неприятное, ввиду того что его требовали с документом.

И он спросил упавшим голосом:

— Осмелюсь спросить, ваше сиятельство, зачем мне идти в приют?

— Как зачем? Я тебя определю в наш приют. Ты знаешь, что такое приют, мальчик?

— То-то не знаю, ваше сиятельство.

— Это — заведение для детей. Ты будешь там жить. Тебя будут одевать, кормить и учить, и года через два-три ты выйдешь оттуда порядочным человеком, и о тебе позаботятся... Тебе приищут место... Ну что, доволен, мальчик?

Но вместо выражения радости Антошка стал мрачен как туча и довольно решительно сказал:

— Я в приют не согласен, ваше сиятельство!

Княгиня была изумлена. И красивые ее глаза сделались совсем строгими, когда она спросила:

— Почему же ты не согласен?

— Я не уйду от графа!

— Глупый мальчик! Ты не понимаешь сам, что говоришь... Тебе непременно надо уйти от твоего «графа».

— Очень даже хорошо понимаю, ваше сиятельство! — вызывающе возразил Антошка, чувствуя к княгине неприязнь за то, что она хочет разлучить его с единственным человеком на свете, которого он безгранично любит.

Но княгиня, искренно желавшая вырвать мальчика из «когтей порока», в которых он, несомненно, погрязнет, оставаясь при «графе», не обратила внимания на тон Антошки и проговорила несколько докторальным и, по ее мнению, убедительным тоном:

— Слушай, мальчик, что я тебе скажу... Слушай и вникни. Твой «граф» сам нищий... Он сам просит милостыню на улицах... Так как же он будет тебя содержать? Это во-первых...

Но Антошка снова не дал княгине продолжать и с живостью произнес:

— Я достану себе место, ваше сиятельство... Только вот выучусь читать да писать... Я в газетчики пойду, а, уж как угодно, графа не оставлю, разве он меня прогонит... Я очень вам благодарен, ваше сиятельство, за этот самый приют... но от графа не уйду... При нем бу-

ду... И граф этого желают... И до самой его смерти я при их останусь! — возбужденно и горячо заключил Антошка.

Не без некоторого удивления внимала княгиня этим словам, недоумевая такой сильной привязанности мальчика к павшему человеку. И чем он мог так привязать к себе?

— Твоя признательность очень похвальна и делает тебе честь, мальчик, — заговорила княгиня, даря Антошку благосклонным взглядом, — благодарные люди так редки... но ты еще слишком мал, чтобы понимать людей и понимать свою пользу... В приюте ты научишься всему хорошему, а оставаясь у «графа», ты пропадешь... Ты можешь сделаться порочным и скверным человеком, пьяницей и вором, и попадешь в тюрьму... Вся жизнь твоя погибнет... Твой «граф» ничему хорошему не научит... Он будет посылать тебя нищенствовать, как и сам, и никакого тебе места не дадут... Он сам, этот твой «граф», пропащий, скверный человек... Берегись его!

Глаза Антошки, возмущенного до глубины души такою клеветой на «графа», уже сверкали злым огоньком.

— Граф-то скверный? — воскликнул Антошка. — Ну уж, извините, ваше сиятельство, а граф, может быть, получше других генералов да важных князей, даром что бедны!.. И вовсе не правда, что граф посылает меня нищенствовать... Я сам предлагал работать на их, так он запретил! «Не смей, говорит, Антошка. Тебе, говорит, надо выучиться и стать человеком!» Вот он какой, граф! Да такого другого господина не сыскать по доброте, а не то что: «дурному научит». Он дурному не научит, не извольте беспокоиться, ваше сиятельство... Он добрый, не то что другие... А если на старости лет да больные выходят на работу, так что ж из этого? У них денег нет, а кормиться надо... По-настоящему, если бы богатые родственники его были добрые, они бы помогли графу, а не то что его ругать... А то сами богачи, на золотых тарелках кушают, а не могут родственнику нового пальто справиться... Подыхай, мол! Это небось благородно, ваше сиятельство?..

Антошка не помнил себя от охватившего его негодования, и его речь текла неудержимым страстным потоком.

Изумленная княгиня не верила своим ушам.

Такие возмутительно дерзкие слова у этого мальчика?! Боже, как испорчен этот несчастный!

И княгиня смерила Антошку с головы до ног презрительно строгим взглядом и нервно позвонила в колокольчик.

Явился лакей с великолепными бакенбардами.

— Уведите этого дерзкого мальчика! — приказала княгиня.

Лакей поспешил вывести Антошку.

— Что, братец, видно, дурная резолюция тебе вышла? — не без участия спросил лакей, когда Антошка торопливо надевал полушубок на кухне, видимо спеша поскорей удирать, а то чего доброго еще его задержат и силком отправят в этот ставший ненавистным ему приют.

— Тоже: в приют. Так я и пошел в ее приют! — взволнованно отвечал Антошка, направляясь к дверям.

— Так что же ты дерзничал, коли тебе вышла такая резолюция? В приюте хорошо... Кормят, поят вашего брата...

— Очень вам благодарны за ваш приют... Мы и без вашего приюта найдем место!.. Тоже княгиня, нечего сказать! — довольно насмешливо проговорил Антошка и, юркнув за двери, со всех ног пустился по лестнице.

Несколько взволнованная княгиня скорбно вздохнула, оставшись одна. Господи! Какие вырастают дети в этой ужасной нищете и в этом невежестве! И какая дерзость у этого мальчика! Какие мысли?! Это, верно, все этот несчастный кузен его научил, вместо того чтобы выучить хоть какой-нибудь молитве.

Но княгиня недаром была энергичная благотворительница.

Тем с большим упорством намеревалась она теперь спасти Антошку. И в голове своей решила непременно отобрать Антошку от «графа», если только он не пришлет мальчика добровольно в приют...

На всех парах летел Антошка домой, и когда, наконец, вернулся и вошел в комнату «графа», то, торопясь передать свои впечатления, возбужденно проговорил:

— Однако, граф... княгиня. Уж вы извините, хоть она и ваша сродственница, а прямо сказать: скaredная!

Держала целое утро и хоть бы велела накормить... И ни копейки не дала... И все там они, разные княгини... Ни грошика! У них комитет был, и обо мне тоже рассуждали... И допрашивали... Я им два раза рассказывал, сперва ей, княгине, а потом им всем, как от дьявола «дяденьки» убежал... А княгиня-то, как бы вы полагали, чем она меня ошарашила? В приют, говорит... С вами, граф, мол, нельзя жить... Станешь вором и пьяницей... Ну и отчекрыжил же я княгиню, будьте спокойны!.. Сказал, что от вас не пойду... Ведь вы не отдадите меня в приют к ним... Не отдадите, граф?..

— Да ты успокойся, Антошка, и толком все расскажи, а то как мельница мелешь... А прежде всего давай обедать... И то я тебя заждался... Небось есть хочешь?

Хозяйка подала обед, и Антошка, утолив голод, стал рассказывать подробно о своем визите к княгине

Во время рассказа Антошки «граф» то смеялся, то хмурил брови.

XVIII

Окончив бессвязный свой рассказ, Антошка спохватился, что не подал «графу» записки княгини, и, вынув из полушубка смятый длинный конвертик с золотой коронкой и факсимиле княгини на той стороне, где конверт заклеивается,— подал его со словами:

— Вот, граф, прочтите, что она тут еще набрехала, ваша княгиня...

«Граф» внимательно прочел записку раз, прочел другой, положил ее на стол и, к удивлению Антошки, задумался, точно эта записка произвела на него большее впечатление, чем Антошкин рассказ.

В ней княгиня в самой деликатной форме сообщала то, что более откровенно выразила Антошке на словах относительно неудобства пребывания у «графа». Выражая уверенность, что он сам понимает это и не захочет подвергать несчастного мальчика «всем ужасным случайностям нищеты и порока», княгиня надеялась, что «граф» обрадуется, что она берет мальчика в приют, и обещала впоследствии лично позаботиться об его судьбе.

Предложение, во всяком случае, было заманчивое. По крайней мере на первые годы мальчик будет во всем

обеспечен и получит какое-нибудь образование. Потом ему легче найти занятия, да еще при покровительстве княгини.

А при всем горячем желании, что может сделать для мальчика он, всеми отверженный нищий и вдобавок больной? Не понадеялся ли слишком он на свои силы и на чужие подачки, самонадеянно рассчитывая устроить Антошку, не отпуская его от себя?.. Все эти дни грудь нет-нет да и занает. Что если он заболит настолько, что не в состоянии будет выходить по вечерам на работу? Что будет тогда с Антошкой? Не права ли кузина со своими «случайностями нищеты и порока», и вправе ли он отказываться от предложения только ради того, что ему хочется иметь на склоне своей, вероятно недолгой уже, жизни любимое и любящее существо, которое озарило светом горемычное его существование и словно бы придало ему новый смысл?

Такие мысли бродили в голове «графа» и вызывали душевную борьбу. И брови его хмурились, и в лице было что-то угрюмое и страдальческое.

Ужели судьба бросила ему этот луч света, согрела его сердце привязанностью к такому же брошенному существу, как и он сам, чтобы немедленно же отнять его и оставить снова его одного как перст на свете с проклятиями прошлой жизни, с озлоблением на людей и с вечным мраком на душе? А он так привязался к Антошке, и этот мальчик так любит его!..

И «граф» невольно вспомнил рассказ мальчика о том, как он «отчекрыжил» из-за него княгиню, и со скорбной нежностью посмотрел на Антошку.

А Антошка, притихший и встревоженный, не спускал глаз с «графа», недоумевая, отчего это он вдруг сделался такой печальный.

Что могло быть в этой записке?

Несколько минут прошло в молчании. Наконец, «граф» проговорил с решительным видом человека, принявшего героическое решение:

— А знаешь, что я тебе скажу, Антошка?

— Что, граф? — с тревогой в голосе стремительно перебил Антошка.

— Положим, и княгиня и все эти дамы и мужчины, что заседали в комитете и разглядывали тебя, как ред-

кость, порядочные шуты гороховые... Положим... Но все-таки в приюте вовсе не так скверно, как ты думаешь... Это совсем не то, что у «дяденьки»...

При этих словах Антошка так-таки и обомлел.

Не находя слов, он растерянно вытарашил испуганные глаза и застыл на табурете в позе отчаяния.

— Право, братец, недурно,— продолжал «граф», стараясь в шутливом тоне голоса скрыть свое волнение и отводя взгляд от побледневшего лица мальчика,— и квартира, и одежда, и пища — одним словом, все как следует... ни о чем не заботься... Встал, оделся: — пожалуйста чай пить... А там обед, вечером ужин... И обучат тебя всему — только была б охота... Выйдешь из приюта, всякую штуку будешь знать: и грамматику, и арифметику, и географию... всему выучат... А я буду заходить к тебе в приют... Верно, пускают?.. Наверное даже пускают... Два-три года, братец, скоро пройдут... А потом ты найдешь себе место, и опять мы вместе будем жить, если я буду жив... Право, ведь недурно, Антошка? Раскинь-ка умом!

Но Антошка молчал, подавленный и грустный. Слезы стояли в его глазах, и на сердце была беспредельная горечь.

«Один близкий человек у него на свете, и тот его гонит от себя?»

— Граф,— проговорил, наконец, он дрогнувшим голосом,— не гоните меня... Я... я ничего не буду вам стоить... Я сейчас же найду работу. Ей-богу, найду!

— Глупый! Разве я тебя гоню? Я для твоей же пользы хочу, чтобы ты был в приюте!—воскликнул «граф», сам взволнованный этим отчаянием мальчика и его словами.

— Но вы раньше говорили, что я буду при вас.

— Говорил и очень хотел бы не расставаться с тобой, а не то что гнать тебя, но пойми ты, голубчик мой, я вот болею, могу слечь в постель, мало ли что может случиться...

— А я буду при вас... Буду ходить за вами! — с порывистою страстью воскликнул Антошка.— Разве я оставлю вас одного, когда вас все бросили? Граф! Добренький граф! Не отдавайте меня к княгиням, в приют... Ведь вы один на свете у меня... А я сам

выучусь всему, что нужно... А в приют я не хочу... не хочу... Что я там без вас буду делать?.. И никто не смеет взять меня в приют... Я убегу оттуда... Граф, граф! Что ж вы молчите?..

Антошка не мог продолжать и зарыдал.

Слезы катились по изможденным щекам «графа», радостные, признательные слезы, и вздрагивавший голос его звучал необыкновенною нежностью, когда он говорил:

— Ну, ну... полно, Антошка... Не реви как белуга... Не хочешь в приют — оставайся у меня... Как-нибудь да проживем... И ты станешь человеком, добрый, хороший мой мальчик... Не будем больше говорить о приюте. Ну его к черту!

И «граф» нежно погладил Антошкину голову.

Беспредельно счастливый и благодарный, Антошка припал к его руке.

С следующего же дня «граф» каждое утро занимался с Антошкой, заставляя его читать и писать, и обучал его арифметике, к которой, впрочем, Антошка был достаточно подготовлен недавно своею торговою деятельностью. Антошка лез, что называется, из кожи и своею понятливостью и успехами приводил в изумление учителя. Он все еще не совсем поправился и мог не выходить по вечерам на работу благодаря деньгам, присланным племянницей. Таким образом, «граф» и Антошка проводили вместе вечера, во время которых «граф», рассказывая своему внимательному слушателю различные эпизоды своей бурной жизни с критическими к ним комментариями и оценивая явления и людей, давал Антошке уроки практической философии и этики. И, право, несмотря на греховное прошлое и весьма горемычное настоящее «графа», Антошка в этих уроках отверженца и пропойцы почерпнул немало хорошего и назидательного, что запало ему на всю жизнь.

Теперь благодаря взаимной привязанности этих двух несчастных существ крошечная каморка, в которой они жили, казалась им милой, уютной и точно просветлевшей, и сами они чувствовали себя не такими одинокими и заброшенными, как прежде, и были полны надежд на лучшее будущее.

Так прошло несколько счастливых дней, и этой нищенской идиллии наступил конец.

Последняя бумажка была отдана хозяйке на расходы, и «граф», несмотря на собачий холод, решил вечером снова выйти на работу.

Антошка со страхом глядел на легкое пальтецо «графа» и заикнулся было предложить свои услуги «походить около вокзала», но «граф» так сердито замахал головой, что Антошка не смел продолжать.

ХІХ

Будь княгиня Моравская более счастлива в личной своей жизни и не «неси она креста», бедному Антошке едва ли грозила опасность быть облагодетельствованным помимо его желания, так как княгиня не отдалась бы всей душой делу благотворительности и не находила бы времени действовать столь решительно, энергично и неуклонно.

Искренно возмущенная и рассказом Антошки о несчастных детях и искренно желавшая не дать Антошке завязнуть в «когтях порока», княгиня на другой же день после заседания комитета общества «Помогай ближнему!», окончив свой долгий туалет, перед тем что идти на прогулку, по обыкновению, справилась в своей записной книжке о программе дня.

В числе многих отметок значились и следующие: «навести справки об ужасном заведении несчастных детей» и «узнать в приюте: явился ли мальчик от Опольева».

Мысль о спасении Антошки крепко засела в голову княгини.

Несмотря на не совсем благонравное его поведение в конце визита, Антошка понравился ей. Понравились княгине и его умное, выразительное лицо и его бойкие ответы, а эта горячая, страстная защита приютившего его «графа» просто-таки восхитила ее, и она решила во что бы то ни стало привести в исполнение комитетское постановление, если мальчик не явится в приют.

«В таком случае уже не может быть сомнения в том, что этот пропойца взял мальчика к себе, чтобы его эксплуатировать!» — рассуждала княгиня и прошептала:

— Бедный мальчик!

Ровно в час княгиня была уже в приюте. Там дождался ее секретарь Евгений Аркадьевич, вызванный

телеграммой, чтобы из приюта сопровождать княгине. Ехать одной в заведение Ивана Захаровича она не решилась.

— Мальчика нет? — спросила княгиня, входя в приют.

— Нет, княгиня! — отвечал Евгений Аркадьевич и прибавил: — Я думаю, что он и не явится...

— Почему вы так думаете?

— Мне кажется, что он предпочтет нищенствовать... Слишком уж он испорчен... Эта его манера себя держать...

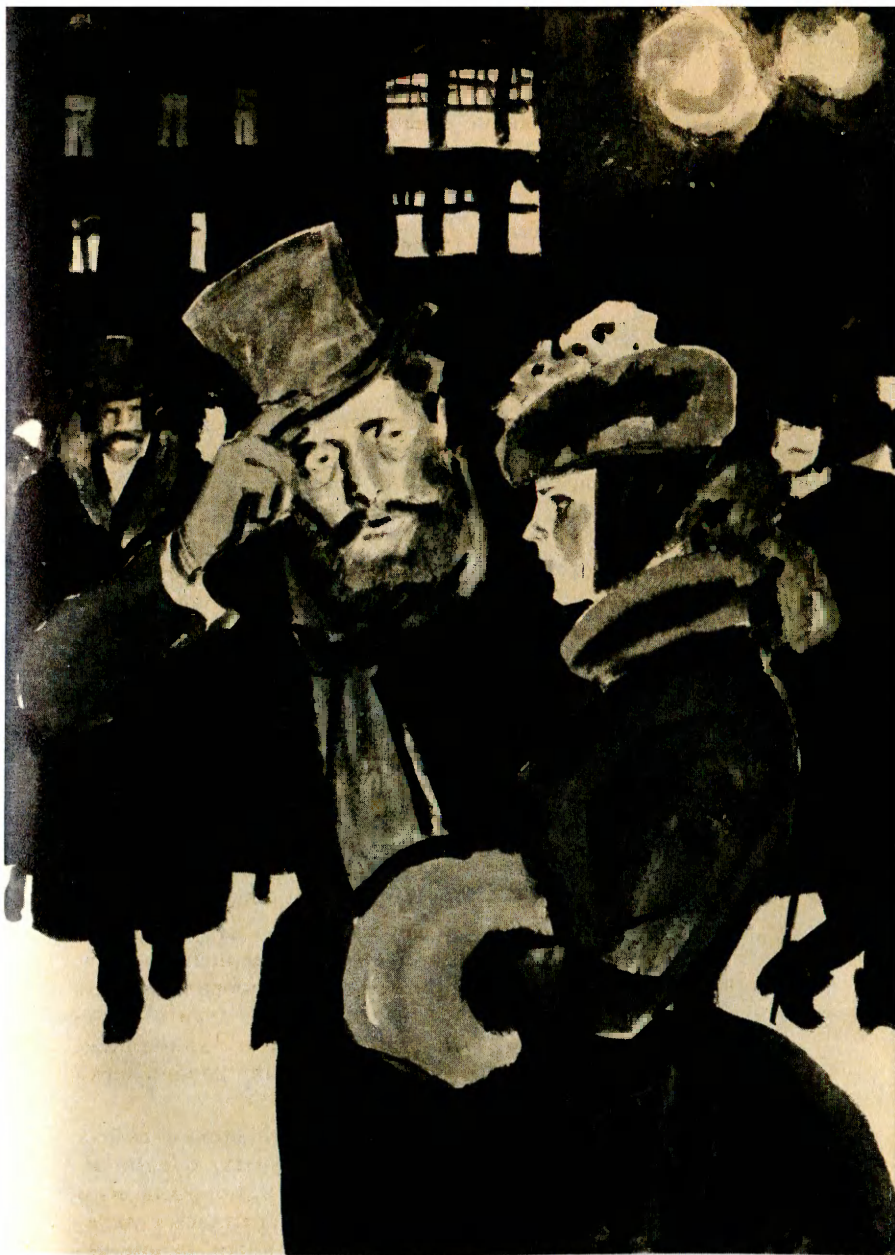
— Я с вами не согласна, Евгений Аркадьевич! — решительно и властно перебила княгиня, вообще не любившая слушать чужие мнения, если они не сходились с ее собственными. — Вы слишком поспешны в приговорах, Евгений Аркадьевич.

Несколько смущенный, что попал впросак, Евгений Аркадьевич поспешил оговориться, что он позволил себе судить по первому впечатлению. Разумеется, княгиня, говорившая с мальчиком, имеет более верные суждения.

— Ну, покажите мне приют, Римма Михайловна! — обратилась княгиня к пожилой, одетой во все черное, худой и облизанной начальнице приюта, которая всегда при посещении строгой председательницы замирала в почтительном трепете подневольного существа, боявшегося лишиться куска хлеба.

Княгиня обошла приют. Все найдено было в порядке. Четырнадцать приютских под гребенку остриженных мальчиков, похожих в своих форменных черных курточках на маленьких арестантов, были выстроены в зале и на приветствие княгини: «Здравствуйте, дети!» — ответили с таким оглушительным согласием: «Здравия желаем, ваше сиятельство!» — что княгиня даже слегка вздрогнула.

Она прошла по фронту, потрепала по щекам самых маленьких, спросила о здоровье двух худых, бледнолицых, с синевой под глазами, подростков и, пожелав всем хорошо учиться и хорошо вести себя, простилась с детьми, сопровождаемая тем же оглушительным ревом четырнадцати голосов: «Счастливо оставаться, ваше сиятельство!»



«ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖИЗНИ»



«ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖИЗНИ»

Княгиня была не в духе. Этот Антошка, не явившийся в приют, положительно беспокоил ее, и Евгений Аркадьевич напрасно старался занять княгиню, сидя около нее в карете. Давно уж он ухаживал за пышной, красивой княгиней с почтительностью втайне влюбленного, не смеющего, разумеется, обнаружить своих чувств, но княгиня как будто и не замечала этого.

И теперь Евгений Аркадьевич, посматривая сбоку на княгиню, решительно приходил в недоумение. «Эта бессовестно холодная женщина положительно недоступна чувствам!» — подумал Евгений Аркадьевич, тщетно стараясь обратить на себя какое-либо внимание княгини Марьи Николаевны, расположение которой было бы крайне выгодно, по мнению молодого человека, для его карьеры... «Она влиятельная, со связями... Положительно дурацкий темперамент!» — мысленно проговорил он, взглядывая на строгое, бесстрастное лицо молодой женщины.

Наконец карета остановилась у ворот одного из невзрачных домов в дальней улице Песков. Городовой выпучил глаза с почтительным удивлением на подъехавших.

Евгений Аркадьевич выскочил из кареты и пошел отыскивать дворника.

Через несколько минут княгиня вместе с секретарем поднималась по отвратительной лестнице в квартиру Ивана Захаровича и часто подносила к носу надушенный платок. Старший дворник следовал за ними по требованию Евгения Аркадьевича, который сообщил дворнику о цели посещения такой важной особы, как княгиня Моравская. Признаться, Евгений Аркадьевич немножко трусил — мало ли на какой можно нарваться скандал! — и потому присутствие дворника казалось ему необходимо.

В эту минуту по лестнице быстро взбежала маленькая Анютка, закутанная в платке, и при виде княгини растерялась.

— Ты кто такая, девочка? — остановилась княгиня.

— Анютка...

— Куда идешь?..

— К дяденьке, вот сюда, — указала она на дверь.

— А где ты была?

— Милостыньку собирала...

Княгиня значительно переглянулась с секретарем Улика была налицо.

— Как же ты, дворник, говорил мне, что не знаешь, что дети собирают милостыню? — строго заметил Евгений Аркадьевич.

— Почему же я могу знать, что делают жильцы! — отвечал дворник.

Позвонили. Двери отворила супруга Ивана Захаровича. Его самого не было дома.

При виде посетителей и старшего дворника молодая женщина, видимо, струсилась и не знала, как ей быть: пускать ли непрошенных гостей, или нет. Но старший дворник, мигнув ей глазом, проговорил:

— Ее сиятельство желают узнать насчет детей, что живут у вас. Дозвольте осмотреть квартиру...

Княгиня вошла, сопровождаемая Евгением Аркадьевичем и дворником. Анютка шмыгнула вслед за ними.

По приказанию княгини была отперта маленькая комнатка, где помещались племянники и племянницы Ивана Захаровича, и княгиня просто ахнула — до того ее поразила грязь этого помещения. Никого из обитателей не было дома. Все были на работе.

— Сколько тут помещается детей? — спросила княгиня.

— Семь человек...

— Чьи это дети?

— Сродственники мужа.

— Не лгите... Я все знаю... Мне рассказал один мальчик, убежавший от вас... Как вам с мужем не стыдно заниматься таким постыдным делом и истязать детей?

Дворник делал какие-то таинственные знаки «рыжей ведьме».

Та бросилась в ноги.

— Ваше сиятельство... по бедности... Самим кормиться нечем...

— Где эта девочка... Анютка, которую я встретила?..

Дворник привел Анютку. Худенькая девочка с большими черными глазами дрожала всем телом.

— Я беру ее с собой... Ее бумаги сегодня же доставить ко мне! — обратилась она к дворнику.

Евгений Аркадьевич поспешил сообщить адрес.

Никто не возражал. Подобное самоуправство несколько не удивило дворника.

Княгиня на минуту задумалась и продолжала тем же решительным и властным тоном, обращаясь к дворнику:

— Завтра к часу дня приведите ко мне всех детей, принесите их документы и сообщите: кто их родители и где они живут.

— Слушаю-с, ваше сиятельство!

— Ну, едем со мной, девочка! — сказала княгиня, обращаясь к Анютке.

Дворник повел девочку. Ее, недоумевающую и испуганную, посадили в карету.

— А вам, извините, места нет, Евгений Аркадьевич! — промолвила княгиня.

— Не беспокойтесь, княгиня, я поеду на извозчике.

И, прощаясь с ней, прибавил:

— Какой для вас счастливый день, княгиня! И как будут благословлять вас все эти спасенные дети!

— Это ужасно... ужасно! — возбужденно проговорила княгиня, и красивое лицо ее сияло от внутреннего удовольствия. — Мы, право, сделали сегодня воистину доброе дело, Евгений Аркадьевич, — прибавила она с чувством. — Завтра к часу, прошу вас, будьте у меня! — прибавила княгиня, протягивая ему руку. — Прикажите кучеру ехать домой!

Княгиня ехала вполне удовлетворенная сегодняшним днем и предстоящими хлопотами по устройству всех этих детей. Ее деятельной натуре было дела на несколько дней, и это ее радовало. Завтра же она увидится с градоначальником и расскажет все, что видела.

— Ужасно... ужасно! — повторяла княгиня.

Завтра же она поговорит и о несчастном мальчике. Она попросит вытребовать Антошку от Опольева и водворить в приюте.

Поглощенная этими мыслями, полная разных добрых намерений, княгиня словно и забыла об Анютке, которая испуганно прижалась в своих лохмотьях в угол кареты и тихо, совсем тихо всхлипывала.

Ей было страшно. Зачем ее взяли? Куда везет эта красивая, важная дама в богатой шубе?

Княгиня между тем вспомнила о своей спутнице и взглянула на нее.

— Ты что же плачешь, девочка? Не бойся! Тебя больше обижать не будут... Никто не обидит... Тебе хорошо будет! — ласково говорила княгиня, любуясь милостивым личиком девочки и особенно ее большими черными испуганными глазами, осененными густыми ресницами.

Ласковый голос княгини несколько успокоил Анютку.

— Теперь не боишься? — продолжала княгиня.

— Не бо-юсь! — протянула Анютка, вытирая грязным кулачком слезы.

И вслед за тем пугливо спросила:

— А куда вы везете меня?

— К себе пока. Тебя накормят, напоят чаем... Тебя вымоют, причешут и оденут в хорошенькое платье. Хочешь?

— Хочу! — ответила девочка.

И ее личико просветлело.

Несколько минут княгиня смотрела на это крошечное создание в каком-то раздумье, точно о чем-то вспоминая. И черты ее строгого, холодного лица смягчились...

Обыкновенно дети, которых спасала и призревала княгиня Марья Николаевна по долгу благотворительницы, не возбуждали в ней особенно теплых чувств. Она никогда их не ласкала, не согревала нежным словом.

Но в эту минуту эта маленькая Анютка почему-то возбудила в ней не одну только жалость, а что-то другое, более нежное и сильное, неожиданно для нее самой охватившее ее сердце.

И эта уравновешенная, сдержанная женщина, от которой веяло всегда холодом, вдруг наклонилась к грязной девочке и стала целовать ее с страстной порывистостью внезапно пробудившегося материнского инстинкта.

Анютка широко раскрыла глаза, более пораженная, чем тронутая этою неожиданною ласкою.

А в глазах княгини блеснули слезы. Ее красивое, свежее лицо было задумчиво и грустно. Голос ее прозвучал необычно нежностью, когда она спросила Анютку:

— Тебе холодно, девочка?

И, не дожидаясь ответа, она закрыла Анютку полостью своей роскошной ротонды, подбитой черно-бурыми лицевыми.

Прошло несколько минут, и этот порыв чувства как будто неприятно удивил княгиню своею неожиданностью.

«Нервы», — подумала она, недовольно пожимая плечами.

И княгиня, с тонким чутьем эгоистической натуры оберегавшая себя от каких бы то ни было волнений, могущих нарушить спокойствие ее великолепной особы, решила и теперь, что давать поблажки нервам не следует.

Когда карета подъехала к подъезду ее особняка на Сергиевской, княгиня уже справилась с собою, больше Анютку не целовала и вышла из кареты тою же холодною, строгою и безукоризненною княгиней, какою ее все привыкли видеть.

Прежнее решение насчет Анютки было отменено. Нечего держать ее несколько дней в доме, как княгиня прежде хотела.

И она, поднявшись к себе, велела горничной накормить Анютку и немедленно отвезти ее в приют для девочек общества «Помогай ближнему!».

После этого она приняла валерьяновых капель и пошла переодеваться, чтоб ехать с визитами.

Иван Захарович вернулся домой только к вечеру и был порядочно пьян. Дети, увидевшие «дяденьку», предчувствовали, что сдача выручек не обойдется сегодня без ремня, и испуганно притаились в своей комнате.

Весь хмель сразу выскочил у Ивана Захаровича из головы, когда достойная его супруга сообщила ему о посещении княгини и об увозе Анютки, и он совсем упал духом, когда старший дворник отобрал от него все детские документы и объявил, что на следующий день отведет всех его питомцев к княгине.

Надо было спасать собственную шкуру, и Иван Захарович после беседы с дворником на следующее же утро имел конфиденциальное совещание с письмоводителем участка в трактире.

Результатом всех этих конференций было то, что Иван Захарович к вечеру того же дня съехал с квартиры и был отмечен выбывшим за город.

Таким образом, когда дня через три после посещения княгини заведения Ивана Захаровича в участке было

получено строжайшее предписание о производстве немедленного дознания, — Ивана Захаровича не оказалось, и розыски его в городе не увенчались успехом.

Он уже был в Москве и намеревался там заняться другой профессией — открыть питейное заведение.

Супруга его осталась в Петербурге, чтобы распродать вещи, а затем приехать к мужу...

Но Иван Захарович напрасно писал своей Машеньке умоляющие письма. Она не ехала к нему.

XX

В этот вечер «граф», несмотря на дьявольский холод, не очень-то располагающий людей к благотворительности, «работал» довольно недурно.

Какой-то студент, к которому «граф» обратился с просьбой «ссудить его гривенником», взглянув при свете фонаря на страшно изможденное лицо «графа» с лихорадочно блестящими глазами, как-то торопливо опустил руку в карман своего теплого пальто и, кладя в руку «графа» несколько серебряных монеток, участливо проговорил:

— Вы в больницу бы пошли...

— Вы полагаете, молодой человек? Очень благодарен за помощь и за совет. Очень!..

И, приложившись к цилиндру, «граф» побрел далее.

«В самом деле, этот студент, пожалуй, и прав!» — горько усмехнулся он, чувствуя, как холод прохватывает его всего, как ноет грудь и ломит все тело.

«Неужто машина окончательно испорчена?!» — с тоскою думал он и, пересиливая боль, продолжал свой путь, озирая зорким взглядом проходящих.

— *Madame! Quelques sous, s'il vous plait?*¹ — произнес он, нагоняя какую-то даму.

И та, взглянув на «графа», торопливо вынула из портмоне двугривенный и подала ему.

«Положительно, вид мой внушает сегодня сочувствие... Должно быть, я похож на умирающего... Если бы умирающие могли ходить по улицам — они собирали бы себе на приличные похороны!» — размышлял «граф» в каком-то угрюмом озлоблении.

¹ Сударыня! Будьте милостивы, несколько грошей? (*франц.*)

Через два часа прогулки на морозе в костюме, который согревал очень мало, «граф» имел полтора рубля и поспешил домой.

Продрогший и посиневший от холода, чувствуя себя очень скверно, он вошел в свою комнатку и, кивнув Антошке, снял с себя пальто, разделся и лег на постель.

— Вы нездоровы, граф? — тревожно спрашивал Антошка.

— Нет, ничего... Прозяб немного... За ночь все пройдет... Накрой-ка меня, Антошка, моим пальто... Вот так, хорошо...

— Сейчас я самовар подам... Чаем согреетесь...

Ни чай, ни несколько стаканов горячей малины, предложенной Анисьей Ивановной, ни полушубок, которым Антошка заботливо накрыл «графа», не согревали иззябшего тела. «Графа» жестоко трясло в ознобе.

Озабоченный Антошка выбежал к Анисье Ивановне и сказал:

— Страх как трясет графа, Анисья Ивановна... Нет ли у вас, чем бы накрыть его.

Анисья Ивановна предложила свою шубейку и промолвила:

— Простудился наш Александр Иванович... Теперь его лихорадка и бьет...

— А она пройдет, эта самая лихорадка? — испуганно спрашивал Антошка.

— Как бог даст... Больной он... Ишь ведь вышел в какую погоду.

— А я, Анисья Ивановна, еще печку стоплю... Можно?

— Топи, Антошка.

— А ежели завтра графу не станет лучше, надо бы за доктором... как вы думаете?

— То-то, лучше бы за доктором...

— Дорого поди стоит?

— Ничего не стоит... Тут недалеко барышня-докторша квартирует... казенная, значит... от города... Завтра сбегашь за ней, Антошка... Она раз лечила меня... Славная такая, даром что из жидовок, — прибавила она.

Антошка вернулся в комнату «графа» несколько успокоенный. Он еще накрыл «графа» и не пожалел дров, накладывая печку.

К ночи озноб прошел, и все тело «графа» пылало.

— Согрелись, граф? — обрадовался Антошка, заметивший, что «граф» сбрасывает с себя все, чем был накрыт.

— Согрелся, Антошка... Слишком даже согрелся! — промолвил, тяжело дыша, «граф» и улыбнулся. — А ты чего не спишь?.. Ложись спать, Антошка... Только принеси холодной воды... Пить хочется...

Антошка сбегал за водой и присел на табуретке около «графа».

«Граф» с трудом приподнялся и жадно отпил воды.

Только теперь, при слабом свете свечки, Антошка разглядел осунувшееся лицо «графа» и его страдальческое выражение.

— Граф! Где же у вас болит? — спросил он испуганным голосом. — Верно, очень болит?

— Порядочно... Грудь болит, и спина болит... А ты спи, Антошка. Завтра мне лучше будет... Меня, брат, не скоро проберешь... Мы, Опольевы, живучие... Спи, добрый мой мальчик... И я засну...

Антошка лег на свою кровать, но заснуть не мог, прислушиваясь к прерывистому дыханию «графа». Сухой резкий кашель заставлял его вскакивать с постели и подходить к больному.

«Граф», казалось, не узнавал Антошки, хотя и глядел на него блестящими глазами. Он по временам стонал, схватываясь за грудь, и просил пить.

Антошка подавал «графу» пить и испуганно глядел на него. Он никогда не видал близко больных, и ему казалось, что «граф» непременно помрет... И слезы текли по его щекам...

— Ты что ж не спишь, Антошка? И чего плачешь, мой голубчик?.. Не беспокойся... Спи... спи... Еще как мы с тобой заживем... Отлично заживем... Уж я больше не буду ходить на работу! — возбужденно, в полубреду говорил «граф». — Не буду. Совершенно достаточно... Quelques sous, s'il vous plait... И так всю жизнь... И умирать не желаю с тех пор, как ты... со мной... А ты не плачь... Я тебя в приют не отдам... Княгиня останется с носом... Ох, как болит грудь... Ах, как жарко... Пить, пить...

Антошка не отходил весь остаток ночи от графа, и когда в окно заглянул серенький свет петербургского ут-

ра, «граф» увидел Антошку, спавшего на полу у его кровати.

Вошедшая вскоре Анисья Ивановна разбудила Антошку.

— Ночью ухаживал за мной! — проговорил растроганный «граф».

— Ему что — отоспится днем! — промолвила Анисья Ивановна. — Ну, а ваше здоровье как, Александр Иванович?..

— Отлежусь, Анисья Ивановна!..

— Малинки не дать ли?

— Ничего не хочется... Вот деньги, — проговорил «граф», указывая на стол, — мальчика накормите...

— И так накормлю... Бог с вами, Александр Иванович... Теперь вам самим понадобится, а после сочтемся...

— Ну, спасибо... Добрая вы...

«Граф» снова погрузился в дремоту. От него так и пышало жаром.

Анисья Ивановна вызвала Антошку и приказала ему идти к докторше.

Через четверть часа Антошка уже вбегал в третий этаж и вошел в отворенную дверь квартиры думского врача. В прихожей дожидалось несколько человек бедного люда. Это был час приема больных...

Прошло несколько минут. Из кабинета вышла какая-то баба, а вслед за нею на пороге показалась небольшого роста брюнетка с умным и выразительным, несколько возбужденным лицом еврейского типа и живыми блестящими черными глазами. Вся ее маленькая фигурка в белом балахоне, одетом поверх черного платья, дышала какою-то вызывающею энергией.

— Смотрите же... Не забудьте, что я вам сказала, — говорила она быстро и точно, решительным, несколько авторитетным голосом. — Три раза в день по чайной ложке и мазь... Чья очередь?.. Пожалуйте...

В эту минуту Антошка подбежал к ней и проговорил взволнованным голосом:

— Госпожа докторша, будьте добреньки, зайдите поскорей к графу... Он опасно заболел...

— К какому графу? — изумилась докторша, взглядывая на взволнованного Антошку. — Граф может позвать другого врача...

Антошка поспешил объяснить, что заболевший не граф, а только так прозывается. Он Александр Иванович Опольев, и бедный, совсем бедный... Вчера выходил в одном пальтеце и вернулся весь заколевши... А всю ночь горел... И сейчас горит... Грудь болит, и ломит спину.

— Помогите, госпожа докторша, а то неравно помрет! — прибавил Антошка упавшим голосом.

Докторша записала адрес и обещала прийти тотчас же, как окончит прием больных.

— В десять часов буду! — прибавила она.

— Спаси вас бог! — воскликнул полный благодарности Антошка и побежал домой.

В десять часов явилась докторша. Ее встретила Анисья Ивановна и сочла почему-то нужным сообщить ей, кто такой ее жилец, как он оставлен богатыми своими родственниками и принужден побираться. Не преминула Анисья Ивановна рассказать и о том, как Александр Иванович пригрел такого же нищенку-сиротку Антошку...

Только после этого предисловия Анисья Ивановна ввела докторшу в комнату жильца и, подойдя к его кровати, сказала:

— А я вам, Александр Иванович... докторшу привела...

«Граф» недовольно повел глазами на вошедшую. Его несколько смущало появление женщины-врача, и он надвинул на себя одеяло.

— Напрасно вы беспокоили, Анисья Ивановна, госпожу докторшу... У меня, собственно говоря, ничего серьезного...

«Граф» храбрился нарочно, несколько стесняясь осмотром женщины, а сам хорошо сознавал серьезность болезни и жаждал помощи.

— Я и не сомневаюсь в этом. А все-таки не позволите ли вас выслушать?

Докторша сказала это так просто, так участливо, и живые, умные ее глаза глядели с такою ласковою серьезностью, что «граф» проговорил:

— Что ж... Если вы находите нужным...

И он расстегнул ворот сорочки.

Докторша долго и внимательно выслушивала и выстукивала все еще богатырскую грудь «графа» и, предложив ему поставить термометр, проговорила:

— Болезнь ваша серьезнее, чем вы думаете... Конечно, опасности нет, но вам придется несколько времени пролежать в постели.

«Граф» пристально посмотрел на докторшу.

Его ввалившиеся большие черные глаза, горевшие лихорадочным блеском, глядели с выражением какой-то грустной насмешливости.

— Вы полагаете... опасности нет? — прошептал он и, заметив, что Антошка жадно и испуганно прислушивается, прибавил: — Вы говорите по-немецки?

— Говорю! — ответила докторша, несколько смущенная этим взглядом и ироническим тоном его слов.

И «граф» продолжал по-немецки:

— Не скрывайте от меня правды. Я знаю, что я опасен... Я бывал в руках докторов... Воспаление легких в мои годы и при такой обстановке... *Finita la comedia?*¹ Не правда ли?.. Если так, то не лучше ли меня свезти в больницу, чтоб не стеснять эту добрую хозяйку... И кроме того, мне надо распорядиться насчет этого мальчика... Это— единственное существо на свете, ради которого я хотел бы еще жить...

Докторша заметила, что в настоящее время было бы опасно перевозить его в больницу, и снова повторила, что не отчаивается в его выздоровлении...

— Ну, спасибо вам... спасибо! — проронил по-русски усталым голосом «граф». — Я жить все-таки хочу! — прибавил он...

Докторша прописала рецепт, велела поставить мушки и оставила термометр, чтобы три раза в день измерять температуру.

— А вы будете записывать ее! Сумеете? — обратилась она к Антошке.

— Он сумеет! — не без горделивого чувства вставил «граф».

— Ну, до свидания... Вечером я опять зайду.

— Благодарю вас...

Она протянула ему руку и, ласково кивнув головой, вышла из комнаты больного и, сделав Анисье Ивановне соответствующие наставления, проговорила, вынимая из портмоне деньги:

— Вот возьмите десять рублей... Понадобятся... Купите больному вина... мадеры... давайте понемногу...

¹ Представление окончено? (итал.)

Но Анисья Ивановна горячо протестовала... У нее есть деньги... Она сама купит, что нужно... И, наконец, можно дать знать родственникам графа... Они помогут...

Взволнованная, вышла докторша из этой квартиры. Этот нищий больной, заботившийся о таком же нищем приемыше... Эта добрая женщина, отказывающаяся от денег... все это произвело на чуткую, отзывчивую докторшу сильное впечатление...

Она спускалась по лестнице, когда ее нагнал Антошка и спросил:

— Госпожа докторша... Как граф?.. Не помрет?..

— С чего вы взяли?.. Надеюсь, что он поправится...

— О, вылечите его... вылечите его, добренькая барыня!.. Если б вы знали только, какой он добрый... Мне вот справил полушубок, а сам...

И с этими словами Антошка бегом побежал в аптеку за лекарствами и в лавку за вином.

XXI

Сила живучести оказалась действительно большой у «графа». Несмотря на его расшатанный организм и долгие годы пьянства, он выдержал воспаление легких. Через несколько дней острый период болезни миновал, и докторша, навещавшая его ежедневно по два раза и привозившая ему сама лекарства, радостная и веселая, объявила ему, что теперь он вне опасности.

Растроганный «граф» благодарил Елизавету Марковну и называл ее своей спасительницей. Антошка, все эти дни ухаживавший за «графом», чуть не прыгал от радости и глядел на докторшу с каким-то особенным почтением.

Когда она ушла, «граф» в первый раз с аппетитом поел бульона и, присаживаясь на кровати, сказал:

— Ну, теперь, Антошка, надо и о делах подумать... Небось много мы задолжали Анисье Ивановне?.. Дай-ка мне сюда перо и бумаги... Напишу-ка племяннице... Она добрая, не откажет... А ты снесешь ей письмо... Только смотри, по черному ходу неси... А то на парадной швейцар — большая бестия и не пустит тебя. Постарайся самой барышне в руки отдать письмо...

— Будьте спокойны, граф! Все как следует обделаю! — не без гордости отвечал Антошка.

«Граф» принялся за письмо, как в комнату вошла Анисья Ивановна и смущенно проговорила:

— Александр Иванович... Околоточный зачем-то хочет вас видеть... Уж он два раза приходил... Тогда я упростила его подождать... Говорю: совсем вы больны... Ну а теперь... действительно требует...

— Околоточный?! Что ему нужно?.. Попросите его сюда, Анисья Ивановна.

При имени «околоточного» Антошка струхнул.

Через минуту в комнату вошел молодой, довольно представительный и чистенький околоточный и, бросая взгляд на Антошку, вежливо поклонился «графу» и проговорил:

— Насчет вас бумага из участка... Не угодно ли прочесть...

— Удивляюсь, что нужно от меня полиции? — промолвил «граф», растягивая для важности слова и щуря глаза.— Дайте, пожалуйста, эту бумагу.

Околоточный вынул ее из портфеля и подал «графу». Тот пробежал ее и изменился в лице.

В этом предписании частному приставу предлагалось объявить отставному гвардии штабс-ротмистру Александру Опольеву о том, чтобы он немедленно отправил проживающего у него незаконного крестьянского сына Антона Щигрова, четырнадцати лет, в приют общества «Помогай ближнему!». В случае же оказания названным Опольевым какого-либо препятствия отобрать от него Антона Щигрова, объявив Опольеву, что за уклонение от распоряжений начальства он будет подвергнут строжайшему взысканию.

— Но по какому же это праву?! — воскликнул «граф», бросая тоскливый взгляд на Антошку.— Если он не желает в приют...

Антошка понял, что околоточный пришел из-за него, и стал блее рубашки...

— Извините-с... Я ничего не знаю... Я подчиненный чин... Потрудитесь расписаться...

Но вместо того «граф» снова воскликнул:

— Эта дура княгиня... моя двоюродная сестра хочет насильно тащить в приют мальчика, о котором я просил... Это она затеяла всю эту подлую... историю... Но я... я не позволю... Слышишь, Антошка?.. Мы не по-

зволим... Ты не будешь в приюте!.. Экие мерзавцы эти благодотворители! — кипятился возмущенный «граф».

И, обращаясь к околоточному, проговорил:

— Послушайте... Прошу вас повременить день-другой... Даю вам слово, что мальчик не убежит, а я сейчас же напишу этой княгине и еще одной родственнице... попрошу их, чтобы они немедленно просили об отмене этого нелепого распоряжения... Если на то пошло, я усыновлю этого мальчика, и, надеюсь, тогда никто не посмеет взять его у меня... О, какие же они мерзавцы!.. Отвернулись все от меня и теперь хотят отнять единственное близкое мне создание... Послушайте, господин околоточный, вы молоды, у вас, вероятно, еще не заглохли чувства... Умоляю вас, повремените день-другой...

— Повремените! — просила и Анисья Ивановна.

— Что ж... я... пожалуй... доложу, что вы еще больны и находитесь в бессознательном состоянии.

— Благодарю вас... Вы — человек! — промолвил «граф», протягивая околоточному руку.

Через несколько минут Антошка бежал в дом Опольева с письмом к Нине, передав другое письмо к княгине Моравской посыльному.

Ах, какие красноречивые были эти письма горемычного «графа»!

XXII

Появившись в большой кухне Опольевых, Антошка на этот раз не интересовался наблюдениями. Он не обратил своего внимания ни на обстановку, ни на количество медной посуды, ни на низенькую, приземистую фигуру повара, стоявшего у плиты и мешавшего что-то в кастрюле большой ложкой, а поглощенный одною мыслью — передать как можно скорее письмо по назначению — обратился к молодому кухонному мужику, который недалеко от дверей перемывал в жестяной лохани тарелки.

Голос Антошки дрожал тревожным нетерпением, когда он спросил молодого парня:

— Скажите, пожалуйста, барышня дома?

— Барышня? А тебе зачем барышня?

— Письмо им есть... Передать бы.

— Обожди. Кто-нибудь из комнат придет и возьмет... И дома ли, нет ли барышня — скажет...

— Должно быть, дома: еще не завтракали,— заметил, отворачиваясь от плиты, повар, довольно благообразный старик с седыми кудреватými волосами, выбивавшимися из-под белого колпака.

И, оглядевши Антошку своими добродушными и в то же время любопытными небольшими глазками, спросил:

— А ты от кого с письмом, мальчик?

— От одного бедного их родственника... Оне знают...

— На бедность, значит, просит?

— Очень даже нуждаются...

Повар подумал и сказал:

— Верно, это тот самый родственник, которого генерал приказал не пускать и писем от него не принимать...

— То-то от него письмо к барышне.

— А он как же доводится генералу... Ты не знаешь? — любопытно допрашивал старик.

— Родной брат...

— Родной брат? — воскликнул старик повар, необыкновенно изумленный.— Ты это верно знаешь?

— Очень даже верно...

— А мы полагали, что так, какой-нибудь дальний... Однако! Родной брат такого важного генерала, а швейцар говорил, что ходит вроде нищего в самом последнем костюме...

— И вовсе даже нищие... Из-за своей легкой одежи чуть не умерли! — пояснил Антошка, заметив, что повар, видимо, не сочувствует такому бессовестному отрицанию кровных уз.

— Нищий... брат генерала Опольева!.. Нечего сказать... прокламация!.. Видно, на братца не надеется, что к племяннице пишет?

— Уж какая надежда,— с сердцем проговорил Антошка,— ежели ваш генерал вовсе отказался от родного брата... Пропадай, мол, как собака, а мне наплевать... И сколько горя принял Александр Иванович, генеральский-то брат... Такого, можно сказать, важного звания господин, офицером в уланах служил и по улицам милостыню собирал... И все родственники от него отрек-

лись за родным братом... Допустили, чтобы человек терпел... А еще все графы да князья! — возмущенно закончил Антошка.

— Дда... времена!.. Родного брата и... в шею! Очень даже просто! — протянул, ни к кому не обращаясь, старик и вздохнул, покачав головой.

Он снова стал мешать в кастрюле, черпнул ложкой и, попробовав соус, спросил:

— А ты как же знаешь генеральского брата?

Антошка в коротких словах рассказал свою историю.

Повар, видимо удивленный и тронутый, промолвил раздумчиво:

— Ишь ведь какие бывают на свете дела!.. Нищий, а призрел сироту... Богатый — и родного брата в шею... Ловко!

— Жалостливый! — вставил и кухонный мужик, необыкновенно сосредоточенно и словно бы сердито слушавший рассказ Антошки.

— А ты вот что, Афанасий,— обратился к мужику повар,— возьми-ка от мальчика письмо да снеси Дуняше, пусть, мол, самой барышне передаст, да у ней в комнате... Чтобы, значит, генерал не проведал... Да оботри прежде руки-то... Письмо замараешь... Вот так... неси теперь Дуняше... И лакеям не показывай...

Когда Афанасий ушел, повар ласково сказал Антошке:

— Пока присядь, мальчик. Бог даст, барышня не откажет помочь горемычному дяденьке... Она у нас добрая... не похожа на отца... Тот вовсе как будто каменный! — прибавил, понижая голос, повар.

— Беспременно поможет! — уверенно подтвердил Антошка.

— Ты почему же полагаешь?

— Она раз прислала двадцать пять рублей, быдто от отца... И велела в письме, ежели что, к ней писать, а не к отцу...

— Ишь ты! Папеньку своего не захотела оконфузить! — промолвил повар.

В скором времени вслед за кухонным мужиком в кухню вошла молодая горничная Дуняша и велела Антошке идти за собой.

— Барышня хочет тебя видеть! — приветливо сказала она.

Нина дожидалась в маленькой комнате Дуняши, находившейся в коридоре, собираясь принять Антошку почти тайком.

Необыкновенно участливо и внимательно, несколько смущенная и точно чувствуя себя в чем-то виноватою, слушала эта худошавая молодая девушка с большими глазами возбужденный рассказ Антошки, в дополнение к письму, о «графе», об его болезни, об его доброте, и когда Антошка окончил рассказ мольбой о том, чтоб его не отдавали в приют и не разлучали с «графом», который всеми брошен, молодая девушка, потрясенная и возмущенная, обещала непременно сегодня же поехать к княгине и просить ее отменить свое распоряжение.

Она торопливо отдала Антошке конверт с двадцатью пятью рублями и проговорила:

— Кланяйся от меня дяде. Извинись, что мало посылаю... Скоро еще пришлю... Успокой его... Скажи, что я буду просить княгиню... Она не возьмет тебя в приют... я уверена... ты останешься при дяде... Ты ведь так его любишь...

— Еще бы не любить!..— воскликнул Антошка.

— И дядя и ты — оба вы хорошие! — возбужденно произнесла девушка, — и я сделаю для вас все, что могу...

— Спаси вас бог, добрая барышня... Как граф-то обрадуется, что вы жалеете его... А то... ведь он чуть было не умер...

— Зачем же он не написал мне?

— Шибко болен был... Без памяти лежал, барышня...

— Бедный!.. Ну, иди же к нему, Антоша... Кланяйся... Вот и тебе... возьми, возьми! — говорила она, доставая из портмоне последний рубль, бывший там, и отдавая его Антошке. — Что-нибудь себе купишь...

Антошка вышел благодарный и обрадованный.

«Теперь граф не пропадет. Племянница его не чета всем этим княгиням и графиням. Сейчас видно, какая она простая да жалостливая!» — думал Антошка, торопливо возвращаясь домой...

Рубль, полученный им, заставил его задуматься о том, что бы такое купить «графу» на эти деньги, что доставило бы ему удовольствие. Долго он ломал над

этим вопросом голову и, наконец, решил, что вино очень полезно «графу», тем более что и докторша во время болезни приказывала давать вина и сама его привозила, и Антошка, войдя в погреб, потребовал самой лучшей мадеры в рубль.

XXIII

Рассказ Антошки произвел на молодую девушку сильное впечатление.

Первый раз в жизни она непосредственно услышала об ужасах нищеты и горя несчастных, обездоленных людей. До этого она, случалось, читала об этом в книгах или слышала мимоходом в разговорах, что люди впадают в нищету по своей вине, но никогда не задумывалась над этим вопросом. Богатая, избалованная, жившая в замкнутом кружке таких же богатых и чиновных людей, она не могла себе представить, что за этим миром довольства, блеска и роскоши существуют на свете люди, не имеющие ни пищи, ни платья, ни крова, нуждающиеся в куске хлеба в то время, когда ей шьют бальное платье, стоящее больших денег, или дарят дорогие безделки.

А теперь эти мысли бродили в ее голове, находили отклик в добром сердце девушки, и ей непременно хотелось помочь и этому несчастному дяде и этому мальчику.

Как ни было ей тяжело осуждать отца, но она осудила его в душе за то, что он так жестоко отнесся к родному брату, и она припомнила те ужасные слова отца, которые он говорил по поводу письма, полученного месяц назад от дяди, в котором он молил о помощи для мальчика. И тогда она почувствовала правдивость этого письма. И тогда она подумала, что отец не прав, считая своего брата лжецом... И тогда она находила жестоким поведение отца и, полная стыда за него, послала свои двадцать пять рублей. А теперь, после того как услышала эту трогательную историю двух бездомных, горемычных существ, молодая девушка невольно еще строже судила отца, и слова его казались ей теперь бессердечными.

О, как бы хотелось ей помирить отца с дядей... Откуда такое озлобление? Ужели отец недоступен жалости и не может отнестись к нему тепло и сердечно, ободрить его, помочь ему?..

Но при мысли об этом ей становилось жутко, и невольные сомнения закрадывались в ее голову. Отец непреклонен и, что раз решил, не меняет. И смеет ли она учить отца? И станет ли он ее слушать?

Но если отец не исполняет то, что велят и долг и любовь,—она должна исполнить. Она не допустит, чтобы родной брат отца нищенствовал, собирая милостыню на улицах, и чтобы от него отняли этого мальчика, которого он так любит. Это безжалостно, возмутительно!

Возбужденная и радостная, что и у нее, скучающей и неудовлетворенной тою жизнью, которую заставляли ее вести, нашлось вдруг дело, что и она может быть полезной двум существам, молодая девушка вышла из своей комнаты и прошла в кабинет к матери.

Нина рассказала ей то, что слышала от Антошки, и проговорила:

— Мама! Ведь необходимо помочь дяде и этому мальчику!

Госпожа Опольева, женщина добродушная, но благоговевшая перед мужем, хотя и согласилась с дочерью, что этот «несчастный дядя» заслуживает помощи и что он всегда возбуждал в ней жалость, но прибавила:

— А что скажет отец, Нина?

— Но разве, мама, мы-то сами не можем помочь помимо папы его родному брату?.. И наконец, ведь он вовсе не такой дурной... Напротив, эта история с мальчиком... эти заботы о нем...

— Но почему дядя обратился к тебе, Нина?.. Он тебя совсем не знает... Видел маленькой девочкой...

Нина призналась матери, что раньше послала дяде от имени отца деньги и теперь послала.

— Видишь, ты какая! — растроганно произнесла мать и нежно потрепала дочь по щеке своей белой, пухлой рукой в кольцах. — А если папа узнает об этом? Ведь он будет недоволен... Ты ведь знаешь его мнение о дяде?

— И пусть узнает... Я тогда сама расскажу папе, что он ошибается... И папа, быть может, убедится и... помирится с дядей.

Опольева сделала отрицательный жест.

— Этого никогда не будет! — произнесла она грустным тоном.

— Но если ты, мама, его попросишь...

— Я уж пробовала...

— Но за что же такая ненависть?.. Что же, наконец, сделал такое дядя, что от него все отшатнулись и довели его до нищенства? — воскликнула Нина. — Расскажи мне, мама...

Мать рассказала известную читателю историю «графа».

— Что ж тут такого ужасного, мама?.. Разве дядя не мог исправиться? И разве многие молодые люди не то же делают?.. И, однако, их не изгоняют из общества... Помнишь, еще недавно какую историю рассказывали о графе Бежецком... Он сделал вещи похуже, чем бедный дядя, и тем не менее его везде принимают... И папа и ты с ним любезны... Он остался в полку...

— Положим, с дядей сурово обошлись... не спорю, — заметила мать, — но все-таки так опуститься, сделаться пьяницей, нищим...

— Но кто же в этом виноват? Разве родные поддерживали его тогда? Напротив, все, как ты говоришь, его оставили и сами же обвиняют его. Ах, мама, мама, как это несправедливо и безжалостно! — воскликнула молодая девушка. — Нет, мама, голубчик, милая, добрая, ты уж позволь мне помогать дяде... я буду давать ему в месяц свои двадцать пять рублей... И свои непременно... Мне на булавки и остальных двадцати пяти за глаза довольно... И не нужно папе говорить... Пусть дядя будет думать, что это он посылает... Не правда ли?..

— Ну что ж, делай как хочешь, добрая моя девочка, возьми и от меня маленькую лепту... пошли ему еще десять рублей... Я буду давать каждый месяц.

— Спасибо за дядю и за мальчика, мамочка... Теперь они по крайней мере не будут нищенствовать... А за этого мальчика я буду просить тетю Мери... Я после завтрака к ней поеду... Можно?

— Поезжай... только вряд ли ее застанешь после завтрака... Ведь Marie, ты знаешь, всегда занята... Время у нее распределено...

— Я теперь поеду...

— А завтракать?..

— Бог с ним, с завтраком... Потом позавтракаю...

— Так прикажи закладывать карету...

— Нет, я лучше в санях, мамочка...

И с этими словами Нина вышла из кабинета матери и попросила Дуняшу приказать запрячь сани.

Через полчаса она уже ехала к княгине Моравской. Дорогой у нее явилась мысль после визита к Моравской поехать к дяде. То-то он обрадуется! Непременно надо навестить его. Мама, наверное, не рассердится! А отец не будет знать об этом!

— Дома княгиня?

— Дома, пожалуйста!

Молодая девушка быстро поднялась по лестнице. Лакей встретил ее у дверей почтительным поклоном и, проводив до гостиной, пошел докладывать княгине.

XXIV

Княгиня Марья Николаевна с четверть часа тому назад вернулась с прогулки, по обыкновению свежая, цветущая и румяная, в том спокойном, уверенном и довольном расположении духа, которое бывает у счастливо уравновешенного человека, сознающего, что все, что он делает, хорошо и плодотворно и что сам он безупречен.

Сегодня во время прогулки именно такие мысли занимали княгиню, и она с горделивым чувством подумала, что она живет не так, как другие женщины. В самом деле, большую часть женщин ее круга занимают выезды, наряды, сплетни, флирт и разные сердечные увлечения, доводящие многих до забвения всяких приличий,— а она вся поглощена деятельностью. Скольким людям она благотворит, сколько несчастных благодаря ей сделались счастливее, сколько детей призрываются в приютах... А все эти благотворительные концерты, спектакли и базары, устраиваемые благодаря ее энергии и настойчивости, как много дают они средств на добрые дела!..

Благодаря ее деятельности она не скучает, не нервничает, как эти светские дамы... Жизнь ее полна смысла, и она несет «крест свой» без всякого ропота... Да и бог с ним, с этим семейным счастьем... Она обходится и без него, и не надо ей какой-то любви, о которой так хлопочут многие женщины. Она и в молодости никого не любила и вышла замуж за старика по рассудку, так уж теперь...

С жестокостью женщины, никогда не увлекавшейся и всегда исполнявшей свой долг с неумолимой строгостью, княгиня не отказала себе в маленьком удовольствии осудить тех, кто распускает себя, мысленно называть их презрительной кличкой и брезгливо пожать плечами...

И сама она внутренне гордилась своею безупречностью, не подозревая, конечно, что эта безупречность в значительной мере зависела от ее уравновешенной, честолубивой и холодной натуры, и с самодовольным чувством думала, что она примерная во всех отношениях женщина благодаря твердым принципам, основанным на религиозном фундаменте.

С таким заключением она вернулась домой, сделавши свой узаконенный моцион, рекомендованный ей доктором, чтобы не полнеть.

Письмо «графа», которое княгиня только что прочла, несколько смутило молодую женщину и, главное, нарушило ее спокойное расположение духа и поколебало ее уверенность в том, что все, что она делает, хорошо и полезно.

Давно-давно не читала княгиня таких писем, хотя получала их много.

Это было страстное, умоляющее и вместе с тем негодующее письмо возмущенного и несчастного человека, полное ядовитых сарказмов насчет желания кузины спасти людей при помощи полиции и делать не добро, а зло. Искренностью и горем дышали эти строки, в которых «граф» объяснял, что такое для него этот мальчик, возродивший его к жизни, его, одинокого и всеми брошенного. Неужели милые родственники, не желающие его знать, хотят отнять единственное преданное ему существо. «Это было бы бессовестно и бездушно, княгиня,— писал «граф».— Если вы это сделаете, значит, вы сами никогда и никого не любили, кроме себя, и ваша благотворительность ничего не стоит, она для вас — удовлетворение тщеславия, и больше ничего. Ужели у вас хватит жестокости нанести последний удар тому человеку, который — помните? — когда-то был вашим искренним почитателем. Впрочем, и тогда вы были всегда слишком холодны и рассудительны, и если теперь эти качества получили полное развитие, то от вас ждать пощады нечего... Вы, конечно, думаете, что я, отвержен-

ный, буду виновником гибели мальчика... У вас ведь, у сытых, богатых людей, и особенно у благотворителей... такая мораль... Вы воображаете, что ваши приюты спасают... О как вы ошибаетесь и как вы слепы, если б только могли это понять... Простите за резкость письма, но поймите, если не можете чувствовать, что вы хотите сделать... Повремените по крайней мере. Соберите справки, узнайте обо мне, посылайте своих благотворителей справляться о мальчике, и если сведения эти будут неблагоприятны, тогда... тогда берите его в приют, из которого Антошка, конечно, убежит и благодаря вам действительно попадет, как вы выражаетесь, в «когти порока»... Нет, вы этого не сделаете, кузина... Не делаете».

Прошла минута-другая, а княгиня все еще держала письмо в руках. Она хотела бы отнестись к этому дерзкому письму с презрением и чувствовала, что не может... Она хотела уверить себя, что это пишет «пропавший человек», пьяница, негодяй и что на этот «пьяный бред» не стоит обращать внимания,— и тем не менее чувствовала, что этот «бред» задевает ее и что он дышит правдой...

И ее красивое, спокойное, уверенное в себе лицо омрачилось тенью. Вместо того, чтобы разорвать письмо, она положила его на письменный стол и задумалась...

В эту минуту постучали в двери.

— Войдите!

— Нина Константиновна Опольева! — доложил лакей.

— Просите сюда! — проговорила княгиня.

Она поднялась и пошла встретить молодую девушку.

Княгиня очень благоволила к своей молодой родственнице. Она считала Нину серьезной девушкой, а не обыкновенной светской пустельгой, которая только ищет женихов и занимается кокетством.

— Какой счастливый ветер занес тебя, Нина? — говорила княгиня, целуя молодую девушку.— У вас все здоровы: мама, отец?

— Все здоровы, тетя Мери... А к вам я, тетя, с просьбой, с большой просьбой.

— Да ты присядь прежде, Нина...

Нина опустила на маленький диванчик.

— Ну, теперь рассказывай, в чем дело...

Волнуясь и спеша, молодая девушка стала просить княгиню не определять Антошку в приют.

— Если б вы знали, тетя, как любят они друг друга: бедный дядя и этот мальчик!.. Он сейчас у меня был и рассказывал, что дядя был опасно болен, чуть не умер, простудился, когда вышел в легком пальто собирать милостыню... А этого своего приемыша ни за что не пускал... Его одел, а о себе не подумал... Вообще тут все необыкновенно, тетя, и доказывает, что дядя вовсе не такой дурной человек... Напротив...

— И твой папа так теперь думает?

— Нет, тетя... Папа предубежден против дяди...

— А ты, Нина, увлекаешься... Я тоже получила сейчас письмо от кузена... и очень дерзкое и наглое... И он требует, чтоб я не определяла его приемыша в приют... И какой тон... Какие выражения!..

— Но, тетя, он так несчастен... Полиция грозит отнять мальчика...

— Да, я просила об этом, чтобы его спасти... Он произвел на меня очень хорошее впечатление, этот мальчик. В приюте ему было бы лучше! — настаивала княгиня.

— Он убежит из приюта... Он не хочет туда!

— И твой дядя пишет, что убежит... Вот делай после этого добро людям... Хлопчи о них! — с сердцем промолвила княгиня. — Что может выйти из этого мальчика? Нищий, пьяница, вор.

— О нет, тетя, нет... О нем и о дяде будут заботиться... Дядя больше не станет просить милостыни... Нет! — энергично протестовала Нина, вся вспыхивая.

— Ты хочешь помогать ему?

— Да, тетя.

— Напрасно, моя милая... Надо помогать с разбором... Твои деньги пойдут на пьянство... Твой дядя совсем погибший человек...

— Не думаю, тетя...

— А я уверена... Уж если помочь ему, то иначе...

— Как, тетя?

— А вот как: поместить его в богадельню. Я берусь это устроить. Это было бы лучше всего!

И княгиня вся засияла от этой неожиданно осевшей ее голову мысли. В самом деле, чего же лучше!

— Но если дядя не захочет, тетя, в богадельню? — промолвила Нина и невольно улыбнулась этому неудержимому желанию княгини благодетельствовать людям, не спросивши у них, хотят ли они этого.

— Ну и дурак, если не захочет, — категорически отрезала княгиня. — Ему, значит, нравится жизнь, которую он ведет.

— Нет, милая тетя, уж вы исполните просьбу... Оставьте дяде мальчика... Не откажите, голубчик тетя! — упрашивала Нина.

— Ну, хорошо... Я уступаю... Не хотят люди добра — как хотят, а я умываю руки! — проговорила, наконец, княгиня.

— И напишите поскорей кому там нужно, а то полиция возьмет мальчика.

— Я сейчас протелефонирую.

И княгиня подошла к телефону, вызвала кого следует и просила отменить распоряжения.

— Ну, теперь одним нищим на свете будет больше... поздравляю. Ты довольна этим, Нина? — проговорила княгиня.

Но тон ее голоса звучал весело. Она, казалось, сама была рада, что исполнила просьбу и оставила Антошку при «графе».

— А мне кажется, что теперь двумя менее несчастными людьми будет более! — заметила Нина, улыбаясь своими большими кроткими глазами.

— Ты, Нина, еще очень молода и потому смотришь в розовые очки... Дай бог, чтоб бедный кузен исправился благодаря мальчику, хотя я мало верю в исправление таких людей... Согласна, что это в самом деле трогательная история... Письмо его хоть и дерзкое, а кажется искренним и, признаюсь, произвело и на меня впечатление...

— Вот видите, тетя... Что он пишет?

— Он более бранится... Ну, довольно об этом. Что кончено, то кончено... Расскажи о себе. Я тебя давно не видала... Что ты делаешь? Надеюсь, ты с нами позавтракаешь? Я тебя не отпускаю, слышишь? Довольна ты своей жизнью?

Молодая девушка призналась, что та жизнь, которую она ведет, ее не удовлетворяет.

— Ну еще бы!.. Есть чем удовлетворяться! Эти ваши скучнейшие балы, эти ваши глупые фиксы и глупые кавалеры... Надеюсь, не влюбилась еще ни в одного из этих господ?

— Нет, тетя...

— И слава богу... Я всегда считала тебя умной девочкой... А что ты читаешь? Не одни романы, конечно?

— Нет, тетя... Я и журналы читаю...

— Тебе бы надо, Нина, делом заняться...

— Каким? Научите, тетя...

— Сделайся членом нашего общества «Помогай ближнему!», и, если захочешь, дело найдется...

— Я охотно готова бы работать... Но только...

Она не договорила, несколько смущенная.

— Что же тебя останавливает?

— Папа не особенно любит все эти благотворительные общества...

Княгиня вспыхнула.

— Твой отец — извини, а уж я прямо скажу — совсем сделался в последнее время чиновником и не понимает никакого живого дела... Мы с ним не раз ссорились из-за этого... По его мнению, только то хорошо, что вышло из канцелярий, а свободная частная деятельность ему не по сердцу... Он и меня считает вроде сумасшедшей... я знаю... Но я с ним поговорю о тебе и надеюсь, что он позволит тебе работать под моим наблюдением... Хочешь?..

— С большим удовольствием!

— Очень рада... Ты по крайней мере будешь полезна ближним... А теперь ты что?.. Барышня с хорошим приданым, за которой охотятся женихи... Нечего сказать, приятное положение... И знаешь, что я тебе скажу, Нина?..

— Что тетя?..

— Не торопись выходить замуж.

— Я и не тороплюсь.

— Тебе двадцать лет... Подожди еще лет пять...

— Охотно буду ждать, тетя! — рассмеялась Нина.

— И главное, Нина, не выходи замуж по расчету, и особенно за старика... Избави тебя бог от этого! — как-то значительно и серьезно проговорила княгиня. — Ну,

а теперь пойдем завтракать,— круто оборвала она разговор, когда вошедший лакей доложил, что завтрак подан.

XXV

— Куда, прикажете, барышня, домой? — спросил кучер после того, как швейцар Моравских усадил Нину в санки и застегнул полость.

— Нет, Иван... Поезжайте к Бердову мосту. Вы знаете, где Бердов мост?..

— Как не знать, барышня.

Кучер натянул вожжи, и резвая вороная «Светланка» понесла санки крупною быстрою рысью.

Кучер любил «хорошо прокатить» барышню, которую он, как и вся вообще прислуга в доме Ополевых, отличал за ее простоту и ласковое, приветливое обращение, показывавшее, что барышня не гнушается простым человеком. Это не то что «сам генерал», всегда ровный, никогда не возвышавший голоса и в то же время с каким-то снисходительным презрением смотревший на прислугу. Никогда ни с кем ни одного лишнего слова, кроме приказаний, точных и коротких. Никогда ни малейшей фамильярности и никакой шутки, даже с камердинером, который жил у него шесть лет. И недаром все трепетали Ополева, зная, что за малейшую неаккуратность и за неточное исполнение его приказаний виновный будет немедленно рассчитан и без всяких объяснений.

Иван пустил «Светланку» вовсю. Снежная пыль обдавала закутанную Нину, и ветер резал ее лицо. Она любила скорую езду.

— Тише, тише, Иван... Кого-нибудь задавите!..

— Что вы, барышня!.. Не извольте беспокоиться...

Однако он попридержал лошадь, и только в малолюдной Офицерской снова пустил «Светланку» полным ходом.

Не доезжая Бердова моста, кучер круто осадил лошадь у ворот большого дома, указанного Ниной.

Она вышла из саней и нерешительно дернула за звонок у ворот.

Наконец явился дворник.

— Где здесь живет господин Ополев? — спросила Нина.

— На заднем дворе, у прачки, третий этаж... номер пятьдесят! — грубовато ответил дворник.

— Да ты проводи-то барышню... Не видишь, кто с тобой говорит! — сердито окрикнул кучер, находивший, что дворник отнесся не с надлежащим почтением к барышне, да еще приехавшей на собственной лошади.

— Я... что ж... Я провожу... Пожалуйте, барышня! — проговорил дворник уже более любезно.

«Ишь ведь дядю нищего своего пошла проводить», — сочувственно подумал кучер, который уж узнал сегодня на кухне, кто такой брат их генерала.

Не без некоторой брезгливости поднялась Нина по темной вонючей лестнице с мокрыми ступеньками и покрытыми сыростью стенами. Из многих квартир с открытыми дверями шел скверный запах кухни и смрада. По лестнице шмыгнули какие-то подозрительные мужские фигуры, скверно одетые, с испитыми физиономиями, и удивленно озирали нарядно одетую барышню. И Нине становилось жутко.

— Вот здесь, пожалуйста.

И дворник дернул звонок.

За дверями послышалось шлепанье туфель, и Анисья Ивановна в кофте и юбке, с засученными рукавами, показалась в дверях.

— Вам кого? — удивленно спросила она.

— Александр Иванович Опольев здесь живет?

— Здесь... здесь... Пожалуйте, барышня! — приветливо встретила Нину квартирная хозяйка, догадавшись по описанию Антошки, что эта та самая племянница, которая помогла «графу».

— Можно к нему войти? — робко спросила Нина и невольно поморщилась, вдыхая отвратительный спертый воздух маленькой квартирки.

— Очень даже можно... Александр Иваныч сегодня первый раз встали и сидят... Не угодно ли? Входите... Вот их комната...

Нина постучала.

— Войдите! — раздался из комнаты низкий сипловатый басок «графа».

Молодая девушка вошла и остановилась на мгновение, смущенная и взволнованная, пораженная и нищенской обстановкой маленькой комнатки, и видом этого бледного, смертельно бледного, осунувшегося лица, из-

рытого морщинами, с черными, глубоко сидящими глазами, все еще красивого и выразительного. Шляпка кудрявых, седоватых волос, покрывавших большую голову «графа», придавала ему вид художника. С первого же взгляда Нину поразило необычайное сходство его с отцом, но только «граф» казался совсем стариком, хотя и был моложе. Одет он был в свой знаменитый дырявый халат...

— С кем имею честь?.. — с изысканною вежливостью начал было удивленный «граф», с трудом приподнимаясь с кровати и стараясь держаться прямо, но не dokonчил фразы и, пристально взглядевшись в Нину, воскликнул:

— Нина... Нина Константиновна... Неужели это вы?

— Я самая, дядя! — проговорила покрасневшая девушка, торопливо подходя к «графу» и протягивая ему руку.

— Не ожидал! — едва вымолвил он и горячо припал к ее руке.

Нина поцеловала его в голову...

— Не ожидал! — повторил он, стараясь скрыть свое волнение. — Спасибо вам, милая девушка... Спасибо... Садитесь...

И «граф» хотел было подвинуть табурет.

— Не беспокойтесь, дядя... пожалуйста, сидите...

И, присев на табурет, она продолжала, все еще смущенная и взволнованная:

— Я непременно хотела побывать у вас, узнать о вашем здоровье и сообщить приятную вестъ и вам и Антоше, — обернулась она к Антошке, ласково ему улыбнувшись. — Я только что от княгини Моравской... Антошу от вас не возьмут... Княгиня телефониовала градоначальнику...

Антошка весело улыбался.

— И за это спасибо вам, Нина Константиновна...

— Просто — Нина, дядя...

— Ну извольте, Нина... И за все, за все, что вы сделали...

— Полноте, дядя... Стоит ли говорить... много ли я сделала?.. Я ничего не сделала того, что бы следовало, — как-то значительно и словно бы виновато проронила молодая девушка, бросая робкий взгляд, полный участия, на «графа». — Я ведь раньше решительно ничего

не знала о вас, а теперь как узнала от Антоши, какой вы хороший...

— Ну, ему верить нельзя... Он удивительно болтливый и, главное, увлекающийся мальчишка... Видите ли, Нина, детство его было очень печальное, и когда его пригостили, он уж и раскис, являя редкое качество: чувство благодарности... Так княгиня смиростивилась?.. Отказалась от мысли силою облагодетельствовать Антошку и, конечно, полагает, что он пропадет?.. Но вы, Нина, я уверен, этого не думаете и понимаете, что я постараюсь, чтоб он не был похож на меня! — прибавил он с горькой улыбкой.

— Разумеется, не думаю, дядя...

— И не ошибетесь... верьте...

И, словно бы спохватившись и вспоминая, что и он когда-то был светским человеком, «граф» поспешил осведомиться о здоровье ее родителей.

— Благодарю вас, здоровы...

Она хотела было прибавить: «Вам кланяются», но удержалась от этой лжи и прибавила:

— Я ведь к вам, дядя, приехала экспромтом... Ни папа, ни мама не знают...

— Тем более порадовали... Ведь вы первая из родственников решились посетить меня... Первая и, вероятно, последняя...

— Я, дядя, если позволите, и еще приеду.

— Позволю?.. Я буду бесконечно рад вас видеть, но... как бы вам-то не досталось, милая племянница... Ваш отец не очень-то обрадуется, если узнает, а я... я не хочу, чтобы из-за меня вам сказали хоть одно неприятное слово! — прибавил граф на превосходнейшем французском языке.

— Не бойтесь... Не достанется... И я надеюсь, что и папа примирится с вами... поймет, как он перед вами... виноват!..

— Виноват?.. Напрасно вы думаете, что он виноват... У брата своя точка зрения... Он человек известных правил... вот и все...

Нина просидела полчаса и была просто очарована изяществом «графа», и его остроумными замечаниями, и его манерами, полными достоинства.

Наконец она поднялась и, крепко пожимая руку «графа», горячо проговорила:

— Я очень, очень рада, дядя, что познакомилась с вами...

И прибавила по-французски с робкою застенчивостью:

— И надеюсь, дядя, что вы позволите мне быть исключением из родственников... и... и... быть вам полезной,— чуть слышно прибавила она.— Видите ли... у меня есть свободные и совсем ненужные деньги... Не обидьте, дядя, меня отказом и позвольте ежемесячно присылать вам безделицу... тридцать пять рублей... Больше я, к сожалению, не могу...

«Граф» не находил слов.

— И кроме того... вам, дядя, необходимо переменить квартиру и... сделать кое-что... Вы больны, вам нужен уют... теплое платье... На днях я пришлю деньги... Они мне совсем не нужны... право... двести рублей... Вы перемените обстановку... Вам необходима чистая комната... Не правда ли... И вы возьмете от любящей вас племянницы... Ведь да, да?..

— Милая! Добрая!..— проговорил дрогнувшим голосом «граф».

— До свиданья, дядя... Будьте здоровы...

Она крепко пожала руку «графа» и сказала Антошке:

— Проводи меня, Антоша... Прощайте, Анисья Ивановна...

Антошка проводил молодую девушку до саней. Когда он ее подсаживал, то заметил, что глаза ее полны слез.

— Прощайте, барышня... Дай вам бог всего хорошего! — горячо проговорил он.

— До свиданья... Берегите дядю... Если ему будет хуже, дайте мне знать...

Необыкновенно веселый и радостный вернулся Антошка к «графу» и думал встретить и его такого же веселого. Но каково же было его удивление, когда, войдя в комнату, он увидел «графа», сидящего на кровати с закрытым руками лицом. Плечи его вздрагивали, словно бы он плакал.

И «граф» действительно плакал, потрясенный и тронутый сердечным участием, которого он так долго не видал. Неужели это не сон и впереди новая жизнь без этого опостылевшего попрошайничества?

Молодая девушка возвращалась домой растроганная и взволнованная, одушевленная горячим желанием во что бы то ни стало устроить несчастного дядю. Он положительно ее очаровал, этот нищий и пропойца, как брезгливо называл ее отец родного брата. Необходимо — и как можно скорее — перевести его из этой крошечной, полутемной комнаты в лучшую, надо дать возможность ему одеться сколько-нибудь прилично, завести белье, теплую одежду... вообще успокоить его хоть на склоне жизни...

Она заметила и этот дырявый халат неопределенного цвета, бывший на нем, и эти туфли, которые не надела бы ее горничная, и это отвратительное, порыжелое пальто, тоненькое, заштопанное, висевшее на гвоздике.

И в таком одеянии родной брат ее отца выходил на улицу просить милостыню!

О папа, папа!

Бедный дядя! Как должен страдать он, всеми брошенный, всеми презираемый. Как зяб он, едва прикрытый, в то время когда его близкие родные ездили в роскошных шубах или сидели в уютных, теплых комнатах. И никто не вспомнил о нем, никто не пожалел его!

— Отчего такая жестокость? — спрашивала себя потрясенная девушка.

А между тем как он был тронут малейшим вниманием и сколько в нем доброты, сколько нежности к спасенному им мальчику. Сам нищий, заботится о таком же нищем. А отец говорил, что он изолгавшийся, пропавший человек!

— Господи! Отчего отец так озлоблен против него?

Нина — эта тепличная барышня, оберегаемая от всякого прикосновения с действительной жизнью — первый раз в течение своей двадцатилетней жизни увидела, как живут бедные люди. Ей, не имевшей понятия о том, в каких действительно ужасных подвалах и трущобах гнездится бедный люд, и это сравнительно еще сносное помещение «графа», о котором не смели бы мечтать более несчастные люди, — казалось чем-то ужасным, чем-то невозможным.

И перед ней словно бы внезапно приподнялась завеса нового мира — мира нищеты и страданий, о котором

прежде она ничего не знала и никогда не думала сколько-нибудь сознательно.

Она, положим, и раньше слыхала, что существуют на свете нищие люди, но они представлялись ей какими-то порочными отверженцами, какими-то страшными людьми, сделавшимися такими по собственной вине.

По крайней мере так говорил о них отец, и она ему верила.

Слышала она от отца и другие своеобразные суждения вообще о народе.

Его превосходительство неизменно и с присущим ему апломбом говорил — и в последнее время все чаще и настойчивее, — что русский народ вконец развращен и испорчен: он ленив и беспечен, живет как свинья, пьянствует и совсем распушен благодаря тому, что после освобождения с ним сентиментальничали, вместо того чтоб поставить над ним строгую непосредственную власть. Необходимо народ держать в ежовых рукавицах и не стесняться учить его по-старинному — розгой. Такая строгость, разумеется разумная, необходима в собственных его же интересах — иначе прежние патриархальные качества русского мужика исчезнут окончательно. Подобная опека вполне отвечает и государственным задачам и самобытным русским устоям.

— Разнуздайте этого зверя или дайте ему попробовать европейской цивилизации, и вы увидите, что будет...

Его превосходительство не досказывал, что будет, но его гладко выбритое лицо чиновного авгура становилось таинственным, и он как-то угрожающе разводил выхлещенными руками с крепкими ногтями, предоставляя слушателю догадываться, что может произойти...

Такие положения сделались любимым коньком Опольева после того, как он, умудренный, вероятно, житейским опытом, круто переменял прежние свои взгляды, когда составлял красноречивые записки по поручению прежнего начальства совсем в другом духе о том же самом народе.

Теперь же он любил выставлять на вид новые свои воззрения; к которым пришел, как говорил он, путем горького разочарования в приложимости к русской жизни многих, казалось бы, и полезных реформ. Насколько было возможно, он старался провести свои новые мне-

ния путем бойких записок, снабженных многочисленными историческими, экономическими и даже богословскими данными.

Он называл себя здравомыслящим консерватором и находил, что решительный консерватизм будто бы вполне соответствует духу времени и в то же время не бесполезен для увенчания блестящей карьеры.

Однако он заблуждался насчет своих честолюбивых надежд. Его решительные проекты погребены были в министерском архиве, и его не призывали осуществлять их.

Других мнений не приходилось слышать молодой девушке в отчем доме, и когда отец высказывал их, бывало, за обедом какому-нибудь приглашенному гостю, то гость не противоречил, а соглашался с его превосходительством.

Но и такие разговоры из области государственной политики происходили редко в присутствии молодой девушки. Они обыкновенно велись в кабинете. Ей же приходилось только слушать во время визитов разные светские и административные сплетни и не особенно остроумные *beaux mots*¹, сообщавшиеся матери, шаблонно-светскую, непосредственно к ней обращенную бессодержательную болтовню порядочных молодых людей или пошловатые любезности ухаживателей, которые не прочь были предложить ей руку и сердце и взять ее хорошее приданое. В дамском обществе, среди кузин и приятельниц, ей приходилось слушать одни и те же разговоры о нарядах, о Михайловском театре, о флирте того-то с той-то и самые злые сплетни насчет замужних женщин, увлечения которых обсуждались даже молодыми девицами.

И молодая девушка жила в этом обособленном кружке, полном своих интересов, интриг и искательств, точно в каком-то заколдованном замке, до которого не доносилась широкая волна жизни. Все, что происходило там, за пределами волшебного замка, ей было так же неведомо, как неведома внутренность Африки.

Не помогло ей нисколько в этом отношении и шестилетнее пребывание в учебном заведении. И там все вопросы, более или менее интересующие обыкновенных

¹ остроты (франц.).

смертных, предусмотрительно обходились, как совершенно бесполезные для будущих светских дам, которым решительно не нужно знать: действительно ли земля кругла и отчего крестьяне не имеют ни бриошей к чаю, ни жареной курицы за обедом. Наука там имела какой-то элегантно-веселый характер анекдотов и более или менее достоверных фактов без каких бы то ни было обобщений. В воображении юниц весь божий мир представлялся ареной для приятного препровождения генеральских дочерей, особенно если у родителей или у мужа есть хорошие средства, а для остальных скучным прозябанием с плохими костюмами и плохим выговором французского языка. В теоретическом представлении народ являлся каким-то таинственным сборищем бородатых и грязных пахарей, обязанность которых трудиться в поте лица своего и собирать в житницы. В конкретном виде народ представлялся горничными, лакеями, кучерами и швейцарами, назначение которых не оставляло места для каких-либо сомнений. Несколько странной породой людей казались воспитанницам учителя. Их можно было обождать и в то же время нельзя было пригласить в дом и выйти за них замуж. Их надобно было уважать и слушаться и слегка презирать за дурной костюм и немодную прическу.

Выйдя из учебного заведения, Нина говорила хорошо по-французски и по-английски, довольно плохо играла на фортепьяно, знала язык цветов и несколько не совсем приличных французских романов, прочитанных тайком, и имела более чем смутные понятия о русской литературе после Гоголя.

В доме она тоже не особенно культивировалась, тем более что сам Опольев далеко не был поклонником русской литературы, особенно новейшей. Толстого он порицал, а Салтыкова так просто ненавидел. Других новейших писателей он не читал и к прессе относился с недоброжелательством за то, что она сует нос туда, куда ей не следует, и позволяет себе судить о том, чего не понимает.

Его превосходительство, впрочем, выписывал один русский журнал и одну газету, направление которых соответствовало его взглядам. Газету он аккуратно читывал и изредка сам посылал редактору статьи, под

псевдонимом конечно; в которых излагал свои государственные соображения.

Опольева, добродушная и не особенно далекая женщина, до сих пор влюбленная в мужа и слушавшая каждое его слово с благоговением верующей, тоже относилась к отечественной литературе с боязливой брезгливостью и, конечно, оберегала и дочь от знакомства с произведениями, в которых, как она думала, описываются все мужики да мужики или занимаются какими-то курсистками да учителями. Мать и дочь исключительно читали французские и английские романы, и многие известные русские писатели неизвестны были им даже по именам.

И, несмотря на такое полное отчуждение от действительной жизни, несмотря на самое основательное воспитание в духе полного индифферентизма ко всему, что не имеет отношения к интересам маленького замкнутого кружка — так называемых сливок общества, — молодая девушка смутно чувствовала ложь этой жизни и какую-то неудовлетворенность.

Неглупая, наблюдательная и чуткая, она не могла не заметить лицемерия и фальши, угодничества и лести, поддельной наивности и двуличия, наглости и бесстыдства в погоне за положением, за богатством и полнейшего отсутствия каких-нибудь других интересов среди представителей и представительниц того общества, в котором Нина вращалась. Она видела, с какою неразборчивостью молодые барышни при помощи матерей и отцов ловили богатых женихов, а молодые люди — богатых невест, нисколько не думая о взаимной привязанности; она слышала циничные разговоры знакомых барышень о флирте и понимала, чего стоят эти условные фразы о нравственности, религии и супружеском долге в устах тех молодых светских женщин, которые яростнее всех нападали на неприличное поведение своих менее осторожных подруг, а сами...

Нет, решительно этот «свет» с его блеском и роскошью, с удовольствиями и выставкой тщеславия обманул прежние ее ожидания и совсем не прельщал эту худенькую брюнетку с ясными, доверчивыми глазами. Она была словно бы чужая среди своих и слишком серьезна для веселящихся и довольных жизнью приятельниц и знако-

мых. Над ней посмеивались, называли ее оригинальной и находили, что она «trop rude»¹.

Нина не любила выездов и балов и появлялась на них больше по настоянию матери. Порой она скучала и, чтоб убить время, занялась живописью.

Мать, любившая единственную свою дочь до безумия, несколько удивлялась и ее нелюдимству и ее хандре.

«Пора Нине замуж!» — думала она и зорко присматривалась, кто из молодых людей, бывавших у них в доме, нравится дочери, но как она ни приглядывалась, а ничего не замечала.

— Тебе никто, Нина, не нравится? — спрашивала мать.

— Никто, мама...

— А Бежецкий, а Лорней, а Скуратов... разве не хорошие и милые молодые люди...

— Так что ж из этого, мама?

— Надо тебе выходить замуж, Ниночка...

— Будто уж так надо... Надоела я тебе, что ли? — смеясь, говорила дочь.

Так и кончались подобные объяснения, и мать не знала, чем объяснить, что Нина в последние годы стала совсем не той веселой, беззаботной и любящей балы девушкой, какою была раньше.

Посещение больного «графа», ужасная история Антошки, трогательное отношение к нему того, кого все называли отверженцем, — все это словно бы пробудило Нину от сна, словно бы с глаз ее сняли вдруг повязку, и она увидела, что за очарованным замком есть и другая жизнь, не та беззаботная и роскошная, но жизнь, полная лишений и страданий. Она почувствовала, что люди, которых отец беспощадно клеймил пропащими и не заслуживающими участия, далеко не такие ужасные. Напротив... И если она видела только двух таких нищих — «графа» и Антошку, то, верно, и другие заслуживают любви и милосердия...

Такие мысли бродили в голове молодой девушки, и в этот день она впервые задумалась о таких вещах, о которых прежде не думала.

О, в какой ужас пришел бы отец, если бы заглянул в эти минуты в душу своей горячо любимой дочери.

¹ «Слишком сурова» (франц.).

Вопрос о том, где она достанет деньги, обещанные дяде, был решен ею без колебаний. Это так просто. Зачем ей, например, бриллиантовые серьги, которые подарил отец на именины. Можно возвратить их ювелиру, и он не откажется купить их.

Вернувшись домой, молодая девушка тотчас же прошла к матери.

— Ну, мама, все устроено,— возбужденно заговорила она,— тетя Мери не отнимет мальчика. Он останется при дяде...

— Ты у тети завтракала?

— Да... Тетя тебе кланяется... И ее муж... Ах, мама, если б ты знала, в каком ужасном положении дядя...

— Что с князем? — участливо воскликнула княгиня, думая, что речь идет о муже ее двоюродной сестры.

— Я не о князе... Я о дяде Ополъеве... Какой он худой, худой и бледный... А какая у него комната! Маленькая, без мебели, грязная, темная...

— Да ты откуда знаешь все эти подробности?

— Я сама видела. Я только что от дяди.

— Что?! Ты была у него?! — воскликнула Ополъева.

В ее красивом, моложавом, несколько полноватом лице, в ее больших глазах отразился ужас и изумление.

В самом деле, дочь тайного советника Ополъева и вдруг в гостях у какого-то пропойцы-нищего. О господи!

— Чему ты так изумляешься, мама?

— И ты еще спрашиваешь, Нина?

— Да разве я сделала что-нибудь нехорошее, навестив несчастного, больного дядю?

Этот вопрос несколько смутил добродушную женщину.

— Ты поступила нехорошо относительно отца.

— Но, мама...

— Дай мне сказать... Ты ведь знала, что отец не велел пускать этого господина и не признает его своим братом... И вдруг дочь к нему едет! Ты, значит, ни во что не ставишь мнение отца? И, не посоветовавшись со мной, одна отправляешься в какую-то трущобу... Ах, Нина, Нина... Какая это нелепая выходка!

— Во-первых, папа заблуждается относительно дяди, считая его каким-то негодяем... Он, напротив, добрый, хороший человек! — горячо проговорила Нина.

— Что ты говоришь, Нина. Разве можно осуждать отца?

— Я не осуждаю... Я говорю только, что папа не прав... Я в этом убеждена, и меня никто не разубедит... Во-вторых, я не скрою от папы, что была у его брата... Я расскажу, что видела, и папа убедится, что он заблуждается...

— Боже тебя сохрани, Нина... Не говори ничего отцу, не огорчай его... Но дай мне слово, что ты не повторишь своего безрассудства... Помогай этому несчастному, если хочешь — хотя и это уж протест против отца! — но бывать у него...

— Мама! Да что ты говоришь! — воскликнула молодая девушка, и в голосе ее звучала грустная нотка, а глаза ее с немым укором глядели на мать. — Ты, добрая, хорошая, ты, сама заступившаяся за дядю, — помнишь, когда папа принес его письмо? — и осуждаешь меня... И за что же? За то, что я была у больного, несчастного, всеми брошенного человека? Ах, если б ты видела его! Если б ты видела, как он был тронут моим посещением... Как он чуть не заплакал от волнения...

— Но отец твой...

— Ах, мама... Твое сердце само говорит, что папа в данном случае не прав... Если бы и папа увидел этого сгорбленного, исхудавшего старика с лицом мертвеца...

— Разве он так болен?

— Было воспаление легких... Простудился, выйдя на улицу в холодном пальто... Еще слава богу, что нашлись добрые люди... Одна женщина-врач лечила его, а хозяйка квартиры, какая-то прачка, содержала дядю во время болезни... И это сделали посторонние люди, а мы... родные... Ах, как это все нехорошо, мама!

И Нина взволнованно стала рассказывать матери подробности своего визита.

И по мере того как Нина передавала о своей встрече с дядей, о том, как он говорил с ней, как благодарили ее и дядя и этот мальчик, которого дядя спас от ужасной жизни у какого-то солдата, на глазах у Опольевой заблистали слезы, и она несколько раз во время рассказа повторяла:

— Ах, несчастный, несчастный!

— Вот видишь ли, мама, как все были безжалостны и несправедливы к дяде, считая его совсем дурным че-

ловеком! — возбужденно проговорила Нина, окончив свой рассказ.

— Да, Нина... Он много перенес... этот бедный Александр Иванович!

— А ведь он, мама, куда лучше многих из тех людей нашего общества, которых все принимают и уважают. Право, лучше, хоть и считается падшим. И это я поняла только сегодня, когда поговорила с ним. Так неужели так и оставить его, не выказать ему участия, не навестить его!? Ведь это было бы возмутительно, жестоко... Не правда ли?

Опольева чувствовала справедливость слов дочери.

Действительно, все родные слишком сурово отнеслись тогда к Опольеву. И муж был слишком неснисходителен к брату. Но муж — человек правил, принципа. Кто знает, не жалел ли он брата в душе, но и не мог отступить от принятого решения. У него есть эта черта. Но зато какой он примерный муж, какой отец!..

И Опольева без особенного труда оправдала мужа.

— Ты слишком принимаешь все близко к сердцу, Ниночка, — проговорила мать. — Я не спорю, что дядя несчастен, что он уж не такой дурной и заслуживает помощи... И я ничего не имею против того, чтоб ты помогла ему, но зачем же ездить к дяде, если отец твой не хочет знать его... Ведь он пришел бы в ужас, если б узнал о твоём посещении... А разве ты захочешь огорчать отца, который тебя боготворит... Подумала ли ты об этом?

— Но что же мне делать? Не могу же я согласиться с папой, что дядя негодяй, и никогда с этим не соглашусь. Ну хорошо, я не скажу папе о своём визите, если ты этого не хочешь, но я все-таки навещу дядю...

— Но если отец как-нибудь узнает?

— Ну что ж? Тогда я все объясню ему, все...

Этого-то и боялась пуще всего мать. О, она хорошо знала, как самолюбив ее муж и как ему неприятно всякое противоречие. А тут дочь вдруг явится как бы в роли обвинительницы отца!..

И, вдруг принимая строгий вид, Опольева сказала:

— Нина! Ты больше не поедешь к дяде. Слышишь, я тебя прошу об этом... Не заставляй приказывать.

— Мама, мне неприятно тебя огорчать, но я долж-

на быть у дяди... Я ему обещала и исполню свое обещание! — прибавила молодая девушка, внезапно бледнея.

Этот решительный ответ всегда ласковой, кроткой Нины ошеломил Опольеву. Она решительно не знала, как ей быть, что сказать дочери, и, чувствуя, что ее авторитет поколеблен, растерянно смотрела на дочь и вдруг заплакала.

— Мама... не сердись. Ты пойми, что я не могу поступить иначе. Это не каприз! — умоляла Нина.

Кончилось тем, что Опольева, как все слабые натуры, сдалась и пошла на компромисс. Она позволила Нине, когда дядя устроится несколько приличнее, раз в месяц навещать его.

— Даст бог отец не узнает об этом! — прибавила она.

Нина с горячностью целовала мать.

— Какая ты у меня горячая, моя девочка! — говорила мать, утирая слезы. — А вот до сих пор ни в кого не влюбилась! — неожиданно прибавила она и вздохнула.

— Нет, влюбилась, мама.

— Кто он, этот счастливец?

— Дядя, мама...

— Ты вот все шутишь, а пора бы тебе в самом деле полюбить кого-нибудь...

— Еще успею, мама... Не старая же я дева. А пока я хочу поступить в общество «Помогай ближнему!», в котором тетя Мери председательница.

— Это она тебя зовет?

— Она...

— Что ж, поступай...

— А папа позволит?.. Он ведь не особенно любит благотворительных дам?..

— Ну, тетю Мери он хоть и недолюбливает, а уважает... Под ее крылом можно... Я поговорю об этом с отцом... А вечером сегодня ты в каком платье? — вдруг переменяла разговор Опольева.

— А что сегодня вечером, мама?

— Ты и забыла? Мы у Иртеньевых.

— Разве необходимо ехать?

— Ты не хочешь?

— У них такая скука, мама...

— А надо ехать...

— Почему?

— Иртеньева обидится... И то мы редко у нее бываем...

— «Что ж, ехать так ехать», — сказал попугай, когда его тащили за хвост из клетки! — смеясь, проговорила Нина и прибавила: — А в каком платье, мама, быть попугаю?..

— Надень новое, что на днях принесли. Оно к тебе идет...

— Так я его и надену... — ответила Нина и вышла из спальни.

На другой день Нина, отдавая горничной футляр с серьгами, проговорила:

— Отвезите серьги, Дуняша, к ювелиру с этой записочкой... Только, прошу вас, никому об этом ни слова! — прибавила, краснея, Нина.

— Что вы, барышня... Ни душа не узнает...

— Он вам за них даст деньги...

— Продать их, значит?

— Ну да... Ювелир наверное купит.

— А за сколько прикажете отдать их?

— Право, не знаю... Кажется, за них заплачено триста рублей.

— Этих денег, барышня, он не даст.

— Берите, что даст. Мне очень нужны деньги.

Дуняша догадывалась, на что нужны барышне деньги. Кучер вчера рассказал ей, где была Нина и как Антошка благодарил ее.

Ей было жаль, что барышня лишается этих серег ради какого-то пьяницы дяденьки, которого недаром же генерал не приказывает принимать в дом и который, наверное, пропьет деньги, и она заметила:

— Жаль, барышня, продавать такие чудесные сережки... Не найдете ли вы что-нибудь другое?..

— За другое меньше дадут, Дуняша... Да и мне несколько не жаль... Поезжайте, пожалуйста, и поскорей вернитесь.

Через час Дуняша привезла двести рублей.

— Больше не хотел давать, барышня... Да сперва и покупать не хотел.

— Почему?

— А справился в какой-то своей книжке, да и спрашивает: «Зачем, мол, дочь такого важного генерала продает свои вещи?.. Как бы, говорит, не вышло каких-ни-

будь неприятностей». Насилу я уговорила его, что никаких неприятностей ему не будет... Папенька, мол, знает об этом...

— Благодарю вас, Дуняша, что уговорили... А теперь я вас попрошу отвезти эти деньги к моему бедному родственнику... Я сейчас напишу только письмо.

И, присев к столу, Нина написала дяде небольшое, необыкновенно ласковое и деликатное письмо, в котором просила принять от любящей племянницы деньги и переехать в лучшее помещение, сделать себе все необходимое и непременно теплое пальто. «А то вы опять простудитесь и заболеете, дорогой дядя»,—прибавила она и кончила просьбой непременно сообщить новый адрес, как только здоровье дяди позволит ему переехать на другую квартиру.

— Передайте, Дуняша, этот конверт в руки моему дяде и кланяйтесь от меня...

— Слушаю, барышня...

— И об этом никому не говорите, Дуняша.

— Будьте покойны, добрая барышня... То-то ваш дяденька обрадуется таким большим деньгам...

— Да, для него это большие деньги теперь... А мое бальное платье триста рублей стоило. На что оно мне, Дуняша? А на эти деньги можно было бы избавить человека от нищеты! — неожиданно прибавила Нина в каком-то раздумье.

— Как на что, барышня? Вовсе даже необходимо по вашему положению! — запротестовала Дуняша, совсем не разделяя, по-видимому, такого странного мнения барышни.— Вам ежели и в тысячу рублей платье, так очень даже хорошо...

— Вы думаете, что хорошо? — улыбнулась Нина.

— А то как же... Вы такого важного генерала дочь...

— И в этом все мое право! — как будто отвечала на какие-то свои мысли молодая девушка и прибавила: — Поезжайте, Дуняша, и скорее возвращайтесь!

XXVIII

Эти двести рублей, присланные Ниной, теперь казались «графу», когда-то швырявшему тысячами, целым состоянием.

И он глядел на две толстые пачки бумажек, лежавших на его кривоногом столике, и словно бы не верил своим глазам, что такое богатство в полном его распоряжении. Он словно бы сомневался, что после долгих лет нищенства благодаря обещанным тридцати пяти рублям в месяц он может не шататься по вечерам на улицах, останавливая прохожих на разных диалектах и придумывая более или менее остроумные словечки, чтоб получить какую-нибудь монетку, и может не писать больше писем к разным родственникам и бывшим знакомым. Как ни привык он к этой жизни, с каким цинизмом нищеты ни эксплуатировал он близких, а все же эта жизнь была отвратительна.

А теперь вот еще эти деньги!

Ведь он может расстаться со своим нищенским тряпьем, внушавшим ему самому отвращение, и одеться прилично, не вызывая на улице подозрительных взглядов, может завести белье, переехать в более чистую и светлую комнату и зажить с Антошкой хорошо и уютно. У них будут кровати с хорошими тюфяками, крепкие сапоги... Они будут каждый день обедать... Антошка станет ходить в школу...

Это сознание неожиданного благополучия приводило «графа» в радостно-счастливое настроение, наполняя его сердце чувством горячей благодарности к виновнице такой резкой перемены в его жизни.

Ожидал ли он, что на склоне его жизни судьба смилуетсЯ над ним так великодушно и так таровато? Он проведет последние годы не нищим оборванцем и не один как перст, а с этим славным и добрым мальчиком, который заставил его вновь полюбить жизнь.

И «граф» проговорил, обращаясь к Антошке, который тоже очарованными глазами глядел на такое количество денег:

— А ведь все это точно в сказке, Антошка!

— В какой сказке, граф? — переспросил Антошка, не понимая, что хочет сказать «граф».

— Не называй ты меня графом, братец. Теперь уж я, слава богу, не граф, а опять Александр Иванович Опольев!

— Слушаю, Александр Иванович! — проговорил сконфуженно Антошка и словно бы и сам понял, что теперь

не следует называть Опольева нищенским прозвищем «графа».

— Ты знаешь, что такое сказка?

— Небылица, значит.

— Ну так вот, в сказках обыкновенно случается так, что нищий вдруг оказывается принцем, а дурак — умным...

— Зачем же это?

— А затем, мой мальчик, чтобы утешать нищих и дураков... В действительности же такие превращения бывают очень редки... А вот с нами это случилось... И если по правде говорить, то как же нелепо, как и в сказке... Следовало бы по-настоящему мне остаться таким же нищим, каким я был, и выходить на работу вот в этом самом пальтишке и... вдруг...

«Граф» вместо окончания фразы взял своей исхудавшей рукой одну из пачек и потряс ее в воздухе...

— Не правда ли, Антошка, удивительно, что мы с тобою вдруг сделались принцами? — прибавил «граф».

Но Антошка в качестве большого почитателя «графа» горячо протестовал и находил, что так следовало быть. Нельзя же, чтобы такой человек безвинно терпел... Еще если бы какой-нибудь простой, а то настоящий господин, у которого такие важные и богатые сродственники.

— Положим, не безвинно, Антошка, помни это раз навсегда... Не в этом, впрочем, дело, а в том, что богатые и важные «сродственники», как ты выражаешься, совершенно спокойно оставили бы меня умереть нищим, считая — и не без некоторого основания, — что я пропавший человек, а такому человеку помочь не следует, а надо его скорей забыть... и шабаш. И так бы я и окошел где-нибудь на улице от неизвестной причины, — так, Антошка, в газетах пишут, когда умирают нищие, — если б не эта добрая девушка... Она одна пожалела... Одна среди всех... Пожалела и поверила, что я тогда обратился к ее отцу за помощью не для того, чтобы пропить деньги, а для того, чтобы тебя одеть... Не будь такой девушки, и не были бы мы принцами, и ходил бы я опять по вечерам на работу... просить милостыню. Понял?...

— Понял, Александр Иванович...

— А что из этого следует, сообразил?

— Невдомек что-то, Александр Иванович! — добросовестно признался Антошка.

— А то, что надо рассчитывать только на себя самого. Мне-то уж поздно, а ты, Антошка, не забывай этого.

— Известно, сам трудись, ежели ты бедный! — подтвердил и Антошка.

— Да, удивительно, как эта девушка такая жалостливая у такого безжалостного отца и в такой среде! — продолжал философствовать «граф», словно бы отвечая на занимавшие его мысли. — Непостижимо! — прибавил он.

— Сердце, значит, доброе у барышни... Я так полагаю, Александр Иванович.

— Это ты верно полагаешь, но доброго сердца еще мало... Надо понимать... Вот, например, Анисья Ивановна понимает, каково бедному человеку, и при своем добром сердце нас с тобою и кормила и поила, когда я был болен... Из последних крох отдавала... Вот и докторша... Она тоже знает, как трудом достается кусок хлеба, и... пожалела, братец, нищего... лечила и ухаживала за мной, зная, что не получит ни гроша... И вино носила... Она и жалела и понимала, а племянница...

— Да разве она не понимает, что ежели нет ни одежды, ни пищи, то хоть пропадай! Всякий, кажется, понять это может. Не трудная штука!

— То-то, самая трудная эта штука и есть! — категорически отрезал «граф».

— Что-то чудно вы говорите, Александр Иванович...

— И я был не злой, когда богат был, а не понимал этой штуки и никогда прежде о ней не думал... Дашь под пьяную руку пять рублей и забыл... А где же об этой штуке думать барышне, для которой жизнь — точно сплошной праздник?.. Сегодня в гости, завтра в гости, по балам да по театрам... Да и не знает она, что значит не обедать и как это есть люди, которые не обедают.

— Ну?.. Обученная и не знает?.. — усомнился Антошка.

— Этому, Антошка, не везде учат... И меня этому не учили, и, наверное, племянницу не учили... Если бы учили, может и я не истратил бы глупо огромного состояния... Учили другому, что совсем не нужно. А вот она, племянница, и не училась этому, а как горячо при-

няла к сердцу нашу беду, Антошка... Не то что пожалела да кинула подачку — нет! И сама приехала, и пенсию назначила, и деньги на обзаведение прислала... И не оставит она нас с тобой... Не такая... То-то и удивительно!

— И простая какая, Александр Иванович... Совсем непохоже, что дочь важного генерала...

— Дда... И, может, еще потерпит она за свою доброту...

— От кого?

— От отца, от матери...

— За то, что помогла родному дяде? — изумился Антошка.

— Именно за это самое! — усмехнулся «граф». — Ты слышал, как ее горничная призналась, что барышня серьги свои продала, чтоб прислать мне эти деньги.

— У нее, должно быть, много этих серег...

— Много не много, а она, значит, сделала это по секрету... Если узнают родители — ей будут неприятности... О милая, светлая душа! — воскликнул «граф» в каком-то восторженном умилении.

— Ругать будут, что ли? — поинтересовался Антошка.

— Будут говорить, что она поступает безрассудно, что помогает пропойце... Известно, что говорят люди о нищих... А ты, Антошка, — с неожиданною торжественностью прибавил «граф», обращаясь к мальчику, — никогда не забывай этой диковинной барышни и помни, что если мы с тобою заживем хорошо, то обязаны этим ей... Такие барышни очень редки среди тех, которых ты зовешь «важными графинями и княгинями». Не забудешь?

— Никогда не забуду, Александр Иванович! — с чувством проговорил Антошка.

— То-то... Ты у меня признательный мальчик... Это, братец, хорошая черта... Ну, а теперь зови Анисью Ивановну... Надо с ней рассчитаться...

Добрая женщина обрадовалась от всей души, узнавши, какую значительную сумму прислала племянница ее жильцу, и поздравила его.

— На экипировку прислала и вообще на обзаведенье... Комната, говорит, темная и маленькая... Требу-

ет, чтоб я перебрался от вас, Анисья Ивановна! — объяснял «граф».

— Уж какая же это комната... В такой ли вам жить!..

— И в трущобах жил, Анисья Ивановна, всего бывало... Но только я должен вам сказать, что мне очень грустно расстаться с вами, Анисья Ивановна... Я испытал на себе, какая вы добрая женщина... Знаю, кто содержал меня во время болезни, и, поверьте, никогда этого не забуду...

— Ну, что вы, что вы, батюшка Александр Иванович! — говорила смущенная хозяйка. — Отчего и не поделиться чем можешь... У всякого человека бывает нужда...

— Да только не всякий делится... Ну, не будем об этом говорить... Сколько я вам должен?

— Восемь рублей, Александр Иванович, да за комнату пять, всего тринадцать рублей.

— Только-то?.. Уж что-то слишком мало!

— Да за что же я с вас буду брать лишнее?.. Вот и счет на восемь рублей, что во время болезни трчено... Чужого я не хочу... Я, слава богу, крещеная...

— Видно, очень добрый поп вас крестил, Анисья Ивановна, — усмехнулся Опольев. — Вот извольте получить ваши тринадцать рублей...

— Да вы счетец-то просмотрите.

— Ваш счетец и просматривать не надо, — сказал «граф», разрывая счет с небрежностью джентльмена, и прибавил: — А как я поправлюсь и стану выходить, то позволю доставить себе удовольствие, Анисья Ивановна, поднести вам маленький подарочек в знак глубокой моей благодарности...

Анисья Ивановна, совсем тронутая и обещанием подарка и такою деликатною формою выражения, начала было протестовать, но Опольев остановил ее словами:

— Надеюсь, вы не захотите обидеть меня отказом, Анисья Ивановна?

— Помилуйте, Александр Иванович... Я простая женщина, а вы...

— А я... нищий барин, которого вы пожалели! — перебил «граф». — Ну и об этом не станем больше разговаривать, а перейдем к следующему вопросу. Надеюсь, вы не откажетесь стирать мне белье, когда я его заведу?

— С большим удовольствием, Александр Иванович!

— Но дело в том, что я думаю поселиться на Васильевском Острове... там, знаете ли, и уединеннее, и воздух лучше... Особенно летом... И сады... и Петровский парк близко,— говорил «граф», наметивший эту местность вовсе не потому, что там «воздух лучше», а главным образом по той причине, что эта часть города никогда не бывала целью его вечерних экскурсий и там не могли узнать в нем прежнего нищего.— Так не далеко ли вам будет ходить за бельем?..

— Совсем не далеко... И у меня есть на Острове один давалец...

— Ну, значит, и отлично... И я всегда буду рад видеть вас и попотчевать вас чем могу.

— А вы когда думаете перебираться. Александр Иванович?

— А вот как сил прибавится...

— То-то вам надо побережься. Долго ли опять простудиться.

— И докторша запретила рано выходить... Ну да теперь у меня будет теплое пальто! — проговорил «граф» с радостной, почти ребячьей улыбкой.— Через недельку я и выйду.

XXIX

«Граф» быстро оправлялся от болезни, к радости Антошки, замечавшего, что Александр Иванович не такой уж худой, каким был после болезни. И ел он хорошо, и спал крепко, был в веселом настроении духа и ждал с нетерпением ясного дня, чтоб отправиться за покупками.

Докторша, совсем неожиданно навестившая Опольева под деликатно сочиненным предлогом, что была у больного в этом же доме, осмотрела его и нашла, что он совсем молодцом.

— Только вам беречься нужно... Не простудиться опять...

— Не простужусь... Теперь я буду тепло одет и мне не придется проводить время на улицах, рискуя новым воспалением легких...

— Дела ваши, значит, поправились? — осторожно спросила докторша.

— Добрая фея явилась ко мне, как это ни странно в нынешние времена, когда никто не верит в фей, так они

редки, эти добрые феи. И, однако, нашлась одна в лице моей племянницы... дочери известного Опольева... Вы, верно, слышали эту фамилию?.. Ну, разумеется.

И Опольев не отказал себе в удовольствии подробно рассказать докторше о своей племяннице и превознести до небес ее доброту и участие.

— А отец меня давно приказал не пускать на порог. Заметьте это! — прибавил он, усмехаясь. — Нельзя же в самом деле принять нищего... в таком великолепном доме, как у него!..

— Какая чудная девушка! И как я рада за вас! — горячо воскликнула докторша.

— Спасибо... Оттого-то я и позволил отнять у вас пять минут времени, что на себе испытал ваше участие и доброту. Я знал, что вы порадуетесь о том, что и в той среде, где только думают о себе, являются такие чистые души, как эта девушка... Только выдержит ли она?.. Не заклюют ли ее?

— Однако вы скептик...

— Жизнь не приучила к восторгам.

— Но теперь вы, конечно, не так уже мрачно смотрите на тот круг, к которому принадлежали? — спрашивала докторша, заинтересованная этим странным человеком.

— Отчего же теперь?.. Оттого, что я не буду нищенствовать — вы ведь знаете, конечно, мою бывшую профессию? Но ведь тысячи отверженцев, заслуживающих еще большего участия, чем ваш покорный слуга, по-прежнему не возбуждают ни малейшего участия в тех людях, которые могли бы помочь им... Искключение не правило. Одна ласточка весны не делает...

«Граф» вспомнил все то, что он видел и чему научился во время своей скитальческой жизни, и, довольный, что может высказаться и излить свою душу перед человеком, который его поймет, продолжал, указывая на Антошку:

— Если вот этот мальчик благодаря случаю, быть может, спасен от нищеты, тюрьмы и преступления, то разве мало гибнет таких же несчастных, обреченных на все это... О добрая госпожа докторша, я посмотрелся на этих жертв... Да и вы должны их знать... А они, эти господа, отделяются грошовой филантропией да приютами, и больше для удовлетворения тщеславия... Да... как вам ни покажется странным, а я, отставной

штабс-ротмистр Опольев, терпеть не могу то самое общество, которое само меня погубило и первое же отшатнулось от меня... И если бы мне сказали: живи между ними опять, я не пойду... Черт с ними!.. Однако извините, госпожа докторша, я решительно делаюсь болтуном, пользуясь вашей снисходительностью,— оборвал Опольев.

И хотя докторша и говорила, что у нее есть время и что ей очень приятно поговорить, но Опольев замолк.

Прощаясь, докторша снова повторила, что надо беречься.

— И не одной простуды! — значительно прибавила она.

— А чего же еще?

— Всяких излишеств. Например, пить вам, безусловно, нельзя...

— Я с этим покончил! — промолвил граф.

— И отлично...

— А мне можно выходить?

— Только не сегодня, а когда будет лучше день...

Прощайте... От души желаю вам всего хорошего...

— Прощайте... Спасибо вам за все, за все...

— Прощайте, Антоша.

Когда докторша ушла, Антошка проговорил:

— Вот и жидовка, а какая хорошая!..

— А ты думаешь, что жида должны быть нехорошие?..

— А то как же? Известно, жида... Все их ругают.

— Между всеми людьми есть, брат, и хорошие и дурные люди... А если жидов все ругают, то из этого еще ничего не следует. Люди часто бывают несправедливы и злы... Вот и меня все ругают, а разве я уж такой дурной?

— Что вы, Александр Иванович...

— Ну вот, видишь ли. И знаешь еще что, Антошка? Ты всегда своим умом смекай, а не повторяй того, что говорят другие!

Дня через три погода выдалась хорошая. Стояло ясное морозное утро, и после чая «граф» с Антошкой отправились за покупками.

— Вы нас не ждите к обеду, Анисья Ивановна. Мы сегодня с Антошкой кутить будем! — весело проговорил «граф».

Они сели в сани и скоро доехали до Мариинской линии, где Опольев рассчитывал купить теплое пальто. Оно было тотчас же куплено, это давно желанное пальто на каком-то меху, с барашковым воротником. Оно имело вполне приличный вид и грело отлично. Выйдя из лавки в пальто и в барашковой шапке, «граф», несмотря на мороз, чувствовал приятную теплоту и испытывал счастливое состояние удовлетворенности. После пятнадцати лет у него наконец теплая одежда! Он радовался, как ребенок, и весело говорил Антошке:

— Да, брат... Славная это штука меховое пальто...

— Прекрасное у вас пальто, Александр Иванович.

— Ты находишь?

— Очень даже нахожу.

— И я нахожу, что недурное и греет отлично.

Вслед за тем были куплены и надеты новая пара платья, сапоги, теплые калоши и перчатки. Теперь «граф» был решительно неузнаваем и глядел совсем барином. И походка у него стала будто тверже и увереннее, и стан выпрямился... Антошка только глядел и восхищался.

— И какой же вы важный теперь стали, Александр Иванович! — говорил Антошка.

Они зашли в парикмахерскую. «Граф» велел подстричь себе волосы и бороду и вышел оттуда значительно помолодевшим.

— Ну, теперь пойдем завтракать, Антошка...

Они зашли в ресторан. Лакеи предупредительно спрашивали «графа», что он прикажет.

— Видишь, Антошка, что значит платье, — усмехнулся «граф», заказав завтрак, — зайди я в прежнем платье, так, пожалуй, и не пустили бы, а теперь... юлят, подлецы...

«Граф» выпил рюмку водки, потом другую и хотел было выпить третью, как Антошка робко заметил:

— Не вредно ли вам будет, Александр Иванович?

«Граф» несколько смутился и сказал:

— Ты прав, Антошка... Спасибо... И впредь останавливай меня... Лучше спросим полбутылки красного вина... Это будет полезно.. И ты можешь выпить немного... Человек! Полбутылки бордо... Да подогрейте, пожалуйста! — обратился «граф» к лакею.

Заиграл орган, и Антошка пришел окончательно в восхищение и от вкусного завтрака, и от полустакана вина, и от музыки, и от того, что его покровитель такой представительный в своем новом платье, такой веселый и довольный...

После завтрака они отправились снова в лавки и вернулись домой только в четвертом часу с огромной корзиной, полной всякого добра. А дома уже принесены были две железные кровати с мягкими матрацами.

— Ну вот и мы! — весело говорил «граф» встретившей их Анисье Ивановне.

— С покупками, Александр Иванович! И какой же вы, можно сказать, нарядный, Александр Иванович! — воскликнула хозяйка, когда разглядела при свете лампы костюм Опольева.

Теперь эта комнатка показалась Опольеву еще мрачнее и теснее.

— А вот и вам позвольте поднести, Анисья Ивановна! — проговорил «граф», подавая квартирной хозяйке штучку шерстяной материи.

— Ах, что вы! Зачем такое дорогое! — говорила, тронутая подарком, Анисья Ивановна, рассыпаясь в благодарностях.

— Полноте, Анисья Ивановна... И шелковое купил бы, если б мог... Да вот бодливой корове бог рог не дает... Ну-с, обмундировались мы вполне с Антошкой... И платья и белья — всего накупили... Не угодно ли взглянуть, хорошо ли белье... Вы толк в белье понимаете?

Открыли корзину, и Анисья Ивановна одобрила белье... Все было очень хорошо, и всего было довольно для обоих.

— Что, много вы истратили денег-то? — полюбопытствовала Анисья Ивановна...

— Сто с чем-то... Еще на запас осталось... Кое-что еще надо купить... Там видно будет на новой квартире... Ну, а теперь самоварчик, да пожалуйста к нам чай пить, Анисья Ивановна.

На следующее утро в одной из дальних линий Васильевского Острова была приискана светлая, довольно приличная комната от жильцов, вдовы старухи чиновницы с дочерью и с сыном, технологом-студентом, и в тот же день, после горячего прощания с Анисьей Иванов-

ной, прежние ее жильцы отправились на новую квартиру...

Когда они ехали по Васильевскому Острову, Антошка вдруг дернул «графа» за рукав, указывая на вереницу девочек, которые выходили попарно из подъезда.

— Александр Иванович! Анютка! — радостно воскликнул Антошка. — Как она попала сюда?.. Что это за девочки?

— Они в приюте, куда и тебя хотела поместить княгиня.

— А Анютку можно увидеть?.. Можно к ней прийти?

— Я думаю, можно... Мы навестим ее...

— То-то... Каково-то живет Анютке?..

— А вот расспросим... И снесем ей чего-нибудь...

— Это хорошо... А то кормят поди не очень! — заметил Антошка, питавший к приютам благодаря княгине сильную ненависть.

К вечеру жильцы устроились на новой квартире и рано легли спать. Эти мягкие матрацы, чистое белье, теплые новые одеяла, этот уют и теплота комнаты — все это казалось прежним горемыкам чем-то необыкновенно хорошим и приятным, каким-то земным раем.

Оба они заснули с радостными мыслями о предстоящей им новой жизни.

XXX

Несколько месяцев пролетело для «графа» и Антошки совсем незаметно.

После многих лет «собачьего» существования, полного лишений, бродяжничества и всяких неожиданностей, им обоим было особенно приятно несколько монотонное однообразие регулярной жизни людей, более или менее обеспеченных, не заботящихся о завтрашнем дне.

И какое счастье испытывали оба эти горемыки, живя по-человечески, в теплой, светлой, опрятной комнате, одетые в приличный костюм, обутые, умытые, в чистом белье, не чувствующие себя какими-то отверженцами.

Теперь они никого не боялись.

Теперь им не для чего было выходить на работу, за добычей, не всегда верной и обеспечивающей обед, не зачем было зябнуть на холоде или мокнуть на дожде в

отрепьях, выслеживая сердобольных или подгулявших людей.

Все это казалось им давно прошедшим, хотя ни «граф», ни Антошка не забывали его и при случае вспоминали о нем.

Теперь благодаря счастливой случайности — доброй девушке, встретившейся на их тернистом пути, — они ежедневно, и даже в определенные часы, пили чай со свежими булками, не рассчитывая, хватит ли куска сахара на несколько стаканов, и обедали настоящим образом: не объедками и отбросами закусовых, а получали от квартирной хозяйки — видимо, порядочной женщины — два сытных блюда, приготовленных из свежей провизии.

И с каким удовольствием и «граф» и Антошка ели эти обеды!

Антошка считал себя счастливейшим человеком на свете и давно простил и «дяденьку» и «рыжую ведьму», после того как «граф» объяснил как-то ему, почему на свете существуют и «дяденьки» и «рыжие ведьмы». Настоящее было очень хорошо, но будущее представлялось еще светлее и лучезарнее и, конечно, нераздельным с «графом», преданность к которому благодарного мальчика не знала границ. Он нередко мечтал о том времени, как он обучится всему, чему нужно, и будет зарабатывать хорошие деньги. То-то они заживут тогда вдвоем, не нуждаясь более ни в чьей помощи!

И Антошка нередко открывал свои мечты «графу». И «граф», слушая болтовню мальчика, тихо улыбался и, казалось, тоже верил этим мечтам. Ему так хотелось им верить!

Те тридцать пять рублей, которые каждое первое число привозила дяде племянница, казались и «графу» и, разумеется, Антошке едва ли не большим состоянием, чем Ротшильду его миллионы, и бывший мот, спустивший в молодости целое состояние, теперь обнаруживал такое умение справляться с бюджетом, был столь бережлив и аккуратен, что его талантам мог бы позавидовать любой министр финансов.

Получаемых денег хватало не только на все необходимое для обоих, но даже для некоторых предметов роскоши — на рюмку, одну только рюмку водки перед обедом, на покупку дешевого табаку, вчерашней газеты и, по

праздникам, лакомств для Антошки и Анютки, которую они навещали в приюте.

Кроме определенной ренты, у предусмотрительного «графа» был еще и запасный капитал в пятьдесят рублей, отложенных из денег, полученных на обзаведение, который предназначался на экстренные расходы и в то же время был подспорьем на черный день. Мало ли что могло случиться?

Подобная бережливость «графа» объяснялась главным образом его воздержанием от спиртных напитков. Сознание принятых им на себя обязанностей относительно горячо им любимого мальчика заставило его обратить серьезное внимание на предостережение докторов, и он решительно перестал пить и только позволял себе одну рюмку перед обедом.

О, как ему хотелось теперь жить, как хотелось поднять на ноги своего любимца, и как он внимательно стал теперь относиться к своему здоровью, чтоб быть полезным Антошке.

И как он был благодарен Нине, которая явилась доброй феей под конец его горемычной жизни!

Когда она навещала его, он был несказанно рад и словно бы гордился тем, что вера молодой девушки в него не только не поколебалась, но, напротив, крепла. Она могла окончательно убедиться, что он не пропавший человек и не пропивает ее денег. И Нина действительно привязалась к дяде, случалось, просиживала у него более часа, и мнения дяди находили более отклика в ее сердце, чем мнения ее отца.

Нина уезжала от дяди еще более душевно смятенная под впечатлением его озлобленных и страстных речей, в которых она скорее чувствовала, чем понимала, долю истины. И жизнь дома казалась ей еще более бессодержательною. Даже и усердная деятельность в обществе «Помогай ближнему!» не удовлетворяла ее, особенно после рассказов дяди о том, как обманывают благотворительных дам и какие люди в большинстве случаев пользуются их помощью.

А «граф», прожая свою гостью, горячо целовал ее и благодарил ее за то, что она навестила, и за деньги.

С тех пор как «граф» зажил в благополучии, он с особенною ретивостью предался педагогической деятельности, имея в Антошке весьма способного ученика. Ему

непременно хотелось, чтобы Антошка поступил в какую-нибудь ремесленную школу и имел бы в будущем верный кусок хлеба. О выборе такой школы уж он советовался с студентом-технологом, сыном квартирной хозяйки, и решено было, что к осени Антошка поступит в школу при одном из заводов на Васильевском Острове. Нужно было только подготовить мальчика надлежащим образом.

Каждое утро после чая и после внимательного прочтения вчерашней газеты «граф» занимался с Антошкой два часа, после которых учитель, по-видимому, утомлялся гораздо более, чем ученик. Антошка читал вслух, писал с прописи и под диктовку. «Граф» поправлял чтение и — чтобы показать, как надо выразительно читать, — сам прочитывал иногда страничку-другую хрестоматии, приобретенной для Антошки в числе других учебных пособий. Читал «граф» недурно, и Антошка заслушивался, как складно выходили у «графа» басни. Но зато при исправлениях диктовки учитель, по-видимому, не особенно доверял себе и постоянно справлялся с книгой, причем не умел удовлетворять любознательности ученика, когда тот задавал вопросы: почему надо писать, например, «того», а не «тово».

— Так, братец, следует писать, а я и сам не знаю почему! — добросовестно признавался «граф».

— Разве вас этому не обучали? — удивился Антошка, полагавший что «граф» должен все знать.

— Наверно, обучали, да я забыл. После тебе объяснят в школе, а пока запоминай, как в книге написано. Так и пиши.

«Граф», впрочем, купил грамматику и проштудировал ее, после чего уж мог давать некоторые объяснения, хотя далеко не на все вопросы любознательного Антошки.

Тем не менее он делал большие успехи: читал весьма недурно и писал довольно красиво, и ошибки его не особенно резали глаз. И «граф» не раз выражал одобрение, чем доставлял Антошке большое удовольствие. Вне классных занятий Антошка просто-таки пожирал книги, которые ему покупал «граф», руководствуясь в выборе указаниями студента и его сестры. Таким образом, Антошкой были прочитаны многие издания «Посредника» и «Комитета грамотности», и затем он читал все, что

попадалось ему под руку: и газеты и книжки, которые одолаживались «графу» с хозяйской половины.

Хотя и далеко не систематическое, но чтение это вместе с беседами «графа» быстро развивали смышленного Антошку, уже хорошо подготовленного ранним знакомством с жизнью и с людьми благодаря прежним его профессиям — нищенки и торговца спичками, и он хотел как можно скорее «всему научиться».

Увы! В арифметике Александр Иванович был еще менее силен, чем в грамматике, и напрасно он усердно прочитывал учебник. Он сознавал, что понимает в нем очень мало, и это весьма огорчало его, тем более что Антошка обладал блестящими математическими способностями и умел делать все четыре правила куда лучше своего учителя.

Но в этих затруднениях «графу» совершенно неожиданно помог молодой студент-технолог.

Его комната была рядом с комнатою жильцов, и до него иногда долетали и философские беседы и арифметические объяснения учителя. Он сильно заинтересовался и этим оригинальным «баринот-демократом», и его сожителем, вопросы которого во время уроков ставили нередко в тупик учителя, и вообще их отшельнической жизнью и взаимной привязанностью.

Кто они? Что их связало? — об этом никто из семьи не знал. И старый барин и его мальчик редко показывались, держали себя необыкновенно скромно и тихо и выходили со двора почти всегда вместе. Молодая горничная Агаша, прислуживавшая жильцам и носившая им обед в комнату, не могла нахвалиться ими, особенно старым баринот.

Такой ласковый, никогда без нужды не побеспокоит, никуда не пошлет — не то что прежние жильцы.

— А этот мальчик, должно быть сын его! — докладывала Агаша свои предположения барыне, пожилой, когда-то красивой женщине с сбитым набок чепцом, вечно занятой то на кухне, то чинившей белье, то убиравшей комнаты.

— Совсем он не похож на него, Агаша. Верно, приемыш! — отвечала госпожа Никифорова и прибавила: — А впрочем, бог их знает! Жильцы они тихие, спокойные, и слава богу! А до остального нам дела нет.

Прошел месяц после переезда жильцов, и молодой студент, сухощавый блондин с серьезным лицом и вихрастой головой, встретив однажды Опольева в коридоре, подошел к нему и, поклонившись, проговорил молодым баском:

— Студент Никифоров.

— Опольев! Очень приятно! — любезно отвечал Александр Иванович, протягивая руку.

— Вам, кажется, несколько затруднительно заниматься математикой с вашим сожителем? — продолжал студент несколько резким, умышленно грубоватым тоном.

— И даже очень, молодой человек, — несколько сконфуженно проговорил «граф». — А вы почему это догадались? — прибавил он.

— За стеной слышно...

— Быть может, мы вам мешаем?

— Я не к тому... Я, видите ли, готов избавить вас от этих уроков и позаняться с мальчиком... Он очень способный...

Видимо обрадованный и несколько удивленный таким предложением, «граф», однако, поспешил ответить:

— Премного вам благодарен, господин Никифоров, но я должен предупредить вас, что, к сожалению, я не в состоянии заплатить вам настоящей платы за уроки... Так, если небольшую плату...

— Да мне никакой платы не нужно... С чего это вы взяли? — перебил студент и сконфуженно покраснел.

— То есть почему же не нужно?

— А так, не нужно, вот и все. В противном случае разве стал бы я навязываться...

— Но позвольте, молодой человек; у вас время дорого, я знаю. За что же вы будете терять его даром?

— Это уж мое дело.

— И, позволю себе заметить, вы ведь, кажется, и сами не очень-то богаты?

— И вовсе даже не богат! — рассмеялся студент, и лицо его при смехе сделалось необыкновенно добродушным.

— Потому-то вы, вероятно, и предлагаете учить моего Антошку gratis? ¹ — усмехнулся, в свою очередь, и Опольев.

¹ Бесплатно? (лат.)

— Потому ли, или не потому, не все ли вам равно? Следовательно, и говорить об этом нечего. Не так ли, Александр Иванович?

— Пожалуй, что и так! — протянул, улыбаясь «граф». — А ваше имя и отчество? — осведомился он.

— Николай Алексеич.

— И я, Николай Алексеич, могу только поблагодарить вас! — горячо проговорил Опольев, пожимая руку студента. — Вы это очень деликатно делаете доброе дело... Спасибо вам за Антошку...

— Не за что благодарить! — ответил студент, несколько удивленный порывистостью и сердечностью тона этого «барина-демократа». — Самое обыкновенное дело! Так с завтрашнего дня мы начнем заниматься с вашим Антошкой... Ежедневно один час после обеда у меня свободен... Посылайте его ко мне... А затем до свиданья... Спешу на урок...

И с этими словами студент крепко пожал руку Опольева и, кивнув вихрастой головой, хотел было уходить, как внезапно спросил:

— Надеюсь, вам не родственник этот известный Опольев?

— Этот прохвост мой родной братец.

Студент издал восклицание не то удивления, не то сожаления.

— Но только я с ним вовсе не знаком... Я, видите ли... А впрочем, не смею вас задерживать... Когда-нибудь я сообщу вам биографические данные о своей особе, чтобы вы знали, с кем имеете дело! — прибавил «граф», делая студенту прощальный жест рукой.

Вернувшись в свою комнату, Опольев весело воскликнул, обращаясь к Антошке:

— Ну, брат, тебе решительно везет!.. У тебя будет настоящий учитель. Он тебя обучит арифметике по-настоящему, не то что я...

— Кто это?

— А сын хозяйки... студент. Даром предложил учить; говорит, что ты способный мальчик... Слышал за стеной, как мы с тобой занимались... Смотри, Антоша, старайся!

— Еще как буду стараться, Александр Иванович!

— А добрый этот технолог, хотя и смотрит букой и напускает на себя серьезность. Не то что эти нынешние университетские студенты, особенно франты... Ни-

кто из них никогда не одалживал мне ни одной монетки... Я это хорошо помню. Еще издеваются. «Мы, мол, сами у вас бы заняли!», или, бывало говорят: «Если есть сдачи со сторублевой, то получите пятак взаймы!..» Одним словом, совсем готовые молодые мерзавцы...

— И у меня, Александр Иванович, редко-редко когда студент покупал бумаги или конвертов... Разве какой-нибудь бедно одетый студент...

— А вот этот, сейчас видно, человек... И вся семья их, кажется, добрая...

— То-то и мне сдается, что они добрые... И хозяйка сама и барышня... Третьего дня я встретил хозяйку в коридоре...

— В коридоре, Антоша! — поправил «граф».

— Встретил, говорю, в коридоре, а она так ласково посмотрела на меня и спрашивает: «Что, мол, доволен, мальчик, моей стряпней?..» Небось злая какая так бы не смотрела и не спросила бы...

— Умозаключение вполне правильное! — протянул, улыбаясь, «граф». — Что ж ты ответил?

— Ответил, что очень даже довольный пищей и вообще всем... «Ну я, говорит, очень рада!» А барышня так раз даже спрашивала, отчего я такой маленький и здоров ли я... Тоже ласковая... Куда только это она каждое утро с книжками из дому уходит...

— На Высшие курсы... Такое, братец, заведение есть для барышень, вроде университета. Окончат они ученье в гимназии и потом, если пожелают, могут на курсы... Там еще больше научатся...

— Ишь ты! И зачем им столько учиться, барышням? — полюбопытствовал Антошка.

— Тоже и барышне иной раз нужно себе достать кусок хлеба... Не вышла замуж, смотришь, и не пропала: пошла в учительницы или в гувернантки. Ту, которая больше знает, скорее возьмут на место.

— Значит, из небогатых... Наши хозяева тоже небогатые?..

— Небогатые. Все они в трудах живут... И брат и сестра учатся да еще уроки дают... да мать, верно, получает какой-нибудь пенсиян за службу мужа... Так и живут, один другому помогают.

Вскоре и «граф» и Антошка благодаря посредству студента, которому «граф» счел нужным сообщить неко-

торые биографические подробности о себе и об Антошке, познакомились с семьей Никифоровых. Вся семья отнеслась к жильцам очень тепло и участливо. Под конец третьего месяца жильцы уж обедали вместе с хозяйками и, случалось, по приглашению заходили пить чай. Эта семейная обстановка необыкновенно приятно действовала на прежних бродяг, тем более что семья Никифоровых была дружная, хорошая семья, все члены которой бодро и стойко несли тяготу жизни, стараясь помочь друг другу.

И сама хозяйка, эта милая хлопотунья Анна Васильевна, обожавшая своих детей, всегда за какой-нибудь работой, всегда добродушная и веселая, несмотря на заботы, как-то сумевшая после смерти мужа поднять детей, испытывая лишения и урезывая себя до последней крайности, и ее дочь Вера, кончавшая курс и в то же время бравшая, ради заработка, работу, — красивая, стройная брюнетка лет двадцати шести, с строгими чертами несколько трагического лица, необыкновенно добрая, несмотря на свой, по-видимому, строгий и холодный вид, и студент Николай, вихрастый и не особенно красивый, близорукий блондин в очках, признающий одну науку и больше ничего, — все они, ближе ознакомившись с жильцами и узнавши от Антошки, что сделал для него этот «граф», отнеслись к ним с сердечностью добрых людей, понимающих нужду, и считали их как бы своими. А студент просто-таки был в восторге от своего ученика — до того Антошка поразил его своею понятливостью и быстротой математического соображения.

И как был доволен старый бродяга «граф», проводя вечера среди этой честной, работающей семьи, в которой — он это чувствовал — никто не ставил в вину его прошлого. В этой маленькой комнате, служившей и гостиной и столовой, за круглым столом, на котором тихо напевал свою песенку самовар, он, случалось, вел споры со студентом и философствовал, вызывая удивление своими необыкновенно меткими суждениями, выработанными тяжелой жизнью.

И, возвращаясь с Антошкой от хозяев, «граф» нередко говорил:

— Ты мне счастье принес, Антошка... Не будь тебя, не видать бы мне, мой друг, таких хороших дней... Мол-

чи... Я верно говорю! — смеясь, прибавлял он, видя, что Антошка хочет протестовать против такого утверждения.

И, с удовольствием потягиваясь на мягкой постели, иногда произносил в виде сентенции:

— Да, есть-таки хорошие люди на свете!

И как бы для большего убеждения старого озлобленного скептика, что действительно есть хорошие люди, однажды Вера Алексеевна предложила ему работу.

Он не верил своим ушам.

— Мне? Работу? Что ж я сумею сделать? — как-то беспомощно произнес Опольев с грустной усмешкой.

— Отлично сумеете, я уверена. Работа не трудная, но только кропотливая. Надо переписывать статистические таблицы. Хотите попробовать, Александр Иванович?

— Еще бы не хотеть!

О, эта девушка отлично понимала психологию человеческой души и знала, как приободрить и поднять бывшего пропойцу и нищего в его собственных глазах.

— Но как же вы сами, Вера Алексеевна? Хотите лишиться себя работы, чтоб дать мне? — спрашивал «граф», стараясь под шутливым тоном скрыть свое волнение.

— И не думаю. Мне дают этой работы сколько угодно.

— В таком случае, я попробую на старости лет что-нибудь заработать...

И «граф» на другой же день засел за работу, кажется в первый раз во все время своей жизни.

И как же он работал. С каким благоговейным усердием. Эта была не работа, а какое-то священнодействие.

Через несколько дней он переписал несколько листов, и когда Вера Алексеевна, проверив его работу, нашла ее превосходной, «граф» радовался, как малый ребенок.

Десять или пятнадцать рублей заработка у него были обеспечены, пока ему служили глаза и не очень дрожали руки.

Мог ли «граф» когда-нибудь думать, что и он на что-нибудь годен?!

И это сознание, что он не совсем беспомощен, значительно подбодрило его, и он говорил Антошке:

— Вот, брат, у нас и непредвиденный доход будет. Ведь это недурно, а?

— Очень даже хорошо, Александр Иванович, но только...

— Что только?

— Очень уж вы утомляете себя за этими таблицами... Вы бы поменьше их переписывали, Александр Иванович. А то недолго и заболеть!

— Вот вздор! Вовсе не утомляюсь... Напротив, теперь я чувствую себя куда здоровее, чем прежде! — храбрился «граф».

XXXI

Май стоял замечательно теплый.

В одно из воскресений, в конце месяца, граф и Антошка, оба одетые по-праздничному, в довольно приличных костюмах, после вкусного пирога шли в приют общества «Помогай ближнему!» навестить Анютку. В корзине, которую нес Антошка, были большой кусок пирога, полфунта колбасы и коробка леденцов.

Они поднялись в хорошо знакомую им небольшую приемную со скамьями около стен. Там уж сидели по кучкам посетители — преимущественно женщины плохо одетые — вместе с девочками, которых они навещали.

И от этой приемной, чистой, аккуратно выметенной, и от этой словно проглотившей аршин надзирательницы, и от этих приютских девочек, словно бы похожих одна на другую благодаря казенным темным платьицам и чепчикам на головах, веяло чем-то мертвящим... Все здесь напоминало не то казарму, не то хорошо устроенное тюремное заключение, а эти девочки — хорошо выдрессированных куколок с лицами, по большей части бледными, в выражении которых было что-то принижено-лицемерное и в то же время несколько торжественно-праздничное. Не слышно было ни громкого разговора, ни веселого смеха, точно это сидели не дети, полные жизни, а какие-то крошки-монашки, приговоренные обществом «Помогай ближнему!» к неустанному покаянию, вероятно за то, что они имели счастье пользоваться милостями благотворительниц, во главе которых стояла непреклонная княгиня Мария Николаевна Моравская, обладавшая замечательными способностями накладывать печать казенщины и формализма на подведомственные ей благотворительные учреждения, которые она считала, конечно, образцовыми.

После добрых пяти минут ожидания к «графу» и Антошке подошла тихими, равномерными шажками маленькая девочка, чинная, тихая, с опущенными вниз глазами, совсем не похожая на ту востроглазую шуструю Анютку, которая прежде с особенной назойливостью приставала на улицах к «миленьким барынькам» и «добрым баринам», выпрашивая копеечку для «голодной маменьки», и строила недобрым прохожим, гонявшим ее прочь, самые оскорбительные гримасы, а подчас и запускала ругательные словечки, попрыгивая от холода на одной ножке.

Княгиня Моравская могла гордиться: разница между прежней Анюткой и этой степенной девочкой была такая же разительная, как между живым существом и мертвецом.

— Здравствуй, Анюта, — промолвил «граф».

— Здорово, Анютка! — приветствовал Антошка свою старую приятельницу, которой он всегда покровительствовал во время пребывания у «дяденьки».

— Здравствуйте, Александр Иванович. Здравствуй, Антоша! — отвечала Анютка, делая перед Опольевым книксен.

— Ишь как тебя выучили! — засмеялся Антошка.

— Нас всему учат! — степенно заметила Анютка.

— То-то и видно... Совсем ты вроде ученой обезьяны стала, Анютка! — сочувственно заметил Антошка.

— Такие слова нехорошо говорить, Антоша. Это только мужики такие слова говорят! — нарочно громко проговорила девочка, оглядываясь на «аршин» в темном платье, сидевший неподалеку.

— Не приставай к ней, Антошка... У них тут этого нельзя! — вступился «граф». — Ну, садись около нас, Анюта... Рассказывай, как живешь... Хорошо тебе тут?.. Да вот возьми гостинца.

— Очень хорошо... Благодарю за гостинец, Александр Иванович.

— Ой, врешь, Анютка! — проговорил Антошка. — Ничего тут у вас нет хорошего...

— Зачем я буду лгать? Лгать грешно!.. — выговорила Анютка словно затверженный урок и снова посмотрела на надзирательницу.

— Да ты не бойся этой рыжемордой, Анютка... Чего ты все на нее смотришь?.. Она не услышит...

— Она все слышит,— почти шепотом произнесла девочка.

— И бьет? — так же тихо спрашивал Антошка.

— У нас не бьют! — с обиженным видом сказала Анютка.

— Не бьют? — удивился Антошка.— Значит, порют.

— И не порют.

— А как же у вас наказывают?

— Без обеда наказывают... Одну в комнате оставляют... Заставляют молитвы читать...

— И тебя так наказывали? — допрашивал Антошка.

— Нет... я хорошо себя веду; меня редко наказывают.

— А кормят хорошо? Сыта по крайней мере? — спросил «граф».

— Хорошо... Только в постные дни не очень... Только вы об этом никому не говорите, а то достанется! — опять шепотом проговорила Анютка.

— Кому ж я буду говорить, дурочка! — ласково шепнул «граф» и, поглядев с грустной улыбкой на Анютку, прибавил: — Ну и дрессирует же здесь вас, бедненьких, моя кузина...

— Какая кузина?

— Да княгиня Моравская.

Анютка широко раскрыла глаза и, видимо, не поверила, чтобы княгиня Моравская могла быть кузиной господину, который запанибрата с Антошкой.

Однако она промолчала.

— Она часто бывает у вас?

— Часто. В неделю два раза.

— И вы любите ее?

— Как же не любить? Она наша благодетельница. Мы за нее каждый день молимся.

— Гм... Похвально... Похвально! Кто же это заставляет вас за нее молиться? — спрашивал «граф».

— Начальница.

— Эх, кузина... кузина! — прошептал сквозь зубы «граф», и по его губам скользнула ироническая улыбка.

«А ведь тоже думает, что вырывает людей из когтей порока!» — пронеслось у него в голове.

Они поговорили еще с Анюткой с четверть часа, и говорить больше решительно было не о чем. И Анютка,

видимо успевшая заслужить себе реноме благонравной девочки и боявшаяся надзирательницы, не особенно охотно отвечала на щекотливые вопросы, а больше бросала украдкой быстрые и жадные взгляды прежней Анютки на корзинку с гостинцами.

— Ну прощай, Анюта,— промолвил «граф», целуя девочку.— Бледненькая ты очень... Это нехорошо... Здорова?

— Я, слава богу, здорова...

— Даже и «слава богу»!..— усмехнулся словно бы про себя «граф».— Да... скоро тут вас обрабатывают... Будь здорова, девочка.

Антошка потряс руку Анютки.

Они поднялись и хотели было уходить, как вдруг двери приемной стремительно распахнулись, в них показалась в форменном картузе голова испуганного швейцара, который громко крикнул: «Ее сиятельство!» — и в то же мгновение скрылся.

Сидевший неподвижно «аршин» в темном платье вскочил точно ужаленный и бросился через приемную к выходу, крикнув посетителям: «Встаньте!» Какая-то девочка убежала за начальницей.

В приемной воцарилась мертвая тишина. Все поднялись со своих мест.

Только один «граф» как-то особенно плотно уселся на скамейку и заложил ногу на ногу, расположившись в самой непринужденной позе. Однако он был, видимо, взволнован предстоящей встречей с кузиной — она его встречала на улице года три тому назад и могла легко узнать — и нервно оправлял волосы и свою седую подстриженную бородку...

— Господин! Встаньте... Княгиня сейчас идет! — кинула ему на ходу пролетевшая начальница.

Но «граф» продолжал сидеть к ужасу Анютки и к удивлению всех присутствовавших.

Распахнулись двери, и в приемной появилась княгиня и тихо пошла, оглядывая в *rinse-nez* публику и ласково кивая в ответ на поклоны посетителей и низкие книксены девочек.

И начальница и «аршин», следовавшие за княгиней, давно делали знаки «графу», чтоб он встал, но он как будто не замечал их и взглядывал на княгиню.

«Однако сохранилась. До сих пор и свежа и хороша... Видно, режим помогает!» — подумал Александр Иванович.

— Садитесь, прошу вас, садитесь! — говорила между тем княгиня своим низковатым контральто, обращаясь к посетителям и останавливаясь около девочек, чтобы потрепать их по щечкам, далеко не похожим на ее румяные пышные щеки. — А это к кому пришел этот господин? — обратилась княгиня к начальнице, заметив сидящего посетителя.

— К Анюте Бастрюковой...

— Я и не знала, что ее кто-нибудь навещает... Родной?

— Кажется, нет, княгиня... Этот господин приходит с мальчиком, знакомым Анюте...

Чуть-чуть шелестя платьем, княгиня направилась к Анютке.

Когда княгиня приблизилась, «граф» поднялся.

— Ну, как ты поживаешь, Анюта?.. Надеюсь, хорошо?.. И ведешь себя хорошо? — спрашивала княгиня, трепля своею белой пухлой рукой девочку.

— Анюта одна из лучших девочек... И учится прекрасно.

— Спасибо тебе, девочка... Радуеть ты меня...

Княгиня уже давно взглядывала на «графа» и не узнавала в этом представительном, прилично одетом господине с изысканными манерами того обтрепанного нищего в порыжелой шляпе, которого несколько раз встречала на улице. В чертах этого господина, по-видимому бывавшего в обществе, она припоминала что-то хорошо и близко знакомое когда-то раньше и досадовала, что не могла припомнить.

Взгляд, нечаянно скользнувший по Антошке, которого княгиня сразу узнала, несмотря на его костюм, мгновенно напомнил ей и прежнего ее поклонника, красавца улана Шурку, и несчастного отверженца, писавшего ей письма с просьбами трех рублей. Оба эти лица почему-то слились в одном представлении.

Она еще раз взглянула на «графа», который не спускал с нее своих темных, чуть-чуть насмешливо улыбающихся глаз, и после нескольких секунд колебания, слегка смутившаяся, обратилась к Опольеву, и предусмотритель-

тельно на английском языке, уверенная, что этого языка никто не поймет:

— Я вас совсем не узнала. Очень рада встретиться с вами и видеть вас бодрым и здоровым... В последнее время я так много слышала о вас от Нины! — подчеркнула она и протянула руку.

В голосе княгини звучала участливая нотка.

— Меня не мудрено не узнать... А вас я сейчас узнал... Вы так мало переменились с тех пор, как я имел честь встречаться с вами еще тогда... в обществе! — с рыцарской любезностью отвечал когда-то светский донжуан, почтительно пожимая руку княгине и склоняя свою седую кудрявую голову по всем правилам хорошо воспитанного светского человека прежних времен.

И по-английски он не разучился говорить.

— Ну и я постарела. Годы идут и не возвращаются! — промолвила княгиня, чуть-чуть краснея.

И словно бы боясь, чтоб разговор не продолжался на интимные темы, продолжала уже по-русски и несколько деловым тоном председательницы общества «Помогай ближнему!»:

— А вы с вашим питомцем навещаете мою девочку? Это очень мило с вашей стороны.

И «граф» тотчас же понял, чего хочет княгиня, и отвечал:

— Старая знакомая моего питомца, княгиня.

— Как же... Тогда ведь мы всех бедняжек освободили благодаря указаниям этого мальчика... А этот солдат куда-то исчез... Посмотрите, какая стала славная девочка эта Анюта и как она полюбила приют. Ты любишь приют, девочка? Говори правду... Не бойся...

— Очень люблю...

— Вот видите... А ваш мальчик так его боялся... И вы написали мне тогда такое письмо...

— Простите, княгиня, если оно было резко, — снова заговорил по-английски Александр Иванович, — но вы меня лишали дорогого существа и хотели отнять его чуть ли не силою...

— Но для его же пользы...

— Вы думаете, княгиня?..

— Уверена.

— А я так уверен, что в ваших приютах дрессируют будущих лицемеров... Взгляните, как все эти девочки

забиты... Надеюсь, вы извините свободу чужого мнения? Не правда ли? А затем позвольте, княгиня, искренно поблагодарить вас за помощь, которую вы оказывали лично мне, и пожелать вам всего лучшего... Имею честь кланяться, княгиня! — прибавил «граф» по-русски и почтительно склонил голову.

— Мы с вами разных взглядов... Дай бог и вам всего хорошего, а главное, мира душевного и здоровья!

Княгиня протянула руку «графу», ласково кивнула Антошке и пошла дальше.

Несколько времени «граф» и Антошка шли молча по улице.

Наконец Антошка спросил:

— По-каковски это вы говорили с этой княгиней, Александр Иванович?

— По-английски...

— Должно быть, отчекрживали ее?

— Положим, не «отчекрживал», как ты выражаешься, а кое-что ей сказал! — отвечал, улыбаясь, «граф».

— Насчет приюта?

— Именно. А почему ты догадался?

— Да как же... Совсем Анютка какая-то глупая стала в этом самом приюте... Прежде она не такая была. Уж на что у этого «дяденьки» били ее, а все там она когда и веселая бывала... А здесь — порченная какая-то... Видно, что эти самые княгини да графини только людей портят...

— Ты, брат, прав... Портят... Но только думают, что спасают...

— Глупые они, что ли?

— Нет, Антошка... Они и не глупые иногда, и бывают добрые, но сами тоже порченные, как ты говоришь... Ну, куда же мы пойдем сегодня с тобой? — круто переменял «граф» разговор. — На набережную смотреть пароходы или отправимся на острова?.. День-то чудесный...

— На острова бы недурно... Только как бы вы не устали, Александр Иванович...

— Слава богу, немало хаживал... Идем на острова. А оттуда можно и на пароходе. На днях за статистику получу деньги! — не без гордости прибавил «граф».

Часа через полтора они уже сидели на скамейке на Елагином Острове и мирно беседовали, наслаждаясь

чудным свежим воздухом. По временам проезжали экипажи, и оба они смотрели на разряженных в ярких летних платьях дам и на изящных кавалеров.

Антошка расспрашивал «графа», кто это такие: князья, или графы, или просто обыкновенные господа.

— А вон, смотрите, Александр Иванович... Один господин в большой коляске сидит... Должно, какой-нибудь богатый... Только лошади что-то не шибко бегут.

«Граф» взглянул на пожилого, видного брюнета в изящном темном пальто и в цилиндре на голове. И господин, в свою очередь, пристально и долго смотрел на «графа». Их глаза встретились, и оба они тотчас же отвели взгляды.

— Коляска проехала.

— Знаешь, кто это ехал в коляске?

— Кто?

— Братец мой... Константин Иванович Опольев! — проговорил «граф» с чувством озлобления.

— Ну? И он признал вас?

— Кажется...

— И небось не поклонился?

— Станет он кланяться!.. Поклонись даже я ему, так он отвернулся бы... Но только он этого никогда не дождется...

«Граф» помолчал и после паузы прибавил:

— И у этого человека такая прелестная дочь!

— Красивый ваш брат, Александр Иванович! — заговорил Антошка.

— Да... сохранился.

— И важный?

— Важный.

— А богатый?

— Очень...

— Ишь ты! — воскликнул Антошка, словно бы выказал в этом отношении досаду, что такой нехороший человек и важный и богатый, тогда как Александр Иванович из-за этого самого человека терпел...

— И любит он Нину Константиновну? — снова спросил Антошка.

— Верно, любит...

— А как же она может любить такого отца... Или не знает, как он с вами поступил?..

— И дай бог, чтоб не знала... Ну, однако, поедем,

Антошка, домой... Пожалуй, не к добру нам эта встреча с родственниками...

И действительно, встреча с братом оказалась не к добру.

Через неделю, первого июня, вместо обычного приезда Нины явилась горничная ее с деньгами и объявила, что Нина Константиновна «очень расстроены... имели крупный разговор с папенькой».

— Из-за чего? — испуганно спросил «граф».

— Известно, из-за вас, Александр Иванович! — с сердцем проговорила горничная и торопливо ушла.

XXXII

Его превосходительство был крайне изумлен встречей на островах.

Его изумила не самая встреча, а главным образом то, что он увидел своего «брата», как презрительно называл и он, в свою очередь, «графа», не в обычном его виде нищего пропойцы, с порыжевшим цилиндром на голове и в невозможных сапогах, — каким, случилось, он встречал его на улице и каждый раз отворачивался, испытывая чувство омерзения, — а прилично одетого, в свежем белье, в незаношенных перчатках и совершенно трезвого, в образе почтенного и солидного человека, наслаждавшегося погожим майским днем, да еще в обществе какого-то чистенько одетого мальчика.

Даже что-то идиллическое было в этой паре, как показалось петербургскому чиновнику, попавшему на острова днем по делам службы — вызванному по какому-то делу к министру, перебравшемуся уже на дачу.

Подобная метаморфоза заставила Опольева удивленно приподнять складки на лбу и задуматься на несколько минут, чтобы приискать логическое объяснение такому странному явлению, которое, казалось, совершенно противоречило его непогрешимому мнению о брате.

Сам Константин Иванович Опольев, всегда рассудительный, не знавший ошибок молодости и корректный, по крайней мере с точки зрения ходячей морали, считавший себя вполне порядочным человеком и не дюжинным государственным деятелем, которому не дают только случая показать себя, считал своего брата неисправив-

мым мерзавцем, не заслуживающим никакого снисхождения.

Это мнение, вполне обоснованное, не оставляющее никаких сомнений, было давно составлено, занумеровано и сдано в архив, и в душе непреклонного чиновника ни разу не шевельнулось чувства сожаления к брату, основательно им позабытому.

Какое в самом деле могло быть сожаление к человеку, который совершил подлог, опозорил честь мундира, почти разорил отца, лишив таким образом и брата значительного состояния, и затем опустился до последней степени, потеряв всякое чувство человеческого достоинства: обивал пороги, просил милостыню на улицах и пьянствовал.

Все доводы ума, весь душевный и умственный склад Опольева решительно протестовали против всякого снисхождения — недаром же Опольев в свое время был беспощадным прокурором, любившим «закатывать» подсудимых по букве закона, — и логика, казалось, говорила, что такому пропащему человеку, как его брат, никогда не подняться и что ему предстоит умереть от пьянства где-нибудь в больнице или на улице, и чем скорее он это сделает, тем будет лучше.

И вдруг вместо того — прилично одетый господин, правда, сильно помятый жизнью, но все-таки сохранивший вид джентльмена и даже какую-то дерзкую самоуверенность... И этот иронический взгляд черных, глубоко сидевших глаз... И эта улыбка, словно бы издевающаяся над кем-то, искривившая его губы в тот момент, когда их взгляды встретились.

Его превосходительство в качестве чиновника, любящего порядок, привык сортировать и людей и явления так же, как сортировал бумаги, давая им ту или другую оценку краткими и решительными определениями. Неясностей и неопределенности он не любил, как настоящий человек практики. И, раз сделав определение, он успокаивался.

Вот почему его превосходительство после встречи с братом испытывал некоторую досаду. Еще бы! Факт, который был перед глазами — прежний нищий, совершенно преображенный, — как будто не поддавался никакому логическому объяснению и опровергал все данные о человеческом падении.

Наконец он решил, что, вероятно, какой-нибудь дурак, не знавший, каков гусь его братец, одел его и дал денег, и он празднует сегодня день своего обновления и, конечно, в скором времени пропьет платье и будет шататься по улицам в прежнем своем виде.

Это решение как будто успокоило его превосходительство, и на лице его скользнуло довольное выражение человека, уяснившего себе непонятное явление.

Однако эта идиллическая прогулка в уединении островов, вместо того чтобы быть в каком-нибудь грязном трактире, это лицо, бледное и истомленное, но не похожее на прежнее лицо пьяницы, и, наконец, эта компания с мальчиком как будто не вязались с таким заключением. В минуту этого сомнения Опольев вдруг вспомнил про письмо, в котором брат в первый раз после долгих лет молчания просил о помощи для какого-то мальчика, которого призрел. Он припомнил, как не поверил ни слову этого письма, считал этого «мальчика» уловкой, чтоб выманить денег на пьянство, и смутно почувствовал неудовлетворительность своего объяснения.

Но ему было некогда теперь думать об этом. Мысли его приняли совсем другое направление, тем более, что дача министра была недалеко.

Вернулся домой Опольев в отличном расположении духа — министр был очень милостив и приветлив — и, сообщив об этом жене, проговорил:

— А знаешь, Anette, кого я сегодня встретил на островах и кто меня очень удивил?

— Кто, мой друг?

— Ты ни за что не догадаешься! Я встретил своего брата и — вообрази себе! — в приличном костюме, в приличном виде и с каким-то мальчиком...

Госпожа Опольева давно уже собиралась сказать мужу о перемене, которая произошла с его несчастным братом, давно хотела объяснить, что он далеко не такой негодяй, каким считает его муж, и сообщить, что Нина помогает дяде из своих карманных денег, но все не решалась, боясь рассердить своего Константина Ивановича, которого боготворила и в то же время побаивалась. Но теперь, видя хорошее его настроение, она решилась, наконец, открыть скрываемую тайну, которая ее тяготила.

И она ответила:

— Твой брат, право, заслуживает лучшей участи, Константин Иванович. Каково бы ни было его прошлое, но ты сам убедился, что теперь...

— Ни в чем я не убедился и теперь... Реабилитации таких людей я не верю!..— перебил Опольев жену.

— Однако... ты сам же говоришь, что удивлен был, встретив его совсем непохожим на прежнего нищего.

— Ну и что ж? Кого-нибудь разжалобил, и он походит несколько дней в приличном костюме, а затем пропьет его.

— Он этого не сделает! —значительно проговорила Опольева.

— Почему ты это утверждаешь? Тебе так кажется?..— насмешливо отчеканил Опольев.

— Нет, я кое-что знаю о бедном твоём брате и давно хотела поговорить о нём с тобой... Он совсем не негодяй, как ты думаешь, мой друг... Ты сам в этом убедишься, когда выслушаешь, что я тебе скажу...

— Я слушаю, Anette... Переходи к делу...

— Тогда это письмо, которое ты мне показывал... Помнишь?

— Ну, помню...

— Ведь он действительно просил для того, чтобы одеть мальчика, которого спас от какого-то изверга солдата и приютил у себя... Этого мальчика ты и встретил... Он и теперь живет у твоего брата, который очень привязан к своему приемышу... О, если б ты знал, какая это трогательная привязанность двух несчастных!

И госпожа Опольева рассказала мужу и о том, как княгиня Marie хотела поместить Антошку в приют, и как Александр Иванович не согласился, как он был болен, как совсем изменил жизнь, перестал пить и стал другим человеком.

Опольев внимательно слушал жену. Ироническая улыбка скользила по его губам, когда он спросил:

— Откуда ты слышала все эти чувствительные истории об его чудесном превращении? Тебе он их описывал что ли?.. И, наконец, на что же он живет, если не собирает по улицам... Кто ему помогает?..

— Нина.

Всегда ровный и сдержанный, почти никогда не вышедший голоса, его превосходительство на этот раз

не выдержал — до того сообщение жены было неожиданно — и воскликнул:

— Нина!? Это что еще за сюрприз?

Глаза его сделались неподвижными; губы сжались и скулы задвигались.

— Ты не сердись, Константин Иванович, — осторожно и робко вымолвила жена, — что мы тебе раньше этого не сказали... Ты так был предубежден против брата... Но теперь, когда нет сомнения в его исправлении... ты, конечно, простишь нам эту маленькую тайну... Нашу Нину тогда поразило то письмо... ей непременно хотелось помочь, и она послала небольшую сумму из своих карманных денег... А потом стала давать каждый месяц... И если б ты знал, как твой брат благодарен! Если б ты знал, как Нина рада, что помогла брату своего отца бросить прежнюю нищенскую жизнь... И в каком она восторге от Александра Ивановича... Как он мил и деликатен...

— Мил и деликатен, — повторял Опольев. — Отец считает его негодяем, а вы в восторге... Весьма назидательно... Отлично... Нина — глупая еще девочка, но ты, Anette, как это допустила?..

— Но, мой друг... Нина так настаивала... И разве не вправе она распорядиться своими карманными деньгами?

— Но откуда же она знает о добродетелях моего брата? В переписке с ним состоит, что ли?..

— Она раз в месяц навещала его!

— Что? — воскликнул Опольев.

Жена повторила.

— Бывает у этого негодяя, которого я не велел пускать к подъезду? И ты ей позволила... Ты позволила ей?.. Да ты подумала ли, что делаешь? — прибавил Опольев, уставив на жену злые глаза.

Этот оскорбительный тон, этот презрительный взгляд задели за живое госпожу Опольеву, и она возразила с обиженным видом:

— Я не вижу ничего ужасного в том, что Нина навещала несчастного дядю... Я подумала, прежде чем позволила дочери поехать... Наконец, как же ей запретить? Ведь она не маленькая... Разве лучше, если она без позволения отправится?.. Да ты и сам разрешил Нине быть членом благотворительного общества, в котором предсе-

дательницей княгиня Marie... Нина с Marie посещают же бедных... Так чем же хуже посетить твоего брата?..

Его превосходительство должен был употребить некоторое усилие, чтоб не назвать свою супругу дурой. Он, впрочем, сделал это мысленно и вслух резко прибавил:

— Ты не находишь ничего ужасного в этих посещениях, а я нахожу их неприличными для моей дочери... Я уже не говорю, как я неприятно изумлен, что все эти глупости держались от меня в секрете...

— Но, милый друг... Прости... Я не ожидала, что ты примешь это так серьезно! — промолвила уже виноватым тоном жена.

Этот виноватый тон несколько смягчил его превосходительство, и он произнес:

— Что сделано, то сделано. Надо, чтоб впредь этого не повторялось, чтобы Нина перестала навещать этого человека. Попроси ко мне Нину. Я с ней переговорю...

— Но только ты не сердись на нее, Константин Иванович... Ведь она все это сделала из добрых побуждений.

— Знаю. Не беспокойся.

— Она какая-то нервная стала в последнее время, наша Нина, и совсем не та, что была прежде...

— А что?

— Избегает выездов...

— Ну, это еще не беда.

— Все больше за книгами... Увлекается Толстым...

Его превосходительство поморщился, точно от зубной боли.

— Разъезжает с Мари по бедным... это ей нравится, хоть она и возвращается всегда расстроенная...

— Княгиня сбивает ее с толку. Отчего не заняться благотворительностью, но надо все делать в меру, в меру! — повторил Опольев своим авторитетным тоном. — Положим, твоя кузина создала себе положение из филантропии и никогда не сидит дома... Ну, этот филантропический зуд у нее еще понятен при таком расслабленном идиоте, как этот князь... Но Нина слишком молода еще для этих благотворительных увлечений... И знаешь ли что? Пора бы Нине замуж! — неожиданно прибавил Опольев.

— И я так думаю... Я говорила с ней об этом.
— Что ж она?
— Не хочет.
— Никто ей не нравится?
— Кажется, никто...
— А Сиверский? Кажется, он не прочь сделать предложение... Он порядочный молодой человек и был бы отличной партией... Что Нина о нем думает? Нравится он ей?

— Нисколько.
— Отчего?..
— Говорит: совсем неинтересен...
— Гмм... Странно, почему не нравится. Он вполне порядочный человек... Ну и с состоянием... связи... и положение... Он может далеко пойти... Так ты пришли ко мне Нину... Мы с ней побеседуем.

Опольева, сама же разболтавшая все мужу, вышла из кабинета несколько встревоженная, досадуя на себя, что открыла тайну, о которой лучше было бы молчать. Теперь того и гляди выйдет «история» — а всяких «историй» Опольева боялась больше всего на свете, — если Нина не убедится доводами отца и, восторженно расхваливая нищего дядю, выскажет отцу одно из тех своих крайних мнений о свете и богатстве, какие иногда высказывала матери.

Как обыкновенно бывает с слабыми, бесхарактерными людьми, она хотела, чтобы все как-нибудь обошлось без неприятностей, и беспокоилась и за мужа и за дочь, не зная и не решаясь, чью принять сторону. Когда она слушала мужа, ей казалось, что он прав и что Нине в самом деле неприлично ездить к дяде, хотя бы он и исправился, забывая, что еще недавно, слушая рассказ Нины о посещении дяди, она проливала слезы от умиления и сама хотела навестить этого «несчастливого старика, обиженного людьми».

— Ниночка! Папа тебя зовет... Он хочет с тобой говорить о твоих посещениях дяди... Он очень этим недоволен! — говорила Опольева, войдя в комнату Нины.

Нина слегка побледнела. Она понимала, что предстоит тяжелый разговор. Но она быстро поднялась с места и решительно направилась к дверям.

— Ниночка... ты, родная, не противоречь отцу, не раздражай его... И исполни его желание: не едь к дя-

де. И не сердись на меня... Это я все ему рассказала... Я думала, он отнесется к моему признанию иначе, тем более что сегодня он встретил на улице дядю и был очень изумлен...

— Изумлен? Чем, мама?

— Его приличным видом, его костюмом... одним словом, тем, что он не попрошайка, каким был...

— Благодаря тому, что все от него отвернулись! — горячо вставила молодая девушка.

— Но папа не верит...

— Чему не верит?

— Что дядя мог так измениться после всего того, что было...

— Не верит... Но ведь это правда! — воскликнула Нина.

— И я пробовала говорить... Я рассказывала об этом мальчике...

— И папа все-таки не верит? — грустно повторила Нина.

— Не верит.

— Так я постараюсь убедить папу! — промолвила Нина.

— Нет, Нина, нет, не делай этого... Это бесполезно... И вообще... вообще, лучше не противоречь ему. К чему? Отца ты не переубедишь и только огорчишь его. А он тебя так любит...

— Но, мама... Что ты говоришь? Неужели я должна согласиться с папой, что дядя гадкий человек и что он не заслуживает никакого участия, когда я убеждена в противном... И неужели папа может сердиться на это...

Опольева не знала, что отвечать, и снова повторила:

— Во всяком случае, Нина... помни, что не следует огорчать отца... Ну, иди, иди... Он тебя ждет...

Молодая девушка пошла в кабинет.

XXXIII

Опольев так же мало знал свою дочь, как и дочь — отца.

Он ее очень любил тою эгоистическою любовью, которую любят родители своих детей, любя в них самих себя. Он был всегда с ней ласков и нежен, заботился об ее удовольствиях, нарядах, перекидывался с ней сло-

вами, полными ласки, в те редкие минуты, когда видел ее в свободное от службы время, но никогда с ней серьезно ни о чем не говорил, привыкши считать ее девочкой даже и тогда, когда она вышла из института.

Как и большинство отцов, он никогда не старался заглянуть в ее душевный мир, не пытался узнать, какие мысли, какие мечты занимают ее голову, и со свойственною мужчинам самоуверенностью в безошибочном понимании людей, тем более дочери, которая всегда была под глазами, воображал, что отлично знает свою дочь и что делает для нее все, что только может доставить людям счастье. У нее будет хорошее приданое. Она выйдет замуж за порядочного человека и будет порядочною женщиной в том смысле, в каком понимал Опольев. А пока она живет, окруженная любовью отца и матерью, в полном счастье и довольстве.

Разговор, только что бывший с женой, несколько смутил его превосходительство теми неожиданными новостями, которые он узнал. Ему очень не понравились и посещения «негодяя брата», и филантропические подвиги дочери, и увлечение Толстым, и он считал виноватою свою жену, которая раньше не сообщила обо всем этом ему. Достаточно было бы ему поговорить с дочерью с четверть часа, и она поняла бы сама, как неприлично посещать «пьяниц родственников», как смешно усердствовать в филантропии и как нелепо восхищаться проповедями Толстого.

Эту легкость вразумления дочери Опольев основывал главным образом на уверенности в том, что он отлично знает свою девочку. Кроме того, он рассчитывал и на свой нравственный авторитет, и на свое умение убеждать людей, — недаром же он считал себя необыкновенно умным человеком.

И в нем не было ни малейшего сомнения в том, что Нина — эта милая, кроткая Ниночка — вполне проникнется его доводами и сознает ошибочность своего поведения. Она настолько умна, хорошо воспитана и настолько любит отца, чтоб поверить ему, что хорошо, что дурно.

Разумеется, все эти увлечения ее филантропией и Толстым немедленно пройдут.

А главное — ей надо выходить замуж!

Так думал Опольев в ожидании дочери и, несмотря

на уверенность в легкости ее обращения на путь истины, все-таки испытывал не то что смущение, а какую-то неловкость при мысли, что ему придется запретить ей посещать брата, особенно если он и в самом деле переменился, как ни трудно этому поверить.

И его превосходительство снова мысленно назвал не совсем лестным эпитетом свою жену за то, что она допустила это невозможное знакомство Нины с «братцем».

«Воображаю, чего только не наговорил ей, кого только не обвинял этот человек, чтобы только разжалобить добрую девочку!» — думал Опольев.

XXXIV

Тихий стук раздался в двери кабинета.

— Это ты, Ниночка?

— Я, папа.

— Входи, входи... я жду тебя. Садись вот тут, поближе... Поговорим, моя девочка! — мягко и ласково заговорил Опольев, когда его любимая Нина, серьезная, побледневшая и несколько взволнованная, вошла в этот большой, внушительный, всегда пугавший ее кабинет; где за письменным столом сидел отец.

Она опустилась и почти потонула в большом мягком кресле, стоявшем у стола, и, взглянув на отца и встретив его нежный, любовный взгляд, казалось, смутилась еще более.

Она любила отца, но всегда испытывала какое-то стеснение перед ним и в присутствии его никогда и не высказывалась, точно чувствуя, что он отнесется или насмешливо, или не обратит на ее слова никакого внимания.

— Ты сердишься на меня, папа? — спросила она.

— Нет, Нина, я не сержусь, но мне очень неприятно, что ты вздумала ездить к моему брату...

— Я виновата, папа, что не сказала тебе об этом раньше...

— Да, это было бы гораздо лучше, мой друг, чем держать в секрете от отца эти визиты... По крайней мере ты не сделала бы ложного шага...

Опольев пустил дымком душистой сигары и продолжал:

— Видишь ли, Нина, в чем дело. Ты еще слишком молода, чтобы знать и понимать людей, и потому тебя легко мог ввести в заблуждение и заставить пожалеть себя этот пьяница и нищий, который, к несчастью, мой брат... Эта чувствительная история о каком-то мальчике, эти жалобы, которые он, вероятно, расточал на других людей за свое же беспутство, могли, конечно, тронуть твое доброе сердце... Все это понятно... Но если бы ты спросила у меня совета, я сказал бы тебе, что такие люди, как мой брат, промотавший состояние, сделавший подлог и павший до того, что собирал на улицах милостыню, такие люди не заслуживают сожаления, и посещать таких пьяниц порядочной девушке совсем неприлично. Воображаю, что ты могла там видеть и с кем могла встречаться! — брезгливо прибавил Опольев.

— Но, папа, поверь...

— Позволь мне докончить, Нина! — остановил Опольев дочь.

Нина тоскливо прижалась к креслу, и Опольев продолжал, отчеканивая слова, тем уверенным, слегка докторальным тоном, каким он любил говорить, не сомневаясь в надлежащем эффекте своих речей и слушая в то же время самого себя:

— Я очень рад, Нина, что об этом узнал. Не сомневаюсь, что ты и не подумашь больше навещать человека, которого твой отец имеет основание не признавать братом. Я не запрещаю тебе помогать ему, если тебе так хочется, и бросать деньги на пьянство, но бывать у него, который потерял все человеческое, посещать пьяницу, который, быть может, не прочь украсть чужую ложку...

Но тут возмущенная молодая душа не выдержала и помешала оратору закруглить период.

Бледная, с блесквшими от слез глазами, Нина вскоčila с места и почти что крикнула:

— Папа! Что ты говоришь? Ты заблуждаешься!

Опольев был изумлен, и настолько изумлен, что в первое мгновение не находил слов и только в недоумении пожал плечами.

В самом деле, ему говорят, что он заблуждается, и кто это говорит? Его дочь!

А Нина, вся охваченная желанием открыть отцу глаза и восстановить бессовестно поруганную правду, между тем продолжала:

— Дядя совсем не такой, каким ты его представляешь... О, если б ты увидел его, папа... узнал его... Ты убедился бы, какой он хороший... сколько в нем доброты... сколько ума... Он только несчастный оттого, что брошен всеми... А он, может быть, лучше многих, которых все уважают... Да, лучше, несмотря на то, что он нищий, а те богаты и занимают высокое положение... Ты только выслушай, папа, прошу тебя... тогда ты увидишь, как ты ошибаешься насчет бедного, милого дяди.

И, волнуясь и спеша, словно боясь, что ей не дадут сказать всего, что нужно, девушка с восторженной горячностью своего доброго сердца говорила, не думая ни о закругленности периодов, ни о красоте речи, о доброте и деликатности дяди, рассказала в подробности историю с Антошкой, о том, как дядя совсем переменял жизнь, как только явилась к нему возможность, как он страдал прежде и как доволен и счастлив теперь, имея хоть уголок под конец своей жизни...

— И он никогда никого не бранил, никого не обвинял за то, что его все бросили после того, как он был исключен из полка... Он одного себя считает виновным за все несчастия, которые испытал! — прибавила в заключение Нина.

И, точно сама испугавшись той храбрости, с какою решилась говорить с отцом, она вдруг притихла и, опустившись в кресло, робко взглядывала на отца.

И страстный вызывающий тон, и горячая защита пьяницы нищего — защита, точно похожая на обвинение отца, и вырвавшаяся фраза о том, что «дядя лучше многих, которых все уважают», — все это как громом поразило Опольева. В речах дочери его ухо уловило что-то такое, для него неприязненное, ужасное и нелепое, чего он никогда не ожидал. Какая-нибудь курсистка еще могла бы высказывать такие взгляды, начитавшись нелепых книжек или наслушавшись разных бредней, а то его дочь, дочь видного общественного деятеля, известного своими ультраконсервативными тенденциями!..

Но еще неожиданнее было то, что он, этот всеми признаваемый умный человек, считавший себя необыкновенно проницательным и тонким знатоком людей, казалось, только сейчас, сию минуту, несколько узнал душевный мир своей дочери, понял, что и у нее есть свои

взгляды и мысли, совсем непохожие на его, и — главное — что в этом маленьком, кротком и скромном на вид существе с большими вдумчивыми глазами чувствуется что-то свое, что-то упорное и что убедить ее в четверть часа, как он думал, едва ли возможно.

«Откуда все это?»

И в эту минуту он понял, что дочь далеко не смотрит на отца с тем благоговейным восторгом, на который он рассчитывал, и весьма вероятно, даже наверное, судя по ее словам, относится к нему критически и, пожалуй, даже считает его далеким от того идеала, который рисуется в ее голове. Недаром же она так распинаятся за этого «негодяя»...

И этот «негодяй» возбуждает еще большую ненависть в его превосходительстве.

И взгляд его красивых черных глаз теряет прежнюю мягкость и нежность любящего отца и блещет резким и холодным, насмешливо-презрительным выражением. Тонкие губы его слегка подергиваются. Он смотрит на свою девочку и чувствует к ней в эту минуту что-то неприязненное, точно перед ним не горячо любимое создание, а враг, дерзко осмелившийся покачнуть пьедестал его непогрешимости и великолепия.

Нина поняла этот резкий холодный взгляд, и тоска наполнила ее сердце, та тоска, которая является у любящих детей, чувствующих разочарование в своих родителях...

«Он, значит, не выносит правды!» — подумала она и вся съежилась, точно ей сделалось холодно, в кресле и трепетно ждала, что скажет отец, предчувствуя в то же время, что то, что он скажет, будет совсем не то, чего она ждала, когда шла в кабинет, рассчитывая своей защитой вызвать отца на примирение с несчастным дядей.

И он проговорил резким, не допускающим возражения тоном, слегка прищуривая глаза:

— Я терпеливо выслушал все то, что ты изволила мне высказать, и, разумеется, нисколько не убежден... Меня только удивил тот вздор, который, к сожалению, оказался в твоей голове... Я предполагал в тебе более здравого смысла и думал, что ты не позволишь себе сравнивать пропойцу и нищего с порядочными людьми... Откуда у тебя такие идеи?.. От этого добродетельного

дяди?.. Или начиталась Толстого? — насмешливо спросил он.

— Я, папа, сама об этом думала...

— Сама? Поздравляю. На каком же основании ты делаешь подобные сравнения?

— На основании того, что вижу, что слышу...

— И доверяешь своим наблюдениям больше, чем мнениям своего отца?

Что могла ответить на это Нина?

— Слишком рискованно, моя милая, в твои года полагаться на свои наблюдения... Надо прислушиваться к тому, что говорят люди, более тебя знающие жизнь, и не отваживаться говорить такие вещи наобум... И где это ты видела людей из нашего общества, которые, по твоему мнению, хуже моего брата?

— А князь Чекалинский, папа? Разве он не проиграл огромного состояния и разве не выдал подложного векселя? А между тем его везде принимают! А этот Кривошеков... Занимал такое место — и оказался взяточником! А Рушук?.. Господи! Да сколько таких, точно ты сам их не знаешь? И их везде принимают, им все прощают, а несчастного дядю за меньшую вину изгнали из общества и сделали нищим. Где же тут справедливость?

На этот раз и его превосходительство находился в некотором затруднении и не знал, что ответить дочери. Действительно, названные ею господа имели за собою большие грехи и тем не менее бывали у Опольева в доме.

И чем более затруднялся Опольев ответом, тем более раздражался на дочь и, наконец, сказал:

— Все это, может быть, до некоторой степени и верно... все эти люди, о которых ты говоришь, и поступали не совсем корректно, но все-таки они никогда не пали бы так низко, как тот человек...

— Да, потому что одних вовремя поддержали, а гадости других замяли...

— Ты глупости говоришь! — резко остановил Опольев. — Довольно их... Я позвал тебя сюда не для полемики, а для того, чтобы сказать тебе, что я недоволен твоими посещениями дяди... Да, очень недоволен, — строго прибавил он.

Нина молчала.

— Допустим даже, что он и переменял жизнь благо-

даря твоим благодеяниям и больше не нищенствует и не пьянствует, а ведет добродетельную жизнь вместе со своим питомцем... допустим и это, как ни трудно допустить такую реабилитацию, возможную лишь в плохих романах, но все-таки прежняя жизнь оставила на нем свою грязь, и сколько-нибудь порядочной девушке предосудительно вести с таким человеком знакомство... Так я смотрю и прошу тебя никогда больше не бывать у него... Слышишь?

— Слышу, папа! — проронила молодая девушка.

— Дай мне слово!

— Пока я у вас — даю!

Этот ответ взорвал обыкновенно сдержанного Опольева, и он гневно проговорил:

— Можешь идти, дерзкая девчонка!

XXXV

Это объяснение с дочерью взволновало Опольева.

Он долго не мог успокоиться и быстро и нервно ходил по кабинету, возбужденный, поводя скулами и хрустя по временам белыми, крупными пальцами заложженных за спину рук. Только что сделанное открытие — именно открытие, — что, по всем вероятностям, дочь его заражена теми самыми мнениями, против которых он боролся в качестве официального лица и которые считал вредными, и изумляло, и раздражало, и огорчало его превосходительство...

И как он ничего этого не замечал, как он вовремя не остановил этого недуга, готового охватить и погубить молодой организм? То-то, припоминал он слова жены, она избегает выездов, не любит общества, читает книжки и ей никто не нравится из тех молодых людей, которые у них бывают...

Усталый от ходьбы, он снова присел к столу и долго-долго сидел в кресле в глубокой задумчивости, словно человек, внезапно застигнутый каким-то неразрешимым вопросом.

Наконец, он подавил пуговку звонка и, когда явился лакей, приказал попросить к себе барыню, если у нее никого нет.

И, когда в кабинет пришла Опольева, несколько встревоженная, с красными от слез глазами, муж с ка-

кою-то злостью взглянул в это еще красивое, добродушное, полное лицо, точно считая жену виноватой за то, что дочь совсем не та, какую он ее считал, и проговорил:

— Знаешь ли ты, какая у нас Нина?..

— Какая? Она славная, прелестная! — поспешила заступиться мать.

— Славная... прелестная! — передразнил Опольев. — Ты ничего не видишь!.. Она нигилистка...

— Бог с тобой... Что ты говоришь? — испуганно промолвила мать.

— Я говорю то, что есть в действительности... У нее очень опасные мнения... Что ты удивляешься? Ты и не догадывалась? Ты позволяла ей посещать этого пьяницу? Ты отпускаешь ее ради дурацкой филантропии по всяким трущобам... Ты позволяешь ей читать все, что ей вздумается...

— Но, Константин Иванович, она не маленькая...

— Не маленькая, но ты могла бы иметь на нее влияние... А теперь полюбуйся, что вышло? Как она говорила с отцом? Как защищала этого мерзавца, которого я не велел пускать в дом... И как дала слово не ходить к нему... Видно, что против желания.

— И ты, верно, сурово обошелся с ней? Константин Иванович! Не забудь, что Нина у нас одна... Она натура чуткая... Пусть даже и увлекается книгами, пусть даже у нее и крайние мнения, но не озлобляй ее... Не заставь бедную девочку возненавидеть родительский дом! — взволнованно и решительно говорила теперь эта слабая, нерешительная женщина, в которой заговорила мать, отстаивающая свое любимое детище.

Его превосходительство вдруг струсил.

— Но я и не думал сурово обходиться с ней, — промолвил он.

Но Опольева не слушала и продолжала:

— Ты упрям, но и она упряма... Мало ли что может прийти ей в голову?.. Ей может показаться, что ты ее не любишь, и она уйдет от нас... Примеры такие бывали... Вспомни историю у Вяземцевых?.. Дочь их ушла... И, наконец, неужели уж такое преступление бывать у твоего брата, которого ты не можешь простить, а твоя дочь полюбила?..

Но тут уж его превосходительство не выдержал. Едва сдерживая бешенство, он растворил двери кабинета.

та, и госпожа Опольева тотчас же смолкла и догадалась уйти.

С тяжелыми думами сидела и Нина в своей комнате. Отец представлялся теперь в ее глазах совсем другим человеком. Тяжелые обвинения в несправедливости, в жестокости, в нетерпимости к чужим мнениям невольно роились в ее голове, смущая в то же время девушку, и напрасно она старалась найти оправдание для отца. Что-то непонятно жестокое и злопамятное чувствовалось в этих нападках на брата... А это издевательство над ее словами, полное насмешливой злости?

Нина сидела грустная, и вся ее жизнь, которую вела она, казалась ей какою-то пустою, бесцельною, ни для кого не нужною. К чему и зачем вся эта роскошь, которою она окружена и которая ее нисколько не делает счастливою?

И она завидовала в эти минуты тем трудящимся интеллигентным девушкам, у которых есть цель в жизни, которые работают и ни от кого не зависят. Как бы она была счастлива, если б и она могла так жить!

А теперь? Какая это жизнь?

Она может ездить на балы, в театры, тратить безумные деньги на наряды и в то же время не смеет навестить этого несчастного старика дядю, только потому, что он в глазах отца и общества отверженец.

«Нет, так жить нельзя!» — думала молодая девушка.

XXXVI

Прошло три года с небольшим.

За это время Антошка блистательно окончил курс технической школы при одном большом заводе на Васильевском Острове и поступил учеником на тот же завод в механическую мастерскую.

Талантливость и способности Антошки, его необыкновенная сметливость и какая-то лихорадочная жадность к занятиям обратили на себя внимание заведующего школой, старого идеалиста шестидесятых годов, преданного своей школе, которой он заведовал пятнадцать лет и которую поставил на надлежащую высоту, умея внушить к себе любовь и уважение учеников, по большей части детей заводских рабочих.

Антошка сделался его любимцем, и учитель предложил своему способному ученику приходить к нему по ве-

черам, после окончания работ на заводе, для специальных занятий по механике, к которой Антошка обнаруживал особенную склонность. Еще бывши в школе, он интересовался чертежами машин, часто бегал после занятий в механическую мастерскую, где отделялись части громадных механизмов для кораблей, и там жадно смотрел на эти цилиндры, золотники и холодильники, старался проникнуть в тайны их устройства. Уж он смастерил для «графа» особенный замок и палку с выскакивающим из нее прибором для рыбной ловли, а для Нины — стальной бювар с ее монограммой, с календарем и застежками замысловатого, им придуманного устройства и выказал в этих работах много вкуса и механического остроумия.

«Граф», гордившийся успехами Антошки гораздо более, чем сам юный изобретатель, был в восторге от его подарков, находил, что лучше таких вещей он не видал на своем веку, и не без торжественности объявил, что Антошка впоследствии будет знаменитым механиком...

— Того и гляди когда-нибудь и портрет твой, Антоша, в иллюстрациях появится... Выдумаешь какую-нибудь новую машину... и станешь известным.

Антошка, однако, довольно скептически относился к похвалам «графа», зная, что он, несмотря на свой ум и обширные познания в других областях, решительно ничего не смыслит в механическом деле.

Нечего и говорить, что он с благодарностью принял предложение заведующего школой и ходил к нему на квартиру при заводе каждый вечер, с жадностью слушая его лекции. В год он прошел таким образом краткий курс механики, познакомившись с ее принципами, насколько это было возможно без знания высшей математики.

И заведующий школой, маленький, круглый, толстенький человечек с добрыми глазами и длинными седоватыми волосами, придававшими ему литературный вид, однажды с особенною горячностью просил директора завода обратить на Антона Шигрова особое внимание.

Он рассказал его историю, рассказал, как прекрасно занимался он у него, и расхваливал его талантливость.

— Из этого юноши вышел бы выдающийся математик и механик, если бы только он имел возможность получить высшее образование... Но куда ему об этом и думать, бедняге? Во всяком случае, благодаря его замеча-

тельными способностям завод будет иметь в нем недюжинного мастера...

Директор завода, образованный и сам очень талантливый человек, особенно заботившийся, чтобы у него на заводе были хорошие русские мастера, заинтересовался Щигровым, которого помнил по бойким ответам на экзамене, и обещал не забыть его.

— Только не увлекаетесь ли вы, Петр Федорович? — улыбнулся директор, обращаясь к учителю.

— А вы потрудитесь спросить о Щигрове начальника мастерской... Да вот и Арнольд Оскарыч сам... Легко на помине.

На внезапный вопрос об Антоне Щигрове начальник мастерской Арнольд Оскарович Вундстрем, аккуратный, требовательный, справедливый и несколько ограниченный финляндец пожилых лет в форме инженер-механика, небольшого роста блондин с серьезным лицом, в выражении которого было что-то честное, правдивое и в то же время жестковатое, первым делом несколько ошалел от этого вопроса, так как он к нему не был приготовлен и пришел в этот кабинет, занятый другими делами, требующими разрешения директора.

И потому он не сразу ответил и несколько мгновений соображал о том, как ему следует ответить со всей его педантическою добросовестностью.

Отзывы честного финляндца были самые лучшие. Хотя Щигров всего год как служит на заводе, но исполняет ответственные работы. Руки у этого Щигрова золотые и сообразительность замечательная. Кроме того, он и чертит отлично. Если б не заводские правила, то он с удовольствием представил бы его в помощники мастера и назначил бы ему на первое время пятьдесят рублей жалованья в месяц... Ему можно поручить работу, требующую тонкой отделки и особенного внимания...

По счастью, директор не был рутинером и охотно выдвигал способных рабочих, не стесняясь ни правилами, ни годами службы, ни молодостью.

— Что ж, сделайте Щигрова помощником мастера и дайте пятьдесят рублей жалованья с будущего месяца! — решил немедленно директор и затем стал слушать обстоятельный и чересчур подробный доклад добросовестного финляндца, обнаруживая на своем красивом и умном лице некоторое нетерпение и оттого, что

Арнольд Оскарович «тянет» то, что можно объяснить в пять минут, и оттого, что он, директор завода, принужден слушать другого, вместо того чтобы его слушали. А он любил-таки поговорить и любил, чтобы слушали его действительно подчас блестящие речи.

Когда в тот же день, перед обеденным шабашом, начальник мастерской велел позвать в свою контору Антона Щигрова и объявил ему о повышении и о жалованье, наш приятель, которого мы по-прежнему будем называть Антошкой, зарделся от радостного волнения и, видимо подавленный неожиданным счастьем, в первое мгновение, казалось, не смел верить словам начальника. Такого блестящего начала он не ожидал!

— Надеюсь, Щигров, вас не испортит такое быстрое повышение. Сколько я помню, это, кажется, первый пример на заводе, чтобы такой молодой человек, почти мальчик, из учеников прямо сделан был помощником мастера...

Действительно, худошавый, маленький, с бледноватым выразительным лицом, оживленным радостным выражением, сверкавшим в его живых карих умных глазах, Антошка казался моложе своих восемнадцати лет и напоминал бы прежнего подростка Антошку, ходившего с ларьком, если бы не пробивавшиеся черные усики и едва заметный пушок на подбородке.

— Очень вам благодарен, Арнольд Оскарыч! — пробормотал наконец Антошка.

— Меня благодарить не за что. Повышением вы обязаны своим способностям и добросовестному отношению к работе... Вы и теперь многое понимаете не хуже мастера, а со временем, я уверен, будете превосходным мастером... Только смотрите, Щигров, оправдайте мои надежды,— продолжал, выговаривая слова с заметным акцентом, тихим, ровным и несколько монотонным голосом Арнольд Оскарович, любивший читать нравоучения молодым мастерам, особенно тем, которых отличал.

— Постараюсь, Арнольд Оскарыч.

— А главное, не закутите, как кутят многие из ваших товарищей.

— Я вина в рот не беру, Арнольд Оскарыч.

— Приятно это слышать, очень приятно. И никогда не пейте водки, Щигров... Водка больше всего губит мастерового и лишает его всякого самолюбия. А без само-

любия какой может быть человек?.. И вообще, Щигров, избегайте не только пьянства, но и других кутежей... Вы понимаете, о чем я говорю? Будьте нравственным человеком. О, это очень важно и для здоровья и для хорошей работы...

— Я глупостями не занимаюсь! — прошептал конфузливо Антошка.

— Очень похвально, и не занимайтесь глупостями... При порядочном образе жизни вы можете откладывать часть жалованья и класть деньги в сберегательную кассу. У вас, таким образом, будет всегда запас на всякий случай... А это очень хорошо — иметь запас... Предусмотрительный человек должен всегда иметь запас. Ведь вам некому помогать? У вас, как я слышал, родители умерли?

— У меня, Арнольд Оскарыч, родителей нет, это точно, но зато есть один человек, который для меня, можно сказать, дороже отца и матери. Он меня человеком сделал, и я, пока жив, буду для него работать! — горячо проговорил Антошка.

— Это делает вам честь. Благодарность — редкая добродетель... Ваш покровитель, значит, бедный?

— Бедный. У него ничего нет... Племянница ему помогает...

— А теперь хотите вы?

— Я-с.

— Рад узнать, что вы исполняете свой долг, как следует порядочному человеку. Надеюсь, что в непродолжительном времени вы будете получать и большее жалованье, если станете так же хорошо работать, как работали до сих пор.

— Я изо всех сил буду стараться, Арнольд Оскарыч.

Взгляд больших, слегка выпяченных глаз начальника мастерской с видимым благоволением скользнул по всей тщедушной фигурке Антошки и снова принял несколько строгое выражение, когда Арнольд Оскарович внушительно произнес:

— Но только знайте, Щигров, что как я вас ни ценю, а за малейшее упущение буду строго взыскивать, и даже строже, чем с других... Помните это и не надейтесь ни на какие послабления с моей стороны...

— Я ни на чьи послабления не рассчитывал! — не без достоинства ответил Антошка.

— Да, вот еще что...

Тут добросовестный финляндец на минутку замялся и продолжал уже не начальническим, а ласково-конфиденциальным тоном, несколько понижая голос:

— Это, конечно, не мое дело, но я искренно желаю вам добра и потому считаю долгом предупредить вас: не очень-то дружите с машинистом Ермолаевым... Вы, кажется, дружны с ним?.. Можете не отвечать, коли не хотите... Это ваше частное дело! — прибавил Арнольд Оскарович.

— Да, я приятель с ним...

— Он отличный работник и не пьяница, но только беспокойного образа мыслей... Поняли?

— Понял, Арнольд Оскарыч... Только никаких дурных разговоров мы не ведем...

— Ну, я вас предупредил. Ступайте обедать, сию минуту звонок! — прибавил Арнольд Оскарович и ласково кивнул в ответ на поклон Антошки.

XXXVII

В этот холодный, хмурый и мокрый октябрьский день Антошка шел с завода обедать домой с такою быстротой, с какою, бывало, в прежние времена своей безотрадной жизни нагонял какую-нибудь «миленькую барыньку», подававшую надежду снабдить копеечкой.

Он не чувствовал ни пронизывающего холодного ветра, дувшего с Невы, ни сырости, ни холода, так как костюм его был в надлежащей исправности — «граф» особенно об этом заботился и, случалось, сам чинивал Антошкины вещи — и, переполненный счастьем, спешил поделиться новостью с «графом» и обрадовать радостной вестью своего пестуна и друга.

Едва ли в этот скверный день был во всем Петербурге такой счастливый человек, как Антошка. Самые радужные мысли вихрем проносились в его голове, чередуясь с невольными воспоминаниями о горемычном прошлом, словно бы для того, чтобы еще ярче оттенить прелесть настоящего.

Давно ли он, оборванный и несчастный, не слышавший ни одного ласкового слова, бегал нищенкой и ходил с тяжелым ларьком по улицам, упрашивая прохожих купить конвертов и бумаги, чтобы принести выручку и

не испробовать ремня «дяденьки» и ругани «рыжей ведьмы». (Где-то они теперь?) Давно ли он зябнул на улицах и часто голодал?..

А теперь он окончил курс, имеет хорошее место и жалование и в недалеком будущем будет мастером — недаром же все хвалят его работу и недаром же он сам любит свое дело.

Только в последнее время, когда Антошка значительно развился благодаря влиянию школы, чтению и философских бесед «графа», он понял, что бы могло быть с ним, брошенным созданием, если бы не «граф». И то, что прежде Антошка лишь чувствовал, теперь понял и оценил. Оценил все, что сделал для него единственный человек, принявший в нем горячее участие, понял всю деятельную силу его любви и безграничность забот о нем, направленных к тому, чтобы избавить его от ужасов нищенской жизни и сделать его человеком.

Бесконечно благодарный и любивший теперь «графа» сознательнее, чем прежде, Антошка был в восторге, что так скоро сбылись его заветные мечты, те самые мечты, которые нередко занимали Антошку с той памятной ночи, когда он, избитый, окровавленный и продрогший, прибежал от «дяденьки» и был согрет ласкою и участием, призрен и принят под покровительство таким же нищим и бездомным, каким был и Антошка. И с той только поры он почувствовал, что жизнь может быть мила.

Теперь он может отплатить своему другу не одною только беспредельною привязанностью. Теперь Александру Ивановичу не нужна ничья посторонняя помощь. Ему, преждевременно состарившемуся от долгих лет нищенской жизни, часто хворающему, не нужно больше трудить слабых глаз и сидеть не разгибая спины по несколько часов в день за перепиской, чтобы заработать несколько рублей для того, чтобы побаловать развлечениями и лакомствами лишний раз того же Антошку. Теперь он будет заботиться о нем и баловать «графа». Теперь у них будет пятьдесят рублей в месяц своих кровных денежек, и никакой чужой помощи им не надо. А впереди в воображении Антошки последовательно пробегали крупнейшие цифры будущего жалования и, дохода до цифры сто, говорили ему и о двух комнатах, и о сигарах для Александра Ивановича, и о красном вине

для него за обедом, и о маленькой даче где-нибудь поблизости, на Петровском Острове например, где бы Александр Иванович мог поправиться, а то он все покашливает и нет-нет да пожалуется, что болит грудь...

Квартира «графа» и Антошки была недалеко от завода, в одной из дальних линий Васильевского Острова, у Среднего проспекта. Они уже два года как переехали от Никифоровых, с тех пор как сын-технолог, окончив курс, получил место на одном из заводов в Екатеринославской губернии и с ним уехали мать и сестра, здоровье которой требовало теплого климата.

Эти милые, добрые люди, у которых так хорошо прожили больше года «граф» и Антошка, пользуясь расположением всех членов семьи, не забывали своих прежних жильцов. Раз в месяц брат или сестра писали «графу», живо интересуясь и им и его сожителем, и «граф» отвечал длинными, благодарными письмами, описывая успехи Антошки и отчасти свои по переписке статистических таблиц, которую ему давала по поручению барышни Никифоровой одна студентка.

Минут через пятнадцать, которые показались в этот день Антошке ужасно долгими, он торопливо прошел двор большого дома и взбежал в третий этаж флигеля, где «граф» снимал комнату со столом у старого музыканта немца, жившего вдвоем с супругой в трех комнатах, чистеньких, опрятных, как и сами хозяева.

Маленькая, толстенькая и румяная старушка с седыми буклями, неизменной потертой плюшевой накидушкой на плечах отворила двери и, впустив Антошку, не без некоторого удивления проговорила на очень плохом русском языке:

— Сегодня вы на пять минут раньше пришли, Антош.

— Раньше, Адель Карловна... Торопился.

— Кушать, верно, очень захотели? — довольно приветливо осведомилась хозяйка, благоволившая к своим жильцам и за то, что они аккуратно платили, и за то, что были тихие жильцы и не делали, как она выражалась, Schweinegei¹ из своей комнаты.

— Да, Адель Карловна, — весело и торопливо отвечал Антошка, готовый на радостях обнять эту степен-

¹ Свинухник (нем.).

ную, аккуратную, немного прижимистую и сентиментальную Адель Карловну.

— Марта сейчас подаст...

Но Антошка едва ли слышал последние слова, так как, сбросив пальто, стремительно бросился в комнату, повергнув в некоторое недоумение почтенную немку и своею забывчивостью обтереть ноги о половик и своим особенно радостным, возбужденным видом.

«Верно, какое-нибудь маленькое жалованье назначили!» — мысленно решила практическая старушка, приурочивавшая все житейские радости к получению денег.

И, снедаемая любопытством узнать, в чем дело, и желанием сообщить что-нибудь новенькое своему Адольфу Ивановичу, когда он вернется с репетиции из театра, где он играл вторую или третью скрипку, — Адель Карловна приложила ухо к двери комнаты жильцов в надежде что-нибудь услышать. Но двери были плотно закрыты, и Адель Карловна отошла несколько обиженная и отправилась в свою сверкавшую чистотой кухню, чтобы посмотреть, как будет отпускать жильцам обед «этот глупый русский свин Марта», как называла немка рябую, неуклюжую и ленивую Марфу, действительно не отличавшуюся большим пристрастием к чистоте, хотя и жила, как она говорила, «у немцев» целых пять лет, получая небольшое жалованье и вечно слыша от немки посямление русской национальности.

В ожидании прихода Антошки «граф», только что окончивший переписку полустраницы цифр, ходил, расправляя свои усталые члены, медленными шагами по небольшой, опрятной и уютной комнате, убранной в немецком вкусе, с бисерными подставочками на столиках, с вышитой подушкой на диване и с идиллическими плохими литографиями на стенах. Маленький обеденный стол посреди комнаты был накрыт чистой скатерткой, и у каждого из двух приборов лежали салфетки в бисерных же кольцах, явившихся знаком внимания Адель Карловны в день годовщины пребывания у нее на квартире жильцов.

За эти три года «граф», несмотря на спокойную и самую правильную жизнь, какую он вел, сильно постарел и осунулся. И волнистые его волосы и борода совсем заседели. Глубоко ввалившиеся темные глаза хотя и сохранили еще живость и порой светились юмором и насмеш-

кой, но в них уже не было прежнего блеска. Лицо его потеряло одутловатость и землистый цвет кожи, зато на нем залегло более морщин и черты заострились, придавая физиономии «графа» тот изнуренно страдальческий вид, в каком изображают монахов-подвижников.

Он не мог пожаловаться ни на какие острые страдания — по временам грудь ныла, но не очень сильно, и беспокоил сухой кашель, — но он чувствовал, что вообще слабеет и после часа работы или после ходьбы устает, чувствовал какую-то тяжесть в ногах и отсутствие гибкости в членах. Видно было, что последствия прежней жизни начинают сказываться и постепенно разрушают его когда-то крепкий организм.

Но «граф», привязавшийся снова к жизни с тех пор, как она ему улыбнулась, все надеялся, что эта усталость и эта слабость пройдут. Он бодрился и с какою-то инстинктивной предусмотрительностью заботился теперь о своем здоровье и частенько показывался в приемные часы у женщины-врача Елизаветы Марковны, лечившей его от воспаления легких, советовался с ней, принимал какие-то пилюли, остерегался простуды, словом, берег себя и подчас строил планы о будущем, о далеком будущем вместе с Антошкой.

Когда Антошка ворвался в комнату, «граф» сразу догадался по его сияющему лицу, что случилось что-то приятное.

— Ну, рассказывай, рассказывай скорей, Антоша... Вижу, брат, по твоей физиономии, что ты в восторгах. Что случилось? Новую машину выдумал, или тебя ваш строгий чухна похвалил? — говорил «граф», сам улыбаясь при виде неудержимой радости, которою, казалось, был переполнен Антошка.

— Помощником мастера назначили, Александр Иванович, — почти крикнул Антошка.

«Граф», знаяший благодаря Антошке все иерархические степени заводских служащих, вполне проникся важностью этого повышения и радостно проговорил:

— Ну, поздравляю тебя, Антоша, поздравляю тебя, родной... Год на заводе — и уже помощник мастера... Это что-то необыкновенное... Иди, брат, вымой скорей руки, чтоб я их пожал... Кстати, вот и Марфа несет произведение Адели Карловны.

— И жалованье назначили, Александр Иванович! Пятьдесят рублей в месяц! — почти выкрикнул Антошка, уходя за перегородку и принимаясь за мытье.

— Пятьдесят рублей!? — воскликнул «граф», не веря своим ушам.

— Пятьдесят! — повторил Антошка, отфыркиваясь. — С первого числа. И обещали сделать мастером.

— Молодец, Антоша... Ты блистательно начинаешь свою карьеру... В восемнадцать лет — и уже пятьдесят рублей... Да ведь это жалованье поручика... Ай да справедливый «печальный пасынок природы»!.. Ай да ваш строгий Арнольд Оскарович! Он, значит, оценил тебя, понял, какой ты талантливый человек! — радостно говорил «граф».

И когда Антошка вышел из-за перегородки, «граф» крепко пожал руку Антошки, потом привлек его к себе, обнял и что-то долго не выпускал Антошку из своих объятий, желая скрыть радостные слезы, которые невольно застилали глаза.

— Ну, теперь садись и ешь... Подробности вечером... Ведь ваш шабаш не долог. Так пятьдесят рублей, Антоша? И ты будешь мастером? И, конечно, скоро... Одним словом, теперь ты на своих ногах... Я так и ждал... Ты и мальчишкой был всегда сообразительным умницей... О, ты, брат, далеко пойдешь... Непременно какую-нибудь машину да выдумаешь... Ешь, ешь... Вечером расскажешь, как это случилось и что тебе начальник мастерской говорил... Так с первого числа? Теперь, Антоша, ты богат и можешь завести и часы, и сшить себе новую пару, и пользоваться иногда развлечениями...

Но вдруг «граф» остановился, изумленный внезапной переменой лица Антошки. Куда девалась сиявшая на нем радость!

— Разве жалованье, которое я буду получать, мое, а не наше, Александр Иванович? — взволнованным и словно бы недоумевающим тоном воскликнул Антошка, и лицо его приняло бесконечно грустное выражение обиженного ребенка. — К чему вы говорите о каких-то часах, о новой паре? Разве мы не будем оба жить на жалованье?.. Вы, значит, не хотите, чтоб я мог хоть чем-нибудь отплатить за все, что вы для меня сделали... Я... я... жизнь... готов... отдать за вас, а вы...

Антошка больше не мог продолжать.

О, какие мгновения бесконечного счастья испытывал «граф», слушая эти порывистые, прочувствованные излияния благородного сердца! Каким великим вознаграждением за все страдания горемычной его жизни была эта обида привязанного существа! И как хороша казалась жизнь! И каким теплом охватывало его душу!

С трудом удерживаясь от слез, подступавших к горлу, «граф» поглядел на Антошку с восторженным умилением и проговорил:

— Так вот отчего ты обиделся!? А я и не думал тебя обидеть... Разве я не знаю, не чувствую твоей привязанности?

— Но вы говорили о часах... о платье...

— Ну, говорил... Так ведь я получаю тридцать пять рублей от племянницы.

— Зачем их получать? Теперь мы сами проживем без посторонней помощи! — не без горделивого чувства произнес Антошка и, снова повеселевший, поднял голову и смотрел на «графа». — Еще как проживем-то! Это на первое время мне дали пятьдесят, а через год, наверное, дадут семьдесят пять... Я буду работать, стараться... Мы теперь ни от кого не будем зависеть...

— «Мы», — повторил «граф» и печально усмехнулся. — Что ж, ты ведь прав, мой милый, я с большим удовольствием буду жить на твой счет, чем на чей-нибудь другой... Корми же меня, ни к чему не годного старика... Ты ведь единственный близкий мне на свете.

— А то как же! — радостно поддакнул Антошка.

— И умру на твоих руках.

— До этого еще долго, Александр Иванович. А главное: не трудите себя этой перепиской... Ну ее... Оставьте! Вам это вредно!

— Коли так приказываешь — оставляю! — шутливо говорил «граф». — Она действительно очень меня утомляет. Однако что же ты не ешь котлет...

— Не хочется.

— И мне не хочется... Вечером поедим... Убирайте, Марфа... Да скажите Адели Карловне, что мы не ели ее котлет не потому, что они дурны, а потому... потому, что мы с Антошей очень счастливы. Понимаете?

Марфа взглянула ошалелыми глазами на обоих жильцов и молча убрала со стола.

«Граф» закурил свою копеечную сигару и заговорил:

— Ужасно сильно развито у тебя чувство благодарности, я тебе скажу, Антоша. Оно вообще редко у людей... Ты помни это и никогда на него не рассчитывай. И ты преувеличиваешь это чувство по отношению ко мне...

— Почему это?

— А потому, что я не знаю, кто кому больше обязан: ты мне или я тебе?

— Конечно, я... Не будь вас, чем бы я был теперь... Ходил бы с ларьком и терпел от дяденьки...

— А не явись ты ко мне в ту ночь, давно бы я умер где-нибудь на улице пьяный... Да, Антоша. И не жалел бы жизни... А ты возродил меня... Ты снова заставил полюбить жизнь... И вот теперь я не один, и я счастлив благодаря тебе... Ну, да что считать. Но не забывай только одного, что обоих нас выручил случай... Не будь этой доброй феи племянницы, не устроилось бы все так хорошо... Я ходил бы по вечерам на «работу», выпрашивал бы гривенники, но на них, брат, ты знаешь, не составишь состояния и даже теплого пальто не купишь. По всей вероятности, я слег бы в больницу, и что бы тогда с тобой случилось, бедняга?.. Помнишь, ты хотел идти в газетчики?

— И пошел бы... И мы с вами не пропали бы!

— Я, во всяком случае, бы пропал... Впрочем, к чему вспоминать прошлое, когда настоящее нам улыбается... Не будем, Антоша. А ты, во всяком случае, как-нибудь сходи к Нине... Она обрадуется, когда узнает о твоих успехах от тебя самого... И поблагодари ее... А ты уж бежишь на завод?

— Пора, Александр Иванович.

— Ну, до свидания. Вечером поболтаем, ты мне расскажешь, что тебе говорил твой начальник, как приняли твое повышение товарищи... Все, все расскажи... До свидания... Смотри, у машин осторожней... Ты ведь слишком прыткий...

Когда Антошка вышел из комнаты, «граф» пересел в кресло и впал в то блаженное настроение, когда человеку кажется, что счастьем его не будет конца.

С этими мыслями он незаметно задремал.

Его в последнее время часто клонило к дремоте.

Тихий стук в двери разбудил его.

— Войдите! — проговорил он, с трудом поднимаясь с кресла и напрасно стараясь принять бодрый вид.

Колени его подгибались, и ноги стояли нетвердо. Вошла Нина.

— Какой счастливый ветер занес вас ко мне, Нина? — радостно приветствовал «граф», делая несколько шагов навстречу к племяннице.

Он поцеловал Нину и, усадив на диван, тотчас же стал рассказывать о том, что Антоша только что получил место — он, конечно, объяснил, какое важное для начала, — и ему назначили, восемнадцатилетнему мальчику, пятьдесят рублей жалованья.

— Вот какой он, Антоша... О, он далеко пойдет... Это необыкновенно талантливый мальчик... И какое золотое сердце!

«Граф» передал Нине сцену за обедом и прибавил:

— Непременно требует, чтоб я был его пансионером и чтоб никто больше не заботился обо мне... Вы понимаете, Нина, я не смею отказать ему! — радостно говорил «граф».

— Еще бы... Иначе вы обидели бы его, дядя.

— То-то и есть. А разве я захочу обидеть моего мальчика? Вот почему с первого ноября вы уже прекратите мне выдачу пенсии из вашего казначейства. Теперь мы богаты и счастливы благодаря милой фее. Спасибо вам, Нина!

— Но разве, дядя, и мне нельзя о вас заботиться? Ведь эти деньги вам давно назначены. Позвольте по-прежнему посылать вам.

Но «граф» протестовал. Никак нельзя. Антоша не позволит. И то четыре года они пользовались пенсией. Теперь Нина может быть доброй феей кого-нибудь другого, мало ли горемык? Ведь Антоша получил пятьдесят рублей на первое время, через год он получит семьдесят пять, а когда сделают мастером, он будет получать сто пятьдесят рублей в месяц.

Нина глядела на это исхудавшее бледное лицо дяди, озаренное счастливой улыбкой, на эту впалую грудь, и ей почему-то казалось, что он слишком фамильярно обращается с будущим.

— Ну, как хотите, дядя... Я рада за вас и за Антошу... Вот только вы что-то похудели немножко с тех пор, как я видела вас в последний раз... Здоровы ли вы?..

— Ничего себе, скриплю... Вот слабость стал чувствовать в последнее время, но, надеюсь, это пройдет... Года все-таки свое берут, ну и жизнь-то моя прежняя была не особенно правильная, совсем даже неправильная, Нина.

— Быть может, хотите посоветоваться с доктором, дядя? Я к вам привезу специалиста.

— Спасибо, Ниночка, спасибо... У меня есть одна знакомая докторша, славная барыня. Я с ней советуюсь и, по ее совету, ходил к специалисту. Он говорит то же, что и докторша: надо беречься. Я и сделался трусом... Забочусь о своей персоне, Нина, точно принц крови... Теперь, видите ли, мне очень жить хочется... Хоть бы лет пять еще протянуть! — проговорил, улыбаясь, «граф». — Ну, а вы как поживаете, Нина? Здоровы, надеюсь?

— Здорова.

— А об остальном нечего и спрашивать... Живется хорошо, конечно?

Нина встрепенулась, точно раненая птица. В выражении ее лица и глаз было что-то бесконечно грустное.

— Нехорошо, дядя! — проронила она.

— Нехорошо? Отчего нехорошо? Что с вами, голубушка? — с нежным любовным участием спрашивал «граф», пораженный печальным видом племянницы. — Вы молоды, хороши, имеете средства, добры и отзывчивы, живете не праздно, как другие... У вас образованный молодой муж, светило науки, который, конечно, любит вас и разделяет ваши взгляды...

Нина несколько мгновений молчала, и вдруг слезы тихо закапали из ее глаз.

— Нина! Простите... Я своими дурацкими вопросами только расстроил вас, — извинялся «граф», целуя маленькую бледную руку Нины. — Я принесу воды... успокойтесь.

И «граф» поднялся с кресла.

— Не надо; сидите, дядя... Это сейчас пройдет. Я нарочно приехала, чтобы рассказать вам все... все... Вы ничего не знаете... Я прежде о себе не рассказывала и редко у вас бывала... Я ведь совсем одинока, милый дя-

дя! — говорила молодая женщина, когда несколько успокоилась.

— Одиноки? А муж? — невольно воскликнул «граф».

Он видел его раз или два.

Влюбленная и счастливая, вышедшая замуж против воли отца за молодого профессора, далеко не родовитого происхождения, что главным образом и смущало его превосходительство, Нина два года тому назад, вскоре после свадьбы, приезжала с мужем к дяде.

Он не понравился тогда «графу», этот молодой, красивый и уже известный ученый. Он показался слишком уж кокетливым и в манерах и в костюме, слишком решительным в приговорах и влюбленным в себя. Несмотря на чрезвычайную любезность профессора, от него веяло холодом.

— Я расхожусь с мужем! — ответила Нина. И после паузы спросила: — Вы удивлены, дядя?

— Нисколько, Нина... Я всего насмотрелся на своем веку и мало чему удивляюсь... Признаюсь, ваш муж мне не нравился... Так, первое впечатление старого бродяги... Но вы, Нина, кажется, его любили?

— Любила, но не знала его. Тогда он казался другим.

«Обыкновенная история», — подумал «граф» и проговорил:

— Бедная! Такая молодая — и такое разочарование!

— И не одно! — грустно проронила Нина...

«А впереди еще сколько!» — пронеслось в голове у «графа».

— Что же, он не любит вас?

— Он никого не любит, кроме себя, и женился, рассчитывая на приданое... Я это хорошо знаю теперь, к несчастью слишком хорошо, дядя... А тогда я увлеклась им... Среди мужчин, которых я встречала в нашем обществе, он так выдавался... Вы ведь хорошо знаете это общество?

— Знавал, Нина...

— Я хотела уйти из него... Я чувствовала, что так жить, как я жила, невозможно... Меня угнетала эта бесцельная, праздная жизнь... эти балы... эта безумная роскошь небольшого кружка в то время, когда у десятков тысяч нет куска хлеба... К тому же и дома... Отец...

Ница на секунду остановилась, точно ей было тяжело досказать то, что причиняло ей страдание. Оно в эту минуту выражалось в чертах ее лица, во всей ее приникшей фигурке.

— Я не смею осуждать отца,— произнесла она наконец упавшим голосом,— я все-таки люблю папу, и мне жаль его, но я... я потеряла к нему уважение. Ведь это ужасно, дядя. Не правда ли?.. Не уважать отца?..

«Граф» угрюмо молчал, опустив голову.

Что мог и смел он сказать дочери человека, которого давно считал подлецом. Чем мог он утешить Нину?

И в первый раз, кажется, во всю его жизнь в нем пробудилось чувство сострадания и жалости к брату. Несмотря на все свое богатство и важное положение, он несчастлив. У брата нет такого преданного, любящего создания, какое есть у него, у бывшего отверженца.

— Я с радостью приняла предложение,— продолжала молодая женщина,— я любила этого человека, я ждала новой, деятельной жизни, новых людей и вместо того нашла почти то же, что и в нашем светском обществе. Та же погоня за карьерой, за деньгами... То же равнодушие к вопросам, не имеющим отношения к их специальности, те же интриги... И это ученые! Профессора!.. Мой муж оказался таким же... Разница в наших характерах, взглядах, мнениях обнаружилась скоро, и наконец дошло до того, что я просила развода.

— Он дает его?

— Охотно. Тем более что ведь женитьба не принесла ему ничего... Отец не дал мне приданого... Он только сделал тряпки и выдает мне по двести рублей в месяц... А муж рассчитывал не на это и недавно настаивал, чтобы я ехала к отцу и просила его дать мне хоть половину обещанного состояния теперь же... Это было уже слишком!

— Из современных ранних молодых людей! — протянул «граф». — И, верно, он все это объяснял по науке?

— Вроде этого. О, говорит-то он красноречиво и любит говорить... Но мне его речи кажутся бездушными... Прежде, когда он был женихом, он не то говорил, что теперь... И с какой страстью! И какую разумную жизнь обещал... Все это была одна ложь. И как подумаешь, что этот человек профессор, поучает других, а сам... О, как все это отвратительно, дядя!

— Хорошо еще, что вы не поздно узнали этого учебного и, смею думать, совсем разлюбили его. Не правда ли, Нина? — осторожно спросил «граф».

— Он мне чужой совсем. Я к нему равнодушна! — решительно проговорила молодая женщина.

— Вот это отлично. Нет по крайней мере лишних страданий.

— Они были, дядя. Ведь я его любила!

Несколько минут продолжалось молчание.

Высказав все, что мучило ее, Нина казалась покойнее.

— Что ж вы намерены теперь делать, Нина? Где будете жить? У своих?

— Папа был у меня и настоятельно звал к себе, и мама тоже... Бедные! Они любят меня и в отчаянии, что у них такая неудачная дочь. И сделала *mésalliance*¹, и разводится... Но, как мне ни тяжело было огорчать их, я отказалась. Опять вернуться к этой жизни!? Боже сохрани!.. Мне опротивел Петербург.

«Граф» с благоговением смотрел на молодую женщину. Сколько характера и энергии в этом создании!

— Вы, значит, уезжаете?

— На днях уезжаю, дядя... До отъезда я еще буду у вас...

— Спасибо, спасибо, милая... Вы не перестаете баловать меня... Надеюсь, и весточку о себе когда-нибудь дадите?.. Вы куда уезжаете?

— Далеко, дядя, в Самарскую губернию.

— К кому?

— К тете Тане, к маминой сестре. Она славная, добрая и простая такая, совсем не похожа на наших дам. Зовет к себе в деревню... Она постоянно там живет после смерти своего мужа и скучает... Она обещает найти мне дело в деревне, если только я не соскучусь по балам и у меня хватит терпения быть полезной другим... Пишет, между прочим, что у них в уезде совсем нет школ и что надо их устроить. Поживу там и, если понравится, быть может и останусь там... Сюда буду приезжать, чтобы навестить своих, взглянуть на вас, дядя, как вы живете со своим другом... А средства на устройство школ у меня

¹ Неравный брак (франц.).

будут. Папа оставляет мне мои двести рублей в месяц. Видите ли, какая богачка! — заключила Нина.

— Чудная вы! — умиленно воскликнул «граф».

И вслед за этим как-то особенно почтительно поцеловал руку Нины. Она горячо обняла старика и проговорила:

— Если я уж не совсем пустая, то я и вам обязана, дядя. Вы мне на многое открыли глаза.

— Своему доброму сердцу обязаны, и никому более!

Нина еще просидела несколько времени у «графа».

Она строила планы будущей жизни, говорила, что ее манит деревня и что там она надеется совсем забыть о своих неудачах личной жизни, и вдруг воскликнула, как бы озаренная внезапной мыслью:

— А знаете что, дядя?

— Что, Нина?

— Что бы и вам приехать в деревню? Тетя, наверное, будет рада. Там вы скоро поправитесь и не будете чувствовать ни усталости, ни слабости. Хотите? Я напишу вам из деревни, и вы приезжайте.

— А мой Антоша?

Нина виновато улыбнулась, взглядывая на мертвенно-бледное лицо с заострившимся носом и обтянутыми щеками, и стала собираться, бесконечно жалея дядю.

XXXIX

Пришла весна.

«Граф» худел и слабел с каждым днем в течение зимы и теперь с трудом мог делать несколько шагов по комнате. Большую часть времени он сидел в кресле или лежал на постели.

Но он и думать не хотел, что дело его проиграно окончательно и что смерть уже витает над его изголовьем. Он, напротив, питал какую-то упорную надежду, что поправится, как только наступят теплые вешние дни, а там и лето... Антошка обещал нанять на Петровском Острове маленькую дачу... Там, на чистом воздухе, он окончательно выздоровеет.

Даже зеркало, отражавшее лицо мертвеца, не колебалось этой уверенности. Не смущали его и исхудалые ноги, и руки, и выдающиеся на плоской груди ребра...

И он добросовестно глотал какие-то пилюли, принимал микстуру и насильно, без всякого аппетита, пил молоко и ел бульон и мясо.

Еще бы! Ему теперь так хотелось жить, этому горемычному бродяге, бесконечно счастливому в это последнее время, когда они жили с Антошкой на свои кровные денежки. И как же Антошка баловал его: и вино ему покупал, и недурные сигары, и на газету для него подписался, и по вечерам, возвратившись из завода, читал ему или рассказывал про заводские дела и новости.

Как же не хотеть жить, когда на каждом шагу видишь трогательную преданность близкого существа и сам бесконечно любишь его и радуешься его успехам. А Антошка решительно преуспевал. За какую-то его выдумку («граф» при самом подробном объяснении автора «выдумки» не мог понять, в чем дело) ему выдали недавно триста рублей награды, и сам директор завода призывал Антошку и хвалил его...

И нередко «граф», замечая, что Антошка грустен, говорил ему, стараясь придать своему глухому голосу веселый тон:

— Ты что, голубчик, нос опустил?.. Думаешь, я умирать собираюсь. Дудки, братец! Опольевы живучи... Вот только тепло придет... Ты увидишь...

— И вовсе не думаю, Александр Иванович... Еще как поправитесь... Вот как теплое воскресенье придет, поедем дачу нанимать... Деньги у нас, слава богу, есть...

И Антошка употреблял чрезвычайные усилия, чтобы казаться веселым и не разрыдаться, слушая эти полные надежды слова.

Ему сказали доктора, что дни «графа» сочтены, да он и сам видел это, и горю его не было границ. Нередко он выбегал из комнаты на лестницу и плакал, как ребенок. Нередко во время работы на заводе он утирал наvertывавшиеся слезы — ведь «граф» был у него единственный человек, которого он любил. И вдруг потерять его тогда, когда жизнь их обоих так хорошо устроилась!

И Елизавета Марковна, и другой доктор советовали перевести больного в больницу, но Антошка и слышать об этом не хотел, зная, что «граф» ни за что не согласится. И кто же будет по ночам около него?..

Каждое утро Антошка уходил со страхом, что вернется домой и не застанет в живых «графа», и каждое утро

просил хозяйку дать знать на завод, если Александру Ивановичу будет плохо.

Несмотря на протесты «графа», в последние дни у него в комнате дежурила сиделка. Антошка настоял на этом, убедив «графа», что это необходимо. По крайней мере она будет аккуратно следить за приемами лекарства.

«Граф» в конце концов покорно согласился и заметил:

— Пусть будет по-твоему, а как потеплеет, мы, брат, сиделку спровадим... И то я тебе дорого стою... Слишком уж ты балуешь меня, Антоша... Роскошествуешь ты очень...

— Что вы, Александр Иванович... И вовсе у нас немного выходит...

— Небось вижу... Вино-то одно чего стоит... Ну да, голубчик, скоро я тебя освобожу от этих расходов... Поправляюсь, и войдем в бюджет...

Антошка отворачивался, чтобы скрыть слезы.

В этот вечер, когда Антошка вернулся с завода, «граф» объявил, что чувствует себя гораздо лучше, и вместе с Антошкой пил чай, сидя в кресле. Он был особенно разговорчив и весел.

Напрасно Антошка останавливал его, объясняя, что ему вредно много говорить, «граф» не слушал и возбужденно, порывисто заговорил:

— Да что ты, братец, точно меня умирающим считаешь?.. Я жить хочу и буду жить... Слышишь, Антоша!.. Милый, дорогой мой... Довольно я мыкался, терпел унижения, делал подлости, пьянствовал.. побирался... Я встретил тебя, такого же горемыку, бедного, брошенного... и твоя любовь привязала меня к жизни и пробудила во мне человека.

Он задыхался и все-таки продолжал, точно торопясь высказаться, глядя с бесконечною нежностью на Антошку:

— И теперь, когда я горжусь тобою, твоими успехами, когда я так привязался к тебе, моему умному, славному мальчику, и вдруг умереть... Нет... Я этого не желаю... Ты что же плачешь, мой милый... Зачем ты так смотришь?.. Или в самом деле...

Выражение ужаса вдруг исказило черты «графа». Он шевелил губами, и звука не было. Он как-то жалобно замычал и бесконечно грустными глазами, точно моля о помощи, глядел на Антошку.

— Это ничего... пройдет... доктор говорил... ей-богу, ничего, Александр Иванович,— безумно выбрасывал слова Антошка и припал к холодеющей руке «графа», орошая ее слезами.

— Сейчас бегу за доктором, Александр Иванович.

«Граф» отрицательно помахал головой, не сводя тускнеющего взгляда с Антошки.

— Ну, так пошлю...

И Антошка выбежал, чтобы распорядиться.

Когда он вернулся в комнату, «граф» уж не дышал.

Через три дня за скромным гробом шли на Смоленское кладбище три человека: Антошка, бывшая квартирная хозяйка и прачка Анисья Ивановна, и Нина. Она приехала в Петербург, получив от Антошки телеграмму о смерти дяди.

Других родных он не известил.

Никто не говорил речей на могиле «графа». Только Антошка безутешно рыдал, и плакали Анисья Ивановна и Нина.

Возвращаясь с кладбища работать на завод, Антошка еще сильнее почувствовал свое сиротство. Но, сознавая себя одиноким, он знал, что благодаря покойнику он бодро и стойко выдержит битву жизни... Она уже улыбалась ему, еще недавно несчастному нищенке.

В то же лето на могиле «графа» красовался красивый железный памятник, весь сделанный руками Антошки.

ВЕСТОВОЙ ЕГОРОВ

I

В эти предпраздничные дни в большой, красиво убранной квартире контр-адмирала Лещова шла такая же усердная чистка, какая происходила и во всех домах столицы.

Из всей прислуги адмирала особенно неистовствовал по приведению адмиральского кабинета в порядок пожилой, небольшого роста, плотный и коренастый человек, в куцей измызганной черной тужурке, в стоптанных парусинных башмаках, какие носят в плаваниях матросы, с широким, далеко неказистым, несколько суровым лицом, на красноватом фоне которого алел небольшой нос, похожий на луковицу, а из-под густых черных бровей блестела пара темных зорких глаз, умных и необыкновенно добродушных. Слегка искривленные ноги и здоровенные жилистые руки пополняли неказистость этой, на вид неуклюжей, сутуловатой фигуры.

Столь непрезентабельный для такой роскошной квартиры слуга, возбуждавший иронические улыбки в франтоватом молодом лакее, в горничной и кухарке, был Михайло Егоров, отставной матрос, служивший у Лещова безотлучно пятнадцать лет. Сперва он был у него вестовым, а после отставки остался при нем в качестве камердинера и доверенного лица, на испытанную честность которого можно было вполне положиться. Егоров совершил со своим барином немало дальних и внутренних плаваний, и все имущество барина было на руках Егорова. Оба они за это долгое время до того привыкли один к другому, до того Егоров был верным человеком, заботившимся о своем командире и о его интересах с какою-то чисто со-

бачьей преданностью, что, несмотря на обоюдные недостатки, хорошо изученные друг в друге, они не могли расстаться, хотя и нередко грозились этим оба в минуты раздражения.

Не расстались они даже и тогда, когда адмирал, по словам Егорова, «на старости лет ополоумел» и, несмотря на самые едкие предостережения своего вестового, выслушанные адмиралом с сконфуженным видом, женился два года тому назад на молодой, хорошенькой и очень бойкой блондинке, которую Егоров сразу же невзлюбил и прозвал почему-то «белой сорокой».

Он тогда же просил адмирала «увольнить» его.

— Жили мы с вами, Александра Иванович, слава богу, одни, а теперь мне оставаться никак невозможно! — говорил Егоров своим мягким баском, поглядывая не без сожаления на смуглое, заросшее бородой, некрасивое и радостное лицо своего «ополоумевшего» адмирала.

— Это почему?..

— Сами, кажется, можете понять... Теперь у вас другие порядки пойдут с адмиральшей-то... Адмиральша потребует, чтобы вы взяли форменного камардина, а не то, чтобы держать такого, как я. Известно, молодой супруги надо слушаться, — прибавил не без иронической нотки в голосе Егоров.

— Ты, скотина, язык-то свой прикуси!..

— Прикуси не прикуси, а я верно говорю...

Адмирал, несколько смущенный, выругал Егорова на морском диалекте и приказал остаться.

— При мне будешь по-прежнему... Слышишь?

— Слушаю, ваше превосходительство...

— Только смотри... Не вздумай грубить барыне...

— Чего мне грубить?.. Я до барыни и касаться не буду... У их свои слуги будут... А я при вас...

Во всем угождавший своей молодой жене, в которую был влюблен по уши, адмирал, однако, решительно отстоял своего старого вестового, далеко не изящный вид которого и громкий грубоватый голос несколько шокировал изящную адмиральшу. Адмирал обещал, что Егоров не станет показываться ни в гостиной, ни в столовой, — для этого можно нанять приличного лакея, — а будет исключительно служить ему и ходить с ним в плавания. Он ведь так привык к Егорову.

На этот компромисс адмиральша пошла, и довольный адмирал с прежней терпеливостью выслушивал ворчливые замечания, которые позволял себе Егоров, особенно в плавании, когда белая сорока жила на даче, и главным образом после побывок на берегу, откуда Егоров возвращался по большей части «урезавши муху».

Эти замечания в последнее время касались преимущественно женитьбы адмирала. Молодая жена, тратившая много денег и заставлявшая адмирала сильно ограничивать свои расходы в плавании, возбуждала в Егорове негодование. Кроме того, и поведение адмиральши ему не нравилось, и он, не без некоторого основания, предполагал, что белая сорока обманывает адмирала, злоупотребляя его доверчивостью и «путается» с мичманами.

И нередко, вернувшись с берега, Егоров появлялся в адмиральской каюте и, прислонившись к двери, говорил заплетающимся языком:

— А еще адмирал... Адмирал, а звания поддержать не можем... Прежде, бывало, офицеров честь честью, призовем обедать... угостим... Каждый день, как следует, по очереди три или четыре офицера у нас кушали, а нонче — шабаш!.. Одни кушаем... И денег у нас нет... Тю-тю денежки... Айда на берег... А по какой такой причине?.. Дозвольте вас спросить, Александра Иваныч? Как вы об этом полагаете, ваше превосходительство?

— Егоров! Ты пьян, каналья!.. Иди спать...

— И пойду...

Но вместо того чтобы уйти, Егоров оставался в каюте и продолжал:

— А все-таки я вам, Александра Иваныч, всю правду скажу... Очинно мне жалко тебя, моего голубчика... И сертучишко-то старенький... и сапоги в заплатках, и припасу у нас никакого... А кто виноват?.. Сами, Александра Иваныч, виноваты... Не послушались Егорова... Небось Егоров, даром что из матросов, а с понятием... С большим понятием!.. Жили мы с вами холостыми, то ли дело?.. Слава тебе господи! И деньги у нас завсегда были, и всякого припасу вдосталь, и звание свое поддерживали... «Егоров! Шимпанского!» — «Есть!» И несу, что вгодно... А теперь, как глупость-то сделал...

— Егоров! Пошел вон! Искровяню рожу!

Но эта угроза не только не пугала Егорова, а, напротив, приводила его даже в несколько восторженное состояние.

— Что ж, искровяните. Сделайте ваше одолжение... Со всем моим удовольствием! Я ведь любя говорю... Слава богу, пятнадцать лет служу вам честно... А все-таки вижу: хоша вы и адмирал, а рассудку в вас мало... Ну... хорошо... положим, бес выиграл на старости лет... Так женись, братец ты мой, на какой-нибудь степенной сахарной вдове в теле и с понятием, а то...

Обыкновенно Егоров не доканчивал, потому что взбешенный адмирал срывался с дивана и, схватив вестового за шиворот, ввергал Егорова в его крошечную каютку и запирал ее на ключ.

«Непременно прогоню эту пьяную скотину!»— решал адмирал в пылу гнева. Но гнев проходил, и эта «пьяная скотина» снова являлась в глазах адмирала близким, преданным человеком, а воспоминание нашептывало, как эта «пьяная скотина», жертвуя собой, спасла во время крушения своего командира.

И адмирал прощал Егорову его дерзкие речи во хмелю и ворчанья в трезвом виде, как и Егоров, в свою очередь, прощал адмиралу его ругань и кулачную расправу во время вспышек гнева.

И оба любили друг друга.

II

Егоров— вообще аккуратный и исправный, по морской привычке, человек — довел кабинет и маленькую спальню адмирала до умопомрачающей чистоты. Все в этих комнатах блестело и сверкало. Нигде ни соринки, нигде ни пылинки. Все окна были вымыты и протерты су-конками. Подоконники сияли своей белизной, и дверные ручки и замки просто горели. Ковры были выбиты. Все адмиральское платье было вынесено на двор, проветрено, выбито и, вычищенное, аккуратно повешено в шкапу. На случай, если адмирал поедет во дворец к заутрене, Егоров надел на мундир ордена и привинтил звезды. Нужно ли прибавлять, что несколько пар адмиральских сапог так блестели, что хоть смотришь в них, как в зеркало.

До остальных комнат, до «ейных», как не без некоторого презрения Егоров называл другие комнаты, нахо-

дившиеся под наблюдением адмиральши, он не касался и только при виде беспорядка в них презрительно скашивал губы и поводил плечами. Убиравшие эти комнаты лакей и горничная не пользовались его расположением. Он их считал лодырями, и притом напускающими на себя «форцу», и относился к ним недружелюбно, как и к кухарке, и к барыне. Молодую хорошенькую адмиральшу он втайне просто ненавидел и только дивился «дурости» адмирала, который ничего не видит и, вместо того чтобы оттащить эту вертлявую белую сороку за косы, лебезит перед ней, словно ошалелый кот, и не переломает ребер молодому господину из «вольных»¹, который, шельма, повадился ходить каждый день и выбирает время, когда адмирала нет дома.

— Совсем глупый мой адмирал,— часто думал вслух Егоров и искренне жалел своего адмирала.

Вообще и адмиральша и вся прислуга были в глазах Егорова одной шайкой, обманывавшей и обкрадывавшей адмирала. Все они были одни люди, а он с адмиралом — другие, ничего не имеющие с теми общего. Ах, если б адмирал прогнал их всех вместе с женой, а то доведут они его до беды!

Однако Егоров никогда не заикался об этом адмиралу. У самого глаза, мол, есть, а кляузы заводить он не намерен.

И Егоров, зная, что и адмиральша далеко не расположена к нему и сейчас бы прогнала его из дому, если б не адмирал,— старался не показываться ей на глаза и при редких встречах держал себя с угрюмой почтительностью знающего дисциплину матроса. А в отношениях с прислугой напускал на себя суровость, избегал с ней разговаривать и водил дружбу только с кучером. Его одного он удостаивал своими воспоминаниями о дальних плаваниях и рассказами о разных диковинах вроде «акул-рыбы» или черномазых людей, которые всякую пакость жрут и ходят как мать родила, и у приятеля своего в кучерской протрезвлялся, когда, случалось, приходил домой пьяный и не желал идти к себе в маленькую комнатку, находившуюся вблизи спальни адмирала.

В свою очередь и Егоров пользовался среди прислуги репутацией «грубого и необразованного матроса», с кото-

¹ Так матросы называют статских. (Прим. автора.)

рым не стоит и связываться — облает. За обедом на кухне его дарили ироническими усмешками, на которые Егоров не обращал обыкновенно ни малейшего внимания. И в редких только случаях, если франтоватый лакей, в угоду горничной, задевал Егорова, он совершенно спокойно выпаливал такое морское ругательство, что деликатная горничная и дебелая «кухарка за повара», жившая, как утверждала, только у генералов, в страхе взвизгивали и убегали из кухни.

III

Предвкушая удовольствие получить на светло Христово воскресение от адмирала обычные пять рублей и по этому случаю «взять все рифы», то есть напиться вдребезги в компании с кумом, мастеровым из адмиралтейства, Егоров накануне под вечер сидел в своей крошечной, чисто прибранной комнатке, где у образа теплилась лампадка, и исправлял кое-какие погрешности своего праздничного туалета, в котором он собирался честь честью идти к заутрене, — как в двери раздался стук.

— Что надо? Входи.

— Барыня вас требует! — объявил молодой лакей.

— А где твоя барыня?

— В столовой, и ваш барин там! — подчеркнул лакей.

Егоров, по старой морской привычке, рысцой понесся в столовую.

Там сидела адмиральша в капоте, несколько томная и уставшая от хозяйственных хлопот, и около нее адмирал.

— Вы свободны, Егоров?

— Точно так, ваше превосходительство! — гаркнул Егоров и кинул взгляд на адмирала, словно бы спрашивая его: «свободен ли он?»

— Ах, не кричите так громко! Он тебе, Александр, не нужен? Я Антона посылаю к портнихе...

— Нет.

— Так, пожалуйста, Егоров, сходите за окороком, за куличами и за пасхой и привезите поскорей все это сюда... Можете оттуда взять извозчика...

И адмиральша не без некоторой брезгливости протянула свою маленькую ручку и, словно бы боясь прикоснуться к большой и жилистой руке Егорова, осторожно

опустила на его широкую ладонь деньги и квитанции с написанными на них адресами.

— Слушаю, ваше превосходительство!

И, зажав в своей руке все, что ему передала адмиральша, он вышел из столовой.

В коридоре его нагнал адмирал и заботливо сказал:

— Смотри, Егоров, не запоздай... Не заходи никуда...

— Куда же заходить, Александра Иванович, окромя туда, куда приказано?.. Будьте покойны. Духом слетаю...

И Егоров действительно «духом» слетал из Сергиевской на Конюшенную за куличами и за пасхой, оттуда на Литейную за двумя окороками и фаршированным поросенком и уже рядил извозчика, чтоб везти домой все эти припасы, как его хлопнул по плечу «кум мастеровой» и весело воскликнул:

— Михаилу Нилычу, наше вам.

— Здорово, кум...

Тары-бары, разговорились, и так как на улице разговаривать было не совсем удобно, то кум предложил зайти в заведение.

— Выпьем по случаю кануна, Нилыч, по сорокоушке и айда — по своим делам. Ты к своему адмиралу, а я к своей хозяйке... К заутрене пойдем... Завтра ведь какой праздник!..

Кум так резонно говорил, что Егоров, нисколько не подозревая опасности, какой подвергается и его слабость к спиртным напиткам, и все эти порученные ему припасы, с удовольствием принял предложение, и оба приятеля, бережно забрав кульки и картонки, вошли в заведение, чтобы наскоро раздавить по сорокоушке.

— А то мне надо, кум, торопиться, — говорил Егоров, процеживая водку с медленностью настоящего пьяницы.

— То-то я и говорю... И мне нужно, кум.

IV

Был одиннадцатый час вечера, а Егоров еще не возвращался. Адмиральша сперва вздыхала, потом злилась и наконец пришла в отчаяние. Ведь это ужасно! К ней обещали приехать разгавливаться некоторые близкие знакомые и... и до сих пор ничего нет!

Нечего и говорить, что более всего досталось адмиралу.

— Вон ваш преданный и верный человек... Нечего сказать, хорош! Первый раз я решилась дать ему поручение...

— Да ты не волнуйся, Катенька!.. Он все принесет! — успокаивал жену адмирал, давно уже и сам волнувавшийся, так как знал, что если Егоров не удержится и выпьет, то беда.

— Как тут не волноваться?.. Это ведь бог знает что такое... И ты еще держишь при себе такого пьяницу... Неужели и после этого ты не прогонишь его?..

— Но, Катенька...

— Ах, что вы все: Катенька да Катенька!.. Это наконец, просто глупо! — воскликнула Катенька с раздражением и заперлась в спальне.

Адмирал взбешенный ходил по кабинету, мысленно осыпая Егорова самую отборною бранью, какую он позволял себе только в море.

Уж он хотел было идти к жене и предложить ехать немедленно в лавки и все купить, как в кабинет вбежала жена и крикнула голосом, полным раздражения:

— Подите... полюбуйтесь, что привез ваш преданный человек! Идите!

Адмирал покорно и с виноватым видом пошел вслед за женой в столовую, и — о ужас! — вместо двух пасох были какие-то приплюснутые лепешки. По счастью, окорока, поросенок и куличи были целы.

— Ах, мерзавец! — проговорил только адмирал.

— Как же мы будем без пасхи! — охала адмиральша.

Адмирал тотчас же велел лакею ехать за пасхами и крикнул:

— Позвать сюда Егорова!..

Через минуту-другую в столовую вошел Егоров. Он довольно твердо держался на ногах, хотя и был сильно пьян.

— Христос воскресе, Александра Иваныч... Виноват, ваше превосходительство... Это точно, помял пасхи... потому кума встрел... — говорил Егоров заплетающимся языком.

— Он совсем пьян! — промолвила в ужасе адмиральша.

— Точно так, ваше превосходительство... Пьян, но вас это не касается... Я Лександры Иваныча вестовой, а не ваш. Адмиральский слуга... Пусть он меня рассказывает!.. Бейте меня, Лександра Иваныч, подлеца... Не жалейте Егорова за пасхи... Все от вас приму, потому жалко мне вас... Жили мы, слава богу, прежде хорошо, а как вы на старости лет...

— Вон! — заревел адмирал и вытолкал Егорова из столовой.

Целую неделю Егоров пьянствовал и, отрезвившись, явился к адмиралу и просил его «увольнить».

Но адмирал, уже упросивший жену простить Егорова и, взявши с нее слово никуда его не посылать, не уволил Егорова и летом взял с собой в плаванье.

ПРИМЕЧАНИЯ

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ 1894—1895

КУЦЫИ

Впервые — в журнале «Мир божий», 1894, № 1, с подзаголовком: «Рассказ из морской жизни». В 1898 году цензура не разрешила включить этот рассказ в издание для народного чтения. «Описание неоднократных возмущений солдат против строгих начальников,— писал цензор,— вследствие чего последние были часто сменяемы по решению матросов, едва ли удобно для народного чтения...» (К. М. Станюкович. Собрание сочинений в 6 томах, М., 1958, т. 1, стр. 753).

Стр. 8. ...донимают... «жалкими» словами...— Один из персонажей романа И. А. Гончарова «Обломов» (1859) — Захар — «жалкими» словами называл бесконечные укоризны и назидания, которыми его донимал Илья Ильич Обломов. С тех пор выражение стало крылатым.

Стр. 14 ...попасть на аркан *фурманщика*...— *Фурманщик* — возчик на небольшом, иногда крытом, фургоне — *фурманке*; здесь речь идет о *фурманщике*, вылавливавшем на улицах бездомных собак.

ИСАЙКА

Впервые — в журнале «Русское богатство», 1894, № 3, с подзаголовком: «Из далекого прошлого».

Стр. 48. *Гогланд* — остров в Финском заливе.

Впервые — в ежемесячных литературных приложениях к журналу «Нива», 1894, №№ 4, 7.

Стр. 71. *Марсала* — сорт крепкого десертного виноградного вина.

Стр. 75. *Маврикий остров* — остров в Индийском океане (неподалеку от острова Мадагаскара), в январе — марте в этом районе океана часты ураганные ветры.

Стр. 76 ...*придем на Мыс...* — речь идет о мысе Доброй Надежды, южной оконечности Африки.

Стр. 77. ...*разбилась в бурунах... у Гижиги.* — Г и ж и г и н с к а я г у б а — часть залива Шелехова (северо-восточный берег Охотского моря); судоходство здесь затрудняется многочисленными мелями, льдами и высокими (до 10 метров) приливами.

БЕСПОКОЙНЫЙ АДМИРАЛ

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1894, №№ 165, 176, 178, 195, 212, 223, 251, 258, 272, 287, 322.

В № 165 повесть имела подзаголовок: «Очерки морской жизни (Из далекого прошлого)»; в последующих номерах он был несколько изменен: «Из морских силуэтов далекого прошлого». В книжных переизданиях подзаголовок не воспроизводился.

Прототипом героя повести — Ивана Андреевича Корнева — послужил адмирал Андрей Александрович Попов (1821—1898), который в 1862—1865 годах командовал тихоокеанской эскадрой русского военного флота. В одном из писем родным Станюкович сообщал о том, что «состоит» при адмирале и переходит вместе с ним с судна на судно. На совет сестры быть повнимательнее с адмиралом Станюкович ответил: «Где буду дальше и опять не знаю, но желал бы не с адмиралом. Как ты ни пиши, что *выгодно* или *невыгодно*, я, по счастью, нахожусь в таких летах, когда благородство и независимость стоят по одним уж влечениям выше всяких выгод по службе... Что мне с выгоды...» (Литературный архив, вып. 6, М.-Л., 1961, стр. 461).

Первые наброски образа «беспокойного адмирала», совмещавшего в своем характере незаурядный ум, благородство с неукротимой вспыльчивостью, встречаются в рассказах «Непонятый сигнал», «Ужасный день». Еще раз к этому образу Станюкович вернулся в своем позднейшем произведении «Вокруг света на «Коршуне».

Стр. 81. *Каптаун* (Кейптаун) — крупный город и порт на Юге Африки.

...бросая... взгляды на амфитриона...— Амфи́трион (миф.) — один из греческих царей, муж Алкмены, которая уже в браке с ним родила от Зевса сына Геракла. Имя Амфитриона стало нарицательным; так называют хлебосольного и вместе с тем простодушного, а иногда и одурачиваемого хозяина.

Стр. 82. *Новая Каледония* — группа островов в юго-западной части Тихого океана. Главный город и порт — Нумеа.

Стр. 84. ...в люстриновом пиджаке...— в пиджаке, сшитом из люстрина — шерстяного или полушерстяного материала с гляncем.

Стр. 91. ...получил... морское воспитание в школе Лазарева, Корнилова и Нахимова...— Лаза́рев, Михаил Петрович (1788—1851) — русский флотоводец, адмирал, герой Наваринского сражения. Воспитал выдающихся адмиралов: В. А. Корнилова, П. С. Нахимова, В. И. Истомина. Еще в годы николаевского царствования выступал против телесных наказаний во флоте. Корнилов, Владимир Алексеевич (1806—1854) — крупнейший русский военно-морской деятель, один из главных организаторов и руководителей героической обороны Севастополя. 5 октября был смертельно ранен на Малаховом кургане. Нахимо́в, Павел Степанович (1802—1855) — русский флотоводец, адмирал, участник Наваринского сражения. Командуя эскадрой Черноморского флота, разгромил основные силы турецкого флота в Синопском сражении. Во время героической Севастопольской обороны руководил созданием матросских батальонов, взаимодействием сухопутных и морских сил; после гибели Корнилова — руководитель всей обороны города. Был смертельно ранен при осмотре позиций.

Стр. 97. ...не знали знаменитого приказа Нельсона пред Трафальгарским сражением...— Нельсо́н, Гора́цио (1758—1805) — выдающийся английский флотоводец, адмирал. 21 октября 1805 года перед сражением английского флота с объединенным франко-испанским флотом (у мыса Трафальгар, неподалеку от входа в Гибралтарский пролив) приказал подать сигнал: «Англия ожидает от каждого исполнения своего долга». В этом сражении, закончившемся полной победой английского флота, Нельсон был убит.

Башибузу́к — буквально: сорвиголо́ва (тюркск.); название солдат иррегулярных частей турецкой армии, ставшее нарицательным для обозначения отчаянного, буйного человека, разбойника.

...с этим сумасшедшим «брызгасом»...— Бры́зга́с — рабочий, просверливающий обшивку судна, заколачивающий молотом сквозные болты и заклепывающий их; здесь это слово употреблено в значении — грубоватый, неотесанный человек.

...сатрапствует...— выражение происходит от названия правителя области персидского государства. Сатрапы пользовались почти неограниченными правами и полной безнаказанностью; поэтому позднее этим словом стали обозначать самоуправство и незаконные представители всякой верховной власти.

Стр. 104. *Кергалет*, Жан (1717—1780) — французский гидрограф, автор широко распространенной книги о лоцманском искусстве.

Стр. 107. *Цивических* — гражданских (лат.).

Стр. 108. *Шлоссер*, Фридрих Кристоф (1776—1861) — немецкий историк, автор восьмитомной «Истории восемнадцатого столетия и девятнадцатого до падения Французской империи», которая в переводе Н. Г. Чернышевского, А. Н. Пыпина, Е. А. Белова и др. издавалась в 1858—1860 гг. в «Исторической библиотеке» при журнале «Современник». Русский перевод девятнадцатитомной «Всемирной истории» Ф. К. Шлоссера выходил в 1861—1869 гг. под редакцией Н. Г. Чернышевского, а после его ареста под редакцией В. А. Зайцева.

...статью «Современника» или «Русского слова»...— *Современник* — журнал, основанный А. С. Пушкиным в 1836 году. В 1847 году перешел в руки И. И. Панаева и Н. А. Некрасова; в это время руководящее участие в журнале принимал В. Г. Белинский. Во второй половине 50-х — первой половине 60-х годов под руководством Н. А. Некрасова, Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова стал органом революционно-демократического лагеря. В 1866 году после покушения Д. В. Каракозова на Александра II журнал был закрыт правительством. «Русское слово» — журнал радикально-демократического направления, выходивший с 1859 по 1866 год. С 1861 года ведущим сотрудником журнала был Д. И. Писарев.

«Раззудись плечо, размахнись рука!» — из стихотворения А. В. Кольцова «Косарь» (1836).

Стр. 111. *Батавия* — в XVIII—XIX вв. главный город нидерландской Ост-Индии, теперь г. Джакарта, столица Индонезии.

...окончились «веселые дни Аранхуэца»...— *Аранхуэс* — город в Испании, где находилась летняя резиденция испанских королей. Приведенными словами начинается драма Ф. Шиллера «Дон Карлос»: «Да, золотые дни в Аранхуэсе пришли к концу».

Капуя. — город в древнеримском государстве, прославившийся тем, что многие его граждане вели чрезмерно роскошный образ жизни.

Стр. 119. ...воображал себя... в роли маркиза Позы перед Филиппом...— Имеются в виду герои драмы Ф. Шиллера «Дон Карлос», в которой маркиз Поза представлен как обличитель тирании, а испанский король Филипп II — как тиран, изредка позволяющий себе не без сочувствия выслушивать обличительные речи своего приближенного.

...в положении посла князя Курбского...— Курбский, Андрей Михайлович (1528—1583) — русский политический и военный деятель, писатель. В первый период царствования Ивана Грозного Курбский был одним из ближайших его сподвижников. Узнав о грозящей ему опале, бежал в Литву; здесь он написал три послания Ивану Грозному, в которых обличал его террористический деспотизм и оправдывал свое бегство. По преданию, первое послание привез в Москву его слуга Василий Шибанов, проявивший неколебимое мужество во время пыток, которым его подверг Иван Грозный. Подвигу Василия Шибанова А. К. Толстой посвятил балладу «Василий Шибанов».

Стр. 120. ...«суровый и свободный стих»...— неточная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Праздник жизни — молодости годы...» (1855).

Стр. 126. Тьер, Адольф (1797—1877) — французский политический деятель, историк и публицист. Палач Парижской Коммуны. В своей многотомной «Истории консульства и империи» возвеличивал Наполеона.

Стр. 127. Абукирское сражение — произошло в 1798 году в заливе Абу-Кир, неподалеку от египетского порта Александрия. Английским флотом командовал Нельсон, французским — Брюэс.

Стр. 136. ...и он, как Ричард III, готов был воскликнуть: «Марсель, подавайте марсель, всю жизнь за марсель!» — Имеется в виду восклицание Ричарда III в одноименной трагедии Шекспира: «Коня, полцарства за коня!».

Стр. 150. ...пришлось служить с ...«цензовыми» адмиралами новейшей формации...— т. е. с адмиралами, получившими этот чин по порядкам, которые были предусмотрены изданным в 1885 году положением о морском цензе.

Нагасаки — город в южной части японского острова Кюсю.

Стр. 163. Вистнете-с?..— от глагола вистовать, т. е. стараться забрать несколько «взяток» у партнера, объявившего игру (в преферансе, бостоне или висте).

Стр. 176. Ситха — устаревшее название города Ситка, расположенного на западном берегу о-ва Баранова, неподалеку от южной границы Аляски, принадлежавшей тогда России. В 50-х—60-х го-

дах в Ситхе была расположена одна из баз русской тихоокеанской эскадры.

Стр. 177. *Маседуан* — блюдо из вареных овощей с пряным соусом.

Время рассказа относится к дореформенной Японии...— В 1867—1868 годах в Японии произошла буржуазная революция, в результате которой была установлена конституционная монархия и отменен целый ряд средневековых обрядов и установлений.

Стр. 179. *...виду известных событий 1863 года.*— Имеется в виду польское освободительное восстание 1863—1864 годов. Предположение о том, что Англия и Франция окажут повстанцам вооруженную поддержку, не оправдалось.

Стр. 189. *Но вот настали новые времена.*— Речь идет прежде всего о том, что после вступления Александра III на престол усилилась политическая реакция, выразившаяся в открытых попытках если не отменить, то по крайней мере урезать некоторые из тех общественных институтов (земство, гласные суды), которые были введены при Александре II в так называемую «эпоху реформ». Усиление реакции сказалось и на положении в военном флоте; генерал-адмиралом был назначен безынициативный и безвольный великий князь Алексей Александрович, при попустительстве которого в морском министерстве возобладали карьеристы и откровенные казнокрады.

РЕШЕНИЕ

Впервые — в сборнике «Жертвы», СПб., 1894.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖИЗНИ

Впервые — в журнале «Мир божий», 1895, №№ 1—8, 10, 11. В 1898 году Станюкович предполагал издать «Историю одной жизни» в «переделке для народа». Однако это издание не состоялось. Лишь после его смерти переработанный вариант повести — под заглавием «Антошка» — был напечатан в качестве бесплатного приложения к журналу «Всходы» (1903 год).

Стр. 232. *...завывал к себе в «лавру»...*— Речь идет о так называемой Вяземской лавре, подворье, где ютилась петербургская беднота.

Стр. 234. *Лукулловское пиршество.*— Выражение происходит от имени римского политического деятеля и полководца Лукулла

(ок. 117—56 до н. э.); устраиваемые им пиры и празднества отличались чрезмерной роскошью.

Стр. 237. *Иоанн Кронштадтский* (И. И. Сергиев, 1829 — 1908) — протонерей, настоятель Андреевского собора в Кронштадте, церковный проповедник, влиятельный в правящих верхах России.

Стр. 262. *Макиавелли*, Никколо ди Бернардо (1469—1527) — итальянский политический деятель, писатель. Убедительный сторонник объединения Италии. В своем основном произведении «Государь» доказывал, что раздробленность Италии может быть преодолена только под руководством сильной, не ограниченной никакими нравственными нормами диктаторской власти государя. Совокупность развитых им политических идей впоследствии получила название макиавеллизма.

Стр. 266. ...с хорошим шабли или с максотеном *сес*, заеда *стильтоном* или *рокфором*... — Шабли, максотен — сорта французских вин; стильтон, рокфор — острые, пахучие сыры.

...не канарейка, а синенькая... — бумажные деньги: канарейка — бумажка рублевого достоинства, называлась так по своему желтому цвету; синенькая — пять рублей.

Стр. 287. *Брильянтовые кабюшоны* — правильно: кабошоны (франц.); здесь — отшлифованные соответственно природной форме алмазы.

Стр. 289. «*Times*» («Таймс») — ежедневная английская газета консервативного направления; «*Figaro*» («Фигаро») — французская газета консервативного направления.

Стр. 294. ...не справляясь в департаменте герольдии... — Департамент герольдии — в дореволюционной России так называлось учреждение, ведавшее делами о правах лиц и семей на причисление к дворянскому сословию.

Стр. 301. ...из лицеистов... — Так называли тогда тех, кто закончил Александровский лицей — тот самый, который в числе первого выпуска закончил А. С. Пушкин. Во второй половине XIX в. в Лицее возобладал дух дворянской сословной замкнутости и карьеризма.

Стр. 302. ...имя имел вполне соответствующее положению: *Евгений Аркадьевич*. — Евгений в переводе на русский язык означает — благородный.

Стр. 355. *Бриоши* — сорт сдобной булочки.

Стр. 377. ...издания «Посредника» и «Комитета грамотности»... — Издательство «Посредник» было основано в 1884 году по инициативе Л. Н. Толстого и основной своей целью имело издание высокохудожественной литературы для народа; не-

посредственное руководство издательством долгое время осуществлял В. Г. Чертков — друг и единомышленник Толстого. «Комитет грамотности» — общественная организация, занимавшаяся, между прочим, и изданием популярных книжек и брошюр.

Стр. 417. *Чухна* — старое, с оттенком пренебрежения, название финнов.

Стр. 418. ...«*печальный пасынок природы*» — из поэмы Пушкина «Медный всадник» («Вступление») (1833); в стихе речь идет о финне.

Стр. 423. «*Обыкновенная история*». — Здесь употреблено выражение, ставшее крылатым после выхода в свет романа И. А. Гончарова «Обыкновенная история»; означает оно историю превращения романтически настроенного молодого человека в черствого и расчетливого дельца.

ВЕСТОВОЙ ЕГОРОВ

Впервые — в сборнике «Новые морские рассказы и «Маленькие моряки», СПб, 1895.

П. Еремин.

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ

1894—1895

Куцый	5
Исайка	26
В тропиках	
I. Ночь	50
II. Утро	62
Беспокойный адмирал	79
Решение	194
История одной жизни	227
Вестовой Егоров	430
Примечания	439

Константин Михайлович
СТАНЮКОВИЧ

Собрание сочинений
в десяти томах

Том V.

Редактор тома
М. А. Мурашова.

Оформление художника
Е. М. Казакова.

Технический редактор
А. И. Шагарица.

Сдано в набор 23/XI 1976 г.
Подписано к печати 31/III 1977 г.
Бумага типографская № 1. Формат 84×108¹/₃₂.
Усл. печ. л. 23,94. Уч.-изд. л. 25,44.
Тираж 375 000 экз. Изд. № 946. Зак. № 3080.
Цена 1 р. 40 к.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской
Революции типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. 125865, Москва, А-47,
ГСП, ул. «Правды», 24.

Индекс 70687

